

ЗЕДИ

СЕЛЕБРИТИ-РОМАН

СМИТ

КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ НЕ ПРОЧИТАТЬ

ВРЕМЯ

содержит



нецензурную брань

СВИНГА

Annotation

Делает ли происхождение человека от рождения ущербным, уменьшая его шансы на личное счастье? Этот вопрос в центре романа Зэди Смит, одного из самых известных британских писателей нового поколения.

«Время свинга» — история личного краха, описанная выпукло, талантливо, с полным пониманием законов общества и тонкостей человеческой психологии. Героиня романа, проницательная, рефлексирующая, образованная девушка, спасаясь от скрытого расизма и неблагополучной жизни, разрывает с домом и бежит в мир поп-культуры, загоняя себя в ловушку, о существовании которой она даже не догадывается.

Смит тем самым говорит: в мире не на что положиться, даже семья и близкие не дают опоры. Человек остается один с самим собой, и, какой бы он выбор ни сделал, это не принесет счастья и удовлетворения. За меланхоличным письмом автора кроется бездна отчаяния.

- [Зэди Смит](#)
 -
 - [Пролог](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Один](#)
 - [Два](#)
 - [Три](#)
 - [Четыре](#)
 - [Пять](#)
 - [Шесть](#)
 - [Семь](#)
 - [Восемь](#)
 - [Девять](#)
 - [Десять](#)
 - [Одиннадцать](#)
 - [Двенадцать](#)
 - [Тринадцать](#)
 - [Четырнадцать](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Один](#)

- [Два](#)
- [Три](#)
- [Четыре](#)
- [Пять](#)
- [Шесть](#)
- [Семь](#)
- [Часть третья](#)
 - [Один](#)
 - [Два](#)
 - [Три](#)
 - [Четыре](#)
- [Часть четвертая](#)
 - [Один](#)
 - [Два](#)
 - [Три](#)
 - [Четыре](#)
 - [Пять](#)
 - [Шесть](#)
 - [Семь](#)
 - [Восемь](#)
 - [Девять](#)
 - [Десять](#)
 - [Одиннадцать](#)
 - [Двенадцать](#)
- [Часть пятая](#)
 - [Один](#)
 - [Два](#)
 - [Три](#)
 - [Четыре](#)
 - [Пять](#)
 - [Шесть](#)
- [Часть шестая](#)
 - [Один](#)
 - [Два](#)
 - [Три](#)
 - [Четыре](#)
 - [Пять](#)
 - [Шесть](#)
 - [Семь](#)

- [Часть седьмая](#)
 - [Один](#)
 - [Два](#)
 - [Три](#)
 - [Четыре](#)
 - [Пять](#)
 - [Шесть](#)
 - [Семь](#)
 - [Восемь](#)
 - [Девять](#)
 - [Десять](#)
 - [Одиннадцать](#)
- [Эпилог](#)
- [Благодарности](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)

- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)

- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)

- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)

- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)
- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)

- [181](#)
 - [182](#)
 - [183](#)
 - [184](#)
 - [185](#)
 - [186](#)
 - [187](#)
 - [188](#)
 - [189](#)
 - [190](#)
 - [191](#)
 - [192](#)
 - [193](#)
 - [194](#)
 - [195](#)
 - [196](#)
 - [197](#)
 - [198](#)
 - [199](#)
 - [200](#)
 - [201](#)
 - [202](#)
 - [203](#)
 - [204](#)
 - [205](#)
 - [206](#)
 - [207](#)
 - [208](#)
 - [209](#)
 - [210](#)
 - [211](#)
 - [212](#)
 - [213](#)
 - [214](#)
 - [215](#)
 - [216](#)
-

Зэди Смит

Время свинга

© Немцов М., перевод на русский язык, 2018

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство „Э“»,
2018

Пролог

То был первый день моего унижения. Посадили в самолет, отправили домой в Англию, устроили на временной съемной квартире в Сент-Джонз-Вуде. Квартира на восьмом этаже, окна смотрят на крикетное поле. Выбрали ее, я думаю, из-за привратника, который отсекал все расспросы. Я сидела дома. Телефон на стене в кухне все звонил и звонил, но меня предупредили: на звонки не отвечать, не включать и свой телефон. Я смотрела, как играют в крикет, — этой игры я не понимаю, она меня и не отвлекала толком, но все лучше, чем разглядывать обстановку квартиры — роскошного жилища, где все продумано так, чтобы выглядеть совершенно невыразительно, все значимые углы скруглены, как в «айфоне». Когда крикет заканчивался, я таращилась на отполированную кофе-машину, встроенную в стену, две фотографии Будды — один латунный, один деревянный, — и снимок слона, стоящего на коленях рядом с маленьким индийским мальчиком, который тоже стоял на коленях^[1]. Комнаты были со вкусом и серы, их соединял девственно чистый коридор, отделанный буроватым шерстяным шнуром. Я пялилась на рубчики шнура.

Так прошло два дня. На третий снизу в домофон позвонил привратник и сказал, что вестибюль чист. Я глянула на свой телефон — он лежал на кухонной стойке, в самолетном режиме. Я не выходила на связь уже семьдесят два часа и, помню, считала, что это должно расцениваться как один из великих примеров личного стоицизма и нравственной выдержки нашего времени. Я надела куртку и спустилась. В вестибюле встретила привратника. Он воспользовался случаем горестно пожаловаться («Вы себе не представляете, как тут внизу было последние несколько дней — Пиккадилли-клятый-цирк!»), хотя стало ясно, что его, помимо этого, раздражают противоречия, он даже немного разочарован: жаль, что вся шумиха уже улеглась, — он сорок восемь часов чувствовал себя очень значимым. Гордо сообщил мне, что нескольким людям велел «знать край, да не падать», такому-то и такому-то дал понять, что если они думают проникнуть в здание мимо него, то «пусть держат карман шире». Я оперлась на конторку и слушала его болтовню. В Англии меня не было достаточно долго, и теперь многие просторечные британские фразы звучали, на мой слух, экзотично, едва ль не бессмысленно. Я его спросила, не рассчитывает ли он на новый людской наплыв вечером, и он ответил, что вряд ли, со вчерашнего дня никого не было. Мне хотелось выяснить,

безопасно ли мне будет пригласить гостя с ночевкой.

— Не вижу тут никакой трудности, — ответил он таким тоном, от которого я ощутила, что задала дурацкий вопрос. — Всегда есть черный ход. — Он вздохнул, и в тот же миг рядом остановилась женщина и спросила, не мог бы он получить за нее пакет из химчистки, ей нужно выйти из дому. Держалась она грубо и нетерпеливо и, вместо того чтобы, говоря, смотреть на него, уставилась на календарь у него на стойке — серый блок с цифровым экраном, извещавший любого, кто перед ним стоял, в каком именно они мгновение, вплоть до секунды. Сегодня двадцать пятое число октября месяца, год две тысячи восьмой, а время — двенадцать тридцать шесть и двадцать три секунды. Я повернулась к выходу; привратник разобрался с женщиной и поспешил из-за конторки — открыть мне дверь. Спросил, куда я направляюсь; ответила, что не знаю. Я вышла в город. Стоял идеальный осенний лондонский день, зябкий, но яркий, под некоторые деревья намело опавшей листвы. Я прошла мимо крикетного поля и мечети, мимо «Мадам Тюссо», вверх по Гудж-стрит и вниз по Тоттнэм-Корт-роуд, через Трафальгарскую площадь — и наконец оказалась на набережной, а потом перешла реку по мосту. Думала я — как часто думаю, идя по этому мосту, — о двух молодых людях, студентах, которые шли по нему однажды поздно ночью, на них напали грабители и выкинули за перила, в Темзу^[2]. Один выжил, другой умер. Я никогда не понимала, как выжившему это удалось, в темноте, в абсолютном холоде, с жутким шоком и в ботинках. Думая о нем, я держалась правой стороны моста, поближе к железнодорожной колее, и старалась не смотреть в воду. Достигнув Южного берега, первым делом я увидела плакат с рекламой сегодняшнего события — «беседы» с австрийским кинорежиссером, начало через двадцать минут в Королевском фестивальном зале. Я ни с того ни с сего решила попробовать раздобыть билет. Подошла и смогла купить только в раек, на самый последний ряд. На многое я не рассчитывала, мне бы лишь отвлечься от собственных неурядиц, посидеть в темноте и послушать, как обсуждают фильмы, которых я не видела, но посреди программы режиссер попросил своего интервьюера запустить ролик из «Времени свинга»^[3], а этот фильм я знаю хорошо, только его в детстве и смотрела, вновь и вновь. Я выпрямилась на сиденье. На громадном экране передо мной танцевал Фред Астэр с тремя силуэтами фигур. Они не могут за ним угнаться, теряют темп. Наконец сдаются, изобразив этот очень американский жест «да ну его» тремя левыми руками, и сходят со сцены. Дальше Астэр танцует один. Я понимала, что все три тени — тоже Фред

Астэр. А ребенком я тоже это знала? Никто больше так не загребает рукой воздух, ни один другой танцор так не сгибает колени. Меж тем режиссер излагал свою теорию о «чистом кино», которое он начал определять как «взаимодействие света и тьмы, выраженное неким ритмом, развертывающимся во времени», но такую линию рассуждений я сочла скучной и невнятной. За его спиной почему-то снова стали показывать тот же ролик, и ноги мои, сочувствуя музыке, застукали в кресло впереди. В теле я ощутила изумительную легкость, несуразное счастье — казалось, оно исходит ниоткуда. Я потеряла работу, некую версию своей жизни, свое личное пространство, однако все это было мелким и ничтожным на фоне радости, с какой я смотрела танец и отзывалась всем телом на его точные ритмы. Я ощущала, будто больше не слежу за своим физическим местоположением, поднимаюсь над собственным телом, оглядываю свою жизнь из какой-то очень далекой точки, зависаю над нею. Вспомнилось: так люди описывают опыты с галлюциногенными наркотиками. Все свои годы я увидела разом, но они не громоздились один на другой, переживание за переживанием, составляясь во что-то существенное, — напротив. Мне открылась истина: я всегда пыталась прицепиться к свету других людей, а своего собственного света у меня никогда не было. Я ощущала себя эдакой тенью.

Когда мероприятие завершилось, я пошла обратно через весь город к себе в квартиру, позвонила Ламину, который ждал в соседнем кафе, и сказала, что горизонт чист. Его тоже уволили, но домой в Сенегал я его не отпустила, а притащила сюда, в Лондон. Пришел он в одиннадцать, в толстовке с капюшоном — на случай камер. В вестибюле никого не было. Под капюшоном он выглядел еще моложе и красивее, и мне показалось вопиющим, что в душе у себя я не нахожу к нему подлинных чувств. После мы лежали бок о бок на кровати со своими ноутбуками, и я, чтобы не проверять почту, гуглила — сперва бесцельно, а затем уже целенаправленно: искала тот ролик из «Времени свинга». Хотелось показать его Ламину, было любопытно, что он об этом подумает, раз сам теперь стал танцором, но он сказал, что никогда не видел Астэра и даже не слышал о нем, а когда ролик заиграл, сел на кровати и нахмурился. Я едва понимала, на что мы вообще смотрим: Фред Астэр с начерненным лицом. В Королевском фестивальном зале я сидела в райке, без очков, а сцена начинается с дальнего плана Астэра. Но ничего это не объясняло, как мне удалось выпихнуть из памяти этот образ детства: вращающиеся глаза, белые перчатки, ухмылка Бодженглза^[4]. Я почувствовала себя очень глупо, закрыла ноутбук и уснула. Наутро проснулась рано и, оставив Ламину в

постели, метнулась на кухню и включила свой телефон. Я ждала сотен сообщений, тысяч. Прилетело их, может, тридцать. Раньше Эйми присылала по сотне сообщений в день, и теперь наконец я осознала, что Эйми никогда больше не пришлет мне никакого сообщения. Почему я так долго не могла понять этой очевидной вещи — не знаю. Я прокрутила вниз весь унылый список: дальняя двоюродная сестра, несколько друзей, несколько журналистов. Заметила, что одно сообщение озаглавлено: ШЛЮХА. Адрес — бессмысленный, цифры, буквы и пристегнуто видео, которое не открывалось. В теле письма — одна фраза: «Теперь всем известно, кто ты на самом деле». Такие записки скорее получаешь от зловредной семилетней девочки, у которой есть твердое представление о справедливости. И, разумеется, в точности им — если не обращать внимания на прошедшее время — это сообщение и было.

Часть первая

Ранние дни

Один

Если все субботы 1982 года считать одним днем, я встретила Трейси в ту субботу в десять утра, когда мы топали через церковный двор по гравию с песочком, обе — держась за материны руки. Было там и много других девочек, но по очевидной причине мы заметили друг друга — из-за сходств и различий, как обычно бывает у девочек. Наш смуглый оттенок был в точности одинаков — как будто нас скроили из одного куска буроватой материи, — и веснушки у нас сгущались в одних и тех же местах, мы были одного роста. Но у меня лицо тяжеловесно и меланхолично, с длинным серьезным носом, а уголки глаз опущены вниз, как и уголки рта. У Трейси лицо дерзкое и круглое, она походила на смуглую Ширли Темпл^[5], вот только нос у нее был такой же противоречивый, как у меня, — это я сразу же заметила, несуразный нос, он взмывал прямиком вверх, будто у поросенка. Мило, но как-то непристойно: ноздри у нее постоянно выставлялись напоказ. По носам, значит, можно сказать, у нас ничья. По волосам она выигрывала всухую. У нее были спиральные кудри, спускались ей на спину и собирались в две длинные косы, гляцевые от какого-то масла, а на концах перевязаны атласными желтыми бантами. Банты из желтого атласа — явление, неизвестное моей матери. Мои громадные кудри она собирала сзади одной тучкой и перевязывала их черной лентой. Мать моя была феминисткой. Свои волосы носила полудюймовой афро, череп у нее был идеальной формы, она никогда не красилась и одевалась как можно проще. Волосы несущественны, если ты похожа на Нефертити. Ей не требовались косметика, гигиеническая продукция, украшения или дорогая одежда, и оттого все финансовые обстоятельства, политика и эстетика у нее идеально — удобно — совпадали. Ее стиль аксессуаров лишь загромождали, включая — ну, или так мне в то время казалось — и семилетку с лошадиным лицом у нее под боком. Бросив взгляд на Трейси, я выявила обратную беду: мать ее была белой, тучной, страдала угрями. Свои жидкие светлые волосы она очень туго стягивала наверх — насколько я знала, такой способ моя мать называла «килбёрнской подтяжкой лица». Но все решал личный блеск самой Трейси: она и была самым поразительным аксессуаром собственной матери. Семейное сходство — хоть оно и не отвечало вкусам моей матери — я сочла завораживающим: ярлыки, жестяные висюльки и кольца, везде фальшивые брильянтики, дорогие кроссовки, бытие которых в этом мире

моя мать отказывалась признавать: «Это не обувь». Но, несмотря на внешний вид, между нашими двумя семьями выбирать было особо не из чего. Обе из жилмассивов, ни та, ни другая не получали пособий. (Для моей матери — предмет гордости, для Трейсиной — возмутительное безобразие: она много раз пробовала — и ей не удавалось — «выбить нетрудоспособность».) По мнению моей матери, именно эти поверхностные сходства придавали такой вес вопросам вкуса. Она одевалась ради будущего, которое для нас еще не настало, но мать ожидала его прихода. Вот для чего были ее простые брюки из белого льна, ее «бретонская футболка» в сине-белую полоску, ее обтрепанные парусиновые туфли, ее строгая и прекрасная африканская голова — все так просто, так неподчеркнуто, совершенно не в ногу с духом времени, с местом. Однажды мы «отсюда выберемся», она завершит учебу, приобретет поистине радикальный шик, возможно, о ней даже заговорят в одном ряду с Анжелой Дэвис и Глорией Стайнем...^[6] Обувь на соломенной подошве входила в это дерзкое видение, тонко указывала на высшие представления. Я была аксессуаром лишь в том смысле, что самой своей неприглядностью означала достойную восхищения материнскую сдержанность, поскольку — в тех кругах, куда стремилась проникнуть моя мать, — считалось безвкусицей одевать собственную дочь, как маленькую шлюху. Трейси же бесстыже была для своей матери образцом и аватарой, единственной ее радостью — в тех волнующих желтых бантах, пышной юбочке со множеством оборок и высоко обрезанном топе, являвшем несколько дюймов детского животика, бурого, как орех; и пока мы прижимались к их паре в заторе матерей и дочек при входе в церковь, я с интересом наблюдала, как мать Трейси подталкивала дочь перед собой — и перед нами, — свое тело применяя, как средство заграждения, плоть у нее на руках колыхалась, когда она нас отпихивала, пока не добралась до танцевального класса мисс Изабел, с великой гордостью и тревогой на лице, готовая вверить свой драгоценный груз временному попечению других. Отношение моей матери, напротив, сводилось к усталой, полуиронической неволе, занятия танцами она считала нелепицей, ей и без того было чем заняться, и после нескольких последующих суббот — когда она сидела, обмякнув, на пластиковых стульях, выстроенных вдоль левой стены, едва ли в силах сдержать презрение ко всей этой физкультуре, — произвели замену, и дело взял в свои руки мой отец. Я ждала, когда этим же займется и отец Трейси, но он так и не появился. Выяснилось — как моя мать догадалась сразу же, — что никакого «отца Трейси» не существует, по крайней мере — в привычном, брачном смысле. И это тоже служило

примером дурновкусия.

Два

Хочу теперь описать церковь и мисс Изабел. Безыскусное здание XIX века, с большими песчаными камнями на фасаде — слегка смахивает на дешевую наружную обшивку домов погаже, хотя такого не может быть, — и удовлетворительный заостренный шпиль поверх простого интерьера, похожего на амбар. Называлась она церковью Св. Христофора. Выглядела в точности как та фигура, какую мы складывали из пальцев, когда пели:

Вот тебе церковь,
Вот колоколица.
Дверь отворишь —
Там люди молятся^[7].

В цветном стекле рассказывалась история святого Христофора — как он нес младенца Иисуса на закорках через реку. Сделали витраж плохо: святой выглядел увечным, одноруким. Первоначальные окна выбило в войну. Через дорогу от Св. Христофора стоял многоэтажный жилой дом с дурной славой — там-то и жила Трейси. (Мой был симпатичнее, не такой высокий, на следующей улице.) Выстроили его в 60-х на месте ряда викторианских домов, сгинувших при той же бомбежке, что повредила церковь, но на этом сходство двух зданий и заканчивалось. Церковь, отчаявшись привлечь жильцов напротив к Богу, приняла прагматическое решение разнообразить свою деятельность: устроили игровую площадку для малышей, курсы английского как второго языка, школу автовождения. Они оказались популярны и достаточно укоренились, а вот танцклассы в субботу утром были нововведением, и никто не знал толком, как к ним относиться. Сами занятия стоили два фунта пятьдесят, но ходили материнские слухи касавшиеся растущих цен на балетки, одна женщина слышала — по три фунта, другая — по семь, такая-то клялась, что достать их можно только в одном месте, во «Фриде»^[8] в Ковент-Гардене, где с тебя слупят десятку, и глазом моргнуть не успеешь; а что там еще насчет «чечеточных» и «современных»? Можно на современный танец балетки надевать? Что это вообще такое — современный? Спросить было не у кого, никто еще таким не занимался — тупик. У редкой матери любопытства хватало на то, чтобы набрать номер, значившийся в самодельных

листочках, прибитых скрепками к местным деревьям. Многие девочки, из которых получились бы прекрасные танцорши, так и не перешли через дорогу, побоявшись самодельной листовки.

Моя мать относилась к редким: самодельные листовки ее не испугали. У нее был обалденный инстинкт на нравы среднего класса. Она, к примеру, знала, что на «распродажах из багажника» — невзирая на их неблагозвучное название — как раз и можно познакомиться с людьми получше классом, а также с их старыми «пингвиновскими» изданиями в бумажных обложках, иногда — Оруэлла, — с их антикварными коробочками для пилуль из старого фарфора, их треснутой корнуоллской керамикой, их выброшенными гончарными кругами. В нашей квартире такого было полно. Никаких нам пластиковых цветов, блескучих от фальшивой росы, никаких хрустальных статуэток. Все это входило в план. Даже то, что я терпеть не могла — вроде маминых парусиновых туфель, — обычно оказывалось привлекательным для таких людей, каких мы пытались привлечь, и я научилась не сомневаться в ее методах, даже когда мне за них становилось стыдно. За неделю до начала занятий я услышала, как она в нашей кухне-камбузе перешла на аристократический голос, но, когда повесила трубку, у нее уже были все ответы: пять фунтов на балетки — если брать их в торговом центре, а не ехать в город, — а чечеточные могут пока обождать. В балетках современным танцем заниматься можно. Что такое современный танец? Этого она не спросила. Заботливого родителя она еще готова была играть, а вот невежественного — увольте.

За обувью отрядили моего отца. Розовый оттенок обувной кожи оказался бледнее, чем я надеялась, — походил на животик котенка, а вся подошва была грязновато-серой, как кошачий язык, и длинных ленточек из розового атласа, какие перекрещиваются на лодыжках, тоже не было, нет, лишь эластичный ремешок, который мой отец пришил к ним сам. Я по этому поводу крайне огорчилась. Но, быть может, как и парусиновые туфли, они были намеренно «просты», в хорошем вкусе? За эту мысль удавалось держаться до того самого мига, когда нам, только вошедшим в зал, велели переодеться в танцевальные костюмы у пластиковых стульев и перейти к противоположной стене, к балетному станку. Почти у всех балетки были розовые и атласные, а не бледно-розовые из свиной кожи, какие навязали мне, и у некоторых девочек — я знала, что они живут на пособия, или у них нет отцов, или то и другое сразу, — обувь оказалась с длинными атласными ленточками, что крест-накрест охватывали им лодыжки. У Трейси, стоявшей со мною рядом, — левую ногу ей держала мать — имелось и то и другое: и темно-розовый атлас, и перекрестье, — а

также настоящая балетная пачка, которую никто даже как возможность не рассматривал: все равно что заявиться на первый урок плавания в водолазном костюме. Мисс Изабел меж тем оказалась приятной на лицо и дружелюбной, но — старой, лет, наверное, сорока пяти. Это разочаровывало. Крепкого сложения, она скорее напоминала жену фермера, а не балерину, и вся была розовой и желтой, розовой и желтой. Волосы — желтые, не светлые, а именно желтые, как канарейка. Кожа у нее была розовой — словно натертой, если теперь задуматься, вероятно, она страдала розацеа. И трико розовое, тренировочные штаны — розовые, балетный кардиган сверху — мохеровый и тоже розовый; а вот туфли шелковые и желтые, того же оттенка, что и волосы. Это меня тоже огорчило еще как. Про желтое никогда не упоминали! Рядом с нею в углу очень старый белый человек в трильби сидел и играл на пианино «Ночью и днем»^[9] — эту песню я любила и с гордостью узнала. Старые песни я слышала от отца, чей отец, в свою очередь, был рьяным певцом в пабах, таким человеком — по крайней мере, так полагал мой отец, — чьи повадки мелкого уголовника хотя бы отчасти представляют некий не на то направленный творческий инстинкт. Пианиста звали мистер Бут. Пока он играл, я вслух ему подвывала, рассчитывая, что меня услышат, в мычанье свое вкладывая сильное вибрато. Петь мне удавалось лучше, чем танцевать — я вообще танцоркой не была, а вот пением своим гордилась чрезмерно, зная, что мать моя считает это возмутительным. Петь у меня получалось само собой, но то, что естественно дается женщинам, мою мать не впечатляло, отнюдь. В ее глазах тогда уж можно гордиться и тем, что дышишь, или ходишь, или рожаешь.

Матери наши служили нам противовесом, подставками для ног. Одну руку мы клали им на плечи, одну ногу ставили на их согнутые колени. Тело мое сейчас было в руках матери — его вздергивали и перевязывали, застегивали и разглаживали, отряхивали, — но умом своим я была прикована к Трейси, к подошвам ее балеток, на которых я уже разобрала отчетливо вытисненное на коже слово «Фрид». Своды ее стоп сами по себе были двумя летящими колибри, вогнутые сами по себе. У меня же ступни были квадратные и плоские, казалось, они продираются от позиции к позиции. Я себя чувствовала карапузом, который размещает череду деревянных кубиков под прямыми углами друг к другу. Порхайте, порхайте, порхайте, говорила Изабел, да, это прелестно, Трейси. От комплиментов Трейси закидывала голову назад и ужасно раздувала свой поросячий носик. Если не считать этого, она была совершенна, я в нее втрескалась. Мать ее, казалось, точно так же в нее влюблена: ее

преданность этим занятиям — единственная последовательная черта того, что сейчас мы бы назвали «родительством». На занятия она ходила чаще всех остальных матерей, а на них ее внимание редко отвлекалось от ног дочери. Моя же мать постоянно сосредоточивалась на чем-то другом. Она никогда не могла просто сидеть где-то и выжидать время, ей необходимо было чему-то учиться. К началу занятия она могла явиться, например, с «Черными якобинцами»^[10] в руке, а когда я подходила попросить, чтоб она сменила мне балетки на туфли для чечетки, она уже прочитывала сто страниц. Позднее, когда водить меня на занятия стал отец, он либо дремал, либо «ходил погулять» — родительский эвфемизм для перекура на церковном дворе.

На этой ранней стадии мы с Трейси не были ни друзьями, ни врагами, ни даже знакомыми: мы едва заговаривали друг с дружкой. Однако всегда присутствовала эта взаимная осознанность, незримая резинка, натянутая меж нами, — она соединяла нас и не давала слишком глубоко забредать в отношения с кем-нибудь другим. В строгом смысле я больше разговаривала с Лили Бингэм — она училась в моей школе, — а у Трейси такой подпоркой была унылая старушка Даника Бабич с ее драным трико и грубым акцентом: она жила с Трейси в одном коридоре. Но хотя мы хихикали и перешучивались на занятиях с этими белыми девочками, и пусть они с полным правом могли считать, что мы на них залипаем, что мы их главная забота — что мы для них хорошие подружки, какими мы, по всей видимости, и были, — как только наставал перерыв на сквош и печенье, мы с Трейси становились рядом, раз за разом, почти что бессознательно, две железные стружки, притянутые магнитом.

Выяснилось, что Трейси так же интересуется моя семья, как меня — ее: она с некой авторитетностью доказывала, что у нас «все шиворот-навыворот». Однажды на перемене я, тревожно макая печенку в апельсиновый сквош, выслушала ее теорию.

— У всех остальных дело в папе, — сказала она, и я, поскольку знала, что так оно более-менее и есть, не смогла придумать, что бы еще тут добавить. — Если у тебя папа белый, это значит... — продолжала она, но в тот миг подошла Лили Бингэм и встала рядом, и я так и не узнала, что значит, если папа у тебя белый. Лили была нескладехой, на фут выше прочих. У нее были длинные, совершенно прямые светлые волосы, розовые щеки и счастливый, открытый нрав, который и Трейси, и мне казался прямым следствием Эксетер-роуд, 29, целого дома, в который меня недавно приглашали, о чем я пылко и доложила Трейси — она-то там никогда не была: о личном саде, огромной банке из-под варенья, полной «мелочи», и

часах «Суотч», больших, как целый человек, висевших на стене в спальне. Как следствие, при Лили Бингэм некоторых вещей обсуждать не следовало, и вот Трейси закрыла рот, задрала нос и направилась через весь зал просить у матери балетки.

Чего же мы хотим от своих матерей в детстве? Полного подчинения.

Ох, очень мило, разумно и респектабельно говорить, что женщина имеет все права на свою жизнь, на свои устремленья, свои нужды и так далее — такого и я сама всегда требовала, — но ребенком — нет, истина тут в том, что это война на истощение, здравый смысл не учитывается нисколько, тебе от матери требуется лишь, чтобы она раз и навсегда признала, что она — твоя мать и только твоя мать, а ее битва со всей остальной жизнью завершена. Ей надо сложить оружие и прийти к тебе. А если она этого не сделает, тогда и вправду война — вот между матерью и мной война и шла. Лишь повзрослев, я начала поистине ею восхищаться — особенно в последние, мучительные годы ее жизни — за все, что сделала она, чтобы когтями выцарапать себе в этом мире хоть немного места. Когда я была юна, ее отказ мне подчиниться смущал меня и ранил, особенно потому, что я не ощущала, будто здесь применимы какие-то обычные причины для отказа. Я ее единственный ребенок, работы у нее не было — по крайней мере, тогда, — и она едва ли разговаривала со всей остальной своей родней. С моей точки зрения, времени у нее хоть отбавляй. Однако я никак не могла добиться ее полного подчинения! Самое раннее мое ощущение от нее — это женщина, замыслившая побег, от меня, от самой роли материнства. Я очень жалела отца. Он все еще был сравнительно молод, он ее любил, ему хотелось еще детей — таковы были их ежедневные споры, — но именно по этому поводу и ни по какому другому мать моя уступать отказывалась. Ее мать нарожала семерых детей, ее бабушка — одиннадцать. Ко всему этому возвращаться она не намерена. Она считала, что мой отец хочет еще детей, чтобы поймать ее в ловушку, и в этом, по сути, была права, хотя ловушка в данном случае была лишь другим обозначением любви. Как же он ее любил! Больше, чем она знала или ей хотелось знать, она жила в собственной грезе, она допускала, что все вокруг постоянно чувствуют так же, как и она сама. И потому, когда мать начала — сперва медленно, затем все быстрее — перерастать моего отца, и интеллектуально, и личностно, само собой она рассчитывала, что он одновременно претерпевает то же самое. А он продолжал жить, как раньше. Заботился обо мне, любил ее, старался не отставать, читал «Коммунистический манифест» — по-своему, медленно и прилежно.

— Некоторые носят с собой Библию, — гордо говорил он мне. — Вот

моя библия. — Звучало внушительно — этому полагалось произвести впечатление на мать, — но я уже заметила, что он, похоже, вечно читает только эту книжку, а больше ничего, он брал ее с собой на все танцевальные занятия, однако так и не продвинулся дальше двадцатой страницы. В контексте их брака то был романтический жест: они столкнулись на сходке Социалистической рабочей партии^[11] в Доллис-Хилле. Но даже это было формой недопонимания, поскольку отец мой наведывался туда знакомиться с приятными девушками-левачками в коротких юбках и не верящих в бога, а моя мать там была действительно из-за Карла Маркса. Все мое детство прошло в этой расширяющейся пропасти. Я смотрела, как мать-самоучка быстро, легко перегоняет отца. Полки у нас в гостиной — которые он построил — заполнялись поддержанными книгами, учебниками Открытого университета^[12], книгами по политике, истории, о расах, гендере, «все эти — измы», как нравилось их называть отцу, когда к нам случалось зайти соседу и обратить внимание на такое странное собрание.

Суббота у нее была «выходным днем». Выходным от чего? От нас. Ей требовалось читать свои — измы. После того, как отец отводил меня на танцы, нам следовало как-то продолжать, находить, чем заняться, не появляться в квартире до ужина. Ритуалом у нас стало ездить на целой череде автобусов на юг, забираться гораздо южнее реки, к моему дяде Лэмберту, маминому брату и наперснику отца. Он был самым старшим маминым родственником, единственным, кого я вообще видела из всей ее родни. Он воспитал мою мать и остальных ее братьев и сестер, еще на острове, когда их мать уехала в Англию работать уборщицей в доме престарелых. Он знал, с чем моему отцу приходится сталкиваться.

— Я делаю шаг ей навстречу, — слышала я отцовы жалобы как-то раз, в самый разгар лета, — а она сдает назад!

— Ничто тут не поделать. Дак всегда такая была.

Я сидела в огороде, среди помидоров. Просто выгородка вообще-то, ничего особо декоративного или достойного любования, все это предназначалось в пищу и росло длинными прямыми рядами, привязанное к бамбуковым палкам. В конце располагалась уборная — последняя, какую я видела в Англии. Дядя Лэмберт и мой отец сидели в шезлонгах у задней двери, курили марихуану. Они были старые друзья — только Лэмберт присутствовал на свадебной фотографии моих родителей, — и у них была общая работа: Лэмберт был почтальоном, а мой отец служил управляющим отдела доставки Королевской почты. У обоих — невозмутимое чувство

юмора и общая нехватка амбиций: и на то, и на другое мать моя смотрела неодобрительно. Пока они курили и сокрушались о том, чего нельзя делать с моей матерью, я водила руками по плетям помидоров, давала им накручиваться мне на запястья. Почти все растения Лэмберта казались мне угрожающими — вдвое выше меня, и все, что бы он ни сажал, неизбежно дичало: чащоба лиан, высокая трава, непристойно разбухшие тыквы-горлянки. В Южном Лондоне почва получше — у нас в Северном она слишком глинистая, — но я в то время про такое ничего не знала, и представления у меня были спутанными: я думала, что, приезжая в гости к Лэмберту, я навещаю Ямайку, огород Лэмберта был для меня Ямайкой, он пах Ямайкой, там можно было есть кокосовый лед, и даже теперь, в воспоминаниях, в огороде у Лэмберта всегда жарко, а я хочу пить и боюсь насекомых. Огород длинный и узкий, смотрит на юг, сортир подпирает собой забор справа, поэтому видно, как за него заваливается солнце, и воздух при этом рябит. Мне очень хотелось в туалет, но я решилась держаться, пока мы снова не увидим Северный Лондон: та уборная меня пугала. Пол в ней был деревянный, а между досок росло всякое, стебли травы, чертополох, пушистые одуванчики, пачкавшие пухом колено, когда взбираешься на сиденье. Углы соединялись паутинами. То был огород изобилия и тлена: помидоры перезрелые, марихуана слишком крепкая, под всем прятались мокрицы. Лэмберт жил там совсем один, и мне чудилось, что это место умирания. Даже в том возрасте мне казалось странным, что мой отец готов ехать восемь миль к Лэмберту за утешеньем, когда сам Лэмберт уже пострадал от той брошенности, которой так сильно боялся отец.

Устав бродить меж овощных рядов, я возвращалась через огород и смотрела, как двое мужчин прячут свои косяки — скверно, в кулаках.

— Нудно тебе? — спрашивал Лэмберт. Я признавалась, что да. — Было дело в доме прорва мелюзги, — говорил Лэмберт, — а теперь у ребятни своя ребятня.

У меня возникал образ: дети моего возраста с младенцами на руках — такую судьбу я и связывала с Южным Лондоном. Я знала, что мать уехала из дому, чтобы всего этого избежать, чтоб никакая ее дочка не стала бы ребенком с ребенком, поскольку любой ее дочке полагалось добиться большего, чем просто выжить, — как и моей матери — ей надлежало преуспеть, овладев множеством необязательных навыков вроде чечетки. Отец тянулся ко мне, и я заползала к нему на колени, накрывала его растущую плешь ладошкой и перебирала тонкие прядки влажных волос, которые он на нее зачесывал.

— Она робеет, э? А дядю Лэмберта не робеешь?

Глаза у Лэмберта были налиты кровью, и веснушки у него — совсем как у меня, только выступали; лицо круглое и милое, а светло-карие глаза предположительно подтверждали китайскую кровь в родословной. Но я робела перед ним. Моя мать, никогда не навещавшая Лэмберта, даже на Рождество, странно настаивала, чтобы это делали мы с отцом, хотя всегда при условии, чтоб мы держали ухо востро и не давали «втащить себя обратно». Куда? Я обертывалась вокруг отцова тела, пока не оказывалась у него сзади и не видела тот клочок волос, что он оставлял длинным на затылке — и решительно отказывался состригать. Когда ему еще не исполнилось и сорока, я никогда не видела отца без лысины, не знала его блондином — и никогда не узнала бы, как он седеет. Знала я этот фальшивый орехово-бурый оттенок, что оставался на пальцах, когда его касаешься, который видела в истинном его источнике — круглой плоской банке, стоявшей открытой на бортике ванны, с маслянистым бурым кольцом, бежавшим по ободу, истертой до проплешины в середине, совсем как у моего отца.

— Ей нужно общество, — ворчал он. — Книга не годится, да? Фильм не годится. Настоящее нужно.

— Нитчо с енттой женщиной не сделаешь. Енто я знал, пока она ишшо мелкой была. Воля у ней — железная воля.

То была правда. Ничего с ней нельзя было поделать. Когда мы возвращались домой, она смотрела лекцию Открытого университета, в руках — блокнот и карандаш: красивая, безмятежная, свернулась на диване, подоткнув голые ноги под попу, но, когда поворачивалась, я замечала, что она раздосадована, мы слишком рано вернулись, ей хотелось больше времени, больше покоя, больше тишины, чтобы можно было учиться. Мы были вандалами в храме. Она изучала социологию и политику. Мы не знали, зачем.

Четыре

Если Фред Астэр олицетворяет аристократию, я олицетворяю пролетариат, говорил Джин Келли^[13], и по этой логике моим танцором на самом деле должен был стать Билл Робинсон по кличке «Бодженглз», ибо танцевал Бодженглз для гарлемского денди, для пацана из гетто, для издольщика — для всех потомков рабов. Но для меня танцор — человек из ниоткуда, ни родителей у него, ни братьев и сестер, ни нации, ни народа, никаких обязательств никакого сорта — и вот это свойство я как раз и обожала. Все же остальное, все подробности — отпадали. Я не обращала внимания на нелепые сюжеты тех кинокартин: оперные входы и выходы, перемены судеб, пикантные неправдоподобные встречи и совпадения, на менестрелей^[14], горничных и дворецких. Для меня все они были только путями, ведущими к танцу. Сюжет — цена, какую платишь за ритм. «Слышь-ка, малец, это чух-чух на Чаттанугу?»^[15] Каждый слог обретал соответствующее движение в ногах, животе, спине, стопах. На балетном часе, напротив, мы танцевали под классические произведения — «белую музыку», как прямолинейно называла ее Трейси, которую мисс Изабел записывала с радио на кассеты. Но музыку в этом я едва ли могла признать — там не было различимого на слух тактового размера, и, хотя мисс Изабел старалась нам помочь, выкрикивая ритм каждого такта, мне никогда не удавалось как-то соотнести эти числа с морем мелодии, что омывало меня от скрипок или сокрушительного топота духовой секции. Я все равно понимала больше Трейси — знала, что в ее негибких представлениях что-то не так: черная музыка, белая музыка, — что где-то должен быть мир, в котором сочетаются та и другая. В фильмах и на фотографиях я видела, как за своими роялями сидят белые мужчины, а рядом стоят черные девушки и поют. О, я хотела стать, как те девушки!

В четверть двенадцатого, сразу после балета, посреди нашего первого перерыва в зал входил мистер Бут с большой черной сумкой — такие некогда носили сельские врачи, — и в сумке этой он нес ноты для наших занятий. Если я бывала свободна — что означало, если я могла оторваться от Трейси, — я спешила к нему, шла за ним по пятам, покуда он медленно приближался к пианино, а затем располагалась рядом, как те девушки, кого я видела на экране, и просила его сыграть «Меня целиком», или «Осень в Нью-Йорке», или «42-ю улицу»^[16]. На занятиях чечеткой ему приходилось исполнять полдюжины одних и тех же песен снова и снова, и мне

приходилось под них танцевать, но перед началом — пока все остальные в зале деловито разговаривали, ели, пили — мы были предоставлены сами себе, и я убеждала его прогнать вместе со мной песенку, а сама пела тише пианино, если робела, и чуть громче, если нет. Иногда я пела, а родители, курившие снаружи под вишнями, заходили в зал послушать, и девочки, увлеченно готовившиеся к собственным танцам, — они натягивали трико, завязывали ленточки — бросали это делать и поворачивались на меня посмотреть. Я начала осознавать, что в моем голосе — если я намеренно не пела тише пианино — было что-то привлекательное, оно притягивало людей. То был не технический дар: диапазон у меня был крошечный. Все дело — наверняка в эмоциях. Что бы я ни чувствовала, мне удавалось ясно это выразить — «донести». Печальные песни у меня были очень печальными, а счастливые — очень радостными. Когда настала пора наших «исполнительских экзаменов», я научилась пользоваться голосом как отвлекающим маневром — так некоторые фокусники заставляют вас смотреть на их рот, а надо бы следить за руками. Но Трейси обвести вокруг пальца я не могла. Сходя со сцены, я видела, как она стоит за кулисами, скрестив на груди руки и задрав нос. Хотя она вечно всех и обставляла, а пробковая доска на кухне у ее матери вся была увешана золотыми медалями, ее это никогда не удовлетворяло: золота ей хотелось и в «моей» категории — песня и танец, — пускай спеть она не могла почти ни единой ноты. Такое трудно понять. Я правда ощущала, что, умей я танцевать, как Трейси, мне б ничего больше на свете и нужно бы не было. У других девочек ритм жил в конечностях, у некоторых — в бедрах или маленьких попках, а у нее ритм обитал в отдельных связках, может даже — в самих клетках. Всякое движение у нее получалось четко и точно, на такое любому ребенку не грех надеяться, тело ее могло подстраиваться под любой тактовый размер, сколь бы сложным тот ни казался. Возможно, стоило сказать, что она порой бывала чересчур точна, не особенно изобретательна или что ей не хватало души. Но никто в здравом уме не мог оспаривать ее технику. Я была — и до сих пор — под впечатлением от техничности Трейси. Она знала, что и когда именно нужно делать.

Пять

Воскресенье в конце лета. Я стояла на балконе, смотрела, как несколько девчонок с нашего этажа прыгают через двойную скакалку возле мусорных баков. Услышала, как меня позвала мать. Посмотрела — она только входила во двор рука об руку с мисс Изабел. Я помахала, и она задрала голову, улыбнулась и крикнула:

— Никуда не уходи! — Я никогда раньше не видела мать и мисс Изабел вместе, только на занятиях, и даже с этой верхотуры могла определить, что мисс Изабел к чему-то склоняют. Мне хотелось сходить и посоветоваться с отцом, который красил стену в гостиной, но я знала свою мать — она, такая чарующая с чужими, быстро раздражалась с родней, и это ее «Никуда не уходи!» означало, что я и не должна. Я смотрела, как эта странная парочка идет по двору, заходит в подъезд, преломляясь в стеклоблоках разбросом желтого, розового и буровато-деревянного. Меж тем девчонки у мусорных баков принялись крутить скакалки в другую сторону, в коварную их качкую петлю храбро вбежала новая прыгунья, и они завели новый напев — про мартышку, которую задушили^[17].

Наконец мать добралась до меня, осмотрела всю — вид у нее при этом был жеманный, — и первым делом произнесла:

— Разувайся.

— Ой, да сразу вовсе не нужно, — пробормотала мисс Изабел, но мать моя ответила:

— Лучше знать сразу, чем потом, — и скрылась в квартире, а минуту спустя вышла снова с большим мешком блинной муки, которой тут же принялась посыпать весь балкон — так, что весь его устлал тонкий белый ковер, словно первым снегом занесло. Мне следовало пройти по нему босиком. Я подумала о Трейси. Мисс Изабел что, по очереди ходит домой ко всем девочкам? Ну и пустая же трата муки! Мисс Изабел присела на корточки. Мать оперлась на ограждение балкона, поставив локти на перила, и закурила сигарету. Стояла она под углом к балкону, а сигарета была под углом к ее рту, и на ней был берет, как будто носить берет — самое естественное дело на свете. Расположилась она под углом ко мне — под ироническим углом. Я дошла до другого конца балкона и оглянулась на свои следы.

— Ах, ну вот и мы, — сказала мисс Изабел, хотя где это мы? В стране плоскостопия. Моя учительница стянула с ноги туфлю и для сравнения

прижала стопу рядом с моим следом: на ее отпечатке видны были только пальцы, подушечка стопы и пятка, на моем — полный, плоский отпечаток человеческой подошвы. Мою мать этот результат очень заинтересовал, но мисс Изабел, видя мое лицо, сказала что-то доброе: — Балетному танцору нужен свод стопы, да, но чечетку можно танцевать и с плоскостопием, ну, и ты, конечно, сможешь. — Я не сочла это правдой, но прозвучало подобному, и я вцепилась в ее слова и не перестала ходить на занятия, а потому продолжала видеться с Трейси — а именно это, как мне пришло в голову потом, и пыталась прекратить моя мать. Она пришла к выводу, что, поскольку мы с Трейси ходим в разные школы в разных районах, вместе нас сводят только занятия танцами, но, когда настало лето и танцы кончились, ничего уже не изменилось — мы сближались все равно, а к августу встречались чуть ли не каждый день. Со своего балкона мне был виден ее двор — и наоборот, не нужно было ни звонить, ни как-то формально договариваться, и хотя матери наши едва удостаивали друг друга кивков при встрече на улице, нам стало как-то естественно то и дело заскакивать друг к дружке домой.

Шесть

В квартирах друг у друга мы вели себя по-разному. У Трейси играли и пробовали новые игрушки — их запас, похоже, никогда не истощался. Каталог «Аргоса»^[18], со страниц которого мне разрешалось выбирать себе три недорогие вещи к Рождеству и одну вещь на день рождения, для Трейси был каждодневной библией — она читала его истово, обводила выбранное, часто — при мне, красной ручкой, которую специально для этого держала. Спальня ее — откровение. Она переворачивала все, что, как мне казалось, я понимала в нашей с ней общей ситуации. Кровать у нее была в форме розовой спортивной машины Барби, занавески — с оборками, все шкафчики — белые и сверкали, а посреди комнаты, похоже, кто-то попросту опрокинул на ковер сани Санты. Сквозь игрушки нужно было *пробираться*. Сломанные составляли нечто вроде дна морского, а сверху на ней одна за другой размещались новые волны приобретений, археологическими слоями, более-менее соответствовавшими рекламе, какую производители игрушек в то или иное время крутили по телевизору. То лето было летом писающей куклы. Ее поишь водой, и она повсюду писает. У Трейси было несколько разновидностей этого поразительного технического устройства, и она могла извлекать из них всевозможные драмы. Иногда за то, что писается, она куклу била. Иногда сажала, голую и пристыженную, в угол, пластиковые ноги под прямыми углами вывернуты относительно маленькой попки в ямочках. Мы с ней играли в родителей бедного дитя с недержанием, и Трейси назначала мне в сценарии такие реплики, в каких я слышала странные, смущающие отзвуки ее собственной жизни дома — ну или множества «мыльных опер», что она смотрела, — поди пойми.

— Твоя очередь. Говори: «Ты профура — она вообще не мой ребенок! Разве я виноват, что она ссытается?» Давай, твоя очередь!

— Ты профура — она вообще не мой ребенок! Разве я виноват, что она ссытается?

— «Слышь, дружок, вот ты ее и забирай! Забирай себе, и поглядим, как ты справишься!» А теперь говори: «Да щас, солнышко!»

Однажды в субботу с немалым волнением я упомянула при матери о существовании писающих кукол, тщательно заменив слово «писать» на «мочиться». Мать училась. Оторвалась от книг — со смесью неверия и отвращения на лице.

- У Трейси такая есть?
- У Трейси таких *четыре*.
- Подойди-ка сюда.

Она раскрыла мне руки, и я ощутила свое лицо у кожи ее груди, тугой и теплой, совершенно живой, как будто внутри у матери была вторая, изящная молодая женщина — рвалась на волю. Она отращивала волосы, ей недавно «сделали прическу» — заплели их на затылке в зрелищную форму рапана, словно скульптура.

- Знаешь, что я сейчас читаю?
- Нет.
- Я читаю о санкофе^[19]. Знаешь, что это?
- Нет.

— Это птица, она оборачивается и смотрит на себя, вот так. — Она выгнула шею, отводя красивую голову как можно дальше. — Из Африки. Смотрит назад, в прошлое, и учится у того, что было прежде. А некоторые люди никогда не учатся.

Отец мой находился в крохотной кухоньке-камбузе, безмолвно что-то готовил — у нас дома шеф-поваром был он, — и разговор этот на самом деле предназначался для него, он должен был его слышать. Они с отцом тогда начали вздорить так сильно, что я часто становилась единственным проводником, по которому могла передаваться информация, порой — жестоко: «Объясни своей матери» или «Можешь передать от меня своему отцу», — а иногда вот так, с деликатной, чуть ли не прекрасной иронией.

— А, — сказала я. Я не видела никакой связи с писающими куклами. Я знала, что мать моя претерпевала преображение — ну, или пыталась преобразиться — в «интеллектуалку», поскольку отец часто швырялся в нее этим понятием как оскорблением, если они ссорились. Но вообще-то я не понимала, что это значит, — ну, может, понимала только: интеллектуал — тот, кто учится в Открытом университете, любит носить берет, часто произносит фразу «Ангел Истории»^[20], вздыхает, если остальная его семья в субботу вечером желает смотреть телик, и останавливается поспорить с троцкистами на Килбёрн-Хай-роуд, когда все остальные переходят через дорогу, чтобы с ними не встречаться. Но главное следствие подобного преобразования — для меня — заключалось в новых и озадачивающих окольных путях, какие она выбирала в разговоре. Казалось, она постоянно отпускает взрослые шуточки через мою голову — чтобы развлечься самой или досадить моему отцу.

- Когда ты с этой девочкой, — пояснила мать, — играть с ней — дело

доброе, но ее воспитали определенным образом, и у нее есть только настоящее. Тебя же воспитывали иначе — не забывай этого. Ваш дурацкий танцкласс — ее единственный мир. Она в этом не виновата — так ее воспитали. А ты — умная. Не важно, если у тебя плоскостопие, не важно это — *потому что ты умная* и знаешь, откуда ты произошла и куда направляешься.

Я кивнула. Я слышала, как мой отец выразительно гремит кастрюлями.

— Ты не забудешь того, что я только что сказала?

Я пообещала, что не забуду.

В нашей квартире вообще не было кукол, поэтому, когда приходила Трейси, ей требовалось перенимать другие привычки. Здесь мы писали, несколько неистово, в чередѣ желтых линованных блокнотов формата А4, которые отец приносил домой с работы. Это был совместный проект. Трейси из-за своей дислексии — хотя мы тогда еще не знали, что она так называется, — предпочитала диктовать, я же изо всех сил пыталась не отставать от естественно мелодраматических изгибов и поворотов ее ума. Почти все наши истории повествовали о жестокой и шикарной приме-балерине с Оксфорд-стрит: она в последнюю минуту ломает ногу, что дает возможность нашей отважной героине — зачастую презренной костюмерше или скромной уборщице театральных туалетов — занять ее место и спасти положение. Я заметила, что они всегда блондинки, эти отважные девушки, с волосами «как шелк» и большими голубыми глазами. Однажды я попробовала написать «карие глаза», а Трейси забрала у меня ручку и вычеркнула. Писали мы, лежа на животе, растянувшись на полу моей комнаты, и если к нам случалось заглянуть моей матери и увидеть нас в таком виде, в эти редкие разы она смотрела на Трейси хоть с чем-то напоминающим приязнь. Я пользовалась такими моментами, чтобы выторговать новые уступки для своей подруги: можно Трейси остаться на чай? можно Трейси остаться ночевать? — хоть и знала, что, если мать когда-нибудь задержится подольше и успеет прочесть то, что мы написали в своих желтых блокнотах, Трейси потом и на порог квартиры не пустят. В нескольких рассказах «в тених таились» африканские мужчины с железными прутьями — разбивать коленные чашечки лилейно-белых танцорок; в одной истории у примы обнаруживалась ужасная тайна: она была «полукровкой» — это слово я записывала с дрожью, поскольку из своего опыта знала, до чего оно злит мою мать. Но пусть мне и было тягостно из-за таких подробностей, на фоне наслаждения от нашего сотрудничества они были мелким скандалѣцем. Меня крайне увлекали

истории Трейси, я до безумия влюблялась в их нескончаемое откладывание повествовательного удовлетворения, чего опять же она, возможно, нахватывалась из «мыла», а то и извлекала из трудных уроков, какие ей преподавала собственная жизнь. Ибо стоило только подумать, что счастливый конец не за горами, Трейси отыскивала какой-нибудь чудесный способ его уничтожить или отвести в сторону, поэтому миг консумации — который для нас обеих, думаю, просто означал, что публика вскакивает на ноги и ликует, — похоже, не наступал никогда. Жалко, что у меня больше нет этих блокнотов. Из всех тысяч слов, что написали мы о балеринах в различных видах физической опасности, со мной осталась лишь одна фраза: «Тиффани высоко подскочила поцеловать своего принца и вытянула носки о как сексапильно она выглядела но тут как раз пуля впилась ей прямо в бедро».

Семь

Осенью Трейси пошла в свою женскую школу в Низдене, где почти все девочки были индианками или пакистанками — и необузданными: я порой видела тех, кто постарше, на автобусной остановке, формы на них подогнаны — блузки расстегнуты, юбки поддернуты, они кричали непристойности проходившим мимо белым парням. Грубая школа, много дерутся. Моя же, в Уиллздене, была помягче, более смешанная: половина черных, четверть белых, четверть южных азиатов. Из черной половины по крайней мере треть была «полукровками», национальное меньшинство в нации, хотя, если по правде, меня раздражало их замечать. Мне хотелось верить, что мы с Трейси — сестры и родственные души, одни на всем белом свете и по-особому нуждаемся друг в друге, но сейчас я не могла не видеть перед собой множество разных детей, к кому моя мать все лето меня подталкивала, девочек сходного происхождения, но, как утверждала мать, у них «горизонты пошире». Там была девочка по имени Таша, наполовину гайанка, наполовину тамилка, чей отец был настоящим «тамильским тигром»^[21], что производило на мою мать огромное впечатление и тем самым только укрепляло во мне желание вообще никогда не иметь ничего общего с этой девочкой. Была там девочка с торчащими зубами, звали ее Ири — всегда первая в классе, родители у нее были такие же, как у нас, но она переехала из жилмассива и теперь жила на Уиллзден-Грин в шикарном маленьком домике. Была девочка Анушка с отцом из Сент-Люсии и русской матерью, чей дядя, если верить моей матери, был «самым важным революционным поэтом в Карибском регионе», но почти все слова в такой рекомендации были мне непонятны. Думала я отнюдь не о школе и не о тех, кто туда ходил. На игровой площадке я втыкала кнопки в подошвы туфель и порой всю получасовую перемену танцевала одна, довольная и без друзей. А когда мы добирались домой — раньше матери, а следовательно — вне ее юрисдикции, — я бросала ранец, оставляла отца готовить ужин и направлялась напрямик к Трейси, вместе отрабатывать танцевальные шаги у нее на балконе, за чем следовало по миске «Ангельского восторга»^[22], который был «не еда» для моей матери, а по моему мнению — все равно вкусный. Когда я уже возвращалась домой, прения, чьи две стороны больше никогда не примирялись, оказывались в полном разгаре. Отца моего заботил какой-нибудь мелкий хозяйственный вопрос: что кто когда пылесосил, кто ходил — или должен был пойти — в

прачечную. Мать же моя, отвечая ему, выбредала на совсем другие темы: важность наличия революционного сознания, или относительная незначительность половой любви рядом с народной борьбой, или наследие рабства в сердцах и умах молодежи, и тому подобное. Она к этому времени уже сдала экзамены по программе средней школы повышенной сложности, поступила в Миддлсексский политехнический аж в Хендоне, и мы как никогда прежде не могли за нею угнаться, мы ее разочаровывали, ей опять приходилось растолковывать понятия.

У Трейси же голоса повышали только в телевизоре. Я знала, что мне полагается жалеть Трейси за то, что она безотцовщина — эта напасть метила в нашем коридоре двери через одну, — и быть благодарной за обоих своих родителей в семье, но когда б ни сидела я на ее громадном диване, обитом белой кожей, поглощая «Ангельский восторг» и мирно смотря «Пасхальный парад» или «Красные туфельки»^[23] — мать Трейси терпела лишь техникolorные мюзиклы, — я не могла не замечать безмятежности их маленького, полностью женского хозяйства. Дома у Трейси разочарование в мужчинах было историей древнего мира: на самом деле никогда не возлагали они на мужчину никаких надежд, ибо его почти никогда не бывало дома. Никого не удивляла неспособность отца Трейси разжечь революцию или вообще сделать что бы то ни было. Однако Трейси хранила крепкую верность его памяти, скорее готова была защищать своего отсутствующего отца, нежели я — сказать что-нибудь хорошее о своем, целиком и полностью заботливом. Когда б ее мать ни принималась его поносить, Трейси непременно заводила меня к себе в комнату или какой-нибудь другой укромный уголок и быстро объединяла все сказанное матерью с собственной официальной историей, которая заключалась в том, что отец ее не бросил, вовсе нет, он просто очень занят, потому что танцует в группе у Майкла Джексона. Немногие сравнятся с Майклом Джексонем, когда он танцует, — вообще-то почти никто и не может, на всем белом свете, наверное, танцорам двадцати это по плечу. Отец Трейси — один из них. Ему не пришлось даже прослушивание завершить — танцевал он так хорошо, что они сразу это поняли. Потому-то его почти никогда и нет дома: у него вечные мировые гастроли. В следующий раз появится дома, видимо, к следующему Рождеству, когда Майкл будет выступать в Уэмбли. В ясный день этот стадион просматривался с балкона Трейси. Трудно сказать, насколько я верила этим рассказам — уж точно что-то во мне знало: Майкл Джексон, наконец избавившись от всей своей семейки, танцевал теперь один, — но, как и сама Трейси, этой темы при ее матери я не затрагивала. Как факт у меня в уме это было и совершеннейшей правдой, и

очевиднейшей неправдой; вероятно, лишь дети способны встраивать в себя такие двуличные факты.

Восемь

Я была у Трейси, мы смотрели «Вершину популярности»^[24], когда стали показывать ролик «Триллера»^[25] — мы все видели его впервые. Мать Трейси очень разволновалась: не вполне привстав, она принялась безумно танцевать, подскакивая в складках своего кресла.

— Давайте, девочки! Покажите себя! Шевелитесь, валяйте! — Мы отклеились от дивана и заскользили взад-вперед по ковру, я — скверно, Трейси — с некоторым уменьем. Мы кружились, задирали правые ноги, оставляя стопу болтаться, как у куклы, мы дергались своими зомбическими телами. Столько новых сведений: красные кожаные брюки, красная кожаная куртка, то, что некогда было афро, теперь превратилось во что-то большее, нежели кудряшки даже у Трейси! И, разумеется, там была эта хорошенькая смуглая девушка в синем, потенциальная жертва. Она тоже «полукровка»?

«Из-за своих твердых личных убеждений желаю подчеркнуть, что этот фильм ни в коей мере не одобряет веру в оккультное».

Так было написано в титрах в самом начале — слова самого Майкла, но что они значили? Мы понимали только серьезность этого слова — «фильм». То, что мы сейчас смотрели, было вовсе не музыкальным видеоклипом — то было произведение искусства, которое по-настоящему полагается смотреть в кинотеатре, это на самом деле мировое событие, трубный глас. Мы были современны! Это современная жизнь! В общем и целом я чувствовала себя вдалеке от современной жизни и той музыки, к которой она прилагалась: мать превратила меня в птицу-санкофу, — но так случилось, что отец рассказал мне о том, как сам Фред Астэр однажды пришел к Майклу домой, как простой ученик, и умолял Майкла научить его «лунной походке»^[26], и для меня в этом был смысл, даже теперь есть, ибо великий танцор — он вне времени, вне поколений, он вечно движется по белу свету, поэтому любой танцор в любой эпохе может его узнать. Пикассо был бы непонятен Рембрандту, а вот Нижинский понял бы Майкла Джексона.

— Не прекращайте, девочки, — вставайте! — кричала мать Трейси, когда мы на миг остановились у дивана передохнуть. — Не останавливайтесь, пока не надоест! Шевелитесь! — Какой же длинной казалась эта песня — дольше жизни. Я думала, она никогда не кончится, мы попали в петлю времени, и нам придется эдак демонически танцевать

вечно, как бедной Мойре Ширер в «Красных туфельках»: «Время проносится, любовь проносится, жизнь проносится, а красные туфельки танцуют себе...» Но потом все закончилось. — Это было, блядь, бесценно, — вздохнула мать Трейси, забывшись, а мы поклонились и убежали в комнату к Трейси.

— Ей очень нравится, когда она его видит по телевизору, — по секрету сообщила мне Трейси, когда мы с ней остались одни. — От этого их любовь крепче. Она его видит и знает, что он по-прежнему ее любит.

— А который он был из них? — спросила я.

— Второй ряд в конце, справа, — ответила Трейси, ни на миг не задумавшись.

Я не пыталась — это было невозможно — объединить эти «факты» об отце Трейси с теми редкими случаями, когда я действительно видела его: первый раз был самым жутким, в начале ноября, вскоре после того, как мы впервые посмотрели «Триллер». Мы все втроем были на кухне, пытались приготовить картошку в мундире, фаршированную сыром и беконом, собирались завернуть картофелины в фольгу и взять их с собой в парк Раундвуд, где будем смотреть фейерверк. Кухни в домах жилмассива Трейси были еще меньше, чем у нас: если открыть дверцу духовки, она чуть не царапает стену напротив. Чтобы там одновременно разместились три человека, одному — в нашем случае Трейси — приходилось сидеть на буфете. Ее задачей было выскребать картошку из шкурки, моей — я стояла рядом — смешивать картошку с тертым сыром и кусочками бекона, нарезанными ножницами, а затем ее мать уминала все это обратно в шкурку и снова ставила в духовку подрумяниться. Несмотря на постоянные намеки моей матери, что мать Трейси неряха, магнит для хаоса, я убедилась, что кухня у нее и чище, и организованней, чем у нас. Еда никогда не бывала особо полезной, однако готовилась она серьезно и заботливо, моя же мать, стремившаяся к здоровому питанию, и четверти часа не могла провести на кухне без того, чтоб не дойти до какой-то маниакальной жалости к себе, и довольно скоро весь плохо продуманный эксперимент (приготовить вегетарианскую лазанью, сделать «что-нибудь» с бамией) становился для всех до того мучительным, что она поднимала бучу на ровном месте и с криками убегала. В итоге мы снова ели «Хрустящие блинчики Финдус»^[27]. У Трейси же все было проще: сразу начинаешь с ясного намерения приготовить «Хрустящие блинчики Финдус», или пиццу (из замороженной), или сардельки с чипсами, и все выходит вкусно, и никто по этому поводу не орет. Та картошка была особым лакомством —

традиция для Ночи с Фейерверком^[28]. Снаружи уже стемнело, хотя времени всего пять часов дня, и по всему жилмассиву пахло порохом. В каждой квартире имелся частный арсенал, и случайные хлопки и мелкие точечные возгорания начались еще двумя неделями раньше, как только в кондитерских лавках начинали торговать фейерверками. Никто не ждал официальных событий. Жертвами этой общей пиромании обычно становились кошки, но время от времени в травмпункт отправлялся и кто-нибудь из детей. Из-за всего этого треска — а к такой стрельбе мы привыкли — поначалу стук в наружную дверь к Трейси не распознал, но потом мы слышали, как кто-то полуорет, полусшепчет, и мы поняли, что там друг с другом воюют паника и осторожность. Голос был мужской, он повторял:

— Впусти меня. Пусти меня! Ты там? Открывай, женщина!

Мы с Трейси уставились на ее мать, которая в ответ уставилась на нас, держа в руке противень идеально нафаршированной картошки. Не глядя, что делает, она попробовала опустить противень на стойку, не рассчитала, уронила.

— Луи? — произнесла она.

Потом схватила нас обеих, стащила Трейси со стойки, мы наступили на картошку. Она проволокла нас по коридору и втокнула в комнату к Трейси. Нам и шевелиться-то запретили. Она закрыла дверь и оставила нас одних. Трейси тут же подошла к своей кровати, забралась в постель и принялась играть в «Пэк-Мена». На меня не смотрела. Ясно было, что я ничего не могу у нее спросить — даже то, что не отца ли ее звать Луи. Я стояла там, куда меня поставила ее мать, и ждала. В доме у Трейси я никогда такой свары не слыхала. Кем бы ни был этот Луи, его теперь впустили — или же он ворвался, — и «блядь» произносилось через слово, а еще раздавались громкие раскатистые удары: он переворачивал мебель, — звучал жуткий женский вой, как лиса кричала. Я стояла у двери и смотрела на Трейси, которая по-прежнему лежала, укрывшись на своей Барби-кровати, но, казалось, не слышала то, что слышала я, и даже вроде бы не помнила, что я здесь: она не отрывалась от «Пэк-Мена». Десять минут спустя все закончилось: мы слышали, как хлопнула входная дверь. Трейси оставалась в постели, а я стояла на месте, как будто меня туда вкопали, не в силах даже пошевелиться. Немного погодя в дверь легонько постучали, и вошла мать Трейси, розовая от слез, с подносом «ангельских восторгов», таких же розовых, как ее лицо. Мы посидели и съели их, без единого слова, а потом отправились смотреть фейерверк.

Девять

У наших знакомых матерей наблюдалась некая безалаберность — или так это выглядело снаружи, но мы-то знали ее под другим именем. Учителям в школе, вероятно, казалось, что матерям уж так наплевать, что они даже не приходят на родительские собрания, где за партами сидели в ряд учителя, глядя в пространство, терпеливо ожидая матерей, которые так и не являлись. И я могу понять, что матери наши и впрямь могли показаться безалаберными, когда учитель им сообщал о какой-нибудь проказе на игровой площадке, а они, вместо того чтобы отчитать дитя, принимались орать на учителя. Мы же понимали своих матерей немного лучше. Мы знали, что они в свое время боялись школы так же, как мы боимся ее сейчас, боялись произвольных правил — и стыдились их, стыдились новой школьной формы, которая была им не по карману, непостижимой одержимости тишиной, беспрестанного исправления их изначальных выговоров патуа или кокни, ощущения, что они все равно никогда ничего правильно не сделают. Глубокая тревожность за то, что «их отчитают» — за то, кто они, за то, что они натворили или не выполнили, а теперь и за проступки их детей, — страх этот никогда вообще-то не оставлял наших матерей: многие из них стали нашими матерями, когда сами еще были почти детьми. И потому «родительское собрание» у них в уме было не так далеко от «оставления после уроков». Оно по-прежнему было тем местом, где их могли опозорить. Разница лишь в том, что теперь они взрослые и их туда идти не заставить.

Я говорю «наши матери», но моя, разумеется, была другой: гнев в ней присутствовал, а вот стыд — нет. Она ходила на родительские собрания всегда. В тот год оно почему-то проводилось в День святого Валентина: вестибюль был вяло украшен розовыми бумажными сердечками, приклепленными к стенам, а на каждой парте красовалась вялая розочка из мятой папиросной бумаги, насаженная на зеленый трубочный ершик. Я тащила за матерью, пока она обходила весь зал, задирая учителей, не обращая внимания на любые их попытки обсудить мои успехи — вместо этого она устраивала череду импровизированных лекций о некомпетентности школьной администрации, слепоте и глупости местного совета, отчаянной нужде в «цветных учителях»: тогда-то, думаю, я и услышала впервые новый эвфемизм «цветной». Те бедные учителя вцеплялись в края парт и держались за них изо всех сил. В какой-то миг,

чтобы подчеркнуть тезис, мать стукнула кулаком по парте, бумажная роза упала и множество карандашей раскатилось по полу:

— Эти дети заслуживают большего! — Не конкретно я — «эти дети». До чего же отлично я помню, как она это сделала, и до чего чудесно выглядела при этом — как королева! Я гордилась, что я — ее ребенок, дочь единственной матери в этом районе, кому не стыдно. Мы вместе вынеслись из зала, мать моя торжествовала, я была ошеломлена, ни она, ни я ни сном ни духом не ведая о том, каковы мои успехи в учебе.

Помню, правда, один случай стыда — за несколько дней до Рождества, под вечер в субботу, после занятий танцами, после Лэмберта: я у себя дома смотрела номер Фреда и Рыжей «Вставай на ноги»^[29] вместе с Трейси, снова и снова. У Трейси была мечта когда-нибудь повторить весь этот номер самостоятельно — мне теперь это видится сродни тому, чтобы посмотреть на Сикстинскую капеллу и понадеяться, что сможешь так же расписать потолок у себя в спальне, — хотя она вообще репетировала только мужскую партию, ни ей, ни мне никогда не приходило в голову разучивать партию Рыжей из чего бы то ни было. Трейси стояла в дверях в гостиную, отбивала чечетку — там не было ковра, — а я поместилась на коленках перед видеомэгнитофоном, перематывая и ставя по необходимости на паузу. Мать моя была в кухне, сидела на барном табурете, училась. Отец — и это было необычно — вышел «наружу», без объяснений, просто «вышел» часа в четыре, не обозначив цели, без всякого известного мне поручения. В какой-то миг я заглянула в кухню взять два стакана «Райбины»^[30]. И увидела, что моя мать не склонилась над своими учебниками, заткнув уши затычками и не замечая меня, а смотрит в окно, и лицо у нее мокрое от слез. Увидев меня, она зримо вздрогнула, словно я привидение.

— Они тут, — сказала она, чуть ли не самой себе. Я глянула туда, куда смотрела она, и увидела, как мой отец идет по двору жилмассива с двумя белыми молодыми людьми, которые тащились за ним: парнишкой лет двадцати и девочкой, похоже, лет пятнадцати или шестнадцати.

— Кто — тут?

— Кое-кто, с кем твой отец хочет тебя познакомить.

И стыд, что она ощущала, я думаю, был стыдом бессилия: она не могла ни управлять ситуацией, ни защитить меня от нее, поскольку в кои-то веки никакого отношения к ней не имела. Вместо этого она быстро зашла в гостиную и сказала, что Трейси нужно уйти, но та намеренно долго собирала вещи: ей хотелось хорошенько рассмотреть гостей. Ну и зрелище.

Вблизи у парнишки оказались лохматые светлые волосы и борода, носил он грязную, уродскую и старую с виду одежду, джинсы в заплатах, а к потрепанному холщовому рюкзаку прицеплено множество значков разных рок-групп: казалось, он бесстыже выставляет напоказ свою нищету. Девушка — столь же странная, но опрятнее, поистине «белая как снег», как в сказке, со строгой черной челкой, обрезанной на лбу прямо, а над ушами — высоко по диагонали. Одета она была вся в черное, на ногах — большая черная пара «мартензов», сама же — маленькая и изящная, с тонкими чертами; если не считать крупной, непристойной груди, которую она, судя по всему, старалась затенить всей этой чернотой. Мы с Трейси стояли и пялились на них.

— Тебе пора домой, — сказал Трейси мой отец, и я, провожая ее взглядом, осознала, до чего она мой союзник, несмотря ни на что, поскольку без нее в тот миг я была полностью беззащитна. Белые подростки ввалились к нам в маленькую гостиную. Отец пригласил их сесть, но села только девочка. Я с тревогой видела, как мать, кого я обычно считала отнюдь не невротиком, тревожно суетилась и запинаясь. Мальчик — его звали Джон — садиться не пожелал. Когда мать попробовала его уговорить, он даже не посмотрел на нее и ей не ответил, и тогда мой отец произнес что-то нехарактерно резкое, и Джон у нас на глазах вышел из квартиры. Я выбежала на балкон и увидела его внизу, на общем газоне, он никуда не ушел — надо было дождаться девочку, — а топтался по траве маленьким кругом, хрустя инеем. Осталась только девочка. Звали ее Эмма. Когда я вернулась, мать велела мне сесть с нею рядом.

— Это твоя сестра, — сказал отец и пошел наливать чай. Мать стояла возле новогодней елки, делая вид, будто творит что-то полезное с огоньками. Девочка повернулась ко мне, и мы откровенно уставились друг на дружку. Насколько я видела, вообще никаких общих черт у нас с ней не было, все это нелепо, и я понимала, что эта самая Эмма точно то же самое думает и обо мне. Даже помимо того комически очевидного факта, что я черная, а она белая, я была крупно костной, а она — узенькой, я для своего возраста была высоковата, а она для своего — коротковата, у меня глаза были большие и карие, а у нее — маленькие и зеленые. Но тут же, одновременно я почувствовала, что мы обе заметили: опущенные уголки рта, печальный взгляд. Не помню, чтобы мыслила логически: я, например, не задавалась вопросом, кем была мать этой самой Эммы или как и когда она могла познакомиться с моим отцом. Голова моя так далеко не поворачивалась. Думала я одно: он сделал одну как я, а одну как она. Как могут два столь разных существа произойти из одного источника? Отец

вернулся в гостиную с чаем на подносе.

— Ну, немножко внезапно вышло, нет? — сказал он, вручая кружку Эмме. — Для всех нас. Я уже давно не видел... Но, видишь ли, твоя мама вдруг решила... Ну, она женщина внезапных капризов, правда? — Сестра моя пусто взглянула на моего отца, и он тут же бросил говорить то, что пытался сказать, и опустил до светского трепе. — Так, мне рассказывали, что Эмма немного занимается балетом. Это у вас двоих общее. В Королевском балете какое-то время — полная стипендия, — но пришлось бросить.

Танцевала на сцене, он имел в виду? В Ковент-Гардене? Солировала? Или в «труппе», как это Трейси называет? Но нет — «стипендия», похоже, что речь об учебе. Есть, стало быть, какая-то «Школа Королевского балета»? Но если такое место существует, почему же *меня* туда не отправили? А если туда послали эту Эмму, кто за нее платил? Почему пришлось бросить? Потому что у нее грудь слишком большая? Или ей прямо в бедро впились пуля?

— Может, когда-нибудь вместе потанцуете! — произнесла моя мать в общую тишину: до таких материнских бессмысленностей она опускалась очень редко. Эмма со страхом вскинула взгляд на мою мать — она впервые осмелилась посмотреть непосредственно на нее, — и что бы там ни увидела, оно обладало силой ужаснуть ее заново: она разрыдалась. Мать вышла из комнаты. Отец сказал мне:

— Сходи погуляй немного. Давай. Куртку надень.

Я соскользнула с дивана, схватила с крючка свою толстую куртку с капюшоном и вышла из дому. Прошла по дорожке, пытаюсь собрать воедино то небольшое, что я знала об отцовом прошлом, с этой вот новой реальностью. Родом он был из Уайтчепела, из крупной ист-эндской семьи — не такой большой, как у матери, но сопоставимой, и его отец был каким-то мелким уголовником, то и дело сидел в тюрьме, как мне однажды объяснила мать, именно поэтому отец так много усилий вкладывал в мое детство: готовил, водил меня в школу и на танцы, собирал мне школьные обеды и так далее, все это дела для отцов непривычные в то время. Я была компенсацией — воздаянием — за его собственное детство. Еще я знала, что и он сам в какой-то момент был «никчемным». Однажды мы смотрели телевизор, и стали показывать что-то про двойняшек Крей^[31], а мой отец мимоходом сказал:

— Ох, ну их тогда все знали, их нельзя было не знать в то время-то. — Многие из его родни были «никчемными», весь Ист-Энд вообще был «никчемным», и все это помогло слепиться моему представлению о нашем

собственном уголке Лондона как маленьком пике с чистым воздухом над общей трясиной, в которую тебя может засосать — в настоящую нищету и преступность сразу с нескольких сторон. Но никто никогда не упоминал ни о сыне, ни о дочери.

Я спустилась на общую площадку и встала там, прислонившись к бетонному столбику, — смотрела, как мой «брат» пинает комки полусмерзшейся земли. С длинными волосами и бородой, с этим его длинным лицом он мне напоминал взрослого Иисуса, которого я знала исключительно по распятию на стене танцкласса мисс Изабел. В отличие от моей реакции на девочку — попросту что происходит какое-то надувательство, — глядя на паренька, я поймала себя на том, что не могу отрицать его, по сути, правильности. Правильно, что он был сыном моего отца: любой, посмотревший на него, увидел бы в этом смысл. Смысла не было во мне. Меня охватило нечто холодно-объективное — тот же инстинкт, что позволял мне отделять мой голос от горла как предмет для рассмотрения, изучения, — сейчас пришел ко мне, и я посмотрела на этого парня и подумала: да, он какой надо, а я нет, интересно же, да? Я бы могла, наверное, считать себя истинным ребенком, а парня этого — подделкой, но так делать не стала.

Он обернулся и заметил меня. Что-то у него на лице мне подсказало, что меня жалеют, и меня тронуло, когда с натушной добротой он взялся играть со мною в прятки за бетонными столбами. Всякий раз, когда из-за блока высывалась его нечесаная светлая голова, меня накрывало таким внетелесным ощущением: вот сын моего отца, в точности похож на сына моего отца, как же это интересно, а? Пока мы играли, сверху до нас доносились повышенные голоса. Я старалась не обращать внимания, но мой новый товарищ по играм перестал бегать, встал под балконом и прислушался. В какой-то миг в глазах его сверкнул гнев, и он мне сказал:

— Я тебе вот что скажу: ему на всех наплевать. Он не такой, кем кажется. Он головой ебнутый. Женился на этой клятой негритоске!

И тут вниз по лестнице сбежала девочка. За нею никто не гнался — ни отец, ни мать. Она по-прежнему плакала — и подбежала к парню, и они обнялись, и, по-прежнему обнявшись, пошли по траве прочь со двора. Легонько падал снег. Я смотрела им вслед. Больше я их не видела, пока не умер мой отец, и все мое детство о них в доме не заговаривали. Долгое время мне казалось, что это была галлюцинация — или, быть может, я подсмотрела такое в каком-нибудь скверном фильме. Когда у меня об этом спросила Трейси, я сказала ей правду, хоть и с некоторым уточнением: я утверждала, будто здание, мимо которого мы каждый день ходим, на

Уиллзден-лейн, то, у которого ветхий синий козырек, — это Королевская балетная школа, и туда ходила моя жестокая белая шикарная сестра, очень там преуспевала, но отказывалась даже помахать мне из окна, ты вообще представляешь? Пока она слушала, я наблюдала за великими бореньями у нее на лице от стараний в это поверить — в основном боренья эти выражались ноздрями. Конечно же, Трейси сама скорее всего бывала в этом здании и прекрасно знала, что это такое на самом деле: запустевший общественный клуб, что проводил множество местных дешевых бракосочетаний, а иногда там играли в бинго. Через несколько недель, когда я сидела на заднем сиденье нелепой материной машины — крохотного, белого, нарочито французского «2-си-ви» с наклейкой КЯР^[32] рядом с акцизным диском, — заметила невесту с жестким лицом, наполовину утонувшим в тюле и кудряшках: она стояла у моего Королевского балета и курила чинарик, но я не позволила этому зрелищу проникнуть в мои фантазии. К тому времени я уже начала разделять подружкуину непроницаемость для действительности. И теперь — как будто мы обе пытались забраться одновременно на детскую качалку — ни она, ни я слишком не нажимали и хрупкое равновесие оставили в покое. Я могла держаться за свою злую балерину, если ей достанется ее танцор из группы поддержки. Может, я так и не избавилась от этой привычки приукрашивать. Двадцать лет спустя за одним трудным обедом я вновь оживила с матерью историю о моих призрачных сородичах, и мать вздохнула, закурила и сказала:

— Снежку ты не могла не подсыпать.

Десять

Еще задолго до того, как это стало ее карьерой, у моей матери был политический склад ума: ей было естественно думать о людях коллективно. Я даже ребенком это заметила и инстинктивно почувствовала, что есть нечто вымораживающее и бесчувственное в ее способности так точно анализировать людей, среди которых живет: ее друзей, ее сообщества, ее собственную семью. Мы все одновременно были и теми, кого она знала и любила, но также и предметами изучения, живыми воплощениями всего, что она, похоже, изучала в Миддлсексском политехе. Она держалась поодаль, всегда. Никогда не подчинялась, к примеру, культу «клёвости», распространенному среди соседей: страсти к сверкающим нейлоновым спортивным костюмам и блескучим фальшивым драгоценностям, к целым дням, проведенным в салоне-парикмахерской, детям в кроссовках за пятьдесят фунтов, диванам, оплачиваемым годами рассрочки, — хотя и полностью порицать все это не стремилась. Люди бедны не потому, что сделали неверный выбор, любила повторять моя мать, а они делают неверный выбор потому, что бедны. Но хоть она по этому поводу и была безмятежна и антропологична в своих сочинениях в колледже — или читая нам с отцом лекции за обеденным столом, — я знала, что в настоящей жизни все это часто ее раздражало. Она больше не забирала меня из школы — теперь этим занимался отец, — потому что там все слишком ее огорчало, в особенности то, что каждый день время схлопывалось, и все мамы снова становились детворой, детьми, пришедшими забирать своих детей, и все эти дети вместе отворачивались от школы с облегчением, наконец-то снова становились вольны говорить кто во что горазд, смеяться и шутить, и есть мороженое у поджидавшего рядом фургона мороженщика, и производить, как им представлялось, естественное количество шума. Мать моя во все это больше не вписывалась. Ей эта группа по-прежнему была небезразлична — интеллектуально, политически, — но она к ней больше не принадлежала.

Иногда, впрочем, она попадалась — обычно из-за какой-нибудь ошибки в расчете времени, и оказывалась в капкане беседы с другой мамашей, часто — матерью Трейси, — на Уиллзден-лейн. В таких случаях она могла стать черствой, подчеркнуто перечисляя все мои академические достижения — или сочиняя некоторые, — хоть и знала, что мать Трейси в ответ может только предложить новые похвалы мисс Изабел, которые для

моей матери были товаром совершенно никчемным. Мать гордилась тем, что настойчивее, чем мать Трейси, чем все матери вообще, старалась пристроить меня в хоть сколько-нибудь приличную государственную школу, а не в какую-нибудь из нескольких ужасных. Она состязалась в заботе, однако ее собратья-конкурсанты, вроде матери Трейси, по сравнению с ней были так плохо подготовлены, что битва оказывалась бесповоротно односторонней. Я часто задавалась вопросом: что это, какой-то обмен? Остальным обязательно проиграть, чтобы мы выиграли?

Однажды утром ранней весной мы с отцом столкнулись с Трейси у нашего дома, возле гаражей. Она, казалось, взбудоражена и хоть и сказала, что просто срезает путь через наш двор к своему дому, я была вполне уверена, что она меня тут поджидала. Похоже, она замерзла: интересно, она вообще в школе-то была? Я знала, что иногда она сачкует — с материна одобрения. (Моя мать была шокирована, когда встретила их обеих в разгар учебного дня: они выходили из «Чего ей надо» на шоссе, смеясь, нагруженные магазинными пакетами.) Я увидела, как мой отец тепло поздоровался с Трейси. В отличие от матери, у него общение с ней никогда не вызывало тревожности, он считал, что ее упорная преданность танцам — это мило, а также, подозреваю, достойно восхищения: такое отвечало его трудовой этике, — и ясно было, что Трейси моего отца обожает, даже немного в него влюблена. Она так болезненно благодарна была ему за то, что с ней он разговаривал как отец, хотя иногда он в этом заходил чересчур далеко, не понимая, что после того, как на несколько минут позаимствуешь себе отца, наступает боль от того, что его приходится возвращать.

— Экзамены на носу, да? — спросил он у нее. — И как движется?

Трейси гордо задрала нос:

— Я по всем шести категориям буду сдавать.

— Ну еще бы.

— Но современный не одна буду, а в паре. Самое сильное у меня — балет, потом чечетка, потом современный, потом песня с танцем. Я на три золотые по меньшей мере иду, но, если будет два золота и четыре серебра, меня тоже вполне устроит.

— Так и надо.

Она уперла ручки в бока.

— Так вы придете нас посмотреть или как?

— О, я там точно буду! При полном параде. Моих девочек поддержать.

Трейси любила хвастаться перед моим отцом, она при нем вся расцветала, даже иногда вспыхивала, и односложные «да» или «нет»,

какими она обычно отвечала другим взрослым, включая мою мать, пропадали — их сменял этот безостановочный лепет, будто она думала, что, если поток перестанет течь, она рискует совершенно утратить внимание моего отца.

— Есть новости, — произнесла она как бы между прочим, повернувшись ко мне, и я теперь поняла, почему мы с нею столкнулись. — Мама моя со всем разобралась.

— С чем разобралась? — спросила я.

— Я ухожу из своей школы, — сказала она. — Буду ходить в твою.

Потом, уже дома, я сообщила своей матери это известие, и она тоже удивилась, а также, подозреваю, не очень обрадовалась в первую очередь такому подтверждению усилий матери Трейси ради дочери. Мама прицокнула языком:

— Вот уж не думала, что она способна на такое.

Одиннадцать

Лишь когда Трейси перешла ко мне в класс, я начала понимать, что такое мой класс. Поначалу я думала, что это комната, полная детей. На самом деле то был общественный эксперимент. Дочь буфетчицы сидела за одной партой с сыном художественного критика, мальчик, чей отец находился сейчас в тюрьме, делил парту с сыном полицейского. Ребенок почтового работника сидел вместе с ребенком одного из танцоров Майкла Джексона. Среди первых поступков Трейси за одной со мной партой было четкое выражение этих тонких различий через простую, убедительную аналогию: Детки Капустных Грядок против Деток Помойных Лоханок^[33]. Каждый ребенок попадал в ту или другую категорию, и Трейси ясно дала понять, что какие бы дружбы я до ее появления тут ни заводила, теперь — поскольку они могли пытаться эту границу нарушать — они все объявлялись недействительными, ничего не стоящими, ибо если по правде, то их не существовало с самого начала. Никакая подлинная дружба невозможна между Капустной Грядкой и Помойной Лоханкой — во всяком случае, не сейчас и не в Англии. Она выгребла из нашей парты мою коллекцию любимых карточек с Детками Капустной Грядки и заменила их на карточки с Детками Помойной Лоханки, которые — как и почти всё, чем Трейси занималась в школе, — тут же стали новым модным поветрием. Даже те ребята, которые в глазах Трейси были типами Капустной Грядки, сами стали собирать Деток Помойной Лоханки, их собирала даже Лили Бингэм, и все мы состязались друг с дружкой, у кого карточки отвратительнее всех: Детка Помойной Лоханки, у кого по физиономии текут сопли, или тот, что изображен на горшке. Другим ее поразительным нововведением был отказ садиться. Она за партой только стояла, а работать наклонялась. Наш учитель — добрый и энергичный мистер Шёрмен — сражался с нею неделю, но воля у Трейси, как и у моей матери, была железная, и в итоге ей разрешили стоять сколько ей вздумается. Вряд ли у Трейси была какая-то особенная страсть к стоянию — то было дело принципа. Принципом могло стать вообще-то что угодно, главное было — чтобы она его отвоевала. Ясно было, что мистер Шёрмен, проиграв этот спор, ощущал, что ему нужно проявить твердость в чем-нибудь другом, и однажды утром, когда мы все возбужденно обменивались Детками Помойной Лоханки, а не слушали, что он нам говорит, он вдруг совершенно лишился рассудка, заорал, как полоумный, и пошел от парты к

парте, конфискуя карточки — иногда из парт, иногда вырывая их у нас из рук, пока на столе у него не скопилась огромная гора их; он сгреб их в стопку, лежавшую на боку, и смёл в свой ящик, а тот подчеркнуто запер на ключик. Трейси ничего не сказала, но ее нос-пуговка раздулся, и я подумала: ох, батюшки, неужели мистер Шёрмен не понимает, что она его никогда не простит?

В тот день после школы домой мы пошли вместе. Она не желала со мной разговаривать — по-прежнему была в ярости, но, когда я попробовала свернуть к себе во двор, схватила меня за запястье и повела через дорогу к себе. В лифте мы обе молчали. Мне казалось: вот-вот произойдет что-то значительное. Я ощущала ее ярость как ауру вокруг нее, она едва ли не вибрировала. Добравшись до двери в ее квартиру, я заметила молоток — латунного льва Иуды^[34] с раскрытой пастью, — купленный на шоссе в одном из ларьков, где торговали африканой: он был немного поврежден и висел на одном гвозде, — мне стало интересно, не заходил ли к ним опять ее отец. Вслед за Трейси я двинулась в ее комнату. Как только дверь за нами закрылась, она развернулась ко мне, глядя зло, как будто это я была мистером Шёрменом, и резко спросила, чем я хочу заняться, раз уж мы тут. Я понятия не имела: никогда раньше меня не опрашивали на предмет замыслов, чем заняться, все замыслы всегда бывали у нее, до сегодняшнего дня я ничего не планировала.

— Ну так а в чем смысл приходить, если ты, блядь, не знаешь?

Она плюхнулась к себе на кровать, схватила «Пэк-Мена» и принялась играть. Я ощутила, как у меня краснеет лицо. Я робко предложила порепетировать трехдольные танцевальные шаги, но Трейси от этого только застонала.

— Мне не надо. Я крылья отрабатываю.

— Но я же еще не могу делать крылья!

— Слушай, — сказала она, не отрывая взгляд от экрана, — без крыльев ты даже серебра не добьешься, не говоря уже о золоте. Так зачем же твой папа придет и станет смотреть, как ты все проебываешь? Смысла же нет, правда?

Я глянула на свои дурацкие ноги, которые не умели делать крылья. Села и тихонько заплакала. Это ничего не изменило, и через минуту я поняла, до чего жалка, и прекратила. Решила заняться приведением в порядок гардероба Барби. Всю ее одежду засунули в автомобиль Кена с открытым верхом. План мой был таков: извлечь ее, всю разгладить, развесить на маленьких плечиках и снова поместить в гардероб — дома

играть в такую игру мне никогда не разрешали, слишком отдавало домашней тиранией. Посреди этой кропотливой процедуры сердце Трейси таинственно смягчилось ко мне: она соскользнула с кровати и села со мной рядом на полу, скрестив ноги. Вместе мы привели жизнь крохотной белой женщины в порядок.

Двенадцать

У нас имелась любимая видеокассета, этикетка на ней была «Субботние мультики и „Цилиндр“»^[35] — она еженедельно перемещалась из моей квартиры к Трейси и назад, ставили ее так часто, что трекинг объел кадр сверху и снизу. Из-за этого мы не могли рисковать и перематывать ее вперед при воспроизведении — от этого трекинг ухудшался, — а потому перематывали «вслепую», угадывая длительность по количеству черной пленки, перелетавшей с одной катушки на другую. Трейси была перемотчиком опытным — казалось, она самым телом своим знает, когда у нас закончатся зряшные мультики и когда нажать на «стоп», чтобы попасть, к примеру, на песню «Щекой к щеке»^[36]. Меня сейчас поражает, что, если хочется посмотреть тот же самый видеоклип — как было несколько минут назад, до того, как я это написала, — не требуется вообще никаких усилий, все делается за одно мгновение, я впечатываю свой запрос в строку поиска — и вот он. Тогда же для этого требовалось умение. Мы были первым поколением, у которого прямо дома имелись средства перематывать реальность назад и вперед: даже очень маленькие дети могли прижать пальчик к этим неуклюжим кнопкам и увидеть, как то-что-было становится тем-что-есть или тем-что-будет. Когда Трейси пускалась в этот процесс, она была совершенно сосредоточенна, не нажимала на «воспр.», пока Фред и Рыжая не оказывались точно там, где ей хотелось, — на балконе среди бугенвиллей и дорических колонн. В тот миг она начинала читать танец — я так никогда не умела, а она видела в нем всё: выбившиеся страусиные перья падали на пол, слабые мышцы спины у Рыжей, как Фред вынужден вздергивать ее из любого положения навзничь, тем самым портя течение, перечеркивая линию. Заметила она и самое важное — урок танца в самом представлении. У Фреда и Рыжей всегда виден урок танцев. В каком-то смысле урок танцев и *есть* представление. Он не смотрит на нее с любовью — даже с липовой киношной любовью. Он на нее смотрит, как мисс Изабел смотрела на нас: не забывайте икс, пожалуйста, держите в уме игрек, теперь руку вверх, ногу вниз, поворот, нырок, поклон.

— Погляди на нее, — сказала Трейси, странно улыбаясь, прижимая палец к лицу Рыжей на экране. — Она же, блядь, боится.

При одном таком просмотре я поняла кое-что новое и важное про Луи. Тогда квартира была пуста: мать Трейси раздражало, что мы смотрим один фрагмент по многу раз, и в тот день мы себе ни в чем не отказывали. Едва

Фред остановился и облокотился на балюстраду, Трейси прошаркала вперед на четвереньках и вновь нажала кнопку — и мы опять пустились в то-что-некогда-было. Один и тот же пятиминутный фрагмент мы посмотрели, наверное, десяток раз. Пока наконец не надоело: Трейси встала и велела мне идти за ней. Снаружи стемнело. Мне стало интересно, когда ее мать вернется домой. Мы прошли мимо кухни в ванную. Та была такая же, как и у нас. Тот же пробковый пол, тот же ванный комплект цвета авокадо. Трейси опустилась на колени и толкнула боковую панель под ванной: та легко отпала. В коробке из-под ботинок «Кларкс» у самых труб лежал маленький пистолет. Трейси взяла коробку и показала его мне. Сказала, что отцовский, что он его здесь оставил, поэтому, когда Майкл на Рождество приедет в Уэмбли, Луи будет не только его танцором, но и его охранником, так нужно, чтобы запутать людей, все это совершенно секретно. Расскажешь кому-нибудь, сказала она мне, и ты — покойник. Она задвинула панель на место и пошла на кухню готовить чай. Я отправилась домой. Помню, как напряженно завидовала блеску семейной жизни Трейси в сравнении с моей, ее скрытной и взрывной природе, и я шла к собственной квартире, стараясь придумать какое-нибудь равнозначное откровение, которое могла бы предложить Трейси взамен в следующий раз, когда мы увидимся, кошмарную болезнь или новорожденного младенца, но ничего не было, ничего-ничегошеньки!

Тринадцать

Мы стояли на балконе. Трейси тянула мне сигарету, которую стащила у моего отца, а я готовилась поднести ей огонь. Но не успела — она выплюнула сигарету, шаркнула, откидывая ее назад, и показала на мою мать, которая, как выяснилось, стояла прямо под нами на общественном газоне и улыбалась нам снизу. Воскресное утро в середине мая, тепло и солнечно. Моя мать театрально помахивала большой лопатой, как советская колхозница, и одета была великолепно: в джинсовые рабочие штаны, тонкий светло-коричневый обрезанный топ, идеально смотревшийся у нее на коже, «биркенстоки» и квадратную желтую косынку, свернутую треугольником и повязанную на голову. На затылке — лихой узелок. Мать взяла на себя обязанность, поясняя она, выкопать общественную траву прямоугольником где-то восемь футов на три, чтобы разбить там огород, чьими плодами будут наслаждаться все. Мы с Трейси за нею наблюдали. Какое-то время она копала, регулярно делая паузы, чтобы упереться ногой в верхнюю кромку лопаты и покричать про латук, различные породы, правильное время для их посадки — все это нас ни в малейшей степени не интересовало, но из-за этого ее наряда отчего-то звучало убедительно. Мы видели, как из своих квартир вышло несколько других людей — выразить озабоченность или поставить под сомнение ее право делать то, что она делает, но ей они были не ровня, и мы замечали и восхищались тем, как всего за несколько минут она разбиралась с отцами — по сути, лишь глядя им в глаза, — а с матерями преодолевала их сопротивление, да, с матерями ей приходилось чуточку напрячься, она топила их в словах, пока они не понимали, насколько не в силах с нею тягаться, и жиденькие струйки их возражений полностью не затоплялись стремительными потоками трепа моей матери. Все, что она говорила, звучало так убедительно, ему так невозможно было противоречить. Тебя захлестывало волной, неостановимой. Кому не нравятся розы? Кто настолько узколюб, что пожадничает и не даст ребенку из городских трущоб возможности посадить в землю семечко? Разве не африканцы изначально мы все? Разве не люди от земли?

Закапал дождик. Мать, одевшаяся не к дождю, вернулась в дом. Наутро, перед школой, мы возбужденно предвкушали зрелище: моя мать, похожая на саму Пэм Гриэр^[37], копает обширную незаконную яму без разрешения муниципалитета. Но лопата лежала там же, где мать ее

оставила, а траншея заполнилась водой. Яма походила на чью-то недовыкопанную могилу. На следующий день опять лило, и больше никто ничего не копал. На третий день поднялась серая жижа и растеклась по траве.

— Глина, — сказал мой отец, сунув в нее палец. — Она влипла теперь.

Но он оказался не прав: влип-то он сам. Кто-то сказал моей матери, что глина — это просто слой земли, и если вкопаться поглубже, его можно миновать, а потом — просто сходить в садовый центр, взять там немного компоста и навалить его в эту обширную незаконную яму... Мы глядели в яму, которую теперь рыл мой отец: под глиной опять была глина. Мать спустилась и тоже в нее заглянула — и объявила, что глина ее «очень вдохновляет». Об овощах она больше никогда не заикалась, а если о них пытался заговорить кто-нибудь еще, она плавно переключалась на новую партийную линию, состоявшую в том, что яма никогда не предназначалась для латука, яма с самого начала копалась ради поиска глины. Которую теперь и обнаружили. Вообще-то у нее два гончарных круга, просто стоят наверху! Какой изумительный ресурс для детей!

Круги были маленькие и очень тяжелые, она их купила потому, что «ей их вид понравился», однажды морозным февралем, когда у лифта не работали двери: отец мой уперся ногами покрепче, поднатужился и втащил эти чертовы штуковины на три лестничных пролета вверх. Они были очень примитивны, даже отчасти грубы, крестьянский инструмент — и ими никогда у нас в квартире не пользовались, лишь подпирали ими дверь в гостиную. А теперь мы их применим, мы *вынуждены* их применить: если не пустим их в дело, выяснится, что мать выкопала на общественном газоне яму вообще низачем. Нам с Трейси велели собрать детей. Нам удалось убедить только троих из нашего жилмассива: для массовой мы добавили Лили Бингэм. Отец нагреб глины в хозяйственные пакеты и затащил их в квартиру. Мать поставила на балконе стол на козлах и перед нами всеми плюхнула по кому глины. Грязное это было дело — вероятно, лучше было бы, занимайся мы этим в ванной или на кухне, зато балкон позволял некоторую показуху: на нем новую материну концепцию воспитания детей могли видеть все. По сути, она задавала всему жилмассиву вопрос. Что, если мы не станем усаживать наших детей каждый день перед теликом, чтобы смотрели мультики и «мыльные оперы»? Что, если мы вместо этого дадим им ком глины, польем его водой и покажем, как вращать его, пока у них между ладоней не образуется какая-нибудь форма? Что тогда это будет за общество? Мы смотрели, как меж ее ладоней вращается глина. Походило на пенис — длинный бурый пенис, —

хотя лишь когда Трейси нашептала об этом мне на ухо, я позволила себе даже признать мысль, что у меня уже зародилась.

— Это ваза, — заявила моя мать, а потом добавила в разъяснение: — Для одного цветка. — Я впечатлилась. Оглядела других детей. А их матерям когда-нибудь приходило в голову выкопать вазочку из земли? Или вырастить единственный цветок, чтобы затем поставить его туда? Однако Трейси все это не принимала всерьез вообще, она по-прежнему была сама не своя от мысли о глиняном пенисе, и теперь меня тоже рассмешила, а моя мать нам обеим нахмурилась и обратила все свое внимание на Лили Бингэм — спросила, что бы той больше хотелось сделать, вазу или кружку. Себе под нос Трейси высказала все тот же непристойный третий вариант.

Она смеялась над моей матерью — это освобождало. Я никогда и представить себе не могла, что моя мать может — или должна — быть объектом насмешек, однако Трейси в ней все находила смехотворным: как она с уважением с нами разговаривает, словно мы уже взрослые, предоставляет нам выбор в том, что нам, по мнению Трейси, вовсе не требуется выбирать, а также как вообще все нам позволяет — даже устраивать эту необязательную помойку у нее на балконе: все же знают, что настоящая мать терпеть не может беспорядка, — а потом еще ей достаёт дерзости называть это «искусством», нахальства звать это «ремеслами». Когда настал черед Трейси, и мать спросила, что она хочет сделать на гончарном круге, вазочку или кружку, Трейси перестала смеяться и нахмурилась.

— Понимаю, — сказала моя мать. — Тогда что бы тебе *понравилось* делать?

Трейси пожала плечами.

— Не обязательно полезное, — гнула свое мать. — Искусство не означает, что вещь должна быть полезной! В Западной Африке, к примеру, сто лет назад были в селениях женщины, которые изготавливали такие горшки странной формы, очень непрактичные, и антропологи никак не могли взять в толк, что это они делают, но все потому, что они, ученые эти, ожидали, что, цитирую, «первобытные», конец цитаты, люди изготавливают только полезные вещи, а на самом деле те лепили такие горшки просто потому, что они красивые, — ничем не отличаясь от скульпторов: не для сбора в них воды, не для хранения зерна, а просто из-за красоты и чтобы заявить: «здесь были мы, в этот миг времени, и вот что мы сделали». Ну, и ты же могла бы такое сделать, правда? Да, ты б могла создать что-нибудь орнаментальное. Такова твоя свобода! Возьми ее! Кто знает? Быть может, ты — следующая Огэста Сэвидж!^[38]

Я уже привыкла к речениям своей матери — когда такое начинало происходить, я скорее настраивалась на другую волну, — и была к тому же знакома с тем, как она вставляет в обычный разговор то, что ей выпадало на этой неделе изучать, но уверена, что Трейси никогда в жизни ничего подобного раньше не слыхала. Она не знала, что такое антрополог, или чем занимается скульптор, или кто такая Огэста Сэвидж, или даже что значит слово «орнаментальное». Она думала, что моя мать пытается выставить ее душой. Откуда ей было знать, что для моей матери невозможно разговаривать с детьми естественно?

Четырнадцать

Когда Трейси возвращалась каждый день из школы домой, квартира ее почти всегда пустовала. Кто знал, где ее мать?

— Где-то на большой дороге, — говорила моя мать — это означало «выпивает», — но я каждый день ходила мимо «Сэра Колина Кэмбла» и никогда ее там не видела. Временами, правда, я замечала ее — обычно она жевала кому-нибудь ухо на улице, часто при этом плакала и промокивала глаза платочком, а то и просто сидела на автобусной остановке на другом краю жилмассива, курила, пялилась в пространство. Что угодно, лишь бы не торчать в той крошечной квартире — и немудрено. Трейси же, напротив, очень нравилось дома, ей никогда не хотелось на игровую площадку или бродить по улицам. Ключ от дома она хранила у себя в пенале, сама открывала дверь, шла прямиком к дивану и принималась смотреть австралийское «мыло», пока не начиналось британское — этот процесс запускался в четыре часа дня и заканчивался, когда шли титры «Улицы Коронации»^[39]. Где-то в промежутке она либо сама готовила себе чай, либо приходила мать, приносила взятую навынос еду, и подсаживалась к ней на диван. Я мечтала о такой свободе, как у нее. Когда я возвращалась домой, либо мать, либо отец желали знать, «что было сегодня в школе», они на это очень напирали, меня не оставляли в покое, покуда я им что-нибудь не говорила, поэтому, само собой, я начала им врать. На том рубеже я считала их двумя детьми, невиннее меня, поэтому несла ответственность за то, чтобы уберечь их от неудобных фактов, из-за которых они примутся либо чересчур думать (мать), либо чересчур чувствовать (отец). Тем летом положение обострилось, поскольку правдивым ответом на вопрос «Как сегодня в школе?» был «На игровой площадке мания хватать за влагалище». Игру начали трое мальчишек из жилмассива Трейси, но теперь в нее играли все — ирландская детвора, греческая, даже Пол Бэррон, совершенно англосаксонский сын полицейского. Это было как салки, только девочка никогда не водила, водили одни мальчишки, а девчонки всё бегали и бегали, пока нас не загоняли в какой-нибудь тихий уголок, подальше от глаз тетенок из столовой и дежурных воспитателей на игровой площадке, и там трусики у нас стягивались в сторону, во влагалище ныряла маленькая рука, нас грубо, неистово щекотали, а потом мальчишка убегал, и все начиналось сызнова. О популярности той или иной девочки можно было судить по тому, за кем дольше и упорнее всего бегали. Трейси с ее

истерическим хихиканьем — и намеренно медленным бегом — была, как водится, номером один. Я, желая стать популярной, тоже иногда бегала медленно, а стыдная правда состоит в том, что мне хотелось оказаться пойманной — мне нравился электрический заряд, пробивавший меня от влагалища до уха даже от одного предвкушения горячей маленькой руки; но также правда и в том, что, когда эта рука возникала, какой-то рефлекс во мне, какое-то врожденное понятие о самосохранении, унаследованное от матери, всегда сжимал мне ноги, и я старалась отбиться от руки, что в итоге всегда оказывалось невозможно. Я лишь сделала себя еще более непопулярной тем, что в первые мгновения сопротивлялась.

А хотелось ли тебе, чтобы за тобой гонялся тот или иной конкретный мальчик, — нет, это никого не заботило. Иерархии желанья не существовало, поскольку само желанье было очень слабым, практически несуществующим элементом игры. Самое важное — чтобы тебя рассматривали как такую девочку, за кем стоит гоняться. То была игра не секса, но статуса — власти. Мы не желали и не боялись самих по себе мальчишек — мы лишь желали и боялись того, что нас хотят или не хотят. Исключением тут был один мальчик с ужасной экземой, которого все мы поистине и искренне опасались, Трейси — так же, как все прочие, поскольку у тебя в трусиках он оставлял маленькие чешуйки мертвой серой кожи. Когда игра наша мутировала от проказ на игровой площадке до риска в классе, мальчик с экземой стал моим ежедневным кошмаром. Теперь в игру эту играли так: мальчик ронял на пол карандаш, всегда в тот миг, когда мистер Шёрмен поворачивался к нам спиной, глядя на доску. Мальчик заползал под парту за карандашом, подбирался к промежности девочки, оттягивал на ней трусики и засовывал пальцы внутрь — и держал их там столько, сколько осмеливался. Теперь из игры исчез элемент случайности: лишь три первоначальных мальчишки играли в нее, и навещали они только тех девочек, кто сидел недалеко от их парт и, как они предполагали, не станет жаловаться. Одной из таких девочек была Трейси — как и я, как и еще одна девочка из моего коридора по имени Саша Ричардз. Белые девочки — которых обычно включали в манию на игровой площадке — уже таинственно в игру не принимались: как будто они в ней с самого начала не участвовали. Мальчишка с экземой сидел всего в одной парте от меня. Я ненавидела эти его чешуйчатые пальцы, они будили во мне ужас и отвращение, однако в то же время я не могла не получать наслаждения от того восхитительного и неконтролируемого электрического заряда, что несся от моих трусиков к уху. Такое, разумеется, невозможно описать родителям. Вообще-то я сейчас впервые об этом как-то говорю кому бы то

ни было — даже самой себе.

Странно теперь думать, что всем нам тогда было всего по девять лет. Но я все равно оглядываюсь на тот период в своей жизни с определенной долей благодарности за то, что постепенно стала считать относительной удачей. То было время секса, да, но к тому же, во всех жизненно важных смыслах, без самого секса — а разве это не полезное определение счастливого детства для девочки? Я не признавала и не ценила той грани собственной удачи до того, как хорошо уже повзрослела, когда начала отыскивать в большем, нежели мне представлялось, количестве случаев, что среди моих подруг, вне зависимости от их происхождения и воспитания, их собственные времена секса эксплуатировались и уничтожались проступками дядьев и отцов, двоюродных братьев, друзей, посторонних. Я думаю об Эйми: злоупотребили ею в семь, изнасиловали в семнадцать. А помимо личной удачи, есть еще удача географическая и историческая. Что происходило с девочками на плантациях — или в викторианских рабочих домах? Ближе всего к чему-то подобному я подошла в музыкальной подсобке, да и то вообще не слишком уж близко, и благодарить за это могу свою историческую удачу, само собой, но еще и Трейси, поскольку именно она пришла тогда мне на выручку — по-своему странновато. То была пятница, конец дня, незадолго до конца учебного года в школе, и я зашла в подсобку за нотами — к песне «Мы все смеялись»^[40], которую Астэр пел так просто и так хорошо, и я собиралась дать эти ноты мистеру Буту в субботу утром, чтобы мы с ним смогли спеть дуэтом. Другой моей удачей было то, что мистер Шёрмен, мой классный руководитель, ко всему прочему в школе еще преподавал и музыку и так же любил старые песни, как и я: у него был конторский шкафчик, полный партитур Гершвина, и партитур Портера, и тому подобного, держал он его тут в музыкальной подсобке, и по пятницам мне разрешалось там брать то, что я хотела, а в понедельник возвращать. Помещение это было типичным для таких школ того времени: кавардак, слишком тесно, окон нет, на потолке не хватает многих плиток. У одной стены были свалены старые футляры от скрипок и виолончелей, и еще там стояли пластиковые ванночки с блокфлейтами, полными слюней, мундштуки пожеваны, как собачьи игрушки. Было там два фортепьяно, одно сломано и укрыто чехлом от пыли, другое сильно расстроено, а также много комплектов африканских барабанов, поскольку они были относительно дешевы, а играть на них умел любой. Верхний свет не работал. Нужно было вычислить, что тебе нужно, пока дверь не закрылась, засечь местоположение, а затем, если рукой не дотянешься, отпустить дверь и продолжать уже в темноте. Мистер Шёрмен

говорил мне, что папку, которая мне нужна, он оставил на своем сером конторском шкафчике в дальнем левом углу, и я заметила шкафчик и дала двери тихонько закрыться. Тьма настала полная. Папка была у меня в руке, а спиной я стояла к двери. Помещение на несколько мгновений распорол тонкий потёк света — и исчез. Я повернулась — и ощутила на себе руки. Одну пару я признала сразу же — мальчишка с экземой, — а другая, как я вскоре поняла, принадлежала лучшему другу этого мальчишки, долговязому неуклюжему ребенку по имени Джордан, который туго соображал, был легко управляем, а иногда и опасно порывист: такой набор симптомов в то время еще как-то особо не диагностировался, либо Джордану и его матери диагноза этого не сообщали. Джордан учился в моем классе, но я никогда не называла его Джорданом, я звала его Спазмом, все его так звали, но, если это и задумывалось как оскорбление, он давно уже обезоружил его: отвечал на кличку жизнерадостно, как будто это его имя на самом деле. Положение его у нас в классе было причудливым: несмотря на его состояние, каким уж оно там ни было, он был высок и симпатичен. Мы все выглядели детьми, а он уже смотрелся как подросток, в руках его чувствовалась мускулатура, прическа клевая — по бокам волосы сбриты в настоящей парикмахерской. В классе учился он никудашно, настоящих друзей у него не было, зато служил полезным прихлебателем у мальчишек с гнусными планами и чаще становился объектом учительского внимания: малейшее нарушение с его стороны вызывало непропорциональный ответ, и всем остальным нам было интересно. Трейси могла — и так и делала — сказать учителю «отъебись», и ее даже не высылали стоять в коридоре, а вот Джордан почти все время проводил в этом коридоре за, как всем нам казалось, малейшие провинности — пререкался или не снимал бейсболку, — и немного погодя мы начали понимать, что учителя, особенно белые женщины, его попросту боятся. Такое мы уважали: казалось, это нечто особенное, какое-то достижение, чтобы взрослая женщина тебя боялась, пусть тебе всего девять лет и ты умственно неполноценен. Лично я была с ним в хороших отношениях: иногда он совал пальцы мне в трусики, но я никогда не была убеждена, что он знает, зачем это делает, и по пути домой, если нам случалось поравняться, я иногда ему пела — заглавную тему из «Главного кота»^[41], мультфильма, которым он был одержим, — и это его успокаивало и радовало. Шел рядом, голова склонена ко мне, и тихонько побулькивал, как довольный младенец. Я не считала его агрессором, однако вот он, в музыкальной подсобке, трогает меня повсюду, маниакально хихикает, не отстает и подражает более рассчитанному смешочку мальчишки с экземой,

и стало ясно, что это уже не возня на игровой площадке и не потеха в классной комнате, это новый и, возможно, опасный поворот событий. Мальчишка с экземой смеялся, полагалось смеяться и мне, все это задумывалось как некая шутка, но стоило мне только придержать на месте какой-нибудь предмет одежды, как его с меня стягивали, и над этим мне тоже полагалось смеяться. Потом смех прекратился, его сменило что-то настойчивое, они трудились молча, я и сама умолкла. В тот миг вновь возникла струйка света. В дверях стояла Трейси: я увидела ее силуэт, обрамленный светом. Она закрыла за собой дверь. Сразу ничего не сказала. Просто постояла с нами в темноте, безмолвно, ничего не делая. Руки мальчишек замедлились: то был детский извод сексуальной нелепости, знакомый взрослым — когда нечто, казавшееся таким безотлагательным и всепоглощающим мгновенье назад, вдруг представляется (часто в сочетании с зажженным светом) мелким и бессмысленным, даже трагичным. Я перевела взгляд на Трейси, все еще выжженную у меня на сетчатке рельефом: я видела ее очерк, вздернутый носик, идеально разделенные косички с атласными бантами. Наконец она сделала шаг назад, широко открыла дверь и придержала ее.

— Пол Бэррон ждет тебя у ворот, — сказала она. Я на нее уставилась, а она повторила, только теперь раздраженно, словно я зря трачу ее время. Я оправилась на себе юбку и поспешила наружу. Мы обе знали, что это невозможно, чтобы Пол Бэррон ждал меня у ворот, мать каждый день забирала его из школы в «фольксвагене», папа у него был полицейский, у него постоянно дрожала верхняя губа и были большие, влажные голубые глаза, как у щеночка. С Полом Бэрроном я за всю свою жизнь не перекинулась и парой слов. Трейси утверждала, что он засовывал пальцы ей в трусики, но я видела, как он играет в эту игру, и заметила, что по площадке он бежит бесцельно, ищет дерево, за которым можно спрятаться. Я крепко подозревала, что он просто не хочет никого ловить. Но то было нужное имя в нужный момент. Со мной можно куролесить, если считается, что я принадлежу в школе к тем, кто не рассчитывает ни на что получше и не заслуживает этого, — а Пол Бэррон принадлежал иному миру, с ним не покуролесишь, и эта вымышленная с ним связь, даже на миг, образовала своего рода защиту. Я сбежала с горки к воротам и увидела, что меня там ждет отец. Мы купили в фургоне мороженого и пошли домой вместе. На светофоре я услышала сильный шум, глянула и увидела, как Трейси, и мальчишка с экземой, и еще тот, кого звали Спазмом, смеются, борются и куролесят друг с другом, беззастенчиво матерясь, — казалось, они наслаждаются общественным цоканьем и неодобрением, что взбухло

теперь и обволокло их, как туча гнуса, со стороны очереди на автобусной остановке, от лавочников, стоявших в своих дверях, от матерей, от отцов. Мой же отец, близорукий, взгляделся через дорогу в общем направлении суматохи:

— Это же не Трейси там, а?

Часть вторая

Рано и поздно

Один

Я еще была ребенком, когда моя дорожка пересеклась с дорожкой Эйми, — но как мне назвать это судьбой? У всех с ней дорожки пересеклись в один и тот же миг — как только она возникла, ее не сдерживали время и пространство, не одна дорожка пересекалась с ее, а все — все дорожки были ее, как у Королевы в «Алисе в Стране чудес», все пути были ее путями — и, разумеется, миллионам людей было так же, как мне. Когда б ни слушали они ее пластинки, у них возникало ощущение, что они с нею познакомились — оно и до сих пор есть. Ее первый сингл вышел в ту неделю, когда мне исполнилось десять. Ей тогда было двадцать два. К концу того же года, как она мне когда-то рассказала, она больше не могла пройти по улице — ни в Мельбурне, ни в Париже, ни в Нью-Йорке, ни в Лондоне, ни в Токио. Однажды мы летели вместе над Лондоном в Рим, просто разговаривали о Лондоне как городе, о его достоинствах и недостатках, и она призналась, что ни разу не ездила подземкой — ни единого разу и даже не могла вообразить, как это. Я предположила, что системы подземки во всем мире, по сути, одинаковы, но она сказала, что в последний раз ездила каким бы то ни было поездом, когда перебралась из Австралии в Нью-Йорк, двадцатью годами раньше. Лишь полгода прожила тогда вне своего сонного родного городка — так быстро стала звездой подпольной сцены в Мельбурне, а в Нью-Йорке для снятия уточнения потребовалось еще всего полгода. С тех пор — бесспорная звезда, факт, лишенный для нее какой-либо печали, или следа невроза, или жалости к себе, и это в Эйми поражает, среди прочего: у нее совершенно нет трагической грани. Все, что с нею произошло, она принимает как судьбу, удивляется или отчуждается она от того, кто она, не больше, по-моему, чем Клеопатра от того, что она Клеопатра.

Тот ее дебютный сингл я купила в подарок Лили Бингэм — на ее десятилетие, которое случилось за несколько дней до моего. Нас с Трейси обеих позвали к ней на вечеринку — сама Лили выдала нам маленькие самодельные бумажные приглашения однажды субботним утром на занятиях танцем, довольно неожиданно. Я была очень рада, а вот Трейси, может подозревая, что ее включили в число гостей только из вежливости, приняла приглашение с кислой физиономией и тут же отдала своей матери, которая через несколько дней встревожилась достаточно, чтобы остановить на улице мою мать и засыпать ее вопросами. На такие мероприятия просто

приводят своего ребенка? Или от нее как мамы ожидается, что она войдет в дом? В приглашении говорится «поход в кино» — но кто будет платить за билеты? Гость или хозяин? Нужно ли брать с собой подарок? А что мы дарим? Не согласится ли моя мать оказать ей услугу и отвести туда нас обеих? Как будто вечеринка происходила в каком-то ошарашивающем зарубежье, а не в трех минутах ходьбы, в доме за парком. Моя мать с максимальной снисходительностью сказала, что отведет нас обеих и останется там с нами, если это будет необходимо. В качестве подарка она предложила пластинку, какой-нибудь поп-сингл — он может быть от нас обеих, недорого, но его точно оценят: она отведет нас дальше по шоссе в «Вулворт», где можно отыскать что-нибудь подходящее. Но мы были готовы. Мы точно знали, какую пластинку покупать, и название песни, и имя исполнителя, как знали мы, что моя мать, никогда не читавшая никаких таблоидов и слушавшая только радиостанции, передававшие регги, будет не в курсе репутации Эйми. Заботил нас только конверт пластинки: мы его не видели, не знали, чего ожидать. С учетом текста песни — а исполнение ее мы смотрели, разинув рты, в «Вершине популярности», — у нас было ощущение, что здесь возможно почти все. На конверте сингла она может оказаться совершенно голой, она может сидеть верхом на мужчине — или женщине, — занимаясь сексом, может показывать средний палец, как это случилось всего на миг в детской телепрограмме, что транслировалась в прямом эфире выходные назад. Там может оказаться фотография Эйми в какой-нибудь ее поразительной, провокационной танцевальной позе, из-за любви к которым мы временно забросили Фреда Астэра, в тот миг мы хотели танцевать исключительно как Эйми, и подражали ей, когда б ни оставались одни и нам ни представлялась возможность: разрабатывали ее струистый пережат серединой корпуса, словно по телу катилась волна желанья, и как она дергала узкими мальчишескими бедрами и вздергивала над грудной клеткой маленькие груди — тонкая манипуляция мышцами, которой мы еще не овладели, под грудями, которые себе пока не отрастили. Добравшись до «Вулворта», мы кинулись вперед, обогнав мою мать, напрямик к стеллажам с пластинками. Где же она? Мы искали белесую стрижку сорванца, поразительные глаза, до того прозрачно-голубые, что казались серыми, и это эльфийское личико, андрогинное, с маленьким остреньким подбородком, полу-Питер Пэн, полу-Алиса. Но никакого изображения Эйми мы не обнаружили, ни голой, ни иной: только ее имя и название песни вдоль левого края конверта, а все остальное место занято озадачивающим — для нас — изображением пирамиды, над которой навис глаз, вписанный в вершину треугольника. Конверт был грязно-зеленого

цвета, а над и под пирамидой написаны слова на каком-то языке, которых мы не могли прочесть. Смешавшись, с облегчением мы принесли сингл моей матери, которая поднесла его поближе к лицу — она тоже была близорука, хоть и слишком тщеславна, чтобы носить очки, — нахмурилась и спросила, «не о деньгах ли эта песня». Отвечала ей я очень тщательно. Я знала, что моя мать гораздо больше ханжа насчет денег, чем насчет секса.

— Она вообще ни о чем. Просто песня.

— Думаешь, твоей подружке она понравится?

— Понравится, — ответила Трейси. — Ее все обожают. А можно и нам такую?

По-прежнему хмурясь, моя мать вздохнула и пошла брать вторую пластинку со стойки, затем направилась к кассе и заплатила за две.

То была вечеринка, на которой родителей не предусматривалось, — моя мать, всегда очень любопытная в том, что касалось интерьеров среднего класса, была разочарована, — но организовали ее, похоже, совсем не так, как известные нам вечеринки: не было ни танцев, ни групповых игр, а мать Лили вообще не разodelась к празднику — выглядела чуть ли не бездомной, вообще даже едва причесалась. Мою мать мы оставили у двери после неловкого приветствия:

— Ну как же вы, девочки, блистательно смотрите! — воскликнула мать Лили, завидя нас, — после чего нас добавили к куче детей в гостиной, все девочки, и ни одна — не в такой розово-блескучей конфекции с рюшами, как Трейси, да и таких псевдовикторианских черных бархатных платьев с белым воротничком, какое моя мать сочла «идеальным» и «отыскала» для меня в местной благотворительной лавке, ни на ком не было. Все остальные девочки нарядились в джинсы и веселенькие джемперы либо простые хлопковые платица основных цветов, и когда мы вошли в комнату, все прекратили делать то, чем занимались, и повернулись воззриться на нас. — Ну не славно ли они выглядят? — опять сказала мать Лили и вышла, оставив нас разбираться. Мы были единственными черными девочками и, кроме самой Лили, никого тут не знали. Трейси тут же вся оцетинилась. По пути сюда мы спорили, кто будет вручать Лили наш общий подарок — Трейси, естественно, победила, — но теперь она бросила сингл в подарочной упаковке на диван, даже не упомянув о нем, а как только услышала, что за фильм мы идем смотреть — «Книгу джунглей»^[42], — тут же осудила его как «малышовый» и «просто мультик», где полно «всяких дурацких зверюшек», таким голосом, который мне вдруг показался очень громким, очень четким, и в нем звучало

слишком много смазанных окончаний.

Вновь возникла мать Лили. Мы погрузились в длинную синюю машину, где было несколько рядов сидений, как маленький автобус, и когда все эти сиденья заняли, Трейси, мне и еще двум девочкам велели сесть на свободном месте сзади, в багажнике, застланном грязным шотландским пледом, покрытым собачьей шерстью. Мать дала мне пятифунтовую купюру на тот случай, если кому-то из нас придется за что-нибудь платить, и я очень боялась ее потерять: то и дело вынимала из кармана пальто, разглаживала на коленке, а потом снова складывала вчетверо. Трейси meanwhile развлекала двух других девочек, показывая им то, чем мы обычно занимались, сидя в задних рядах школьного автобуса, который раз в неделю возил нас в Пэддингтонгский парк на физкультуру: она встала на колени — насколько позволяло место, — разместила в углах рта два пальца, распяленных знаком победы, и принялась высовывать язык и втягивать его обратно, корча рожи окаменевшему от ужаса водителю машины за нами. Когда мы остановились через пять минут на Уиллзден-лейн, я порадовалась, что поездка наша завершилась, но пункт назначения поверг меня в уныние. Я-то воображала, что мы направляемся в какой-нибудь шикарный кинотеатр в центре города, но мы стояли перед нашим маленьким местным «Одеоном», что рядом с Килбёрн-Хай-роуд. Трейси же была довольна: это своя территория. Пока мать Лили отвлеклась у кассы, покупая билеты, Трейси показала всем, как тырить ассорти и не платить за него, а потом, едва мы оказались в темном зале, — как балансировать на поднятом сиденье, чтоб у тебя за спиной никому не было видно экран, и как пинать сиденье впереди, пока тот, кто там сидит, не обернется.

— Так, хватит уже, — все время бормотала мать Лили, но никакой власти над нами у нее не было — казалось, ее уgomонило лишь собственное смущение. Она не хотела, чтоб мы шумели, но в то же время не могла заставить себя произвести необходимый шум, чтобы мы шуметь перестали, и как только Трейси это поняла — а заодно поняла, что у матери Лили нет намерения ее стукнуть, или отругать, или выволочь из зала за ухо, как поступили бы наши матери, — ну, тогда, в общем, она себя почувствовала вполне свободно. Весь фильм она не прекращала его комментировать, высмеивая сюжет и песни и описывая, как именно повествование во многих местах люто отклонялось бы от видения как Киплинга, так и Диснея, окажись она на месте кого-либо из персонажей или всех сразу.

— Будь я той змеей, я бы пасть открыла и схавала б этого дурака одним махом! — Или: — Если б я была этой обезьяной, я б этого мальчишку убила, только б он у меня дома очутился! — Прочих гостей

вечеринки эти вмешательства приводили в восторг, и я смеялась громче всех.

После, уже в машине, мать Лили попробовала завязать цивилизованную беседу о достоинствах фильма. Некоторые девочки сказали что-то хорошее, а затем голос подала Трейси, опять сидевшая в самом заду — я нелояльно переместилась на второй ряд:

— Как его там — Маугли? Он на Куршеда похож, а? У нас в классе. Правда?

— Ага, похож, — отозвалась я. — Вылитый Куршед у нас в классе.

Мать Лили проявила преувеличенный интерес — повернула голову совсем назад, когда мы приостановились у светофора.

— Вероятно, его родители из Индии.

— Не-а, — небрежно ответила Трейси, отвернувшись и глядя в окно. — Куршед — паки.

До самого дома мы ехали в молчании.

Там был торт, но скверно украшенный и домашний, и мы пели «С днем рождения тебя», но потом нам оставалось еще целых полчаса до того, как нас заберут родители, и мать Лили, этого вовсе не планировавшая, зримо встревожилась и спросила, чем мы хотим заняться. В двери кухни я видела долгое зеленое пространство, заросшее лозами и кустами, и мне очень хотелось туда выйти, только это было исключено: слишком холодно.

— А сбегали бы наверх да исследовали, что там, — будет у вас приключение? — Я видела, насколько Трейси поразило это предложение. Взрослые обычно говорили нам «ни во что не впутываться» и «сходить найти, чем заняться» или «пойти и принести какую-нибудь пользу», но мы не привыкли к тому, что нам говорят — велят! — устроить себе приключение. То была фраза из совершенно другого мира. Лили — неизменно обходительная, всегда дружелюбная, такая добрая — отвела всех своих гостей к себе в комнату и показала нам игрушки, старые и новые, все, что нам нравилось, не проявляя ни единого признака скверного настроения или жадности. Даже я, раньше бывавшая у нее дома всего раз, умудрялась больше собственничать насчет игрушек Лили, чем она сама. Я ходила и показывала Трейси всевозможные радости комнаты Лили, как будто она была моя: постановляла, сколько Трейси может держать в руках тот или иной предмет, объясняла, откуда появились штуки на стенах. Показала ей огромные часы «Суотч» — и сказала, что трогать их нельзя, — и отметила плакат с рекламой корриды: Бингэмы купили его, когда недавно ездили в Испанию в отпуск; под изображением матадора вместо его имени

было напечатано громадными красными буквами с завитушками: «Лили Бингэм». Мне хотелось, чтобы Трейси так же изумилась, как я, когда увидела все это впервые, но она лишь пожала плечами, отвернулась от меня и сказала Лили:

— Проигрыватель есть? Устроим представление.

Трейси очень хорошо удавались изобретательные игры — лучше, чем мне, — и всем остальным она предпочитала игру «Устроим представление». Мы часто в нее играли, всегда вдвоем, но теперь она принялась вербовать в «нашу» игру полдюжины других девочек: одну отправила вниз за синглом в подарочной упаковке, который станет нашей звуковой дорожкой, других отрядила делать билеты на грядущее представление, а затем — и афишу для его рекламы, третьи собирали по разным комнатам подушки и диванные валики, чтобы служили сиденьями, и Трейси показывала всем, где расчистить место для «сцены». Представление должно было проходить в комнате брата-подростка Лили, где у них стоял проигрыватель. Брата дома не было, и мы отнесли к его комнате так, будто у нас на нее имелось естественное право. Но когда почти все уже было организовано, Трейси резко поставила в известность своих работников, что в самом представлении в итоге будут участвовать лишь она и я — а все остальные будут публикой. Когда некоторые девочки осмелились усомниться в такой политике, Трейси в свой черед агрессивно засыпала их вопросами. Они ходят в танцевальный класс? У них есть золотые медали? Столько же, сколько у нее? Некоторые девочки расплакались. Трейси сменила пластинку — слегка: такая-то может заняться «светом», такая-то могла бы сделать «реквизит» и «костюмы» или объявлять представление, а Лили Бингэм пусть снимает все это на папину видеокамеру. Трейси разговаривала с ними так, словно они младенцы, и я удивилась, насколько быстро удалось их утихомирить. Они взялись за свои глупые выдуманные задания и, казалось, были этим довольны. Затем всех прогнали в комнату Лили, пока мы «репетировали». Именно тогда мне показали «костюмы»: две кружевные сорочки, извлеченные из ящика с бельем миссис Бингэм. Не успела я и рта раскрыть, а Трейси уже стягивала с меня через голову платье.

— Наденешь красную, — сказала она.

Мы поставили пластинку, порепетировали. Я знала: что-то не так, на танцы, какие мы исполняли раньше, это совсем не походило, но было такое чувство, что я ничего с этим поделать не могу. Трейси, как обычно, выступала хореографом: моей единственной работой было танцевать изо всех сил. Когда она решила, что мы готовы, в комнату брата Лили опять

пригласили публику, и все расселись на полу. Лили стояла сзади, тяжелая камера на ее узком розовом плечике, в бледно-голубых глазах — растерянность, не успели мы и начать танец, от вида двух девочек, одетых в облегающие материны штуки, которых она, вероятнее всего, никогда раньше и не видела. Она нажала кнопку и сказала:

— Запись, — и тем самым привела в действие цепь причин и следствий, которые больше четверти века спустя стали ощущаться как судьба, их теперь почти невозможно было рассматривать иначе, но о них — как ни думай ты о судьбе — определенно и рационально можно сказать одно: они имели единственное практическое последствие; теперь мне вовсе не нужно описывать сам танец. Но есть то, чего камера не поймала. Когда мы дошли до последнего припева — того мига, где я сижу верхом на Трейси на том стуле, — в то же самое мгновение мать Лили Бингэм, поднявшаяся сообщить нам, что за такой-то пришла мать, открыла дверь в комнату своего сына и увидела нас. Именно поэтому съемка прекратилась так резко. Миссис Бингэм замерла на пороге — недвижно, как жена Лота. А потом взорвалась. Растащила нас, содрала с нас костюмы, велела нашей публике вернуться в комнату Лили и молча высилась над нами, пока мы снова надевали наши дурацкие платья. Я все время извинялась. Трейси, которая обычно лишь дерзила разъяренным взрослым, вообще ничего не говорила, но каждый свой жест напитывала презрением — ей даже колготки удалось натянуть саркастично. Снова зазвонили в дверь. Мать Лили Бингэм спустилась. Мы не понимали, идти ли нам за нею. Следующие четверть часа в дверь все звонили и звонили, а мы оставались там же, где были. Я просто стояла, а Трейси с типичной своей предусмотрительностью сделала три вещи. Вынула кассету из камеры, вложила сингл обратно в конверт и оба предмета засунула в розовую шелковую сумочку со шнурком, которую ее мать сочла уместным повесить ей через плечо.

Моя мать опаздывала всегда и ко всему — и теперь пришла последней. Ее проводили вверх к нам, как адвоката к ее подзащитным — побеседовать с клиентами через прутья тюремной решетки, — и мать Лили весьма дотошно изложила ей, чем мы тут занимались, а также задала риторический вопрос:

— Вот вам разве не интересно, откуда дети такого возраста даже *черпают* подобные мысли? — Моя мать сразу ушла в оборону: она выругалась, и две женщины ненадолго поссорились. Меня это потрясло. В тот миг, казалось, она ничем не отличается от всех остальных матерей,

кому сообщают о скверном поведении их ребенка в школе, — даже ее патуа ненадолго вернулся, а я не привыкла видеть, как она утрачивает самообладание. Она схватила нас за спины наших платьев, и все мы втроем слетели вниз по лестнице, но мать Лили не отставала от нас, и в прихожей повторила, что Трейси сказала о Куршеде. То был ее козырь. От всего остального моей матери можно было отмахнуться как от «типичной буржуазной морали», но вот «паки» игнорировать она не могла. Мы в то время считались «черными и азиатами», мы ставили галочку в графе «черные и азиаты» на медицинских бланках, вступали в группы поддержки черных и азиатских семей и держались черного и азиатского отдела библиотеки: все это считалось вопросом солидарности. И все же моя мать защищала Трейси — она сказала:

— Она ребенок, просто повторяет то, что услышала, — на что мать Лили ответила, тихонько:

— Не сомневаюсь. — Моя мать открыла переднюю дверь, изъехала нас из дома и очень громко захлопнула дверь. Но едва мы оказались снаружи, вся ее ярость обрушилась на нас — только на нас, она тащила нас по улице, как два мешка с мусором, и кричала:

— Думаете, вы из таких, как они? Вы так думаете? — Отчетливо помню то ощущение: меня тащат дальше, носки туфель у меня царапают мостовую, — и до чего меня озадачивали слезы у матери в глазах, это искажение, портившее ей миловидное лицо. Я все запомнила про десятый день рожденья Лили Бингэм и совершенно ничего не помню про свой.

Когда мы дошли до той дороги, что разделяла наш жилмассив и дом Трейси, мать отпустила ее руку и прочла краткую, но сокрушительную лекцию об истории расовых определений. Я поникла головой и плакала прямо на улице. Трейси осталась равнодушной. Она задрала подбородок и порсячий свой носик, дождалась, когда все это закончится, а потом поглядела моей матери в глаза.

— Это просто слово, — сказала она.

В тот день, когда мы узнали, что Эйми в какой-то из ближайших дней появится у нас в кэмденской конторе на Хоули-лейн, известие подействовало на всех, никто не остался им не затронут. По комнате совещаний прокатился тихий вопль, и даже самые матерые наймиты «УайТВ» поднесли к губам кофе, перевели взгляды на зловонный канал и улыбнулись, припоминая более ранние версии самих себя — как они танцевали под раннее, грязное, городское диско Эйми, детишками у себя в гостиных, или порывали со своими студенческими возлюбленными в колледжах под ее приторные баллады 90-х. В том месте чтили настоящую поп-звезду, каковы бы ни были у нас личные музыкальные предпочтения, и к Эйми относились с особым уважением: судьбы ее и нашего телеканала были связаны с самого начала. Она была видеоартистом до мозга костей. Песни Майкла Джексона можно было слушать, и не вызывая в памяти образы, которые их сопровождали (что, вероятно, лишний раз доказывает: у его музыки имелась настоящая жизнь), но музыка Эйми содержалась и, порой казалось, поистине существовала лишь в мире ее видеоклипов, и когда б тебе ни случалось слышать те песни — в магазине, в такси, даже если всего лишь их ритмы содрогались в наушниках у какого-нибудь проходящего мимо пацана, — тебя тут же отбрасывало в первую очередь к зрительному воспоминанию, к движению ее руки, ног, грудной клетки или промежности, к цвету ее волос в то время, к ее одежде, к тем ее зимним глазам. По этой причине Эйми — и все ее имитаторы — служили, хорошо это или плохо, основанием нашей бизнес-модели. Мы знали, что американское «УайТВ» строилось отчасти вокруг ее легенды, словно святилище сорванцовского бога, и то, что она вообще соизволила явиться в наше, британское, гораздо более низменное святилище, считалось великим достижением, все перешли в наш извод повышенной боеготовности. Руководитель моего отдела Зои собрала особое совещание только нашей команды, поскольку в некотором смысле Эйми должна была прийти к нам, в отдел талантов и отношений, и записать благодарственную речь для получения награды, которую лично не сможет принять в Цюрихе через месяц. А также там наверняка будет много врезок для разнообразных новых рынков («Привет, я Эйми, и вы смотрите „УайТВ“-Япония!»), а еще, быть может, если удастся ее уговорить, интервью для «Новостей УайТВ», может, даже живое выступление записать в подвале получится, для «Танц-

хронограмм». В мои обязанности входило собирать все подобные запросы по мере их поступления — от наших европейских подразделений в Испании, Франции, Германии и скандинавских странах, из Австралии, из всех остальных мест — и затем свести все в один документ, который отправят факсом персоналу Эйми в Нью-Йорк до ее приезда — оставалось еще четыре недели. А затем, когда совещание уже заканчивалось, произошло кое-что чудесное: Зои соскользнула со стола, где сидела в своих кожаных брючках и топики, из-под которого просвечивал твердый как камень смуглый живот с алмазиком пирсинга в пупке, — встряхнула львиной гривой полукарибских кудряшек, повернулась ко мне как бы между прочим, словно бы ничего особенного в этом и не было, и сказала:

— Тебе нужно будет забрать ее внизу в этот день и проводить в студию B12, остаться с ней и приносить ей все, что потребуется.

Из той комнаты для совещаний я выходила так, как Одри Хепбёрн всплывала по лестнице в «Моей прекрасной леди»^[43], на облаке клубящейся музыки, готовая танцевать по всему простору нашей конторы с открытой планировкой, кружиться, и кружиться, и кружиться — на улицу и всю дорогу до дома. Мне было двадцать два года. Однако я не слишком удивилась: такое ощущение, будто все, что я видела и пережила за последний год, двигалось именно к этому. В те дни умирания 90-х была в «УайТВ» некая чокнутая жизнерадостность, атмосфера безудержного успеха, зиждущегося на шатких основаниях, что как-то символизировало даже само здание, в котором мы размещались: три этажа и подвал старой телевизионной студии «ПРОСНИСЬ, БРИТАНИЯ» в Кэмдене (у нас до сих пор в фасад оставалось встроено громадное восходящее солнце, яично-желтое, ныне — совершенно неуместное). Сверху к нам вклинивались «Ви-Эйч-1»^[44]. Наша внешняя система трубного отопления, выкрашенная в вырвиглазные основные цвета, напоминала Центр Помпиду для нищих. Внутри все было зализано и модерново, тускло освещено и темно меблировано — берлога немезиды Джеймса Бонда. Некогда здесь располагался торговый зал подержанных автомобилей — еще до телевидения как музыкального, так и завтрачного, — и внутренняя тьма, казалось, была рассчитана на то, чтобы скрывать конструктивные особенности постройки, сварганенной на скорую руку. Воздухозаборники так скверно отделали, что из Риджентс-канала туда заползали крысы и гнездились в них, оставляя повсюду помет. Летом — когда включали вентиляцию — летний грипп косил людей целыми этажами. Поворачиваешь шикарные затемнители света — и ручка реостата чуть ли

не каждый раз остается в руке.

То была компания, ставившая все на показуху. Двадцатилетние секретарши становились ассистентами продюсера просто потому, что казались «клевыми» и «не против». Моя тридцатиоднолетняя начальница выросла со стажера производства до главы отдела талантов за каких-то четыре с половиной года. Сама я проработала всего восемь месяцев, а меня повысили уже дважды. Иногда мне становилось интересно, что бы случилось, если б я там осталась — если б цифра не убила звезд видео. В то время я чувствовала, что мне везет: никаких особых планов на карьеру у меня не было, однако моя карьера все равно продвигалась. Свою роль сыграло пьянство. На Хоули-лейн пьянство было обязательным: выскакивать выпить, держать выпивку, выпивать с другими под столом, никогда не отказываться от выпивки, даже если ты на антибиотиках, даже если болеешь. Стремясь в ту пору избегать вечеров наедине с отцом, я ходила на все конторские выпивки и вечеринки и спиртное в себе держать умела — я совершенствовала этот очень британский навык с тринадцати лет. В «УайТВ» большая разница заключалась в том, что пили мы бесплатно. Компания просто купалась в деньгах. «Халява» и «открытый бар» — вот были два наших самых часто повторяемых оборота. В сравнении с другими местами, где я до этого работала, — даже по сравнению с колледжем — тут было ощущение затянувшейся перемены, когда мы все вечно ожидали появления взрослых, а те никогда не приходили.

Одной из моих первых задач было клепать списки гостей для вечеринок нашего отдела, которые происходили с частотой раз в месяц. Проводили их по большей части в дорогих заведениях в центре города, и на них всегда бывало много халявы: футболки, кроссовки, плееры мини-дисков, стопки компакт-дисков. Официально они спонсировались той или иной водочной компанией, неофициально — колумбийскими наркокартелями. Мы ходили строем в уборную и из нее. Наутро — парад позора, кровь из носа, высокие каблуки свои носишь в руках. Кроме того, я архивировала квитанции компании за мини-такси. Их вызывали ради всего, от перепихонов до поездки в аэропорт, чтобы вылететь в отпуск. Под утро рабочего дня — в круглосуточные винные магазины и на домашние вечеринки и обратно. Я однажды вызвала мини-такси съездить к моему дяде Лэмберту. Один исполнительный директор стал знаменит на всю контору тем, что заказал себе такси в Манчестер — он проспал и опоздал на поезд. После моего ухода оттуда я слышала, что эту практику прекратили, но в тот год счет за транспорт превысил сотню тысяч фунтов.

Однажды я попросила Зои объяснить мне логику всего этого, и мне сообщили, что видеокассета — которые сотрудники компании часто возят с собой — в подземке может «размагнититься». Однако большинство даже не знало, что таково их официальное алиби: бесплатные поездки они принимали как должное, считали неким правом, прилагаемым к тому, что «работают в СМИ», и ощущали, что уж это-то они заслуживают. Разумеется, по сравнению с тем, что их старые друзья студенческих лет, кто предпочел работать в банках или адвокатурах, каждое Рождество находили в своих премиальных конвертах.

Банкиры и юристы, по крайней мере, постоянно работали. А у нас не было ничего, кроме свободного времени. Мои собственные задачи по работе завершались подчистую к половине двенадцатого — это учитывая, что на рабочее место я прибывала к десяти. О, время тогда ощущалось совсем иначе! Когда я уходила на свой полуторачасовой обеденный перерыв, тратила я его именно на это — на обед. В конторе никакой электронной почты ни у кого не было — по крайней мере, пока, — а у меня не было мобильного телефона. Я выходила через грузовые ворота прямо к каналу и шла вдоль самой воды, в руке — обернутый в пластик, сущностно британский сэндвич, наслаждалась днем вокруг, наркосделками на открытом воздухе и толстыми утками, что крикали, выпрашивая у туристов хлебные крошки, разукрашенными жилыми баржами и печальными молодыми готами, что свешивали ноги с моста, прогуливая школу, — тени меня самой десятилетием раньше. Частенько я доходила до самого зоопарка. Там садилась на травянистый откос и глазела на Сноудонский птичий вольер, в котором вилась стая африканских птиц — костяно-белых, с кроваво-красными клювами. Я так и не выяснила, как они называются, пока не увидела их на их собственном континенте, где у них все равно другое имя. После обеда я прогуливалась обратно, иногда — с книгой в руке, особо никуда не торопясь, и, что мне сейчас поразительнее всего, — не считала ничего подобного необычайным или каким-то особым везением. Я тоже полагала свободное время своим богоданным правом. Да, на фоне злоупотреблений своих коллег, я себя мыслила работающей, серьезной, продуктом своего воспитания с таким ощущением соразмерности, какого не хватало остальным. Слишком юная, чтобы пускаться в какие-то их множественные «выезды по укреплению внутрикомандных связей», я лишь бронировала им авиаперелеты — в Вену, Будапешт, Нью-Йорк — и втайне дивилась ценам за место в бизнес-классе, самому существованию бизнес-класса, никогда не могла решить, подшивая в папку эти их «расходы», всегда ли происходило такое повсюду вокруг меня, все мое детство (но

невидимое мне, на уровне выше моего осознания) или это я просто достигла совершеннолетия в особенно бодрый миг истории Англии, в тот период, когда деньги обрели новое значение и применение, и «халявы» стали разновидностью общественного принципа, о котором в моем районе и слухом не слыхали, однако в других местах это нормально. «Халявизм» — практика дарения чего-то бесплатного людям, которые в этом не нуждаются. Я думала о детишках в школе, кто мог бы легко выполнять мою нынешнюю работу: они гораздо больше меня знали о музыке, были истинно «четкими», по-настоящему «уличными», какой меня повсюду считали ошибочно — но они в этих конторах оказались бы с такой же вероятностью, как на Луне. Мне было интересно: почему я?

В огромных кипах глянцевого журналов, валявшихся по всей конторе, мы теперь читали, что Британия — это клево, — ну, или что-то подобное, что даже меня поражало своей пылкой не-клевозностью, — и через некоторое время начали понимать, что, должно быть, компания наша едет на гребне именно этой оптимистической волны. Оптимизм, проникнутый ностальгией: парни у нас в конторе выглядели, как перезапущенные моды, с прическами «Причудей»^[45] тридцатилетней давности, а девушки напоминали крашенных блондинок Джули Кристи^[46] в коротких юбочках и с размазанными черными глазами. Все ездили на работу на «веспах», у каждого в загончике, казалось, висел портрет Майкла Кейна в «Элфи» или «Ограблении по-итальянски»^[47]. То была ностальгия по эпохе и культуре, которая с самого начала для меня ничего не значила, и, вероятно, поэтому я в глазах своих коллег была клевой — исключительно из-за того, что я — не они. К моему столу новый американский хип-хоп торжественно приносили исполнительные директора средних лет, полагавшие, что у меня должно быть насчет него какое-то весьма ученое мнение, и в самом деле то небольшое, что я о нем знала, в этом контексте выглядело значительным. Даже задание нянчиться с Эйми в тот день, я уверена, мне дали потому, что предполагалось: я — слишком клевая, чтоб из-за этого париться. Мое неодобрение большинства всякого всегда уже подразумевалось: «Ой, нет, ее и просить не стоит, ей не понравится». Говорилось иронично, как и всё в те времена, однако — с холодной струйкой оправдательной гордости.

Самым неожиданным моим приобретением была моя начальница Зои. Она тоже начинала стажером, но без доверительного фонда или богатеньких родителей, как у прочих, — у нее даже отеческой берлоги, за которую платить не нужно, как у меня, не было. Жила она в мерзостном сквороте Чок-Фарма, за который уже больше года не платили, однако каждое

утро являлась в девять — пунктуальность в «УайТВ» считалась почти непостижимой добродетелью, — где и принималась «упахивать свою задницу до костей». Изначально — детдомовка, постоянно меняла уэстминстерские приюты, таких детей, как она, прошедших через эту систему, я знала и раньше. Была у нее та же дикая жажда ко всему, что предлагалось, а по натуре своей она была отстраненной и гиперманиакальной: такие черты подчас находишь у военных журналистов или у самих солдат. Вообще, конечно, ей по праву полагалось бояться жизни. Но она была безрассудно смела. Полная противоположность мне. Однако в контексте конторы нас с Зои рассматривали как взаимозаменяемых. У нее, как и у меня, политические взгляды уже устоялись, хотя в ее случае контора все перепутала: она была рьяной тэтчериткой — такие чувствуют, что раз они сумели вытянуть себя за шнурки, то и всем остальным лучше будет последовать их примеру и сделать так же. Почему-то «во мне она видела себя». Я восхищалась ее закалкой, но себя в Зои не наблюдала. Я, в конце концов, училась в университете, а она — нет; она была чумовой, я — нет; она одевалась, как «Девочки с перчиком»^[48], которых помнила, а не как начальство, каким была на самом деле; рассказывала несмешные пошлые анекдоты, спала с самыми юными, шикарными, непричесаннейшими, белейшими интернами марки «независимый мальчик»; я чопорно не одобряла. И все равно я ей нравилась. Когда она бывала пьяна или в улете, ей нравилось мне напоминать, что мы сестры, две смуглые девчонки со взаимными обязательствами. Перед самым Рождеством она отправила меня на вручение нашей Европейской музыкальной награды в Зальцбург, где среди моих заданий числилось сопровождать Уитни Хьюстон на отстройку звука. Не помню, какую песню та пела — мне ее песни все равно никогда не нравились, — но стоя в том концертном зале, слушая, как она поет без сопровождения, без какой бы то ни было поддержки, я поняла, что одна лишь красота ее голоса, монументальная доза соула в нем, боль, что им подразумевалась, превзошли все мои сознательные возражения, мою критическую разумность или чутье на сантимент — или на что там еще люди ссылаются, когда говорят о своем «хорошем вкусе», — а вместо всего этого проникла мне прямо в позвоночник, где у какой-то мышцы случилась судорога, и я расклеилась. В самой глубине зала, у таблички «ВЫХОД» я разревелась. К тому времени, как я вернулась на Хоули-лейн, история эта уже облетела всех, но вреда мне не причинила, совсем напротив — случай этот истолковали как знак того, что я истинно верующая.

Три

Теперь кажется смешно, едва ли не убого — и, возможно, лишь техника способна добиться такого комического возмездия нашим воспоминаниям, — но когда к нам приезжал артист и нам нужно было составить на него досье, чтобы раздавать интервьюерам, рекламодателям и тому подобным, мы спускались в подвальную библиотеку и вытаскивали четырехтомную энциклопедию под названием «Биография рока». Все, что содержалось в статье про Эйми, важное или нет, я уже знала и так, — уроженка Бендигу, аллергия на грецкие орехи, — за исключением одной детали: ее любимым цветом был зеленый. Я пометила нужное у себя от руки, собрала все сообразные запросы, постояла в копировальной комнате у шумного факс-аппарата и медленно покормила его документами, думая о ком-то в Нью-Йорке, для меня — городе мечты: этот кто-то стоит и ждет у похожего устройства, пока мои документы до них дойдут ровно в тот же миг, когда я их отправляю, отчего действие это я ощущала таким современным, прямо-таки триумфом над расстоянием и временем. А затем, разумеется, чтобы встретить Эйми, мне понадобится новая одежда, возможно — новая прическа, свежий способ разговаривать и ходить, полностью новое отношение к жизни. Что надеть? Единственное место, где я что-то в ту пору покупала, было Кэмденским рынком, и вот из этого загона с «мартензами» и хипповскими шальями я с большим удовольствием извлекла громадную пару ярко-зеленых грузицких штанов из шелковистой парашютной материи, облегающий зеленый обрезанный топ — на котором дополнительным бонусом спереди изображалась обложка альбома «Теория для начинающих»^[49], выделенная черными, зелеными и красными блестками, — и пару «эйр-джорданов» космического века, тоже зеленых. Завершила я экипировку фальшивым кольцом в нос. Ностальгично и футуристично, хип-хопово и независимо, бунтарррка и неистовая фемина. Женщины часто верят, что одежда так или иначе решит вопрос, но ко вторнику перед ее приездом я поняла: что бы я ни надела, оно мне не поможет, я слишком нервничаю, не могу ни работать, ни сосредоточиться, ничего. Я сидела перед своим гигантским серым монитором, слушая жужжанье модема, предвкушая четверг и впечатывая в рассеянности своей полное имя Трейси в маленькую белую графу, снова и снова. Именно этим я занималась на работе, если мне бывало скучно или тревожно, хотя ни того, ни другого состояния это вообще-то никогда не ослабляло. К тому

времени я это проделывала уже много раз, раскопегаривала «Нетскейп»^[50], дожидалась нашего нескончаемо долгого подключения по телефонной линии и неизменно находила лишь все те же три островка информации: имя Трейси в списках «Справедливости»^[51], ее личную веб-страничку и чат, где она часто бывала под псевдонимом «Правдурубка_Легон». Ее карточка в «Справедливости» была статична, никогда не менялась. Упоминалось ее участие в кордебалете прошлогодней постановки «Парней и куколок»^[52], но никаких представлений больше не добавилось, не возникло никаких свежих новостей. Ее же личная страница менялась постоянно. Иногда я заходила на нее два раза в день и обнаруживала другую песню или что взрывной рисунок с розовым фейерверком сменился на вспыхивающие радужные сердечки. Как раз на этой странице месяцем раньше она упомянула чат со ссылкой в заметке — «Иногда правду слышать трудно!!!» — и кроме этого единственного указателя мне больше ничего не требовалось: дверь открылась, и я начала туда забредать по нескольку раз в неделю. Не думаю, что любой другой, прошедший по этой ссылке, — никто, кроме меня, то есть, — догадался бы, что «правдурубкой» в этом причудливом разговоре была сама Трейси. Но, с другой стороны, и никто другой, насколько я видела, не читал ее страницу все равно. В этом была какая-то печальная суровая чистота: песни, что она выбирала, никто не слушал, слова, что она писала, обычно — банальные афоризмы («Дуга Нравственной Вселенной Длинна, Но Она Клонится К Справедливости»^[53]), никто никогда не читал, кроме меня. Лишь в том чате она, похоже, пребывала в миру, хоть тот мир и был такой причудливый, наполненный лишь отзвуками голосов тех, кто, очевидно, уже друг с другом согласен. Судя по тому, что я наблюдала, она проводила там пугающее количество времени, особенно поздно ночью, и я к этому времени уже прочла все ее ветки обсуждений, как текущие, так и заархивированные, покуда не сумела разобраться в их общей логике и не начала следить за ходом спора и ценить его. Мне уже не так хотелось рассказывать коллегам истории про мою чокнутую бывшую подружку Трейси, ее сюрреальные приключения в чате, ее апокалиптические одержимости. Я не простила ее — да и не забыла, — но так использовать ее мне отчего-то стало противно.

Среди самого странного тут было то, что человек, под чьи чары она, похоже, попала, сам гуру, некогда был репортером «завтрачного» телевидения, работал в том самом здании, где я сейчас, и в детстве, помню, мы часто сидели с Трейси и смотрели его, на коленках — миски с

хлопьями, ждали, когда закончится его скучная передача для взрослых и начнутся наши субботние утренние мультики. Однажды в мои первые зимние каникулы в университете я вышла купить себе учебники в сетевом книжном магазине на Финчли-роуд, и пока бродила там по отделу кино, увидела его живьем — в дальнем углу исполинского магазина он представлял какую-то свою книжку. Сидел за простым белым столом, сам весь в белом, с преждевременно побелевшими волосами, перед внушительной аудиторией. Две девушки-сотрудницы стояли возле меня и подсматривали из-за полок, разглядывая это причудливое сборище. Они над ним смеялись. Меня же поразило не столько то, что он говорил, сколько странный состав его слушателей. Там было несколько белых женщин средних лет, одетых в рождественские свитера с уютными орнаментами, — эти ничем не отличались от домохозяек, которым он бы нравился десятью годами раньше, — но больше всех в толпе было молодых черных парней, где-то моего возраста, которые держали на коленях замусоленные экземпляры его книг и слушали с полным вниманием и решимостью какую-то изощренную теорию заговора. Ибо мир управлялся ящерицами в человеческом облике: ящерицами были Рокфеллеры, и Кеннеди, и почти все в «Голдмен-Заксе»^[54], и Уильям Хёрст тоже был ящерицей, и Рональд Рейган, и Наполеон — то был всемирный заговор ящериц^[55]. В итоге продавщицы устали хихикать и куда-то убрели. Я осталась до конца, глубоко обеспокоенная увиденным, и не знала, как к этому относиться. Лишь позднее, когда я начала читать ветви комментариев Трейси — которые, если отставить в сторону их безумную предпосылку, поражали своими подробностями и извращенной эрудицией, в них связывалось воедино множество разрозненных исторических периодов, политических идей и фактов, которые объединялись в нечто вроде теории всего и даже в комических своих заблуждениях требовали определенной глубины изысканий и неуклонного внимания, — да, только тогда почувствовала я, что лучше понимаю, зачем все эти серьезные с виду молодые люди собрались в тот день в книжном магазине. Стало возможным читать между строк. Не способ ли все это объяснить власть, в конце-то концов? Власть, что определенно существует в этом мире? Которую имеют немногие, а большинству до нее и близко не добраться? Власть, которой у моей старинной подружки, как она, должно быть, чувствовала на том рубеже своей жизни, не имелось нисколько?

— Э, что *это* еще за хуйня?

Я обернулась на крутящемся стуле и у своего плеча обнаружила Зою —

она изучала вспыхивающую картинку ящерицы, у которой на ящеричьей башке красовались Драгоценности Короны. Я свернула страницу.

— Дизайн альбома. Плохой.

— Слушай, в четверг утром — ты в деле, они подтвердили. Готова? Все есть, что тебе нужно?

— Не волнуйся. Все отлично будет.

— Ох, да я знаю, что будет. Но если понадобится голландское мужество, — сказала Зои, постукав себя по носу, — дай мне знать.

До этого дело не дошло. Трудно снова собрать воедино куски того, до чего в точности оно дошло. Мои воспоминания об этом и воспоминания Эйми никогда толком не пересекались. Я слышала, как она говорит, что наняла меня потому, что почувствовала «между нами немедленную связь» в тот день — или же, иногда, потому что я ее поразила своими способностями. Думаю, все случилось из-за того, что я была с нею непреднамеренно груба — а таковы в тот период ее жизни были немногие люди, — и в грубости своей, должно быть, застряла у нее в мозгу. Две недели спустя, когда ей вдруг потребовалась новая молодая ассистентка, — вот она я, застрявшая. В общем, она возникла из машины с зачерненными стеклами в разгар спора со своей тогдашней ассистенткой Мелани У. Ее менеджер Джуди Райан шла в двух шагах за ними обеими, крича в телефон. Первое, что я вообще услышала из уст Эйми, было наездом:

— Все, что сейчас выходит из твоего рта, для меня не имеет совершенно никакой ценности. — Я заметила, что австралийского акцента у нее нет — уже нет, но выговор был не вполне американский и не вполне британский, он был общемировым: Нью-Йорк, Париж, Москва, Л.-А. и Лондон, вместе взятые. Конечно, многие сейчас так говорят, но в исполнении Эйми я тогда услышала это впервые. — Ты полная противоположность полезной, — сказала она теперь, на что Мелани ответила:

— Это я тотально понимаю. — Мгновенье спустя эта несчастная девушка оказалась передо мной, перевела взгляд мне на грудь, ища глазами бирку с именем, а когда вновь посмотрела мне в лицо, я заметила, что она сломлена, изо всех сил старается не расплакаться. — Значит, мы в графике, — произнесла она как могла твердо, — и было бы здорово, если бы мы из него не выбивались?

Мы вчетвером стояли в лифте, молча. Я была полна решимости заговорить, но не успела — Эйми повернулась ко мне и надулась на мой топ, словно хорошенький капризный подросток.

— Интересный выбор, — сказала она Джуди. — Носить майку другого артиста, когда встречаешь артиста? Профессионально.

Я опустила на себя глаза и вспыхнула.

— Ой! Нет! Мисс... то есть, миссис... мисс Эйми. Я вовсе ничего не имела...

Джуди испустила единственный громкий хохоток, словно тюлень гавкнул. Я попыталась сказать что-то еще, но двери лифта открылись, и Эйми решительно вышла.

На разные наши встречи нужно было идти по коридорам, и все они были запружены людьми — как Молл на похоронах принцессы Дианы. Казалось, никто не работает. Где бы мы ни задержались, студийная публика теряла самообладание чуть ли не мгновенно, вне зависимости от их положения в компании. Я наблюдала, как управляющий директор сообщает Эйми, что ее баллада была первым танцем у него на свадьбе. Содрогаясь от неловкости, слушала, как Зои пустилась в бессвязный отчет о том, как в ней лично резонирует «Двигайся со мной», как эта песня помогла ей стать женщиной и понять силу женщин, не бояться быть женщиной и тому подобное. Когда мы наконец двинулись дальше, по другому коридору и в другой лифт, чтобы спуститься в подвал — где Эйми, к восторгу Зои, согласилась записать короткое интервью, — я собрала в кулак мужество обронить, эдаким усталым тоном двадцатидвухлетки, как скучно, должно быть, ей слушать, когда люди говорят ей подобное, сутками напролет, сутками.

— Вообще-то, маленькая мисс Зеленая Богиня, я это обожаю.

— Ой, ладно, я просто подумала...

— Вы просто подумали, что я презираю свой народ.

— Нет! Я просто... я...

— Знаете, просто потому что вы — не мой народ, это не значит, что они не хорошие люди. У всех свое племя. Вот вы вообще в чьем племени? — Она окинула меня вторым, медленным, оценивающим взглядом, вверх-вниз. — А, ну да. Это мы уже знаем.

— Вы смысле — музыкально? — спросила я и допустила ошибку — перевела взгляд на Мелани У, по чьему лицу поняла, что беседе этой следовало завершиться много минут назад, что ей не нужно было даже начинаться.

Эйми вздохнула:

— Конечно.

— Ну... много в чьих... наверное, больше в том, что постарше, вроде Билли Холидей? Или Сары Вон. Бесси Смит. Нины. Настоящих певиц. То

есть не это... то есть у меня...

— Э-э, поправьте меня, если я ошибаюсь, — произнесла Джуди: ее широченный акцент оззи остался нетронут прошедшими десятилетиями. — Интервью на самом деле не в этом лифте происходит? Спасибо.

Мы вышли в подвале. Я окаменела от ужаса и попробовала их опередить, но Эйми быстро обогнула Джуди и взяла меня под руку. Я ощутила, как сердце подпрыгнуло мне в горло — в старых песнях говорится, что оно так умеет. Я опустила взгляд — росту в ней всего пять футов два дюйма — и впервые разглядела это лицо вблизи, отчего-то одновременно мужское и женское, глаза с их льдистой, серой, кошачьей красотой, оставленные для раскрашивания всему остальному миру. Бледнее австралийки я не видела никогда. Иногда — если без грима — она вообще не походила на существо ни с какой теплой планеты — и сознательно стремилась все так и оставить, всегда защищая себя от солнца. Было в ней что-то инопланетное — эта личность принадлежала к племени из одного человека. Едва ли сознавая, я улыбнулась. Она улыбнулась в ответ.

— Так вы говорили? — сказала она.

— А! Я... наверное, у меня такое чувство, что голоса — они как что-то вроде...

Она опять вздохнула, изобразив взглядик на несуществующие часы.

— Я думаю, голоса — как одежда, — твердо сказала я, как будто думала об этом много лет, а вовсе не взяла с потолка в тот же самый момент. — Так что если видишь снимок 1968 года, то знаешь, что это 68-й по тому, что люди на нем носят, и если слышишь, как поет Дженис, то знаешь, что это 68-й. Ее голос — признак времени. Это как история или... типа.

Эйми вздела одну сокрушительную бровь.

— Понятно. — Она отпустила мою руку. — А *мой* голос, — сказала она с равной убежденностью, — *мой* голос и *есть* это время. Если он для вас звучит, как компьютер, ну что, извините, это просто потому, что *он как раз вовремя*. Вам он может не нравиться, возможно, вы живете в прошлом, но я, блядь, пою в это время, прямо сейчас.

— Но он мне нравится!

Она вновь смешно, по-детски надулась.

— Но не так, как «Племя». Или Леди-блядь-Дей^[56].

К нам трусцой подбежала Джуди:

— Прошу прощенья, вам известно, в какую студию мы направляемся, или же мне надо...

— Эй, Джуд! Я тут с молодежью разговариваю!

Мы дошли до студии. Я открыла им дверь.

— Послушайте, можно я просто скажу, что мне кажется, я начала не с того... вот правда, мисс... то есть Эйми... мне было десять, когда вы впервые прогремели — я сингл купила. Для меня просто взрыв мозга, что я с вами познакомилась. Я из вашего народа!

Она мне снова улыбнулась: в том, как она со мной заговорила, звучал некий флирт, как он звучал всегда, когда она говорила со всеми. Нежно она взяла меня одной рукой за подбородок.

— Я вам не верю, — сказала она, одним плавным движением вытащила у меня из носа фальшивое кольцо и вручила его мне.

Четыре

И вот — Эйми, на стене у Трейси, ясно, как днем. Пространство она делила с Майклом и Дженет Джексонами, Принцем, Мадонной, Джеймсом Брауном^[57]. За лето Трейси превратила свою комнату в нечто вроде капища для всех этих людей, своих любимых танцоров, украсила ее громадными глянцевыми плакатами с их портретами, все — в движении, поэтому стены ее читались, как иероглифы, для меня непостижимые, но явно некая форма сообщения, воссоздаваемого из жестов, согнутых локтей и ног, растопыренных пальцев, толчков тазом. Не любя рекламных снимков, она выбирала кадры с концертов, ходить на которые нам было не по карману, — причем те, где виден пот на лице у танцора. Эти, утверждала она, — «настоящие». Моя комната тоже была алтарем танца, но я застряла в фантазии, ходила в библиотеку и выбирала старые биографии, издававшиеся в семидесятых, — великих идолов «МГМ» и «РКО»^[58], выдирала их отжившие свой век портреты и прищипливала к стенкам синей липучкой. Так я открыла для себя братьев Николсанов, Фаярда и Херолда^[59]: их снимок в воздухе, когда они оба в шпагате, обозначал вход в мою комнату — они словно бы прыгали над дверным проемом. Я узнала, что они самоучки, и, хотя танцевали как боги, никакой формальной подготовки у них не было. Я гордилась ими как своими собственными, словно они были моими братьями, как будто они семья. Я очень старалась заинтересовать Трейси — за кого из моих братьев она бы вышла замуж? с кем бы поцеловалась? — но она теперь уже не могла высидеть даже кратчайшего эпизода черно-белого фильма, все в них было ей скучно. Это все не «настоящее» — слишком многое изъяли, слишком много чего слепили искусственно. Она желала видеть танцора на сцене — потеющего, настоящего, а не обряженного в цилиндр и фрак. А меня привлекало изящество. Мне нравилось, как она прятала боль.

Однажды ночью мне приснился клуб «Хлóпок»^[60]: там были Кэб Кэллоуэй^[61] и Херолд с Фаярдом, а я стояла на возвышении с лилией у себя за ухом. Во сне мы все были элегантны и никто из нас боли не ведал, мы никогда не украшали собой печальных страниц в книжках по истории, которые мне покупала мать, нас никогда не обзывали уродами или дураками, мы никогда не входили в театры через заднюю дверь, не пили из отдельных фонтанчиков и не занимали свои места в задних рядах любого автобуса. Никто из нашего народа никогда не болтался с дерева за шею,

никого вдруг не вышвыривали за борт, в цепях, в темную воду — нет, у меня во сне мы все были золотыми! Никто не был прекраснее или изящнее нас, мы были благословенным народом, где б ни случилось нас отыскать, в Найроби, Париже, Берлине, Лондоне или же сегодня вечером в Гарлеме. Но когда заиграл оркестр, а моя публика устроилась за столиками с выпивкой в руках, сами собой счастливые, ожидая, когда я, их сестра, запою, я открыла рот — и не вырвалось ни звука. Я проснулась и поняла, что обмочила постель. Мне было одиннадцать.

Мать пыталась мне помочь, по-своему. Посмотри пристальней на этот клуб «Хлопок», сказала она, вот «гарлемский ренессанс». Смотри: вот Лэнгстон Хьюз и Пол Роубсэн^[62]. Посмотри внимательней на «Унесенных ветром»: вот НАСПЦН^[63]. Но в то время политические и литературные идеалы моей матери интересовали меня далеко не так, как руки и ноги, как ритм и песня, как красный шелк нижней юбки Мамушки или сумасбродный тон Присси. Сведения, каких я искала, то, чем мне, как я чувствовала, нужно себя подкрепить, я вместо этого откапывала в старой, украденной из библиотеки книге — «Истории танца». Я читала о том, как танцевальные па передаются через века, от поколения к поколению. Эта история отличалась от материной, она едва ли записана — ее чувствуют. И мне в то время казалось очень важным, чтобы Трейси тоже ее чувствовала, все, что чувствовала я, — и в тот же миг, когда я это чувствовала, пусть эта история ее больше и не интересует. Я бежала всю дорогу до ее дома, ворвалась к ней в комнату и сказала, знаешь, когда прыгиваешь на шпагат (а она была единственной девочкой в танцклассе мисс Изабел, на такое способной), ты знаешь, как прыгивать на шпагат, и ты говорила, так твой папа может тоже, и ты этому у папы научилась, а он у Майкла Джексона, а Джексон перенял это у Принца и, может, у Джеймса Брауна, ну так вот, все они позаимствовали это у братьев Николсанов, братья Николсан — вот оригинал, они были самыми первыми, а значит, если ты этого не знаешь или говоришь, что тебе все равно, ты все равно танцуешь, как они, ты все равно от них это получаешь. Трейси курила материну сигарету в окно своей спальни. Выглядела она гораздо старше меня, когда так делала, скорее сорокапятилетней, чем одиннадцатилеткой, она даже умела дым из раздувающихся ноздрей пускать, и пока я говорила об этой важной, как предполагалось, штуке, которую пришла ей сообщить, — ощущала, как слова обращаются у меня во рту в золу. Я даже не знала, что говорю или что имею при этом в виду вообще-то. Чтобы дым не попадал в комнату, она стояла спиной ко мне, но когда я донесла до нее свою мысль, если то была

она, Трейси повернулась ко мне и сказала, очень холодно, точно мы с ней были совсем не знакомы:

— Никогда больше не заикайся про моего отца.

Пять

— Не получается.

Всего где-то месяц прошел с тех пор, как я начала работать у нее — у Эйми, — и как только это произнеслось вслух, я увидела, что она права, не получается, и загвоздка тут во мне. Я была молода, неопытна и, похоже, не в силах вернуться к тому впечатлению, какое у меня возникло вначале, в тот первый день, когда мы встретились: что она может быть человеческой женщиной, как любая другая. Вместо этого на мои собственные непосредственные отклики наложилось чужие — бывших коллег, старых школьных друзей, моих собственных родителей, и каждый производил свое действие, каждый ах или недоверчивый хохоток, поэтому теперь каждое утро, когда я приезжала к Эйми домой в Найтсбридж или в контору в Челси, мне приходилось сражаться с очень могучим ощущением сюрреальности. Что я тут делаю? Говоря, я часто запинаясь или забывала ключевые факты, что она мне сообщала. Теряла нить разговора во время телеконференций — слишком отвлекал другой голос у меня внутри, который твердил, не затыкаясь: она не настоящая, все тут ненастоящее, все это твоя детская фантазия. В конце дня бывало сюрпризом — закрыть тяжелую черную дверь ее георгианского городского особняка и оказаться в конце концов не в городе грез, а в Лондоне и лишь в нескольких шагах от линии Пиккадилли. Я садилась рядом с другими пассажирами — те читали городскую газету, я и сама частенько ее брала, но с ощущением того, что проехала дальше: не просто от центра обратно в предместья, а из другого мира обратно в их мир, тот, что, казалось мне, двадцатидвухлетней, существует в центре центра — тот, о котором все деловито сейчас читали.

— Не получается, потому что тебе неудобно, — сообщила мне Эйми с большой серой тахты, стоявшей напротив точно такой же, где сидела я. — Нужно, чтобы тебе работать на меня было уютно с собой. А тебе нет.

Я закрыла блокнот у себя на коленях, опустила голову и чуть не вздохнула с облегчением: значит, я могу вернуться на свою настоящую работу — если меня возьмут — и к действительности. Но Эйми не стала меня увольнять, а игриво швырнула мне в голову подушкой:

— Ну и что мы можем с этим сделать?

Я попробовала рассмеяться и призналась, что понятия не имею. Она склонила голову к окну. На лице у нее я заметила эту ее постоянную неудовлетворенность, нетерпение, к которому потом привыкну, накат и

отлив ее неугомонности стали очертаньем моего рабочего дня. Но в те ранние дни все это еще было мне в новинку, и я толковала это лишь как скуку, конкретно — скуку и разочарование от меня, и, не зная, что с этим делать, переводила взгляд с вазы на вазу в той громадной комнате — Эйми все свободные места набивала цветами — и на красоту снаружи подальше, на солнце, блестящее на аспидно-серых крышах Найтсбриджа, и старалась придумать, что бы такого интересного сказать. Я еще не понимала, что красота была частью скуки. Стены были завешаны множеством темных викторианских масел — портретами мелкопоместного дворянства перед их величественными домами, но из ее собственного века тут ничего не было, а также ничего узнаваемо австралийского, ничего личного. Этому месту полагалось быть лондонским домом Эйми, однако с нею самой он ничего общего не имел. Мебель была шикарной, в общем хорошем вкусе, как в любом престижном европейском отеле. Единственный подлинный знак того, что здесь вообще жила Эйми, была бронза у подоконника, размером примерно с тарелку и такой же формы: в центре у нее можно было разглядеть лепестки и листья чего-то, с первого взгляда напоминавшего лилию на плавающем листе, но на самом деле это была отливка влагища: вульва, губы, клитор — все целиком. Я не осмеливалась спросить, чьей.

— Но где ты себя чувствуешь уютнее всего? — спросила она, вновь поворачиваясь ко мне. Я увидела, что у нее на лице нарисовался новый замысел, словно бы свежей губной помадой.

— В смысле места?

— В этом городе. Место.

— Я никогда об этом не думала.

Она встала:

— Ну так подумай и давай туда съездим.

Первым на ум приходил Хит. Но Лондон Эйми, как те маленькие карты, что подхватываешь в аэропорту, был городом, сосредоточенным вокруг Сент-Джеймса, с севера он ограничивался Ритджейнтс-Парком, к западу тянулся до Кензингтона — время от времени заходя в глухомань Лэдброук-Гроув, — а на восток — лишь до Барбикэна. О том, что может лежать на южном конце моста Хангерфорд, она знала не больше, чем о конце радуги.

— Это большой как бы парк, — объяснила я. — Возле того места, где я выросла.

— Ладно! Ну так поехали туда.

Мы проехали на велосипедах по городу, огибая автобусы и перегоняя

случайного курьера, все втроем друг за дружкой: первым ее охранник — его звали Грейнджер, — потом Эйми, за нею я. Мысль о том, что Эйми поедет кататься по всему Лондону, привела Джуди в ярость, но Эйми затея очень понравилась, она это назвала своей свободой в городе, и, может, на одном светофоре из двадцати соседний водитель подавался за рулем вперед, опускал окно, заметив что-то знакомое в серо-голубых, кошачьих глазах, в этом изящном треугольном подбородке... Но к тому моменту светофор переключался и нас там больше не было. На прогулку она все равно надела городской камуфляж — черный спортивный лифчик, черный жилет и неопрятную пару черных велосипедных шортов, потертых в промежности, — и только Грейнджер, казалось, способен привлечь чье-либо внимание: черный мужик шести футов и четырех дюймов ростом, в двести пятьдесят фунтов весом шатко сидел на гоночном велосипеде с титановой рамой, то и дело останавливаясь, чтобы вытащить из кармана «А-Я»^[64] и яростно с ним свериться. Родом он был из Гарлема — «где у нас сетка», — и неспособность лондонцев сходным образом пронумеровать свои улицы он простить никак не мог, а потому списал из-за этого со счетов и весь город. Для него Лондон был растекшейся мешаниной скверной пищи и плохой погоды, в которой его единственная задача — держать Эйми в безопасности — затруднялась сильнее необходимого. У Суисс-Коттеджа он махнул, чтобы мы выехали на островок безопасности, и стащил с себя летчицкую куртку, обнаружив пару массивных бицепсов.

— Вот прям сразу гря вам, я понятия не имею, где тут это место, — сказал он, хлопнув картой по рулю. — Проедешь по какой-то крохотной улочке — Крайстчёрч-Клоуз, Хинглберри-блядь-Корнер, — а потом эта штука тебе grit: «перейдите на стр. 53». Ебать-копать, я же на велике.

— Выше нос, Грейнджер, — сказала Эйми с кошмарным британским акцентом, и на миг привлекла его здоровенную голову себе на плечо, нежно ее сжав. Грейнджер высвободился и яростно зыркнул на солнце:

— С каких эт пор тут такая жара?

— Ну, лето же. В Англии летом иногда бывает жарко. Надо было шорты надеть.

— Я не *ношу* шорты.

— Мне кажется, это у нас не очень плодотворный разговор. Мы на островке безопасности.

— Я всё. Едем назад, — сказал Грейнджер, в голосе его звучала бесповоротность, и я удивилась тому, что кто-то может так с Эйми разговаривать.

— Мы *не* едем назад.

— Тогда лучше сама это возьми, — сказал Грейнджер, роняя «А-Я» в корзинку перед рулем Эйми. — Птушта я этим пользоваться не могу.

— Я знаю дорогу отсюда, — подала голос я — в ужасе от того, что стала причиной такой сумятицы. — Тут вообще-то недалеко.

— Нам нужен транспорт, — стоял на своем Грейнджер, не глядя на меня. Мы почти никогда не смотрели друг на дружку. Иногда я думала о нас двоих как об агентах-«кротах», кого по ошибке назначили следить за одним объектом, и они осторожно избегают встречаться взглядами, чтобы один не нарушил маскировку другого.

— Я слыхала, там хорошенькие мальчики есть, — нараспев произнесла Эйми — это должно было изображать манеру Грейнджера. — Они прячут-ся в дере-вьях. — Она поставила ногу на педаль, оттолкнулась, вырулила на полосу движения.

— Я не мешаю игры с работой, — презрительно отозвался Грейнджер, с достоинством снова усаживаясь на свой изящный велосипед. — Я профессиональная личность.

Мы тронулись обратно вверх по склону, чудовищно крутому, пыхтя и отдуваясь, следом за смехом Эйми.

Хит я всегда могу отыскать — всю свою жизнь я выбирала такие тропы, что приводили меня обратно, хотела я того или же нет, к Хиту — но я никогда сознательно не искала и не находила Кенвуд. Я на него только натыкалась. В тот раз вышло так же: я вела Грейнджера и Эйми по переулкам, мимо прудов, переваливая через холм, стараясь придумать, где будет красивее, спокойнее, однако все же интереснее всего остановиться с суперзвездой, которой все легко наскучивает, — и тут увидела чугунную калитку, а за деревьями — белые дымовые трубы.

— С велосипедами не пускают, — сказала Эйми, прочтя табличку, а Грейнджер, предвидя, что грядет, снова начал возмущаться, но над ним взяли верх.

— Нас не будет где-то час, — сказала она, слезая с велосипеда и передавая ему руль. — Может, два. Я тебя наберу. У тебя эта штука с собой?

Грейнджер скрестил на могучей груди руки.

— Ну, только я тебе его не дам. Я должен быть рядом. Нет уж. И говорить не о чем.

Слезая с велосипеда, я увидела, как Эйми вытянула непреклонную ручонку, чтобы принять маленькое что-то, обернутое в пищевую пленку, сомкнула на этом предмете ладонь, и это нечто оказалось косяком — для

меня. Длинным и по конструкции американским, в нем вообще не было табака. Мы устроились под магнолией, прямо перед Кенвуд-Хаусом, и я откинулась на ствол и курила, а Эйми растянулась на траве, надвинув на глаза черную бейсболку, лицом ко мне.

— Сейчас лучше?

— Но... ты сама разве не будешь?

— Я не курю. Как легко догадаться.

Она потела совсем как на сцене и теперь схватилась за свой жилет и замахала полами, стараясь создать сквозняк, — и на меня глянула эта бледная полоска живота, что некогда так заворожала весь мир.

— У меня кола в сумке еще типа холодная?

— Не пью я эту дрянь — и тебе не стоит.

Она приподнялась на локтях, чтобы получше всю меня осмотреть.

— Сдается мне, не так уж тебе уютно.

Она вздохнула и перекатилась на живот, лицом к летней публике, толкавшейся у старых конюшен за сконами и чаем или толпившейся в дверях усадьбы ради искусства и истории.

— У меня вопрос, — сказала я, зная, что обдолбана, а она — нет, но мне все-таки трудно было не упускать из виду эту вот вторую часть. — Ты со всеми своими помощниками это делаешь?

Она задумалась.

— Нет, не именно это. Люди разные. Я всегда что-нибудь делаю. Не могу же я держать перед собой круглосуточно человека, который со мной робеет. Времени нет. А роскоши знакомиться с тобой как-то медленно, бережно или вести себя по-английски учтиво у меня нет — говорить «пожалуйста» и «спасибо» всякий раз, когда я хочу, чтоб ты что-нибудь сделала: если ты на меня работаешь, тебе надо просто прыгать по команде. Я так уже какое-то время поступаю и сообразила, что несколько напряженных часов в начале экономят много времени потом, без недопониманий и всякой срани. Ты еще легко отделалась, поверь мне. С Мелани я в ванну залезла.

Я попыталась как-то дурацки затаенно пошутить, надеясь снова услышать ее смех, но она мне прищурилась.

— И вот еще что: тебе следует понимать, что дело не в том, что я не понимаю этой вашей британской иронии, мне она просто не нравится. Я ее считаю подростковой. В девяноста процентах случаев, когда я встречаюсь с британцами, мое ощущение: повзрослейте уже наконец! — Мыслями она вновь обратилась к Мелани в ванне. — Хотелось узнать, не слишком ли длинные у нее соски. До паранойи.

— И как?

— Что как?

— Соски. Длинные.

— Они, блядь, у нее как пальцы.

Я фыркнула колой на траву.

— Смешно.

— У меня длинная родословная шутников. Бог знает, почему британцы считают, что им одним во всем мире позволено шутить.

— Не такая уж я и британка.

— Ой, детка, такая британка, что пробы ставить не на чем.

Она сунула руку в карман за телефоном и принялась просматривать текстовые сообщения. Еще задолго до того, как это стало общим состоянием, Эйми жила в своем телефоне. В этом, как и во многом другом, она была первопроходцем.

— Грейнджер, Грейнджер, Грейнджер, Грейнджер. Не знает, что с собой делать, если ему нечего с собой делать. Он как я. У нас одинаковая мания. Он мне напоминает, до чего я могу утомлять. Других. — Большой палец ее завис над новеньким «блэкберри». — С тобой я надеюсь на — самообладание, спокойствие, собранность. Такое тут не помешает. Иисусе-Христе, он мне уже пятнадцать сообщений прислал. Ему же нужно только велосипеды поддерживать. Говорит, он возле... что это за чертовня еще, «мужской пруд»?

Я ей объяснила, в подробностях. Она скроила скептическую гримасу.

— Если я знаю Грейнджера, он нипочем не станет плавать в пресной воде — он даже в Майами не купается. Очень верит в хлор. Нет, пусть просто велики поддержит. — Она ткнула пальцем мне в живот. — Мы с этим закончили? Еще есть, если нужно. Это разовое предложение, так что пользуйся. На помощника — только по разу. А остальное время ты работаешь, когда я работаю. Это значит — всегда.

— Я сейчас так расслабилась.

— Хорошо! Но тут есть еще чем заняться, кроме этого?

Вот так мы и принялись бродить по Кенвуд-Хаусу с шестилетней востроглазой девочкой по пятам, чья озабоченная мать отказывалась слушать о ее превосходной догадке. Я с красными глазами тащилась за своей новой нанимательницей, впервые замечая, как по-особенному она рассматривает картины: к примеру, игнорирует всех мужчин — не художников, а изображения, проходит мимо автопортрета Рембрандта, не сбавив шаг, не обращает внимания на графов и герцогов и одной репликой — «Подстригись!» — отмахивается от торгового моряка со смеющимися

глазами моего отца^[65]. Пейзажи для нее тоже ничего не значили. Она любила собак, животных, плоды, ткани и особенно цветы. За годы я научилась ожидать, что букетик анемон, который мы только что видели в Прадо или пионы из Национальной галереи где-то через неделю вновь возникнут в вазах по всему дому или гостиничному номеру, где нам в то время случилось остановиться. Множество мелких нарисованных собачек тоже прыгивало с холстов к ней в жизнь. Из Кенвуда происходила Колетт, страдающий недержанием спаниель Джошуа Рейнолдза, — ее несколько месяцев спустя купили в Париже, и мне приходилось целый год выгуливать ее дважды в день. Но больше всего этого любила Эйми изображения женщин: их лица, их мишуру, прически, корсеты, их остроносые туфельки.

— О боже мой, это же Джуди!

Эйми стояла на другой стороне зала, обитого красной камчатной тканью, перед портретом в натуральную величину и хохотала. Я подошла сзади и вгляделась в этого Ван Дейка. Сомнений не было: перед нами — Джуди Райан во всей своей ужасающей славе, только четыреста лет назад, в нелестном черно-белом балахоне из кружев и атласа, правая рука у нее — отчасти по-матерински, отчасти угрожающе — покоится на плече юного безымянного пажа^[66]. Ее глаза собаки-ищейки, жуткая челка, длинное лицо без подбородка — все на месте. Мы так смеялись, что между нами что-то вроде бы изменилось, отпала какая-то формальность или страх, поэтому, когда через несколько минут Эйми объявила, что ее чарует нечто под названием «Академия младенцев»^[67], я себя почувствовала достаточно раскрепощенной, чтобы по меньшей мере не согласиться.

— Немного сентиментально, нет? И как-то зловеще...

— А мне нравится! Как раз эта зловещесть. Голые детки рисуют голеньких друг друга. Меня сейчас хлебом не корми, а дай младенцев. — Она с тоской поглядела на малыша с жеманной улыбочкой на личике херувима. — Он мне мою детку напоминает. Тебе, что ли, правда не нравится?

Я тогда еще не знала, что Эйми была беременна Карой, вторым своим ребенком. Вероятно, она и сама еще не знала. Мне было очевидно, что вся картина нелепа, а розовощекие младенцы отвратительны особенно, но, глянув на ее лицо, я поняла, что Эйми не шутит. И что же *такое* эти младенцы, помню, думала я, если они вот *такое* делают с женщинами? У них есть власть перепрограммировать своих матерей? Превращать матерей в таких женщин, кого не признали бы даже их собственные самости помоложе? Мысль эта меня испугала. Я сдержалась до того, что лишь

похвалила красоту ее сына Джея в сравнении с этими ангелочками, не слишком убедительно или связно, благодаря траве, и Эйми, нахмурившись, повернулась ко мне.

— Ты детей не хочешь, так? Или только *думаешь*, что не хочешь.

— О, я *знаю*, что их не хочу.

Она погладила меня по макушке, как будто между нами было не двенадцать лет разницы, а сорок.

— Тебе сколько? Двадцать три? Все меняется. Я была точно такой же.

— Нет, я это всегда знала. Еще с раннего детства. Материнство — это не для меня. Никогда их не хотела и не захочу. Я видела, что происходит из-за них с моей матерью.

— Что же с ней из-за них произошло?

Если спрашивают так в лоб, поневоле задумаешься над ответом по-настоящему.

— Она была молодой мамашей, затем — матерью-одиночкой. Чего-то хотела, но не могла, в то время еще, — она попала в ловушку. Ей приходилось сражаться за хоть какое-то время для себя.

Эйми уперла руку в бок и приняла педантичный вид.

— Ну, и я мать-одиночка. И могу тебя уверить, мой ребенок не мешает мне делать ни хрена. Он мне сейчас, блядь, как вдохновение, если по правде хочешь знать. Придает равновесие — это уж точно, но тебе просто нужно хорошенько такого *захотеть*.

Я подумала о няньке с Ямайки, Эстелль, которая каждое утро впускала меня в дом к Эйми, а затем скрывалась в детской. То, что между положением моей матери и ее собственным может быть какое-то практическое различие, Эйми, кажется, в голову не приходило, и это стало мне одним из ранних уроков того, как можно рассматривать разницу между людьми — никогда не структурную или экономическую, а всегда сущностную разницу в личностях. Я глянула на румянец у нее на щеках, на то, где у меня руки — впереди, словно у политика, что-то подчеркивающего, — и осознала, что наша дискуссия быстро стала до странности жаркой, ни она, ни я такого на самом деле не хотели, как будто само это слово, «младенец», было для нас каким-то катализатором. Я убрала руки за спину и улыбнулась.

— Это просто не для меня.

Мы двинулись назад по галереям, ища выход, поравнялись с экскурсоводом — он рассказывал историю, знакомую с детства, — о смуглой девочке, дочери карибской рабыни и ее хозяина британца, которую привезли в Англию и вырастили в этом большом белом доме зажиточные

родственники, один из которых оказался Лордом Главным Судьей^[68]. Любимый анекдот моей матери. Вот только мать рассказывала его не так, как экскурсовод: она не верила, будто сострадание двоюродного дедушки к своей смуглой внучатой племяннице обладает силой покончить в Англии с рабством. Я подобрала листовку из пачки, выложенной на боковой столик, и прочла, что отец и мать девушки познакомились на Карибах — как будто прогуливались по пляжному курорту в час коктейлей. Развеселившись, я обернулась показать ее Эйми, но та уже перешла в соседний зал и внимательно слушала экскурсовода, переминаясь с краю группы туристов, словно была с ними. Ее всегда трогали истории, подтверждавшие «силу любви», — да и какая мне разница, что они ее трогали? Но я ничего не могла с собой сделать — вызвала в памяти мать и принялась иронично комментировать комментарий, пока экскурсоводу это не надоело и он не увел группу наружу. Когда и мы направились к выходу, экскурсию для Эйми я взяла на себя и повела ее через низкий тоннель плюща, выгнутый в беседку, описывая «Зонг»^[69] так, словно это громадное судно — сейчас перед нами в озере. Вызвать этот образ было легко, я его знала до мельчайших подробностей — он столько раз проплывал в моих детских кошмарах. По пути на Ямайку, но далеко сбившись с курса из-за ошибки в навигации, питьевой воды мало, весь набит изжаждавшимися рабами («Да?» — сказала Эйми, срывая с куста розочку шиповника) и под управлением капитана, который, опасаясь, что рабы не переживут остаток путешествия — однако не желая финансовых потерь в своем первом рейсе, — собрал сто тридцать три мужчины, женщины и ребенка и сбросил их за борт, скованных друг с другом: испорченный груз, за который потом можно будет получить страховку. Знаменито сострадательный двоюродный дед надзирал и за этим делом — рассказывала Эйми я, как некогда мне рассказывала моя мать, — и он вынес решение против капитана, но лишь из того принципа, что капитан допустил ошибку. Убытки должен покрыть он сам, а не страховщики. Те метавшиеся тела все равно были грузом, а сбросить излишек, чтобы спасти весь остальной груз, допустимо. Тебе за него попросту не заплатят. Эйми кивнула, заткнула сорванную розочку себе за левое ухо под бейсболку и неожиданно опустила на колени погладить проходившую мимо компанию собачек, тащившую за собой единственного хозяина.

— Что тебя не убивает, то делает сильнее, — услышала я, как она обратилась к одной таксе, а затем, выпрямившись, она снова посмотрела на меня: — Если б мой папа не умер молодым? Я б тут нипочем не оказалась.

Всё боль. Евреи, геи, женщины, черные — клятые ирландцы. В этом наша, блядь, сила. — Я подумала о своей матери — у нее не было времени на сентиментальные интерпретации истории — и поморщилась. Мы оставили собак в покое и пошли дальше. На небе ни облачка, весь Хит в цветах и листве, пруды — золотые озерца света, но я никак не могла избавиться от этого неудобства и неравновесности, а когда попыталась докопаться до корней этого ощущения, то вновь оказалась перед тем безымянным пажом в галерее, в ухе у него золотое колечко, и он умоляюще смотрел снизу вверх на двойника Джуди, пока мы над нею смеялись. Она не смотрела в ответ на него, никогда не могла, ее написали так, что это было бы невозможно. Но и я сама не отводила ли от него взгляд, как не встречалась глазами с Грейнджером, а он со мной? Теперь я видела этого маленького мавра с совершенной ясностью. Он как будто стоял у меня на пути.

Эйми настояла, чтобы причудливый день мы завершили купаньем в женском пруду. Грейнджер снова остался ждать у ворот, у ног его три велосипеда, а сам сердито листал страницы карманного «пингвиновского» издания Макиавелли. Над самой водой висела дымка пылицы, казалось, она попала в густой сонный воздух, хотя вода была студеной. Ежась, я вошла в трусиках и футболке, шажочками спустилась по ступенькам, а две широкие в корпусе англичанки в крепких костюмах «Спидо» и плавательных шапочках покачивались неподалеку, предлагая непрошенные поощрения всем, кто пытался к ним присоединиться. («Вообще-то довольно приятно, как только зайдете». «Вы просто ногами бултыхайте, пока их снова не почувствуете». «Если Вулф тут плавала, и вы сможете».) Женщины справа и слева от меня, некоторые — чуть ли не втрое меня старше, соскальзывали в воду прямо с настила, я же не смогла войти глубже, чем по пояс и, выжидая, развернулась и сделала вид, будто наслаждаюсь картиной: седовласые дамы величественным кругом перемещаются сквозь вонючую ряску. Мимо порхнула красивенькая стрекоза, облаченная в любимый Эйми оттенок зеленого. Я поглядела, как она присела на настил у самой моей руки и сложила радужные свои крылышки. Где же Эйми? На миг меня охватило парализующей паранойей по приходу от травы: не забралась ли она в воду раньше меня, пока я возилась со своим бельем? Уже утонула? Завтра я окажусь под следствием, буду объяснять всему свету, почему позволила сильно застрахованной, повсеместно любимой австралийке утонуть без сопровождения в ледяном пруду Северного Лондона? Цивилизованную сцену пронзил вопль банши: я обернулась и увидела Эйми — она, голая, неслась ко мне от раздевалок и,

не добежав, прыгнула через мою голову и лесенку, руки вытянуты, спина идеально изогнута, словно снизу ее подхватил незримый солист, и затем вошла в воду точно, без всплеска.

Шесть

Я не знала, что отец Трейси попал в тюрьму. Мне сказала моя мать — через несколько месяцев после этого:

— Вижу, он опять сел. — Больше говорить ей ничего и не требовалось, как не нужно было велеть мне проводить с Трейси меньше времени — это и так само собой получалось. Охлаждение: такое между девочками бывает. Поначалу я расстраивалась, считая, что такое у нас навсегда, хотя на самом деле оказалось, что это просто пауза, одна из многих, что у нас потом бывали, всего на пару месяцев, иногда дольше, но они всегда заканчивались — не случайно — тем, что отец ее снова выходил на свободу или же возвращался с Ямайки, куда ему частенько приходилось удирать, когда в районе ему припекало. Как будто когда «сидел» — или уезжал, — Трейси переключалась в режим ожидания, ставила себя на паузу, как видеопленку. Хотя в классе мы больше не сидели с ней за одной партой (нас разлучили после дня рождения Лили — моя мать пошла к директору школы и этого потребовала), я ее ясно видела каждый день, и когда случались «неприятности дома», я это сразу же ощущала — они проявлялись во всем, что она делала или чего не делала. Нашему учителю она как могла усложняла жизнь, не явным скверным поведением, как все мы, она не ругалась и не дралась, — а полным своим отходом от присутствия. Только тело ее было в школе, больше ничего. Она не отвечала на вопросы и не задавала их, не занималась ничем, не списывала, даже тетрадку не открывала, и я в такие поры понимала, что время для Трейси замерло. Если мистер Шёрмен начинал орать, она бесстрастно сидела за партой, взгляд уставлен в некую точку у него над головой, нос задран, и что бы он ни говорил — никакие угрозы и никакой уровень громкости, — не имело ни малейшего действия. Как я и предсказывала, она действительно так и не забыла тех карточек с Детками Помойной Лоханки. А отправляться в кабинет директрисы ее не пугало: она вставала в куртке, которую все равно никогда не снимала, и выходила из класса так, словно ей безразлично, куда она идет или что там с нею произойдет. Когда она оказывалась в таком состоянии ума, я пользовалась возможностью делать то, чего с Трейси делать опасалась. Проводила больше времени с Лили Бингэм, к примеру, наслаждаясь ее добродушием и кротостью: она все еще играла в куклы, ничего не знала о сексе, любила рисовать и клеить из картона всякие штуки. Иными словами, по-прежнему была ребенком,

каким иногда хотелось быть и мне. В играх у нее никто не умирал и не боялся, не мстил или не опасался оказаться разоблаченным самозванцем, и там абсолютно не было ни белых, ни черных: как она однажды мне торжественно объяснила, пока мы играли, сама она «цветов не различает» и видит только то, что у человека в сердце. У нее был маленький картонный театрик с Русским балетом, купленный в Ковент-Гардене, и идеальный день для нее состоял в том, чтобы передвигать по сцене картонного принца, знакомить его с принцессой, чтобы он в нее влюбился, а фоном играло бы отцово поцарапанное «Лебединое озеро». Балет она любила, хотя сама танцевала скверно, слишком кривоногая и поэтому безнадёжная, зато знала все французские слова, какими там все называется, и трагические истории Дягилева и Павловой. Чечетка же ее не интересовала. Когда я показала ей свою заезженную копию «Ненастья»^[70], она отреагировала так, что я не ожидала: фильм ее оскорбил — даже болезненно задел. Почему тут все черные? Это как-то не по-доброму, сказала она, чтобы в фильме снимались только черные люди, так несправедливо. Может, в Америке так и можно, но не здесь, не в Англии, где все всё равно равны и нет никакой надобности «твердить» об этом. И нам бы не понравилось, сказала она, если бы кто-нибудь нам сказал, что в танцевальный класс к Изабел могут ходить одни черные, это было бы некрасиво и несправедливо для нас, правда? Мы бы из-за такого огорчились. Или что лишь черные люди могут ходить в школу. Нам бы такое не понравилось, верно? Я ничего не ответила. Убрала «Ненастье» обратно к себе в ранец и пошла домой — под Уиллзденским закатом нефтяных красок и шустрых облаков, вновь и вновь ворочая в уме эту причудливую нотацию, не понимая, что она имела в виду под словом «мы».

Семь

Когда между нами с Трейси все вымораживалось, субботы для меня становились трудны, и за разговорами и советом я обращалась к мистеру Буту. Я ему приносила что-нибудь новенькое — что обычно брала в библиотеке, — и он добавлял к тому, что у меня уже было, или объяснял то, чего я не понимала. Мистер Бут, к примеру, не знал, что на самом деле — не «Фред Астэр», а «Фредерик Остерлиц», но понимал, что значит «Остерлиц»: он объяснил, что имя это, должно быть, не американское, а европейское, вероятно — немецкое или австрийское, возможно, еврейское. Для меня-то Астэр и был Америкой — окажись он на флаге, я б не удивилась, — но теперь я узнала, что много времени он провел вообще-то в Лондоне, что именно здесь прославился, когда танцевал со своей сестрой^[71], и что родись я на шестьдесят лет раньше, я б могла сходить в театр Шэфтсбёри и увидеть его своими глазами. Мало того, сказал мистер Бут, сестра его танцевала гораздо лучше него, все так говорили, это она была звездой, а он — ее партнером, «петь не может, играть не может, лысеет, умеет танцевать, немножко», ха-ха-ха, ну вот он им и показал, а? Слушая мистера Бута, я задавалась вопросом, можно ли и мне будет стать таким человеком, кто проявит себя в жизни не сразу, а потом, гораздо позже, и однажды — пройдет много времени — сидеть в первом ряду театра Шэфтсбёри будет Трейси, смотреть, как я танцую, наши положения совершенно сменят друг друга, мое превосходство наконец-то станет признанным всем миром. А позже, рассказывал мистер Бут, взяв у меня из рук библиотечную книгу и читая в ней что-то, в более поздние годы его ежедневный распорядок мало изменился по сравнению с той жизнью, какую он всегда вел. Он просыпался в пять утра и завтракал одним вареным яйцом, отчего вес его не менялся, всегда был сто тридцать четыре фунта. Он пристрастился к телевизионным сериалам вроде «Путеводного света» или «Пока возвращается мир»^[72] и, если не мог посмотреть очередную серию какой-нибудь мыльной оперы, звонил своей домоправительнице и выяснял, что там произошло. Мистер Бут закрыл книгу, улыбнулся и сказал:

— Ну и странная же он птица!

Когда я пожаловалась мистеру Буту на единственный недостаток Астэра — по моему мнению, он не умел петь, — нежданной неприятностью для меня стало то, как пылко он со мной не согласился:

обычно мы бывали единого мнения обо всем и всегда вместе смеялись, но теперь он взял на пианино ноты «Меня целиком», всего несколько, и сказал:

— Но петь же не значит орать во всю глотку, верно? Дело тут не в том, кто голосом может лучше дрожать или забираться выше, нет, все дело во фразировке, в том, чтоб быть искусным, извлекать из песни нужное чувство, ее душу, чтобы стоило человеку открыть рот и запеть, у тебя внутри случилось бы что-то подлинное, а тебе разве не хочется чувствовать по-настоящему, а не просто если тебе по ушам бьет?

Он умолк и сыграл «Меня целиком» полностью, и я спела вместе с ним, старательно пытаюсь произносить каждую фразу так же, как это делает Астэр в «Шелковых чулках»^[73]: некоторые строки обрывала, другие полупроговаривала, хоть это и не было для меня естественно. Вместе с мистером Бутом мы задумались над тем, каково это — любить кого-нибудь с востока, запада, севера и юга, полностью завладевать этим человеком, даже если в ответ он или она любит лишь маленькую нашу часть. Я обычно исполняла что-нибудь, положив одну руку на пианино, отвернувшись от него, потому что так делали девушки в кино и так я могла следить за часами над церковной дверью и знать, когда войдет последний ребенок, а мне, значит, нужно прекращать, но в тот раз желание попробовать спеть в гармонии с этой нежной мелодией — чтобы соответствовать тому, как мистер Бут ее играет, не просто «орать», а создать подлинное чувство, — заставило меня инстинктивно повернуться внутрь, не допев куплет, и тут я заметила, что мистер Бут плачет, очень тихо, но точно плачет. Я перестала петь.

— И он пытается заставить ее танцевать, — сказал он. — Фред хочет, чтобы Сид танцевала, но она не станет, а? Таких можно назвать интеллектуалками, она из России, и не *желает* она танцевать, и говорит ему: «С танцами беда в том, что „Давай, давай, давай, только все равно ни к чему не придешь!“» А Фред ей отвечает: «Это ты мне-то рассказываешь!» Прелестно. Прелестно! Теперь послушай, дорогая моя, пора занятия начинать. Ты бы уже переобулась.

Пока мы завязывали шнурки и готовились снова встать в строй, Трейси сказала своей матери — я слышала:

— Видишь? Она обожает все эти чудные старые песни. — Прозвучало обвинением. Я знала, что Трейси любит поп-музыку, но сама не считала, что там такие же красивые мелодии, и теперь попыталась так и сказать. Трейси пожала плечами, и я умолкла намертво. Ее пожатия имели надо мной какую-то силу. Они могли покончить с любой темой. Она вновь

отвернулась к матери и сказала: — Старые педрилы ей тоже нравятся.

Отклик ее матери меня поразил: она перевела на меня взгляд и ухмыльнулась. В тот миг отец мой стоял снаружи, на церковном дворе, на своем обычном месте под вишнями; я видела его с кисетом в одной руке и папиросной бумажкой в другой, он уже не считал нужным от меня это скрывать. Но не существовало такого мира, в котором я могла бы отпустить жестокое замечание о другом ребенке так, чтобы мой отец — или мать — ухмыльнулись или как-то встали бы на мою сторону. Меня поразило, что Трейси с матерью — на одной стороне, и я подумала, что есть в этом что-то неестественное, и они об этом, похоже, знают, поскольку бывали такие обстоятельства, когда они это скрывали. Я была уверена, что, окажись рядом мой отец, мать Трейси ухмыльнуться бы не посмела.

— Держись-ка ты подальше от чужих стариков, — сказала она, показывая на меня. Но когда я возмутилась, что мистер Бут нам вовсе не чужой, что он наш старый добрый пианист и мы его любим, мать Трейси, казалось, сразу стало скучно, пока я это говорила, она сложила руки на исполинской груди и устремила взор свой прямо перед собой.

— Мама считает, что он совратитель, — пояснила Трейси.

С того занятия я вышла, схватившись за отцову руку, но не стала ему рассказывать, что произошло. Мне и в голову не приходило в чем бы то ни было просить родителей о какой-то помощи, уже нет, если я и думала о чем-то — то лишь о том, как их от этого оберечь. За наставлениями обращалась к другому. Ко мне в жизнь начали входить книги. Не хорошие книги, пока еще, по-прежнему те старые биографии звезд шоу-биза, что я читала в отсутствие священных текстов так, словно это *они* были священны, извлекала из них нечто вроде утешения, хоть и были они халтурными работами, сделанными ради быстрых денег, сами авторы их наверняка едва ли о них потом задумывались, но для меня они были важны. Некоторые страницы в них я загибала и перечитывала отдельные строки вновь и вновь, как викторианская дама читала бы свои псалмы. «Он неправильно это делает» — вот была очень значимая фраза. Именно так, по утверждениям Астэра, думал он сам всякий раз, когда смотрел себя на экране, и я отметила это местоимение третьего лица. Вот что я из этого поняла: что для Астэра личность из фильма не особо с ним самим связана. И это я приняла близко к сердцу — вернее сказать, фраза отозвалась отзвуком чувства, какое у меня уже было: главное — относиться к себе как некому чужаку, оставаться непривязанной и непредвзятой к самой себе. Я считала, что нужно думать именно так, чтобы добиться чего-то на этом

свете. Да, я полагала, что это весьма изящное отношение. И еще я залипла на знаменитой теории Кэтрин Хепбёрн^[74] относительно Фреда и Рыжей: «Он дает ей класс, она дает ему секс». Это что — общее правило? Все ли дружбы — все ли отношения — подразумевают такой потаенный и загадочный обмен качествами, этот обмен власти? Распространяется ли это на народы и страны или такое происходит только между отдельными личностями? Что мой отец дает моей матери — и наоборот? Что мы с мистером Бутом даем друг другу? Что я даю Трейси? Что Трейси дает мне?

Часть третья

Антракт

Правительства никчемны, им нельзя доверять, объяснила мне Эйми, а у благотворителей — собственные повестки дня, церкви больше заботятся о душах, чем о телах. И потому, если мы хотим, чтобы этот мир действительно изменился, продолжала она, регулируя уклон на своем беговом тренажере, покуда мне, шедшей по соседнему, не стало казаться, что она несется вверх по склону Килиманджаро, ну, нам тогда самим придется его менять, да, нам и придется стать той переменной, какую хотим увидеть. Под «нами» она имела в виду таких, как она: людей с финансовыми средствами и глобальным охватом, которые, так уж вышло, любят свободу и равенство, хотят справедливости, ощущают обязанность применять свою удачу к чему-нибудь хорошему. Это нравственная категория, но не только — еще экономическая. И если следовать ее логике до самого конца вращающегося ремня, то через несколько миль подъезжаешь к новой мысли: богатство и нравственность по сути — одно и то же, ибо чем больше у человека денег, тем больше добра — или потенциала добра — есть у человека. Я промокнула пот жилеткой и бросила взгляд на экраны перед нами: у Эйми семь миль, у меня полторы. Наконец она закончила, мы сошли с машин, я передала ей полотенце, вместе мы прошли в монтажную. Ей хотелось проверить черновое сведение рекламного ролика, который мы делали для возможных спонсоров, где пока не было ни музыки, ни звука. Встали за спинами режиссера и монтажера и посмотрели, как версия Эйми, беззвучная, начинает строительство школы, в руке — большая лопата, и с помощью сельского старейшины закладывает первый камень в основание. Посмотрели, как она танцует со своей шестилетней дочерью Карой и группой красивых школьниц в серо-зеленых формах под музыку, которой нам не было слышно, и каждый удар их ног оземь вздымал огромные тучи красной пыли. Я вспомнила, как все это происходило несколькими месяцами раньше в действительности, в тот самый миг, когда происходило, и подумала: как же все-таки иначе смотрится оно сейчас, в этом формате, где монтажер все переставляет с легкостью, какую ему дает его программное обеспечение, перемежая Эйми в Америке с Эйми в Европе и Эйми в Африке, расставляя знакомые события в новом порядке. И вот как это делается, объявила она через пятнадцать минут, удовлетворенная, встав и взъерошив режиссеру волосы, после чего направилась в душ. Я

задержалась и помогла закончить монтаж. На стройке еще в феврале установили цейтраферную камеру, поэтому мы теперь могли наблюдать, как всего за несколько минут вырастает вся школа, а рабочие-муравьи перемещаются так быстро, что их и не отличишь друг от друга, роятся вокруг нее — сюрреальная демонстрация того, что становится возможным, когда хорошие люди со средствами решили что-то сделать. Такие, кто способен построить школу для девочек в деревне сельской Западной Африки всего за несколько месяцев — просто потому, что они решили это сделать.

Матери моей нравилось называть то, как Эйми все делала, «наивностью». Но у Эйми было такое чувство, что она уже испробовала маршрут моей матери — политический. Она бралась за битву ради кандидатов в президенты еще в восьмидесятых и девяностых, устраивала ужины, вносила свои вклады в кампании, призывала публику со сцен стадионов. К тому времени, как в кадре появилась я, она со всем этим покончила — как покончено было с поколением, какое она некогда агитировала идти к избирательным урнам, с моим поколением. Теперь она искренне намеревалась «что-то менять на земле», ей хотелось лишь «работать с общинами на общинном уровне», и я честно уважала ее за такое намерение, и лишь изредка — если кто-то из ее добрых зажиточных братьев приезжал к ней домой в долину Хадсона отобедать или искупаться и обсудить то или иное предприятие, — становилось очень трудно избегать того взгляда на вещи, какой исповедовала моя мать. В такие разы я действительно ощущала мать у себя за плечом, незримую совесть либо ироничное замечание: она вливала яд мне в ухо из-за тысяч миль, пока я пыталась слушать этих разнообразных добрых людей при деньгах — знаменитых тем, что играли на гитарах, или пели, или придумывали одежду, или притворялись другими людьми, — пока они болтали за коктейлем о своих планах покончить в Сенегале с малярией или выкопать в Судане чистые колодцы и тому подобном. Но я знала, что у самой Эйми абстрактного интереса к власти нет. Ею руководило нечто иное: нетерпение. Для Эйми бедность была неряшливой ошибкой мира, одной из многих, какую можно легко исправить, если только люди сосредоточатся на задаче так, как сосредоточиваются на чем-нибудь другом. Она терпеть не могла собрания и долгие обсуждения, ей не нравилось рассматривать вопрос под слишком многими углами. Ничто не наскучивало ей больше, чем «с одной стороны — но с другой стороны». Вместо этого она истово верила в силу собственных решений, а их

принимала «сердцем». Часто решения эти бывали внезапны — и никогда не менялись и не аннулировались после принятия, как мистическая сила, нечто вроде судьбы: они действовали на глобальном и космическом уровне так же, как и на личном. Вообще-то в уме Эйми три эти уровня были взаимосвязаны. Судьба удачно подгадала, на ее взгляд, когда 20 июня 1998 года сгорела британская штаб-квартира «УайТВ» — через шесть дней после ее визита к нам: посреди ночи где-то случилось короткое замыкание, все здание охватил пожар и уничтожил ми́ли «вэхаэсок», какие до того времени бережно предохранялись от разлагающего воздействия лондонской подземки. Нам сообщили, что в контору можно будет опять заселяться только через девять месяцев. А пока всех перевели в уродское невыразительное конторское здание в Кингз-Кроссе. Ехать до него мне было на двадцать минут дольше, мне не хватало канала, рынка, птиц Сноудона. Но в Кингз-Кроссе я провела всего шесть дней. Для меня там все закончилось в тот миг, когда Зои принесла мне на стол факс, адресованный мне, с телефонным номером, который мне следовало набрать, и без всяких объяснений. На другом конце провода раздался голос Джуди Райан, менеджера Эйми. Она мне сообщила: сама Эйми затребовала, чтобы смуглая девушка в зеленом явилась к ней в контору в Челси и прошла собеседование на предмет возможного занятия должности. Я опешила. Побродила с полчаса вокруг того дома, прежде чем осмелиться, трясаясь, подняться на лифте на самый верх и преодолеть коридор, но едва я шагнула в комнату — сразу увидела, что решение уже принято, оно у Эйми на лице. У нее не было никакой тревоги и никаких сомнений: ничего тут, на ее взгляд, не было совпадением, или удачей, или даже счастливым случаем. То была «Судьба». «Большой пожар», как его окрестили сотрудники, был лишь частью сознательных усилий со стороны мироздания свести вместе нас с нею — Эйми и меня; того мироздания, что в тот же самый миг отказывалось вмешиваться во столько других дел.

У Эйми имелось необычное отношение ко времени, но подход ее был очень чист, и я начала им восхищаться. Она им отличалась от своего остального племени. Ей не требовались хирурги, она не жила в прошлом, не отмазывалась от встреч и не использовала никаких других обычных видов отвлечения или искажения. У нее на самом деле все сводилось к воле. За десять лет я убедилась, до чего устрашающей эта воля может быть, что она может вызвать к жизни. И сколько трудов Эйми к этому прикладывает — все ее физические тренировки, вся намеренная слепота, тщательно воспитываемая невинность, духовные просветления, какие с нею иногда случались ни с того ни с сего, само множество способов, какими она влюблялась и разлюбляла, как подросток, — все это как таковое мне постепенно стало казаться некой разновидностью энергии, по сути, силой, способной создавать сокращение во времени, как будто она действительно двигалась со скоростью света прочь от всех нас — застрявших на земле и стареющих быстрее нее, а она меж тем взидала на нас сверху и не понимала, почему у нас так.

Ярче всего это проявлялось, когда ее навещала родня из Бендигоу или когда она была с Джуди, которую знала еще со школы. Какое отношение эти пожилые люди с их ебанутыми семьями, морщинами и разочарованиями, с их трудной семейной жизнью и физическими недугами — какое отношение имели они к Эйми? Как мог кто-то из них вырасти вместе с Эйми, или некогда спать с теми же мальчиками, или бегать так же на той же скорости по той же улице в том же году? Дело не только в том, что Эйми выглядела очень молодой, хотя она, конечно, выглядела, — а еще и в том, что в ней билась почти что невероятная молодость. До мозга костей — она влияла на то, как Эйми сидит, движется, думает, говорит — всё. Кое-кто вроде Марко, ее вздорного повара-итальянца, к этому относился цинично и зло — такие утверждали, что это у нее только из-за денег, все это — побочка денег и безделья, они же никогда по-настоящему не работают. Но в наших путешествиях с Эйми мы встречались со множеством людей, у кого было много денег, и они ничем не занимались, делали что-то уж гораздо меньше, чем Эйми — а она по-своему работала очень много, — и большинство таких людей казались старыми, как Мафусаил. Поэтому разумно было бы предположить — и многие предполагали, — что молодой Эйми оставалась из-за своих молодых

любовников, это же, главным образом, много лет утверждала и она сама, — ну и из-за отсутствия собственных детей. Однако такая теория не пережила года, когда Эйми отменила гастроли в Южной Америке и Европе, и рождения ее сына Джея, а два года спустя — и малышки Кары, и быстрой отставки одного отца и любовника средних лет, и приобретения и последующей еще более быстрой отставки второго отца и мужа, который — что есть, то есть — и сам был немногим лучше мальчишки. Ну да, считали люди, наверняка же столько опыта, втиснутого всего в несколько лет, оставит на ней отметину? Но хотя вся команда ее выбиралась из этого вихря изможденной, полностью выжатой, готовой лечь и пролежать лет десять, сама Эйми оказывалась в общем и целом всем этим незатронутой, она более-менее оставалась такой же, какой была всегда, — полнилась ужасающим количеством энергии. После рождения Кары она тут же вернулась в студию, вернулась в спортзал, вернулась на гастроли, нанималось больше нянек, возникли домашние наставники, и она из всего этого несколько месяцев спустя вынырнула на вид зрелой женщиной двадцати шести лет. На самом же деле ей было почти сорок два. Я как раз приближалась к тридцати — один из тех фактов обо мне, какие Эйми решила навязчиво удерживать в памяти и за две недели до моего дня рождения все твердила, что нам нужно устроить «дамский вечер», только мы с нею вдвоем, телефоны выключить, полностью сосредоточиться, все осознавать, коктейли, — ничего из этого я не ожидала и не просила, но она никак не отпускала, а затем, разумеется, настал этот день, и о моем рождении даже не заикались — вместо этого мы весь день делали прессу для Норвегии, после чего она ела с детьми, а я сидела одна у себя в комнате и пыталась читать. В десять она по-прежнему была в танцевальной студии, и тут меня внезапно прервала Джуди — сунула внутрь голову со своей неизменной прической перьями, остатком юности в Бендигоу, сказать мне из-за двери, не отрываясь от телефона, что я должна напомнить Эйми: наутро мы вылетаем в Берлин. Дело было в Нью-Йорке. Танцевальная студия Эйми размером была с огромную бальную залу, зеркальный ящик, по всему периметру которого тянулся балетный станок из грецкого ореха. Выкопали эту студию в подвале ее городского особняка. Когда я вошла, Эйми сидела на горизонтальном шпагате, совершенно неподвижно, словно мертвая, шея вытянута вперед, лицо скрыто длинной челкой — в то время рыжей. Играла музыка. Я подождала, не обернется ли она ко мне. Она же вскочила на ноги и забегала, исполняя номер, все время — лицом к собственному отражению в зеркалах. Я уже давно не видела, как она танцует. На ее выступлениях я в зале среди публики теперь сидела редко:

этот аспект ее жизни стал казаться очень далеким, искусственный спектакль человека, которого я слишком хорошо узнала на более глубоком, зернистом уровне. Человека, которому я назначала аборты, нанимала выгульщиков собак, заказывала цветы, писала открытки на День матери, кого мазала кремом, колола шприцами, кому выдавливала прыщики, очень изредка стирала слезы расставаний и тому подобное. Большую часть времени я бы даже не знала, что работаю на исполнителя. Моя работа с Эйми и на нее происходила преимущественно в машинах или на диванах, в самолетах или конторах, на множестве разных экранов и в тысячах электронных писем.

Но вот она танцует. Под песню, которой я не узнала, — я и в студию-то теперь заглядывала редко, — но сами ее движения были знакомы, они не сильно изменились за годы. По большей части номер ее всегда состоял в первую очередь из чего-то вроде настойчивого расхаживания взад и вперед — мощным упругим шагом, размечающим границы того пространства, в каком она оказывалась, словно громадная кошка методично кружит по клетке. Теперь же меня удивила его непригашенная эротическая сила. Обычно, желая сделать танцору комплимент, мы говорим: у нее это выглядит так легко. С Эйми все не так. Часть ее секрета, чувствовала я, глядя на нее, в том, что она умела вызывать радость из усилий, ибо никакое ее движение не вытекало инстинктивно или естественно из предыдущего, каждый «шаг» был явно виден, поставлен хореографом, однако, пока она потела, выполняя их, сама эта трудная работа казалась эротичной — как будто смотришь на женщину, обрывающую финишную ленточку в конце марафонского забега или старающуюся достичь собственного оргазма. То же самое экстатическое откровение женской воли.

— Дай мне закончить! — крикнула она собственному отражению.

Я ушла в дальний угол, соскользнула вниз по стеклянной стене и снова открыла книгу. Я решила положить себе новое правило: читать вечером по полчаса, невзирая ни на что. Книга, которую я сейчас выбрала, не была толстой, но далеко я в ней не продвинулась. Если работаешь на Эйми, читать было, по сути, невозможно — вся остальная команда рассматривала это как занятие глубоко непрактичное и, думаю, в некотором смысле фундаментально нелояльное. Даже если мы куда-то далеко летели — даже если снова направлялись в Австралию, — люди либо отвечали на электронные письма касательно Эйми, либо листали стопки журналов, что всегда можно было замаскировать под работу, поскольку Эйми либо уже появлялась в тех журналах, что ты держала в руках, либо очень скоро в них появится. Сама Эйми читала книги, иногда — достойные,

рекомендованные мной, чаще — всякую чепуху по самопомощи или диете, которые ей подсовывали Джуди или Грейнджер, но чтение Эйми было чем-то отдельным, она, в конце концов, была Эйми и могла поступать, как ей заблагорассудится. Иногда из тех книг, что давала ей я, она черпала замыслы — период времени, или персонажа, или политическую идею, которые затем окажутся, в уплощенном и вульгарном виде, в каком-нибудь видеоклипе или песне. Но и такое не меняло мнения Джуди о чтении вообще: для нее это был некий порок, поскольку чтение занимало ценное время, которое иначе мы бы потратили, работая на Эйми. Но все равно иногда бывало необходимо, даже для Джуди, читать книгу — поскольку та должна была стать средством продвижения фильма с Эйми или была как-то иначе необходима для какого-нибудь проекта, — и в таких ситуациях она пользовалась нашими дальними перелетами, чтобы прочесть где-то треть требуемого, задрав ноги повыше, с кислой физиономией. Больше трети она не читала никогда: «Общую мысль я ухватила», — а закончив, она выносила один из четырех своих приговоров. «Шустро» — это было хорошо; «важно» — это было очень хорошо; «противоречиво» — это могло оказаться хорошо или плохо, нипочем не угадаешь; или «литературщина», что произносилось со вздохом и закатыванием глаз и было очень плохо. Если я пыталась защитить что бы то ни было, Джуди пожимала плечами и говорила:

— Что я понимаю? Я же всего-навсего маленькая дурында из Бендигу, — и это, сказанное так, чтобы Эйми слышала, в зародыше убивало любой проект. Эйми никогда не недооценивала важности родины в глубинке. Хотя Бендигу она оставила далеко позади — больше не разговаривала, как там, пела всегда с липовым американским акцентом и часто упоминала о своем детстве как некой смерти живьем, — все равно она считала свой родной городок мощным символом, чуть ли не разновидностью барана-вожака. Теория ее заключалась в том, что у звезды в кармане Нью-Йорк и Л.-А., звезда может взять Париж, Лондон и Токио — но лишь суперзвезда берет Кливленд, Хайдарабад и Бендигу. Суперзвезда берет всех повсюду.

— Что читаешь?

Я показала книжку. Она собрала ноги вместе — из шпагата — и нахмурилась на обложку.

— Не слыхала.

— «Кабаре»? Это, по сути, оно.

— Книжка по фильму?

— Книжка, которая появилась раньше фильма^[75]. Подумала, может

оказаться полезно, раз мы направляемся в Берлин. Джуди меня сюда прислала кнутом щелкнуть.

Эйми скроила себе в зеркале гримаску.

— Джуди может мою вахлацкую жопу поцеловать. Она меня в последнее время так гоняет. Не думаешь, что у нее менопауза?

— Думаю, ты просто капризничаешь.

— Ха-ха.

Она легла и подняла перед собой правую ногу, дожидаясь. Я подошла и встала возле нее на колени, согнула ей колено к груди. Я сконструирована настолько тяжелее — шире, выше, весомее, — что всякий раз, когда ее так растягивала, приходилось быть осторожней: она была хрупка, и я могла бы ее поломать, хотя мышцы у нее такие, о каких я и мечтать не могла, и я видела, как она поднимает молоденьких танцоров почти до уровня головы.

— Норвежцы скучные были, нет? — пробормотала она, и тут ей в голову пришла мысль, словно не было у нас вообще никаких разговоров последние три недели: — А не выйти ли нам куда-нибудь? Типа — прямо сейчас? Джуди не узнает. Выйдем через заднюю дверь. По коктейлю выпьем? У меня как раз настроение. Повод нам не требуется.

Я ей улыбнулась. Подумала о том, каково это — жить в таком мире изменяющихся фактов, что появляются и исчезают в зависимости от твоего настроения.

— Что смешного?

— Ничего. Пойдем.

Она приняла душ и оделась в гражданское: черные джинсы, черный жилет и черная бейсболка, натянутая пониже, отчего из-под волос у нее торчали уши и вид делался неожиданно дурацкий. Мне не верили, когда я говорила, что ей нравится ходить куда-то танцевать, и, сказать правду, делали мы это нечасто, в поздние годы-то уж всяко, но такое случалось и особой шумихи не создавало — вероятно, потому, что ходили мы поздно и в гейские места, где к тому времени, как мальчики ее засекали, они обычно уже бывали обдолбаны, счастливы и полны экспансивного добродушия: им хотелось ее оберегать. Много лет назад она принадлежала им — еще до того, как стала кем-то, — и приглядывать сейчас за нею было способом продемонстрировать, что она по-прежнему им принадлежит. Никто не просил автографов и не заставлял ее позировать для снимков, никто не звонил в газеты — мы просто танцевали. Моей единственной задачей было продемонстрировать, что мне за нею не угнаться, и притворяться здесь не было нужды — я и правда не могла. На том рубеже, когда у меня начинало жечь икры и я вся взмокала от пота так, словно меня окатили из шланга, Эйми

еще танцевала, и мне приходилось садиться на место и дожидаться ее. Как раз это я и делала в отгороженном тросом углу — и тут меня сильно шлепнули по плечу, а на щеке я почувствовала что-то влажное. Я подняла голову. Надо мной высилась Эйми, ухмыляясь и глядя сверху вниз, а с ее лица на мое капал пот.

— Встать, боец. Эвакуируемся.

Час ночи. Не слишком поздно, но мне хотелось домой. Вместо этого, когда мы подъехали к Деревне, она опустила перегородку и велела Эрролу ехать мимо дома, к перекрестку Седьмой и Гроув, а когда Эррол попробовал воспротивиться, Эйми показала ему язык и вновь подняла стекло. Мы подъехали к крохотному, убогому на вид пиано-бару. Я уже слышала, как там кто-то с режущим слух бродвейским вибрато поет номер из «Кордебалета»^[76]. Эррол опустил стекло и злобно воззрился в открытую дверь. Ему не хотелось ее отпускать. Умоляюще поглядел он на меня, в солидарности, словно два человека в одной лодке, — в глазах Джуди ответственными завтра поутру окажемся мы оба, — но я ничего не могла поделать с Эйми, если ей что-то втемяшилось в голову. Она распахнула дверцу и вытащила меня из машины. Мы обе были пьяны: Эйми сверхвозбуждена, опасно энергична, я измождена, плаксива. Сели мы в темном углу — все то место состояло из темных углов, — и бармен возраста Эйми принес нам две водки-мартини: его так ошеломило, что он ее обслуживает, что неясным оставалось, как ему удастся справиться с практической задачей — поставить напитки перед нами и не рухнуть. Я приняла стаканы из его дрожащих рук и вытерпела ее изложение истории «Каменной стены», еще и еще, «Каменная стена» то и «Каменная стена» это, как будто я никогда раньше не бывала в Нью-Йорке и ничего о ней не знала^[77]. У фортепьяно группа белых женщин на девичнике пела что-то из «Короля-льва»^[78]; у них были ужасные пронзительные голоса, и они все время забывали слова. Я знала, что это как-то по-детски, но была в абсолютной ярости из-за своего дня рождения, и только эта ярость не давала мне заснуть, я питалась ею эдак праведно, как получается лишь если никогда вслух не говоришь, до чего несправедливо с тобой поступили. Я впитывала мартини и, ни слова не говоря, слушала, как Эйми от «Каменной стены» перешла к собственным ранним дням, когда она профессионально танцевала в Алфавит-Сити^[79] в конце 70-х, когда все ее друзья были «такими чокнутыми черными парнями, педиками, дивами; все уже умерли», эти истории ее слышала уже столько раз, что могла бы и сама их повторить, и я уже отчаялась отыскать какой-либо способ ее остановить, и

тут она объявила, что «идет в тубзо», с таким акцентом, какой применяла, лишь когда бывала очень пьяна. Я знала, что ее опыт с общественными туалетами ограничен, но не успела сама встать из-за столика, как она уже была в двадцати ярдах от меня. Пока я пыталась обогнуть пьяный девичник у фортепиано, пианист с надеждой поднял на меня взгляд и схватил за руку:

— Эй, сестренка. Поёшь? — В тот миг Эйми нырнула на лестницу в полуподвал и скрылась с глаз. — Как насчет вот прямо этого? — Он кивнул на ноты и провел усталой рукой по лысой голове, отливавшей глянцем черного дерева. — Не могу больше этих девах слушать. Знаешь такую? Из «Цыганки»? ^[80]

Его изящные пальцы опустились на клавиши, и я запела начальные такты — знаменитую преамбулу, в которой дома остаются лишь мертвые, а вот такие, как Мама, о, они совсем другие, они сидеть и терпеть не станут, у них мечты и кишка не тонка, они не будут оставаться тут и гнить, они всегда сражаются, чтоб встать — и прочь отсюда!

Руку я положила на пианино, сама повернулась к нему, закрыла глаза и, помню, думала, начну тихонько — по крайней мере, вот что я сознательно намеревалась сделать: начать тихонько и дальше петь тоже тихонько, не перекрывая нот, чтоб не заметили или хотя бы не слишком замечали, из природной своей робости. Но еще и от почтения к Эйми, которая прирожденной певицей не была, хоть это между нами и не проговаривалось. Которая была прирожденной певицей не более, чем те девахи, что сейчас сидели передо мной на барных табуретах, всасывая свои «май-таи». Но я же прирожденная, разве нет? Ну точно же, несмотря ни на что? И вот я поняла, что тихонько держаться больше не могу, глаза у меня не открывались, но голос взлетел — и взлетал все выше, я запела все громче и громче, у меня не было чувства, что я над ним вообще-то властна — я просто отпустила что-то, и оно теперь взмывало и улетало прочь, уже не ухватишь. Руки я вскинула, притопывала каблуками по полу. Такое чувство, что все в зале мне покорились. Даже сентиментально представилось, будто я — в долгой череде отчаянных братьев и сестер, творцов музыки, певцов, музыкантов, танцоров, ибо разве нет и у меня дара, какой часто приписывают моему народу? Я могла обращать время в музыкальные фразы, в такты и ноты, замедлять его и разгонять, властвовать над временем своей жизни, наконец, хотя бы здесь, на сцене, пусть и нигде больше. Я подумала о Нине Симоун — как она отделяла каждую ноту от следующей, так неистово, с такой точностью, как ее научил Бах, ее герой, и подумала о том, как она это называла: «черная классическая музыка», она

терпеть не могла слово «джаз», считая, что это белое слово для черных людей, она совершенно его отвергала, — и подумала о голосе ее, о том, как она могла тянуть ноту за пределы переносимого и заставлять своих слушателей этому покоряться, ее временной шкале, ее видению песни, как она совершенно не жалела свою публику и так непреклонно стремилась к своей свободе! Но, слишком увлекшись такими мыслями о Нине, я не предвидела конца, думала, что у меня есть еще куплет, я спела поверх заключительного аккорда, когда он настал, и продолжила немного дальше — лишь потом сообразила, ах да, хватит уже, стой, все закончилось. Если мне бурно и хлопали, я этого уже не слышала, похоже, аплодисменты завершились. Я только почувствовала, как пианист меня похлопал, быстро два раза, по спине, липкой и холодной от высохшего пота предыдущего клуба. Я открыла глаза. Да, буря в баре стихла — а может, и не было ее никакой, все выглядело, как обычно, пианист уже разговаривал со следующим исполнителем, девахи счастливо себе пили и болтали, как будто вообще ничего не произошло. Половина третьего. Эйми на месте нет. Ее не было в баре. Я поспотыкалась по этому тесному и переполненному заведению дважды, пнула дверцы всех до единой кабинок в жутких уборных с телефоном у уха, все звоня и звоня ей, но в ответ получая лишь автоответчик. Я пробилась через бар и вверх по лестнице на улицу. Я уже поскуливала в панике. Шел дождь, волосы мои, разглаженные феном, снова начали виться с ужасающей скоростью, каждая капля, что в меня попадала, порождала завиток, и я сунула в волосы руку и ощутила овчину, влажно пружинистую, густую и живую. Гуднула машина. Я подняла голову и увидела, что Эррол стоит там же, где мы его оставили. Опустилось заднее окно, в него выглянула Эйми, медленно аплодируя.

— О, *браво*.

Я поспешила к ней, извиняясь. Она открыла дверцу:

— Садись и все.

Я села рядом, по-прежнему извиняясь. Она подалась вперед распорядиться Эрролу.

— Езжай в Мидтаун и обратно.

Эррол снял очки и ущипнул себя за переносицу.

— Уже почти три, — сказала я, но перегородка поднялась, и мы поехали. Кварталов десять Эйми ничего не говорила — я тоже. Когда проезжали Юнион-сквер, она повернулась ко мне:

— Ты счастлива?

— Что?

— Отвечай на вопрос.

— Я не понимаю, почему мне его задают.

Она облизнула большой палец и стерла немного туши, которая текла у меня по лицу, а я этого даже не сознавала.

— Мы вместе уже сколько? Пять лет?

— Почти семь.

— Ладно. Поэтому ты уже должна знать: я не хочу, чтобы те, кто на меня работает, — медленно пояснила она, словно бы разговаривая с идиоткой, — были несчастливы, работая на меня. Я в этом не вижу никакого смысла.

— Но я совсем не несчастлива!

— Тогда какова?

— Счастлива!

Она сняла со своей головы бейсболку и натянула на мою.

— В этой жизни, — сказала она, откидываясь на кожу спинки, — нужно знать, чего хочешь. Нужно сперва это себе представить, а потом — совершить. Но мы об этом уже много раз говорили. Много раз.

Я кивнула и улыбнулась — я слишком много выпила, чтобы смочь что-то еще. Лицо мое втиснулось между ореховым деревом и стеклом, и оттуда мне открывался совсем новый вид на город, сверху донизу. Сад на крыше пентхауса я видела раньше, чем несколько случайных прохожих, еще на улице в этот час, кто расплескивал ногами лужи на тротуаре, и мне в такой перспективе все время открывались жуткие, параноидальные сближенья. Старая китайка, собиравшая банки, в старомодной конической шляпе влекла за собой свой груз — сотни, а то и тысячи банок, собранных в огромную пластиковую простыню, — под окнами здания, где, как мне было известно, обитал китайский миллиардер, друг Эйми, с которым она некогда обсуждала открытие сети гостиниц.

— А в этом городе тебе точно нужно *знать*, чего именно хочешь, — говорила меж тем Эйми, — но мне кажется, что ты пока *не* знаешь. Ладно, ты умная, это мы поняли. Думаешь, то, что я говорю, к тебе не относится, но оно относится. Мозг связан с сердцем и глазом — все дело в представлении, все это вместе. Хочешь, видишь, берешь. Без извинений. Я никогда *вообще* не извиняюсь за то, чего хочу! Но вот *смотрю* на тебя — и вижу, что ты всю свою жизнь тратишь на извинения! Как будто тебя мучает совесть за то, что выжила или как-то! Но мы уже не в Бендигоу! Ты же уехала из Бендигоу, верно? Как Болдуин уехал из Гарлема. Как Дилан уехал... откуда он там, к хуям, родом. Иногда нужно убираться — пиздовать из Бендигоу подальше! Хвала Христу, нам обеим это удалось. Давным-давно. Бендигоу остался в прошлом. Ты понимаешь, о чем я,

правда?

Я кивала множество раз, хотя понятия не имела, о чем она вообще-то, если не считать того сильного ощущения, какое у меня обычно возникало с Эйми: она считала историю своей жизни универсально применимой, и пуще всего — когда бывала пьяна, в такие мгновения все мы были родом из Бендигуу, у нас всех имелись отцы, умершие, когда мы были маленькими, и все мы представляли себе свою удачу и подтаскивали ее к себе. Граница между Эйми и всеми остальными затемнялась, ее трудно было в точности различить.

Мне стало тошно. Как собака, я свесила голову в нью-йоркскую ночь.

— Слушай, ты же не будешь вечно этим заниматься, — услышала я чуть погодя, когда мы въехали на Таймз-сквер, миновав восьмидесятифутовую сомалийскую модель с двухфутовой афро, которая танцевала от радости на стене здания в своих совершенно обычных хаки от «Гэпа». — Это же, блядь, очевидно. Поэтому вопрос теперь вот стал каким: что ты собираешься делать после? Что собираешься сделать со своей жизнью?

Я знала, что правильным ответом на такое должно быть «управлять собственным» тем-то и тем-то либо чем-то аморфно-творческим, вроде «написать книгу» или «открыть центр йоги», поскольку Эйми полагала, будто для того, чтобы всем этим заняться, нужно просто зайти, скажем, в издательство и заявить о своем намерении. Таков был ее собственный опыт. Что могла она знать о волнах времени, какие просто накатывают на человека, одна за другой? Что она могла знать о жизни как временном, вечно пристрастном выживании в этом процессе? Я устремила взгляд на танцующую сомалийскую модель.

— Мне прекрасно! Я счастлива!

— Ну а мне кажется, ты слишком уж вся в своей голове, — произнесла она, постукивая пальцем по своей. — Может, тебе трахаться нужно больше... Знаешь, ты же, похоже, никогда не *трахаешься*. В смысле — это из-за меня? Я же тебя свожу, нет? Постоянно. Ты никогда мне не рассказываешь, как прошло.

Машину затопил свет. Исходил он из громадной цифровой рекламы чего-то, но внутри машины казался нежным и естественным, словно рассвет. Эйми потеряла глаза.

— Ну, у меня для тебя есть проекты, — сказала она, — если хочешь проектов. Все мы знаем, что ты способна на большее, чем делаешь. В то же время, если хочешь сбежать с корабля, сейчас будет неплохое время это сделать. Я насчет этого африканского проекта серьезно — нет, не закатывай

мне тут глаза; нам нужно выгладить все детали, конечно, я это знаю, я ж не дура, — но это случится. Джуди беседовала с твоей мамой. Я знаю, тебе этого тоже слушать не хочется, но она с ней поговорила, и в твоей матери не столько срани, сколько тебе, похоже, кажется. У Джуди ощущение, что зона... Ну, я сейчас нализалась и не могу вспомнить, где она сейчас, крохотная страна... на западе? Но она считает, что это для нас может стать очень интересным направлением, там есть потенциал. Джуди говорит. И выясняется, что мать твоя, почетный член, об этом много чего знает. Говорит Джуди. Суть в том, что мне понадобится свистать всех наверх, всех, кто *хочет* тут быть, — сказала она, показывая на свое сердце. — А не тех, кто по-прежнему не понимает, *зачем* они тут.

— Я хочу там быть, — сказала я, глядя на это место, хотя от водки ее маленькие груди удваивались, затем скрещивались, затем сливались.

— Сейчас свернуть? — с надеждой спросил Эррол в микрофон.

Эйми вздохнула:

— Сейчас сворачивай. Ну, — произнесла она, возвращаясь ко мне, ты уже не первый месяц себя шизово ведешь, еще с Лондона. Много дурной энергии. Это такая дурная энергия, которую очень нужно заземлить, иначе она просто в контур проникнет и на всех повлияет.

Она произвела руками череду жестов, предполагавших некий ранее неведомый закон физики.

— В Лондоне что-то случилось?

Три

Когда я закончила ей отвечать, мы уже описали петлю и достигли Юнион-сквер, где я подняла голову и увидела цифру на том огромном тикерном панно, что разгонялась все дальше, извергая дым из Дантовой красной дыры в середине. У меня перехватило дыхание. От многого, происшедшего за те месяцы в Лондоне, у меня перехватывало дыхание: я наконец отказалась от квартиры — за неиспользованием — и стояла в толпах на предвыборных собраниях, всю ночь дожидаясь того, чтобы увидеть, как мужчина в синем галстуке взойдет на сцену и присудит победу моей матери в красном платье. Я видела листовку, рекламирующую ностальгический вечер хип-хопа 90-х в «Джаз-Кафе», и мне настоятельно требовалось туда сходить, но я не могла придумать ни единого знакомого, кого я бы могла туда с собой взять, — просто в последние годы я чересчур много путешествовала, ни на каких обычных сайтах не бывала, не читала личную электронную переписку — отчасти из-за нехватки времени, а отчасти из-за того, что Эйми не одобряла, если кто-то из нас «общался» онлайн, опасаясь лишней болтовни и утечек. Толком этого не замечая, я позволила дружбам своим увянуть на корню. И я пошла одна, напилась и в итоге переспала с одним из их швейцаров, громадным американцем из Филадельфии, утверждавшим, что некогда профессионально играл в баскетбол. Как большинство народу в этом роде занятий — как Грейнджера, — его наняли за рост и цвет, ибо в самом сочетании этих черт подразумевалась угроза. Две минуты перекура с ним выявляли нежную душу в хороших отношениях с мирозданием, плохо подходящую к такой роли. У меня при себе был кисетик с коксом — мне его дал повар Эйми, и когда у моего швейцара настал перерыв, мы зашли в туалетные кабинки и хорошенько заправились с сияющего выступа за унитазами, который, похоже, специально был для такого предназначен. Он мне рассказал, что терпеть не может свою работу, агрессию, с ужасом применяет силу к кому-либо. После его смены мы ушли вместе, хихикали в такси, когда он массировал мне стопы. Зайдя ко мне в квартиру, где все было упаковано в коробки в готовности переместиться на громадный склад Эйми в Мэрилебоуне, он ухватился за турник, который я впрок установила над дверью в спальню и никогда им не пользовалась, попробовал подтянуться — и выдрал эту дурацкую штукину из стены, причем вместе со штукатуркой. Однако в постели я едва смогла его почувствовать у себя

внутри — у него все съежилось от кокса, не иначе. Но он не расстраивался. Бодро уснул, не слезши с меня, как большой медведь, а затем с такой же бодростью около пяти утра пожелал мне всего хорошего и сам ушел. Утром я проснулась с кровотечением из носа и очень ясным ощущением, что юность моя — ну, или, по крайней мере, эта ее разновидность, — окончилась. Полтора месяца спустя, воскресным утром, пока Джуди и Эйми истошно слали мне эсэмэски об архивировании — в Милане — части сценического гардероба Эйми за 92–98-й годы, я неведомо для них сидела в поликлинике Королевской бесплатной больницы, дожидаясь результатов анализа на венерику и СПИД, слушая, как в боковые комнатки поплакать уводят несколько человек, кому повезло гораздо меньше, чем мне. Но с Эйми про все это я не говорила. Зато я с ней говорила о Трейси. Не о ком-то там — о Трейси. Обо всей нашей с ней истории: хронология обалдело скользила взад-вперед во времени и водке, обиды выписывались крупными буквами, удовольствия либо сокращались, либо уничтожались, и чем дольше я говорила, тем яснее видела и понимала — как будто правда была чем-то затопленным, а теперь поднималась в колодце водки мне навстречу: на самом деле в Лондоне произошло только одно — я увиделась с Трейси. После стольких лет, когда я не видела Трейси, я ее увидела. Все остальное не имело значения. Как будто ничего в промежутке между последним разом, когда я ее видела, и этим вообще не происходило.

— Постой, постой... — сказала Эйми, сама слишком пьяная, чтобы прятать нетерпение от монолога собеседника. — Это твоя старейшая подружка, так? Да, это я знаю. Я с ней знакомилась?

— Никогда.

— И она танцует?

— Да.

— Лучший тип людей! Тела сами говорят им, что делать!

До этого я сидела на самом краешке, но теперь сдулась и откинула голову обратно, в холодный угол на подушку из зачерненного стекла, орехового дерева и кожи.

— Ну, нельзя подружиться со старыми друзьями, — провозгласила Эйми таким манером, что можно было бы предположить, будто это она сама придумала. — Что б я делала без моей старой доброй Джуд? С пятнадцати лет! Она выебла того кента, которого я приглашала на школьные танцы! Но она меня носом в мое говно тычет, еще как. Больше никто так не делает...

Я уже привыкла к тому, что Эйми все истории про меня превращает в истории о себе самой, — обычно я просто покорялась, но теперь от

выпивки обнаглела до того, что поверила — в тот миг: наши с ней жизни на самом деле одинаково весомы, одинаково достойны обсуждения, одинаково заслуживают времени.

— Это случилось после того моего обеда с матерью, — медленно пояснила я. — В тот вечер, когда я пошла с тем парнем, Дэниэлом? В Лондоне? На катастрофическую свиданку.

Эйми нахмурилась:

— С Дэниэлом Креймером? Я же тебя с ним свела. С финансистом? Видишь, ты ничего мне об этом не рассказывала!

— Ну, вышла катастрофа — мы с ним пошли представление смотреть. И в этом ебаном представлении участвовала она.

— Ты с ней поговорила.

— Нет! Я с ней восемь лет не разговаривала. Я же тебе только что сказала. Ты меня вообще слушаешь?

Эйми поднесла два пальца к вискам.

— Линия времени перепуталась, — пробормотала она. — И у меня к тому же голова болит. Слушай... Господи, даже не знаю... может, тебе *позвонить* ей надо! Ты же вроде хочешь. Позвони сейчас же — блядь, давай я с ней поговорю.

— Нет!

Она выхватила у меня из рук телефон — смеясь, прокручивая список номеров, — а когда я попробовала до него дотянуться, она высунула руку с ним в окно.

— Отдай!

— Ой, ладно тебе — ей понравится.

Мне удалось перебраться через нее, выхватить телефон и зажать его между бедер.

— Ты не понимаешь. Она со мной ужасную вещь совершила. Нам было по двадцать два. Жуткую вещь.

Эйми вздела одну свою знаменито геометричную бровь и подняла перегородку, которую Эррол — желая выяснить, к какому входу в дом мы направляемся, переднему или заднему, — только что опустил.

— Ну, мне вот действительно интересно...

Мы свернули в парк Вашингтон-сквер. Городские особняки вокруг площади стояли красные и благородные, фасады тепло освещены, но в самом парке все было темно и капало, безлюдно, если не считать с полдюжины бездомных черных в дальнем правом углу: они сидели на шахматных столиках, тела обернуты в мусорные мешки с дырками для рук и ног. Я высунула лицо из окна, закрыла глаза, ощутила брызги дождя — и

рассказала всю историю, как ее помнила, и выдумки, и правду, драным болезненным натиском, словно бежала по битому стеклу, но, когда глаза открыла, то — снова от смеха Эйми.

— Ничего тут, блядь, смешного!

— Постой — так ты это сейчас серьезно все?

Она попробовала снова втянуть верхнюю губу в рот и прикусить ее.

— А тебе не приходит в голову, — спросила она, — что ты, возможно, делаешь из мухи слона?

— *Что?*

— Вот честно, единственный, кого мне во всем этом сценарии жалко — если, конечно, все это правда, — твой папа. Бедняга! Сверходинокий, пытается с катушек не слететь...

— Хватит!

— Ну он же не Джеффри Дамер^[81].

— Это ненормально! Так не нормально поступать!

— Нормально? Неужели ты не понимаешь, что каждый мужчина на свете, у кого есть компьютер, включая Президента, вот ровно в данный момент либо смотрит на влагилица, либо только что закончил смотреть на влагилица...

— Это не одно и то же...

— Это в *точности* одно и то же. Только у твоего папы компьютера не было. Ты считаешь, что если Джордж У. Буш залезет на сайт «Киски азиаток-подростков», то что? Он уже, блядь, серийный убийца?

— Ну...

— Хорошо замечено, а пример — плохой.

Я невольно хмыкнула.

— Извини. Может, это я дура. Но я не понимаю. Ты почему вообще сердишься? Потому что она тебе сказала? Ты же сама только что говорила, что считаешь это херней!

Поразительно было — после стольких лет моей собственной извилистой логики услышать, как беда разглаживается в прямую линию, предпочитаемую Эйми. Ясность меня беспокоила.

— Она всегда врала. У нее было такое представление: мой отец — идеален, — и она хотела его мне испортить, хотела, чтоб я возненавидела своего отца так же, как она ненавидит своего. Я даже в глаза ему не могла взглянуть потом. И так оно было, пока он не умер.

Эйми вздохнула.

— Глупее этого я, блядь, ничего в жизни не слышала. Ты пошла и опечалилась просто ни за что ни про что.

Она протянула руку и коснулась моего плеча, но я отвернулась от нее и стерла предательскую слезинку.

— Довольно глупо.

— Нет. У всех нас своя срань. Но тебе следует позвонить подружке.

Она свернула из своей куртки маленькую подушку и прислонилась головой к окну, а когда мы пересекли Шестую авеню, она уже спала. Чтоб жить так, как жила она, нужно быть королевой сна урывками, и она ею была.

Четыре

Раньше в тот же год, в Лондоне — за несколько дней до местных выборов — я пообедала с матерью. Стоял серый сырой день, люди безрадостно брели по мосту, прибитые моросью, и даже величественнейшие памятники — даже Парламент — смотрелись, на мой взгляд, мрачно, печально и уныло. По всему поэтому мне хотелось уже оказаться в Нью-Йорке. Хотелось всей этой высоты и стекла, в котором бьется солнце, а затем, после Нью-Йорка — Майами, потом пять остановок в Южной Америке и наконец — европейские гастроли, двадцать городов и в итоге опять Лондон. Так мог проходить целый год. Мне нравилось. Другим полагалось переживать времена года, им приходилось тащиться сквозь каждый год. А в мире Эйми мы так не жили. Не смогли бы, даже если б захотели: мы никогда в одном месте так надолго не задерживались. Если нам не нравилась зима, мы летели в лето. Уставая от больших городов, мы отправлялись на пляж — и наоборот. Я немного преувеличиваю, но совсем чуть-чуть. Мои последние годы до тридцати прошли в причудливом состоянии безвременности, и я теперь думаю, что не все могли впасть в такую жизнь, что меня, должно быть, к ней как-то подготовили. Позднее я задумывалась, не избрали ли нас для нее в первую очередь поэтому — именно потому, что мы — скорее те люди, у кого мало внешних связей, у нас нет партнеров или детей, минимум близких родственников. То, как мы жили, конечно, поддерживало это в нас. Из четырех помощниц Эйми лишь у одной был ребенок, да и тот появился, когда ей было сильно за сорок, когда она уже давно бросила эту работу. Чтобы взойти на борт «лиэрджета», нужно быть непривязанным. Иначе бы не вышло. У меня теперь оставалась лишь одна веревочка — моя мать, — а она, как и Эйми, была в полном расцвете сил, хотя, в отличие от Эйми, матери я была почти совсем не нужна. Она сама летала высоко — ей оставалось всего несколько дней до того, чтобы стать членом парламента от Западного Брента, и когда я сворачивала влево, направляясь к «Башне Оксо», оставив парламент за спиной, — как обычно, чувствовала собственную малость по сравнению с ней, с масштабом того, чего она достигла, сравнительную легкомысленность моего занятия, невзирая ни на какие ее попытки меня направить. Мне она казалась еще внушительней прежнего. Я всю дорогу прижималась к заграждению — пока не перемахнула через него.

Снаружи на террасе сидеть было слишком сыро. Несколько минут я обыскивала ресторан, но тут заметила мать — все-таки снаружи, под зонтиком, укрытую от мороси, да еще и с Мириам, хотя по телефону Мириам не упоминалась. Мириам мне отнюдь не нравилась. Вообще-то у меня не было к ней никаких чувств — трудно было питать к ней какие-то чувства, такой маленькой, тихой и серьезной она была. Все ее скучные черты собрались посередине ее личика, свои естественные волосы, благородно седеющие на кончиках, она скручивала в маленькие дреды. Носила круглые очочки в золотой оправе, которых никогда не снимала, а глазки ее от них смотрелись еще мельче, нежели на самом деле. Одевалась в сдержанные бурые ткани с начесом и простые черные брюки, вне зависимости от случая. Человеческая рамка — предназначение у Мириам было одно: оттенять мою мать. А мать о ней говорила только: «С Мириам я очень счастлива». Мириам никогда не рассказывала о себе — говорила она лишь о моей матери. Мне пришлось ее гуглить, чтобы обнаружить: она — афрокубинка из Льюишэма, некогда работала в агентстве международной помощи, а теперь преподает в Королеве Марии^[82] — на какой-то очень скромной почасовой должности — и пишет книгу «о диаспоре» дольше, чем мы с ней знакомы, а это — четыре года. Избирателям моей матери ее представили с минимумом шумихи на каком-то мероприятии в местной школе, сфотографировали упрятанной под боком у матери, робкую соню рядом со своей львицей, и журналист из «Уиллзден энд Brent Таймс» записал ровно ту же фразу, какую выдали и мне: «С Мириам я очень счастлива». Никого она особо, казалось, не интересовала — даже стариков с Ямайки и африканских евангелистов. У меня сложилось ощущение, что избиратели вообще не считали мою мать и Мириам любовницами — это просто были две приятные дамы из Уиллздена, спасшие старый кинотеатр и боровшиеся за то, чтобы расширить там центр отдыха и учредить по всем местным библиотекам «Месячник черной истории». В кампаниях они составляли действенную пару: если мать воспринималась как слишком напористая, можно было утешиться непритязательным бездействием Мириам, а если людям наскучивала Мириам, они с радостью воспринимали возбуждение, какое моя мать создавала везде, куда бы ни пришла. Глядя на Мириам теперь — она быстро, восприимчиво кивала, пока мать произносила речь, — я поняла, что еще и рада Мириам: она была полезным буфером. Я подошла и положила руку матери на плечо. Она не подняла головы и не замолчала, но осознала мое касание и подняла руку, положила ее поверх моей, принимая поцелуй, который я запечатлела у нее на щеке. Я вытащила стул и села.

— Ты как, мам?

— Напряженно!

— Ваша мать очень напряжена, — подтвердила Мириам и принялась тихонько перечислять все причины материна напряжения: еще нужно разложить всякое по конвертам, расклеить листовки, близость самого последнего голосования, закулисная тактика оппозиции и предполагаемое двуличие единственной черной женщины в Парламенте, депутата с двадцатилетним стажем, которую мать моя без какой бы то ни было разумной причины считала своей злейшей соперницей. Я в нужных местах кивала и просматривала меню, мне удалось заказать вина у проходившего официанта, и все это — без малейших нарушений потока речи Мириам с его цифрами и процентами, с тщательным пережевыванием разнообразных «блестящих» вещей, произнесенных моей матерью такому-то и такому-то в тот или иной важный миг, и как такой-то отозвался, скверно, на все блистательное, произнесенное матерью.

— Но ты же выиграешь, — сказала я с такой интонацией, как я слишком поздно сообразила, что неловко зависла между утверждением и вопросом.

Мать напустила на себя суровый вид, развернула салфетку и расстелила на коленях, как королева, которую дерзко спросили, по-прежнему ли ее любят подданные.

— Если есть справедливость, — ответила она.

Принесли еду, которую мне заказала мать. Мириам пустилась точить свою порцию — она мне напоминала мелкое млекопитающее, которому вскоре предстоит спячка, — а мать оставила нож и вилку на том же месте, куда их положили, и дотянулась до пустого стула рядом, сняла с него номер «Ивнинг Стэндарда», уже развернутый на крупном снимке Эйми на сцене, рядом с которым разместили стоковую фотографию каких-то несчастных африканских детишек — откуда, я так и не поняла. Материал этот я не видела, а газету держали от меня слишком далеко, чтобы прочесть текст, но я угадала источник: недавний пресс-релиз, где объявлялось о преданности Эйми «сокращению нищеты во всем мире». Мать пристукнула пальцем по животу Эйми.

— Она это всерьез?

Я обдумала вопрос.

— Она к этому очень пылко.

Мать нахмурилась и взяла приборы.

— «Сокращение нищеты». Ну, прекрасно, но какова конкретно

политика?

— Она не политик, мам. У нее не бывает политик. У нее есть фонд.

— Ну так и что она хочет *делать*?

Я подлила матери вина и заставила ее немного помедлить и чокнуться со мной.

— Думаю, вообще-то хочет построить школу. Для девочек.

— Потому что если она всерьез, — сказала мать поверх моего ответа, — тебе следует ей посоветовать идти разговаривать к нам, так или иначе взять себе в партнеры правительство... Очевидно, финансовые средства у нее есть, как и внимание публики — все это хорошо, — но без понимания механики все это — лишь добрые намерения, которые ни к чему не приведут. Ей нужно встретиться с нужными властями.

Я улыбнулась, услышав, как моя мать уже говорит о себе как о «правительстве».

Следующее, что я сказала, привело ее в такое раздражение, что она повернулась и ответила не мне, а Мириам.

— Ох, умоляю — мне правда очень хочется, чтобы ты не вела себя так, будто я прошу о какой-то великой услуге. Меня **ВООБЩЕ** не интересует встречаться с этой женщиной, совершенно. И никогда не интересовало. Я предложила совет. Думала, он будет принят с благодарностью.

— И он с нею принят, мам, спасибо. Я просто...

— То есть, вот правда, можно подумать, что эта женщина *захочет* с нами разговаривать! Мы ей выдали британский паспорт, в конце концов. Ладно, ерунда. Просто казалось вот из этого... — она вновь подняла газету, — ...что у нее серьезные намерения, но, возможно, это не так, может, она просто желает опозориться, откуда мне знать. «Белая женщина спасает Африку». Таков замысел? Очень старая мысль. Ну, это твой мир, не мой, слава богу. Но ей действительно нужно поговорить хотя бы с Мириам, дело в том, что у Мириам много полезных контактов, в сельской местности, в образовании — она слишком скромна и сама тебе не скажет. Я вас умоляю, она в «Оксфаме»^[83] десять лет работала. Нищета — это не просто заголовок, милая моя, это реальность, в которой живут, на земле, и в сердцевине ее — образование.

— Мам, я знаю, что такое нищета.

Мать печально улыбнулась и положила в рот часть пищи с вилки.

— Нет, дорогая, не знаешь.

Телефон мой, на который я со всею силой воли, что была мне доступна, старалась не смотреть, снова зажужжал — жужжал он уже с

десяток раз после того, как я села, — и теперь я вытащила его и попробовала быстро просмотреть пропущенные сообщения, пока ела, держа телефон в одной руке. Мириам подняла с матерью какой-то скучный административный вопрос — она так часто делала, если оказывалась посреди нашего спора, но посреди обсуждения мать моя зримо заскучала.

— Ты пристрастилась к этому телефону. Тебе известно?

Попыток я не прекратила, но лицо свое сделала как можно более спокойным.

— Это по работе, мам. Люди так теперь работают.

— В смысле — как рабы?

Она порвала ломтик хлеба надвое и часть поменьше предложила Мириам — я уже такое у них видела, это была ее разновидность диеты.

— Нет, не как рабы. Мам, у меня прекрасная жизнь!

Она задумалась об этом с набитым ртом. Покачала головой.

— Нет, это неправильно — жизни у тебя нет. У *нее* есть жизнь. У нее свои мужчины, дети, карьера — жизнь у *нее*. Мы о ней читаем в газетах. А ты *обслуживаешь* ее жизнь. Она — гигантский отсос, сосет твою юность, занимает все твое...

Чтобы она перестала, я оттолкнула стул и сходила в уборную, где у зеркал задержалась дольше, чем нужно, ответила еще на письма, но, когда вернулась, беседа продолжилась без прерывания, будто вообще никакого времени не прошло. Мать моя про-прежнему жаловалась, но теперь — Мириам:

— ...все твое время. Она все искажает. Она и есть та причина, по которой у меня не будет никаких внуков.

— Мам, моя репродуктивная ситуация на самом деле не имеет ничего...

— Вы слишком близки, тебе этого не видно. Она заставляет тебя *всех* подозревать.

Это я отрицала, но стрела в цель попала. Не подозрительная ли я — не вечно ли начеку? На изготовку к любому признаку того, что мы с Эйми между собой называли «клиентами»? Клиент — тот, кто, по нашему рассуждению, будет использовать меня в надежде пробиться к ней. Иногда, еще в ранние годы, если отношения моим с кем-то удавалось — несмотря на все препятствия времени и географии — попытеть несколько месяцев подряд, во мне чуть прирастали уверенность и мужество, и я представляла такого партнера Эйми — и обычно это оказывалось скверной мыслью. Едва он выходил в ванную или за сигаретами, я задавала Эйми вопрос: клиент? И поступал ответ: ой, милочка, извини — *определенно* клиент.

— Смотри, как ты относишься к старым друзьям. Трейси. Вы с нею были практически сестрами, вместе росли — а теперь ты с ней даже не разговариваешь!

— Мам, ты же всегда *терпеть* Трейси не могла.

— Не в этом дело. Люди откуда-то возникают, у них есть корни — а ты этой женщине позволила свои из земли вырвать. Ты больше не живешь, у тебя ничего нет, ты вечно в самолете. Сколько ты так сможешь выдержать? Мне кажется, она даже не *хочет*, чтоб ты была счастлива. Потому что тогда ты от нее уйдешь. И *тогда* вот где она окажется?

Я рассмеялась, но раздавшийся звук был уродлив — даже на мой слух.

— Все у нее будет отлично! Она же Эйми! Я лишь помощница номер один, знаешь, — есть еще трое!

— Понятно. Значит, ей в жизни можно любое количество людей, а тебе можно только ее.

— Нет, тебе не понятно. — Я оторвала взгляд от телефона. — Вообще-то я сегодня вечером иду встречаться кое с кем. Нас Эйми познакомила, так что.

— Ну, это приятно, — сказала Мириам. Любимым в жизни у нее было видеть, как разрешается конфликт, любой, поэтому мать для нее была крупным ресурсом: куда бы ни пришла она, возникал конфликт, который разрешать потом приходилось Мириам.

Мать наострила уши:

— Кто он?

— Ты его не знаешь. Он из Нью-Йорка.

— А имя мне можно узнать? Это государственная тайна?

— Дэниэл Креймер. Его зовут Дэниэл Креймер.

— А, — сказала моя мать, загадочно улыбнувшись Мириам. Они обменялись раздражающими взглядами сообщников. — Еще один славный еврейский мальчик.

Когда официант пришел убрать с нашего столика тарелки, в небе цвета пушечной бронзы возникло солнце. Сквозь винные бокалы на столовом серебре заиграли радуги, через перспексовые стулья, от кольца верности Мириам на льняную салфетку, лежавшую меж нами троими. От десерта я отказалась — объявила, что мне нужно идти, но едва я отошла снять со спинки стула свой плащ, мать кивнула Мириам, и та передала мне папку, на вид официальную, на кольцах, с главами и фотографиями, списками контактных лиц, архитектурными соображениями, краткой историей образования в регионе, анализом возможного «влияния СМИ», планами

партнерства с государством и так далее: «обзор целесообразности». Сквозь серость вползло солнце, ментальный туман рассеялся, я увидела, что для этого вообще-то и был организован весь обед, что я служила просто каналом, по которому должна дойти информация — к Эйми. Моя мать тоже была клиентом.

Я поблагодарила ее за папку и посидела, глядя на обложку, не открывая ее у себя на коленях.

— А каково вам, — спросила Мириам, настороженно моргая за стеклами очков, — насчет отца? Годовщина во вторник, верно?

Это было до того необычайно — получить личный вопрос за обедом с моей матерью, не говоря уже о том, что вспомнили важную для меня дату, — что я поначалу не поняла, мне ли он задан. Мать тоже вроде бы встревожилась. Нам обеим было больно от напоминания, что в последний раз вообще-то мы виделись на похоронах, целый год назад. Причудливый день: гроб встретился с пламенем, я села рядом с детьми моего отца — теперь уже взрослыми, за тридцать и за сорок — и переживала повтор того единственного раза, когда с ними познакомилась: дочь рыдала, сын откинулся на спинку стула, скрестив руки на груди, скептичен к самой смерти. И я, не способная плакать, снова поняла, что оба они — гораздо более убедительные дети моего отца, чем я была когда бы то ни было. Все же у нас в семье мы никогда не желали допускать такой маловероятности, мы вечно отмахивались от того, что считали банальным и похотливым любопытством посторонних: «Но разве она не вырастет запутавшейся?», «Как она будет выбирать между вашими культурами?» — до той степени, что мне иногда казалось, будто весь смысл моего детства сводился к тому, чтобы показать менее просвещенным: нет, я не запуталась, и с выбором у меня никаких хлопот нет. «В жизни можно запутаться!» — так надменно обычно парировала мать. Но нет ли здесь к тому же некоего глубинного ожидания одинаковости между родителем и ребенком? Думаю, и для матери, и для отца я была странна — подменыш, не принадлежащий ни тому, ни другому, — и, хотя это, конечно, применимо ко всем детям, в конце-то концов: мы не наши родители, а они не мы, — дети моего отца пришли бы к этому знанию с определенной медлительностью, за годы, вероятно — только постигали его в этот самый миг, когда языки пламени пожирали сосновые доски, я же с этим знанием родилась, я всегда это знала, эта истина у меня на лбу написана. Но все это было моей личной драмой: потом, на поминках, я ощутила, что все время творилось и нечто крупнее моей утраты, да, когда б ни зашла в этот крематорий, я слышала обволакивающее жужжанье, Эйми, Эйми, Эйми, громче имени моего отца

и чаще — люди пытались вычислить, действительно ли она здесь, а потом, позднее — когда они решили, что она, должно быть, уже отметилась и ушла, — услышать его можно было опять, скорбным эхо, Эйми, Эйми, Эйми... Я даже подслушала, как моя сестра спросила у моего брата, видел ли он ее. Она была там все время, пряталась у всех на виду. неброская женщина удивительно маленького роста, без макияжа, такая бледная, что чуть ли не прозрачная, в чопорном твидовом костюме, вверх по ногам у нее бежали синие прожилки, волосы — свои, прямые, каштановые.

— Думаю, я цветы возложу, — сказала я, туманно показывая куда-то за реку, к Северному Лондону. — Спасибо, что спросила.

— Один день отгула! — сказала мать, снова разворачиваясь, подсаживаясь в поезд беседы на предыдущей станции. — В день похорон. Один день!

— Мам, я просила только один день.

Мать натянула на лицо вид материнской ранимости.

— Ты же раньше была так близка со своим отцом. Я знаю, что всегда сама тебя к этому подталкивала. Я правда не понимаю, что произошло.

Какой-то миг мне хотелось ей сказать. Но я лишь смотрела, как по Темзе пыхтит прогулочное суденышко. Среди рядов пустых сидений были разбросаны редкие точки людей, они глядели на серую воду. Я вернулась к своей электронной переписке.

— Бедные эти мальчики, — услышала я голос матери, а когда оторвалась от телефона — увидела, что она сидит и кивает мосту Хангерфорд, пока лодочка проходит под ним. У меня в уме немедленно всплыл тот же образ, какой, знала я, и ей пришел в голову: два молодых человека, сброшенные за перила, в воду. Один выжил, один умер. Я поежилась и потуже запахнула кардиган на груди. — И девочка там еще была, — добавила мать, высыпая четвертый пакетик сахара в пенный капучино. — По-моему, ей еще и шестнадцати не исполнилось. Практически дети, все они. Какая трагедия. Должно быть, они по-прежнему в тюрьме.

— Ну конечно, они еще в тюрьме — они убили человека. — Из фарфоровой вазочки я вытянула хлебную палочку разломила ее на четвертинки. — А он по-прежнему мертв. Тоже трагедия.

— Это я понимаю, — огрызнулась мать. — Когда слушалось то дело, я каждый день в зале сидела, если ты помнишь.

Я помнила. Я недавно съехала с квартиры, и у матери вошло в привычку звонить мне каждый вечер, когда она приезжала домой из Высокого суда, и рассказывать мне истории — хоть я не просила их

послушать, — и каждая со своей собственной гротесковой печалью, но все отчего-то одинаковые: дети, брошенные матерями или отцами, или и теми и другими, растили их дедушки и бабушки или вообще никто не растил, целые детства, истраченные на заботу о больных родственниках, в ветшающих жилмассивах, похожих на тюрьмы, все к югу от реки, подростков вышвыривают из школы или из дому, или из того и другого сразу, злоупотребления наркотиками, сексуальное насилие, грабежи, жизнь на улице — тысяча и один способ потопить жизнь в убожестве, чуть ли не прежде, чем она успела начаться. Помню, один из них ушел из колледжа. У другого была пятилетняя дочь, погибшая в автокатастрофе накануне. Все они уже были мелкими уголовниками. И мою мать они завораживали, у нее возникла смутная мысль написать что-то про это дело — для того, что к тому времени было ее кандидатской диссертацией. Она так ничего и не написала.

— Я тебя раздражаю? — спросила она, накрывая мою руку своей.

— Два невинных мальчика шли, блядь, по мосту!

При этих словах я резко стукнула свободным кулаком по столу, сама не собираясь этого делать, — старая материна привычка. Она участливо посмотрела на меня и поставила перевернувшуюся солонку.

— Но, дорогая моя, кто же с этим *спорит*?

— Мы не можем быть невинны все. — Краем глаза я увидела, как официант, только что подошедший со счетом, тактично удалился. — Кто-то же должен быть виновен!

— Договорились, — пробормотала Мириам, суетливо крутя в руках салфетку. — Не думаю, что кто-то не согласен, верно?

— У них не было возможности, — тихо, но твердо произнесла моя мать, и лишь позднее, когда я возвращалась по мосту, когда скверное настроение мое улетучилось, осознала я, что фраза эта движется в двух направлениях.

Часть четвертая

Средний путь

Величайшим танцором, кого я когда-либо видела, был канкуранг^[84]. Но в тот миг я не знала, кто или что это: неудержимо раскачивавшийся оранжевый силуэт человеческого роста, но без человеческого лица, покрытый множеством шелестящих листьев внахлест. Словно дерево в пылании нью-йоркской осени выдрало себя с корнями и теперь танцует вдоль по улице. За ним в красной пыли тянулась большая компания мальчишек и шел строй женщин с пальмовыми листьями в руках — их матери, предположила я. Женщины пели и топали, взбивали воздух листьями — шли и танцевали одновременно. Я же была втиснута в такси, обшарпанный желтый «мерседес» с зеленой полосой по борту. Рядом на заднем сиденье — Ламин, также чья-то дедушка, женщина, кормившая истощенно вопившего младенца, две девочки-подростка в форме и преподаватель Корана из школы. Царил хаос, который Ламин воспринимал спокойно, едва ли сознавая свое положение учителя-стажера, руки сложены на коленях, как у священника, выглядел он, как обычно: длинный плоский нос с широкими ноздрями, грустные, слегка пожелтелые глаза — большой кот на отдыхе. Магнитола в машине играла регги с острова моей матери, на безумной громкости. Но то, что приближалось к нам, танцевало под ритмы, к каким регги и близко никогда не подходит. Биты такие быстрые, такие сложные, что приходилось о них думать — или видеть, как они выражаются телом танцора, — чтобы понять то, что слышишь. Иначе можно было бы принять их за рокочущую басовую ноту. Перепутать с громом над головой.

Кто барабанил? Я выглянула из окна и заметила троих мужчин: инструменты зажаты между колен, идут по-крабьи, и когда они выскочили перед нашей машиной, вся эта бродячая танцевальная труппа приостановилась в своем движении вперед, встала как вкопанная посередине дороги, вынудив остановиться и нас. Хотя какое-то разнообразие от блокпостов, угрюмых солдат с младенческими личиками, вольно державших автоматы у бедра. Когда мы останавливались из-за солдат — часто по десятку раз за день, — мы умолкали. Но теперь такси взорвалось разговорами, свистом и хохотом, а школьницы высунулись в окно и отжали сломанную ручку, чтобы дверца распахнулась, и все, кроме женщины, кормящей грудью, вывалились наружу.

— Что такое? Что происходит?

Я спрашивала Ламину — предполагалось, что он мой провожатый, —

но он, казалось, едва помнил о моем существовании, не говоря уже о том, что нам полагалось ехать к парому, чтобы переправиться через реку в город, и дальше в аэропорт, встречать Эйми. Все это теперь было не важно. Существовал только настоящий миг, только этот танец. А Ламин, как выяснилось, был танцором. Я это в нем заметила в тот день, еще раньше. Как с ним познакомилась Эйми, задолго до того, как распознала в нем танцора. Я это ловила в каждом его вилянии бедрами, в каждом кивке. Но оранжевого призрака больше не видела — между нами с ним собралась такая толпа, что я могла только слышать: должно быть, это его ноги топают по земле, вот металл грубо лязгает о металл, пронзительный взвизг, потусторонний, на который женщины отвечают песней, тоже танцуя. Я и сама невольно пританцовывала, тесно прижатая к такому множеству движущихся тел. Я по-прежнему задавала вопросы: «Что это? Что происходит?» — но английский, «официальный язык», это тяжелое формальное пальто, надеваемое людьми лишь в моем присутствии, да и то с очевидной скукой и трудностью, сбросили наземь, все танцевали на нем, и я подумала — уже не впервые за первую неделю, — о той подстройке, какую придется осуществить Эйми, когда наконец она прибудет и обнаружит, как это уже сделала я, пропасть между «обзором целесообразности» и той жизнью, что является тебе на дороге и пароме, в деревне и городе, в людях и полудюжине языков, в еде и лицах, море и луне, и в звездах.

Люди карабкались на машину, чтобы лучше видеть. Я поискала глазами Ламина и нашла его — он тоже забирался на капот спереди. Толпа рассасывалась — смеясь, вопя, бегом, — и я поначалу решила, что это, должно быть, взорвалась петарда. Группа женщин бежала влево, и вот я увидела, из-за чего: канкуранг размахивал двумя мачете, длинными, как руки.

— Сюда! — крикнул Ламин, протянув мне сверху руку, и я подтянулась к нему, прильнула к его белой рубашке, пока он танцевал, стараясь не нарушить равновесия. Бросила взгляд на неистовство внизу. Подумала: вот та радость, какой я искала всю жизнь.

Прямо надо мной на крыше нашей машины благопристойно сидела какая-то старуха, ела арахис из пакетика — похожа на ямайскую даму в «Лордзе»^[85], наблюдающую за крикетным матчем. Она меня заметила и помахала:

— Доброе утро, как ваше утро? — То же учтивое машинальное приветствие, что следовало за мной по всей деревне — что бы я ни надела, с кем бы ни была, — и, я теперь уже понимала, такой вот кивок моей

иностранности, очевидной всем повсюду. Она мягко улыбалась вращавшимся мачете, мальчишкам, что подначивали друг дружку приблизиться к танцующему дереву и потягаться с ним в его неистовых телодвижениях — стараясь не попасться под его кружащие ножи, подражая собственными узенькими телами судорожным притопам, изгибам, приседам, взбрыкам и общей ритмической эйфории, какой фигура эта лучилась во все стороны света, сквозь женщин, сквозь Ламина, сквозь меня, сквозь всех, кого мне было видно, а машина под нами тряслась и переваливалась. Старуха показала на канкурanga. — Это танцор, — пояснила она.

Танцор, который приходит за мальчишками. Уводит их в заросли, где им делают обрезание, посвящают в родную культуру, рассказывают о правилах и ограничениях, священных традициях мира, где им предстоит жить, о названиях растений, что помогут им при той или иной болезни, как ими пользоваться. Он — порог между юностью и зрелостью, отгоняет злых духов и обеспечивает порядок и справедливость, и непрерывность между его людьми и внутри них. Он — провожатый, что ведет молодежь по трудному среднему пути от детства до юности, а сам он к тому же попросту тоже молодой человек, анонимный, старейшины избирают его втайне, укрывают листвой дерева фара и мажут растительными красителями. Но все это я узнала из своего телефона, вернувшись в Нью-Йорк. Правда, попробовала спросить об этом у своего проводника тогда же, что все это значит, как оно встраивается в местную исламскую практику или в чем отходит от нее, но из-за музыки он меня не расслышал. Или не захотел меня услышать. Я попробовала еще разок, позже, после того, как канкуранг передвинулся куда-то дальше, а мы все опять втиснулись в такси вместе с парочкой юных танцевавших мальчиков — они улеглись у нас на коленях, все липкие от пота после стольких усилий. Но я понимала, что вопросы мои раздражают всех, да и эйфория к тому времени уже утихла. Вернулась унылая формальность Ламина, какую он вносил во все свои дела со мной.

— Традиция народа мандинка, — сказал он и вновь отвернулся к шоферу и остальным пассажирам — смеяться, спорить и обсуждать всякое непонятное мне на языке, которого я не знала. Мы ехали дальше. Мне стало интересно про девочек. А за ними кто приходит? Если не канкуранг, то кто? Их матери? Бабушки? Подружка?

Когда настало время Трейси, ее никто не направил через порог, никто ничего не посоветовал и даже не сказал, что это порог, через который нужно переступить. Но тело ее развивалось быстрее, чем у кого бы то ни было, поэтому ей приходилось импровизировать, устраиваться как-то по-своему. Первым ее замыслом было дико одеваться. Винили в этом ее мать — как оно обычно и бывает с матерями, — но я уверена: мать ее едва ли видела и знала даже половину всего. Она еще спала, когда Трейси уходила в школу, а когда та возвращалась, дома ее не было. Наконец она добыла себе какую-то работу — кажется, убиралась в каком-то конторском здании, но моя мать и другие матери ее работу не одобряли почти так же сильно, как и ее безработность. Прежде она была «дурным влиянием», теперь же ее «никогда не бывало дома». И ее присутствие, и ее отсутствие были отчего-то скверными, и все их разговоры о Трейси приобрели сейчас трагическое измерение, поскольку ведь лишь у трагических героев не бывает никакого выбора, никаких альтернативных путей, а есть только неизбежные судьбы, разве нет? Через несколько лет Трейси забеременеет, если верить моей матери, а поэтому уйдет из школы, и «цикл нищеты» замкнется, завершится, вероятнее всего, в тюрьме. Тюрьма — это у них семейное. Разумеется, тюрьма была семейным и у нас, но меня отчего-то связывали с иной звездой: я ничем таким не стану и ничего такого не совершу. Материна уверенность в этом меня тревожила. Если она права, это значило, что ее владычество над жизнями других людей простиралось гораздо дальше того, что я до сих пор воображала. И все же если кто-то способен бросить вызов судьбе — представленной в виде моей матери, — то наверняка же это удастся Трейси?

Однако знаки были дурные. Теперь если Трейси просили снять в классе куртку, она уже не отказывалась, а совершала это действие с жутким облегчением, медленно расстегивала молнии — и так, что груди ее являлись всем нам с как можно большей силой: их едва сдерживал топ не по размеру, выставлявший напоказ все ее изобилие, хотя у всех остальных пока что виднелись лишь кость да соски. Все «знали», что «потрогать Трейси за сиськи» стоило 50 пенсов. Я понятия не имела, правда это или нет, но все девочки в едином порыве ее избегали — и черные, и белые, и смуглые. Мы были приличными девочками. Мы не позволяли людям трогать нас за несуществующие сиськи, мы уже не те чокнутые, какими

были в Третьем Класе. Теперь у нас имелись «ухажеры», выбранные нам другими девочками в записках, передаваемых с парты на парту или в долгих, мучительных телефонных разговорах («Хочешь, скажу, кто на тебя залип и всем рассказал, что на тебя залип?»), и как только ухажеры эти формально к нам прикреплялись, мы торжественно стояли с ними, взявшись за руки, на школьном дворе под жиденьким зимним солнцем — чаще, чем нет, на голову выше их, — пока для нас не наставал неизбежный миг разрыва (и для него время тоже решалось нашими подругами), и обмен записками и звонками не возобновлялся. В этом процессе невозможно было участвовать, не принадлежа клике согласных фемин, а у Трейси подружек не осталось, я одна — и лишь тогда, когда она решала быть дружелюбной. Она пристрастилась проводить все свои перемены в футбольной коробке мальчишек — иногда материла их, даже отбирала мяч и прекращала игру, но чаще выступала их сообщницей, смеялась с ними вместе, когда они дразнили нас, никогда не цеплялась за кого-то конкретно и все же, в общешкольном воображении, ею свободно распоряжались все. Если она видела меня через решетку ограды, — я играла с Лили или прыгала через двойную скакалку с другими черными или смуглыми девочками, — подчеркнуто отворачивалась и заговаривала со своим мужским кружком, шепталась с ними, смеялась, словно и у нее было свое мнение о том, носим ли мы лифчики и не начались ли у нас уже месячные. Однажды я шла мимо футбольной коробки с весьма горделивым видом, рука об руку с моим новым «ухажером» — Полом Бэрроном, сыном полицейского, — и Трейси прекратила то, чем занималась, схватилась за прутья клетки и улыбнулась мне изнутри. Не приятной улыбкой, а глубоко саркастичной, словно бы говоря: «Ох, значит вот кем ты сейчас притворяешься, а?»

Три

К тому времени, когда мы избежали канкуранга и проехали через все блокпосты в промежутке, и после того, как наше такси пробралось по выбоинам запруженных улиц торгового городка и выехало к паромной пристани, — к этому времени было уже слишком поздно, мы опаздывали, скатились вниз по настилу, но оказались в заторе по меньшей мере из сотни других людей и смотрели, как ржавый горб пристани выпирает в воду. Река раскалывала этот палец суши надвое по всей длине, и аэропорт располагался на другой стороне. Я оглядела хаотичный трехэтажный груз для парома: матери с их младенцами, школьники, селяне и работники, животные, легковушки, грузовики, мешки с зерном, дребедень туристов, нефтяные бочки, чемоданы, мебель. Нам махали дети. Никто, казалось, не был уверен, последний это паром или нет. Мы ждали. Шло время, небо порозовело. Я подумала об Эйми в аэропорту — ей приходится светски болтать с министром образования, — и Джуди, в ярости, нахохлилась над телефоном, звонит мне снова и снова и ничего не добивается, — но мысли эти не возымели ожидаемого действия. Терпя заминку, я себя чувствовала вполне спокойно, отрешенно, рядом со всеми этими другими людьми, кто, казалось, не выдавал никакого нетерпения или, по крайней мере, не выражал его ни в каком виде, который я бы могла распознать. Я была вне зоны доступа к сети, ничего не могла сделать. До меня совершенно невозможно было дозвониться — впервые за много лет. Это придавало неожиданное, но не неприятное ощущение тиши, вне времени: отчего-то мне напомнило детство. Я ждала, опираясь на капот такси. Другие сидели на своем багаже или подтягивались и садились на крышки бочек. Один старик отдыхал на половине исполинского ложа. Две маленькие девочки оседлали клетку с курами. Время от времени по настилу медленно спускались ярко выраженные грузовики, забивая всем нам в глотки черный дизельный выхлоп, сигналив предупредить всех, кто бы ни спал или ни сидел у них на пути, но оказывалось, что ехать им некуда и делать нечего, поэтому вскоре они присоединялись к нам в этом ожидании, что, казалось, не имело ни начала, ни конца: мы вечно смотрели за воду, выискивая глазами паром, и вечно будем это делать. На закате наш шофер выкинул белый флаг. Развернул такси, медленно пробрался через толпу и уехал. Чтобы уклониться от женщины, пытавшейся продать мне наручные часы, я тоже перешла к краю воды и села. Но Ламин за меня беспокоился — он

всегда за меня беспокоился: такая, как я, должна ждать в зале ожидания, что стоило две грязные мятые бумажки из тех купюр, что я держала скатанными у себя в кармане, и потому он, естественно, со мной пойти не мог, но все равно настаивал, что я должна туда зайти, да, зал ожидания — определенно место для таких, как я.

— Но почему нам нельзя просто ждать тут?

Он выделил мне свою мучительную улыбку — у него имелись только такие.

— Для меня нормально... но для тебя?

Снаружи по-прежнему было градусов сорок — от мысли о том, чтоб находиться в помещении, тошнило. Вместо этого я заставила его сесть со мной рядом, ноги у нас болтались над водой, пятками мы пинали кучки мертвых устриц, вцементированных в опоры пирса. У остальных молодых людей из деревни в телефонах была танцевальная музыка — как раз для того, чтобы слушать в такое время, — но Ламин, серьезный молодой человек, предпочитал «Всемирную службу Би-би-си», поэтому, взяв по одной шишечке наушника, мы с ним слушали передачу о стоимости университетского образования в Гане. Под нами, по самому берегу, голые по пояс мальчишки с широкими спинами носили на плечах осмелившихся туристов — по зыби мелководья к каким-то ярко раскрашенным и опасным на вид узким баржам. Я показала на очень толстую женщину с младенцем, привязанным к спине, — ее как раз взгромоздили на плечи одного мальчишки. Бедрa ее стиснули ему потную голову.

— А мы почему так не можем? Переправились бы за двадцать минут!

— Для меня это нормально, — прошептал Ламин: такое ощущение, будто каждый разговор со мной был для него постыден, и его никто не должен услышать, — но не для тебя. Тебе следует зайти в зал ожидания. Это будет долго.

Я посмотрела, как пляжный мальчик, вымокший уже по пояс, опускает пассажирку на сиденье. Похоже, мучился он, перемещая свою ношу, гораздо меньше, чем Ламин, просто говоривший со мной.

Когда начало темнеть, Ламин пошел по толпе, задавая вопросы, и превратился в совсем другого Ламина — не односложного шептуна, каким был со мной, а, должно быть, настоящего Ламина, серьезного и всеми уважаемого, забавного и говорливого: казалось, он знал всех, и красивые молодые люди тепло приветствовали его с братской нежностью, к кому бы он ни подошел. «Ровесники», как он их называл, и это могло значить либо что он вырос с ними в деревне, либо что они учились в одном классе, либо

что они вместе ходили в учительский колледж. Это крохотная страна: ровесники были у него повсюду. Девушка, продавшая нам кешью на рынке, была его ровесником, а также охранник в аэропорту. Иногда ровесником оказывался какой-нибудь молодой полицейский или армейский кадет, остановивший нас на блокпосте, и это всегда оказывалось удачей — напряжение спадало, они снимали руки с автоматов, совались к нам в пассажирское окно и счастливо предавались ностальгии. Ровесники давали тебе лучшую цену, быстрее выписывали билеты, махали, чтоб ты проезжал. И вот попалась еще одна такая — грудастая девица в кассе парома, обряженная в озадачивающую комбинацию предметов, какие я видела на множестве местных девушек, и мне не терпелось показать это Эйми с превосходством знающего путешественника, прибывшего сюда на целую неделю раньше. Клепаные джинсы в обтяжку, с низкой талией, откровеннейшая борцовка — являвшая неоновые края кружевного лифчика — и алый хиджаб вокруг лица, скромно закрепленный сверкающей розовой заколкой. Я смотрела, как Ламин долго разговаривает с девушкой на одном из нескольких местных языков, которыми владел, и пыталась вообразить, как простые вопросы, на которые мы искали ответы, — «Будет ли еще паром? Когда он придет?» — могут превратиться в такие сложные дебаты, какие они, похоже, сейчас вели. С другого берега бухты донесся гудок, и я увидела, как к нам по воде придвигается громадный силуэт тени. Я подбежала к Ламину и схватила его за локоть.

— Это он? Ламин, это он?

Девушка прекратила трескотню и повернулась глянуть на меня. Сразу можно было сказать: я — не ровесница. Она осмотрела тусклую утилитарную одежду, которую я купила специально для ношения в ее стране: оливковые грузчицкие штаны, рубашка из жатого льна с длинным рукавом, поношенная старая пара «конверсов» бывшего приятеля и черная косынка, носить которую мне было глупо, и я смущалась, а оттого стащила с головы и обмотала вокруг шеи.

— Это контейнеровоз, — сказала она с нескрываемой жалостью. — Вы пропустили последний паром.

Мы уплатили за переправу на барже цену, как счел Ламин, непомерную, невзирая на свирепые переговоры, и в тот миг, когда мой великанский мальчишка опустил меня на сиденье, откуда ни возмись вокруг появилась дюжина молодых людей и расселась на всех пригодных для сиденья выступах корпуса баржи, отчего наше частное речное такси мигом превратилось в общественный транспорт. Но по другую сторону воды у меня опять появилась сеть, и мы выяснили, что Эйми решила

остаться в одном из отелей на пляже, а в деревню выезжать завтра. Великанский мальчик пришел в восторг: мы уплатили ему снова и тем самым субсидировали еще одну поездку какой-то местной детворы, плывшей туда, откуда мы приплыли. Оказавшись на берегу, мы наконец добрались до деревни в рыдване-микроавтобусе. Мысль о двух лодках и двух такси в один день для Ламина была мучительна, несмотря даже на то, что за вторую поездку заплатила я, что запрошенная цена — от которой он поморщился — не принесла бы мне на Бродвее даже бутылку воды. Он сидел на крыше автобуса еще с одним мальчишкой, не поместившимся внутрь, и пока мои попутчики беседовали, спали, молились, ели, кормили младенцев и орали шоферу, чтобы высадил их, как мне казалось, на совершенно пустынных перекрестках, я слышала, как у меня над головой Ламин отбивает по крыше ритм, и два часа то был единственный язык, какой я понимала. До деревни мы доехали после десяти. Я остановилась у местного семейства и в такой час ни разу не выходила с их двора — и не осознавала, до чего полнейшая тьма нас окружает, а теперь Ламин перемещался в ней с полной уверенностью, как будто ее освещали прожекторами. Я трусила за ним по множеству узких песчаных дорожек, заваленных мусором, которых не могла различить, мимо листов гофрированного железа, отгораживавших каждое одноэтажное строение из шлакобетона от соседних, пока мы не добрались до участка Ал Кало^[86], не роскошнее и не выше прочих, зато перед ним простирался обширный пустырь, на котором минимум сотня детишек, все в школьной форме — той школы, которую нам в итоге предстояло заменить, — сгруппировались под кроной единственного дерева манго. Они прождали шесть часов, чтобы станцевать перед женщиной по имени Эйми: теперь же Ламину предстояло объяснить им, почему эта дама сегодня не приедет. Но когда Ламин договорил, вождь, судя по всему, пожелал, чтобы ему все это объяснили еще раз. Я ждала, пока эти двое обсуждали вопрос, руки у них оживленно двигались, а детям меж тем становилось все скучнее, они начали бузить, пока женщины не отложили барабаны, на которых им более не предстояло играть, не велели детям наконец встать и не отправили их маленькими группками бегом по домам. Я подняла телефон. Он бросил свой искусственный свет на Ал Кало. Он вовсе не был, как я подумала, тем великим африканским вождем, что мысленно рисовался Эйми. Мелкий, пепельный, морщинистый и беззубый, в ветхой футболке Манчестерского университета, трениках и пластиковых домашних тапках «Найки», обмотанных тканевой клейкой лентой. И как бы Ал Кало удивился бы, в свою очередь, узнав, что за фигурой он стал для всех нас в Нью-Йорке!

Началось все с электронного письма Мириам — с заголовком: «Протокол», — где перечислялось все, что, по мнению Мириам, любой гость деревни должен представить Ал Кало по прибытии, в знак уважения. Прокручивая его, Джуди хохотнула тюленем и сунула телефон мне под нос:

— Это шутка?

Я прочла список:

Очки для чтения
Парацетамол
Аспирин
Батарейки
Гель для душа
Зубная паста
Антисептический крем

— По-моему, нет... Мириам не умеет шутить.

Джуди с приятной улыбнулась своему экрану:

— Ну, мне кажется, это мы осилим.

Джуди чаровало немногое, но этот список очаровал. Эйми он очаровал еще сильнее, и несколько недель после, когда бы нас в долине Хадсона или доме на Вашингтон-сквер ни навещали зажиточные люди доброй воли, Эйми зачитывала им этот список с притворной серьезностью, а затем спрашивала всех присутствующих, способны ли они себе вообразить, и все признавались, что даже вообразить они не способны, их, похоже, очень трогала и утешала такая неспособность вообразить, это принималось за признак чистоты — как у Ал Кало, так и у них самих.

— Но ведь так дерзко — делать этот перевод, — заметил молодой человек из Кремниевой долины в один из таких вечеров — он склонился к обеденному столу над канделябром со свечами в центре, и лицо у него казалось освещенным собственной его догадкой. — Я имею в виду — с одной реальности на другую. Это как пройти через матрицу. — Все за столом закивали и согласились: так оно и есть, — а я потом поймала Эйми на том, что она гладко вправляет эту застольную реплику в читки теперь уже знаменитого списка Ал Кало, словно свою собственную.

— Что он *говорит*? — прошептала я Ламину. Я устала ждать. Я опустила телефон.

Ламин мягко возложил руку вождю на плечо, но старик не прекратил своего нескончаемого, возбужденного воззвания к темноте.

— Ал Кало говорит, — прошептал Ламин, — что тут все очень

непросто.

Наутро я отправилась вместе с Ламином в школу и в кабинете директора зарядила себе телефон от единственной на всю деревню розетки, работавшей от солнечной батареи, которую несколько лет назад установили итальянские благодетели. Около полудня таинственно возникла сеть. Я прочла свои полсотни сообщений и установила, что мне здесь в одиночестве предстоит провести еще два дня, а только потом придется возвращаться к парому за Эйми: та «отдыхала» в городском отеле. Поначалу меня это неожиданное одиночество взбудоражило, и я удивила себя всевозможными планами. Сказала Ламину, что хочу навестить знаменитый участок восставшего раба, в двух часах отсюда, и что желаю наконец своими глазами посмотреть на тот берег, от которого отходили суда с грузом людей курсом на материн остров, а затем — к Америкам и Британии, везя сахар и хлопок, после чего вновь поворачивали обратно: треугольник этот описывал — среди прочих бесчисленных последствий — мое собственное существование. Однако двумя неделями раньше перед своей матерью и Мириам я называла все это — презрительно — «диаспорным туризмом». Теперь же говорила Ламину, что поеду на микроавтобусе без сопровождения к старым рабским фортам, где некогда содержались мои предки. Ламин на это улыбался и вроде бы соглашался, а на деле вмешивался во все мои подобные планы. Становился между мной и моими попытками взаимодействия, как личного, так и экономического, между мной и непостижимой деревней, между мной и старейшинами и мной и детьми, встречая любые вопросы или просьбы встревоженной улыбкой и своим любимым — шепотом — объяснением: «Тут все непросто». Мне не разрешалось гулять в зарослях, выбирать себе кешью, помогать в стряпне какой бы то ни было еды и стирать себе одежду. Меня осенило, что он рассматривает меня как нечто вроде ребенка, как того, с кем следует обращаться бережно и показывать ему действительность постепенно. Затем я осознала, что в деревне так обо мне думают все. Там, где бабули присаживались на корточки поесть из общей миски, опираясь только на свои могучие ляжки, загребая рис с клочками элопса или эфиопского баклажана пальцами, мне приносили пластиковый стул, нож и вилку, ибо предполагалось — верно, — что я слишком слаба для такой позы. Когда я вылила целый литр воды в очко уборной, чтобы смыть таракана, который не давал мне покоя, ни одна из дюжины юных девушек, с кем я жила, не сообщила мне, сколько именно она в этот день прошла, чтобы принести этот литр. Если я украдкой убрела куда-нибудь одна, на

рынок, купить матери красно-лиловое широкое платье, Ламин улыбался, как водится, тревожно, но избавлял меня от знания, какую долю его годичной учительской зарплаты я только что потратила на одну-единственную тряпку.

К концу той первой недели я вычислила, что приготовления к моему ужину начинаются всего через несколько мгновений после того, как мне подадут завтрак. Но если я пыталась приблизиться к тому углу двора, где в пыли сидели на корточках все эти женщины и девочки — чистили, резали, месили и солили, — они смеялись надо мной и усылали меня обратно к моему досугу: сидеть на пластиковом стуле в темной комнатке и читать американские газеты, которые я привезла с собой — теперь все мятые и до комизма незначимые, — и потому я так и не выяснила, как именно без духовки и электричества они готовили рагу, которого я не хотела, или более аппетитный рис, который делали себе. Стряпня была не для меня, как и стирка, или принесение воды, или выдергивание лука, или кормежка коз и кур. Я в строжайшем смысле этого выражения была никчемна. Даже младенцев подержать мне давали с иронией, и люди смеялись, когда видели какого-нибудь у меня на руках. Да, меня постоянно с сугубым тщанием оберегали от действительности. Они уже встречали таких, как я. Они знали, насколько мало действительности мы способны принять.

Ночью накануне того, как забирать Эйми, меня разбудили очень рано — зовом к молитве и истерическим кукареканьем петухов, — и я, обнаружив, что безумная жара еще не настала, оделась в потемках и вышла со двора, одна, без сопровождения маленькой армии женщин и детей, с которыми жила, — Ламин всегда настаивал, чтобы так я никогда не поступала, — и отправилась на поиски его. Мне хотелось сказать Ламину, что сегодня я еду в старый рабский порт, хочет он этого или нет, — еду и всё. С рассветом я поняла, что за мной по пятам идет множество босоногих любопытных детишек: «Доброе утро, как ваше утро?» — как огромное множество теней, пока я там и сям приостанавливалась сказать имя Ламина десяткам прохожих женщин, уже направлявшихся работать на общинной ферме. Они кивали и показывали дальше — за кусты, вон по той тропинке и этой, вокруг ярко-зеленой бетонной мечети, с каждой стороны полусъеденной двадцатифутовыми оранжевыми термитниками, мимо тех пыльных дворов перед домами, которые в этот час подметали угрюмые полуодетые девочки-подростки, опиравшиеся на метлы поглядеть, как я прохожу мимо. Куда бы ни бросала я взгляд, везде работали женщины: смотрели за детьми, копали, носили, кормили, убивались, тащили,

оттирали, строили, чинили. Ни одного мужчины я не увидела, пока наконец-то не нашла участок Ламина — на самой окраине деревни, перед полями фермы. Дом был очень темный и промозглый даже по местным меркам: без передней двери, лишь простыня висит, никакой огромной деревянной тахты, лишь единственный пластиковый стул, без пола, только земля, и жестяное ведро воды, из которого он, видимо, только что закончил умываться, поскольку стоял перед ним на коленях, весь мокрый, в одних футбольных трусах. На стене из шлакобетона у него за спиной я различила грубо нарисованную эмблему «Манчестер Юнайтед», наляпанную красной краской. Полуголый, стройный, из одних мышц, кожа светилась собственной юностью — безупречен. Какой же бледной, практически бесцветной выглядела с ним рядом я! Я невольно подумала о Трейси — о множестве раз, когда в детстве она прикладывала свою руку к моей, вновь и вновь убедиться, что она по-прежнему светлее меня — как она это гордо и утверждала: а то вдруг лето или зима изменили такое положение вещей с того последнего раза, когда она проверяла. Я не осмеливалась сообщить ей, что в любой жаркий день лежала у нас на балконе, стремясь достичь именно того качества, которое, похоже, приводило ее в ужас: больше цвета, тьмы, чтоб все мои веснушки слились и сплывались, и я стала того же темно-смуглого цвета, что и моя мать. А Ламин, как большинство жителей деревни, был намного темнее — в той же пропорции, что и моя мать ко мне, и теперь, глядя на него, я обнаружила, что контраст между его красотой и всем, что ее окружало — среди многого прочего, — сюрреалистичен. Он обернулся и увидел, что я над ним стою. Лицо его исказилось от обиды — я нарушила некое непроговоренное соглашение. Он извинился. Зашел за тряпичную занавеску, номинально отделявшую одну часть убогого пространства от другой. Но я все равно его видела: он натягивал девственно белую рубашку «Калвин Кляйн» с монограммой, белые твиловые брюки и белые сандалии: все это оставалось белым, даже не могу себе представить, какими усилиями — их, как и меня, каждый день покрывала красная пыль. Его отцы и дядья по большей части носили джеллабы, множество его молодых родных и двоюродных братьев бегали в вездесущих драных футболках и разваливающимся денимах, босиком, но Ламин носил западное белое почти всякий раз, когда я его видела, а также большие серебряные наручные часы, усеянные цирконами, чьи стрелки навсегда застряли на 10.04. По воскресеньям, когда вся деревня собиралась на сход, он надевал рыжеватый костюм с епископским воротничком и садился поближе ко мне, шепча мне на ухо, как делегат в ООН, переводя лишь то, что предпочитал переводить из всего, что обсуждалось. Все

молодые учителя-мужчины в деревне так одевались — в традиционные епископские воротнички или отглаженные твиловые штаны и рубашки, с большими наручными часами и тощими черными портфелями, в руках неизменно — телефоны-раскладушки или «андроиды» с огромными экранами, хоть и неработающие. Такое отношение я помнила по своему старому району — способ представления, который в деревне означал облачение для определенной роли: «Я — из серьезных молодых людей. Я — будущее этой страны». Рядом с ними я всегда чувствовала себя нелепо. В сравнении с этим ощущением личной судьбы я в мире оказалась, похоже, случайно, вообще не задумываясь о том, что именно собой представляю: одета в мятые оливковые грузчицкие штаны и грязные «конверсы», таскаю всюду за собой обшарпанный рюкзак.

Ламин вновь опустился на колени и тихо возобновил свою первую молитву дня — ее я тоже прервала. Слушая его шепот по-арабски, я не очень понимала, какой вид принимала его молитва. Ждала. Оглядывала нищету вокруг, которую Эйми надеялась «сократить». Это единственное, что я видела, и на ум мне приходили лишь всевозможные детские вопросы. «Что это? Что происходит?» Тот же умственный настрой привел меня в первый же день по приезду в кабинет директора школы, где я сидела под плавившейся жестяной крышей, неистово пытаюсь выйти в Сеть, хотя могла бы, конечно, нагуглить все, что хотела знать, в Нью-Йорке, гораздо быстрее с несопоставимо большей легкостью в любое время за предшествовавшие полгода. Здесь же это было процессом трудоемким. Страница загружалась наполовину, затем связь рушилась, энергия от солнечной батареи вздымалась и опадала, а иногда отрубалась совершенно. Заняло больше часа. И когда две денежные суммы, которые я искала, наконец появились в соседних окошечках, я только сидела и долго на них пялилась. В сравнении, как выяснилось, Эйми слегка опережала. И вот так вот ВВП целой страны смог поместиться в одного человека — словно одна русская матрешка в другую.

Четыре

Настал последний июнь начальной школы, и отец Трейси вышел из тюрьмы — и мы впервые встретились. Он стоял на общественном газоне, глядя снизу на нас, улыбался. Лощеный, современный, полный доброй кинетической энергии, но еще и отчего-то классический, элегантный, сам Бодженглз. Стоял он в пятой позиции, ноги расставлены, в электрически синей летной куртке с китайским драконом на спине и в узких белых джинсах. Густые залихватские усы и афро в старом стиле, в волосах ничего не выстрижено и не выбрито, сверху не торчит. Счастье Трейси было сильно — она перегнулась с балкона, словно чтобы подтянуть к себе отца, орала ему, чтоб поднимался, иди сюда, папа, поднимайся, но он нам подмигнул и сказал:

— У меня есть мысль получше, пойдемте на шоссе. — Мы сбежали вниз и взяли за обе его руки.

Первым делом я заметила, что у него тело танцора, и двигался он, как танцор, ритмично, с силой — но и с легкостью, поэтому мы втроем не просто шли по шоссе — мы прогуливались. Все смотрели на нас, а мы вышагивали на солнышке, и несколько человек побросали свои дела и подошли поздороваться — поприветствовать Луи — через дорогу, из пещерного окна над парикмахерской, из дверных проемов пабов. Когда мы подходили к букмекерской конторе, дорогу нам заступил пожилой карибский джентльмен в кепке и толстом шерстяном жилете, несмотря на жару, загородил нам путь и спросил:

— Твои дочки?

Луи поднял наши руки, словно мы два профессиональных боксера.

— Нет, — сказал он, отпуская мою руку, — только эта. — Трейси вся вспыхнула от блаженства.

— Слыхал, ты только тринадцать месяцев оттянул, — хмыкнул старик. — Счастливчик, счастливчик Луи. — Он ткнул Луи в опрятную талию, перехваченную золотым ремнем, как у супергероя. Но тот оскорбился — отступил от старика, глубоко и гладко по-балетному присев, и громко цвиркнул зубами. После чего исправил протокол: он не отсидел и семи.

Старик вынул газету, засунутую под мышку, развернул ему и показал Луи некую страницу, тот поизучал ее, а потом нагнулся и показал нам. Нам велели закрыть глаза и ткнуть пальцем, куда будет настроение, а когда мы

глаза открыли, под нашими пальцами было по лошади, я до сих пор помню кличку своей: Проверка Теории, — поскольку через пять минут Луи выбежал от букмекера, сгреб меня в охапку и подбросил в воздух. Пятифунтовая ставка принесла ему сто пятьдесят дубов. Нас направили в «Вулвортс» и сказали каждой выбрать, что пожелаем. Трейси я оставила в отделе видео для такой детворы, как мы, — с пригородными комедиями, остросюжетными триллерами, космическими сагами, — а сама пошла и нагнулась над большим сетчатым ларем, «скидочным», отведенным для тех, у кого немного денег или выбора. В нем всегда бывало много оперетт, их никто не желал, даже старушки, и я в нем рылась вполне довольная, но тут услышала Трейси — та ни на шаг не отошла от современного раздела и теперь спрашивала Луи:

— Так сколько нам можно? — В ответ прозвучало «четыре», но нам придется побыстрее — он проголодался. Я в блаженной панике выхватила четыре оперетты:

«Али-Баба выходит в город»
«Бродвейская мелодия 1936-го»
«Время свинга»
«Всегда хорошая погода»^[87]

Из всех покупок Трейси я помню только «Назад в будущее» — дороже, чем все мои, вместе взятые. Она прижала кассету к груди и уступила ее лишь на миг, когда нужно было отдать кассирше, но потом снова забрала, словно зверек протянутую еду.

Зайдя в ресторан, мы уселись за лучшим столиком, у самого окна. Луи показал нам, как можно забавно есть «биг-мак» — разобрать на слои, сверху и снизу каждой котлеты разместить картошку, а потом все снова сложить.

— Так ты жить к нам придешь, значит? — спросила Трейси.

— Хмम्म. Про это не знаю. Что она говорит?

Трейси вздернула пороссячий носик вверх.

— Плевать, что она говорит.

Обе ручки у нее были сжаты в тугие кулаки.

— Не надо маму не уважать. У твоей мамы свои неурядицы.

Он еще раз сходил к стойке за молочными коктейлями. А когда вернулся — выглядел отягощенным и, никак формально не введя эту тему, заговорил с нами о том, каково внутри: как обнаруживаешь, оказавшись внутри, что это тебе не район, нет, отнюдь, там все другое, потому что

когда ты внутри, все понимают, что людям лучше держаться поближе к своим, и так вот там оно и было, «свои со своими», едва ли с чужими смешивались, не как в доме с квартирами, и там не охрана тебе говорила так делать или кто-то, а просто само выходило, племена вместе держатся, разница даже по оттенкам, объяснил он, закатывая рукав и показывая себе на руку, поэтому все мы темные, как я, мы, ну, вон там, вместе сгрудились, всегда — он провел черту по столешнице из формайки, — а смуглые вроде вас двоих тут, а паки еще где-то, и индийцы тоже еще где-то. Белые тоже расколоты: ирландцы, шотландцы, англичане. А у англичан кое-кто — БНП^[88], а есть и нормальные. Суть в том, что все держатся за своих, и это естественно. Поневоле задумаешься.

Мы сидели и прихлебывали молочные коктейли, задумавшись.

И учишься всякому, продолжал он, начинаешь понимать, кто *настоящий* Бог черного человека! Не этот голубоглазый длинноволосый субчик Иисус — нет! И вот я у вас спырашу: как это вышло, что я ни разу даже не слышал о нем, ни имени, ничего, покуда сюда не попал? Поищите его. Учишься многому, чего не выучишь в школе, потому что эти люди тебе не скажут ничего — ничего про африканских царей, ничего про египетских цариц, ничего про Мохаммеда, они все это прячут, они прячут всю нашу историю, чтоб мы ощущали, будто мы — ничто, чтоб мы себя чувствовали в самом низу пирамиды, в этом весь план, а правда в том, что мы эти ебаные пирамиды построили! Ох какое же в них бесовство, но настанет день, придет такой день с Божьей помощью, и с этим белым днем будет покончено. Луи посадил Трейси себе на колени и покачал ее, как будто она совсем маленькая, а потом помахал ее руками, поддерживая их снизу, как у марионетки, чтобы она как бы танцевала под музыку, несшуюся из динамиков, угнездившихся рядом с камерой безопасности. Ты еще танцуешь? Вопрос был задан мимоходом, я понимала, что ответ его не особо интересует, но Трейси всегда хваталась за любую возможность, сколь малой бы та ни была, и вот пустилась рассказывать отцу — громадным, счастливым потоком подробностей — обо всех своих танцевальных наградах того года, и предыдущего, и что сказала мисс Изабел о ее работе на пуантах, что всякие другие люди говорили о ее таланте, о грядущем прослушивании в сценическую школу, о чем я уже выслушала столько, сколько могла вытерпеть. Моя мать сценическую школу мне не разрешила — даже если б я выиграла полную стипендию, на что рассчитывала Трейси. Мы с матерью воевали из-за этого с тех самых пор, как Трейси допустили до прослушивания. Подумать только — мне придется ходить в обычную школу, а Трейси будет дни напролет танцевать!

А вот мне, сказал Луи, вдруг устав от болтовни дочери, мне никакая танцевальная школа не требовалась, я вообще-то и так правил танцполом! Эта девчоночка вся в папу. Не сомневайся, я все движения могу! У своей мамы спырс! Даже деньги этим зарабатывал, были времена. Ты вроде не веришь!

В доказательство, чтобы развеять наши сомнения, он соскользнул с табурета и подбросил ноги, дернул головой, повел плечами, крутнулся, резко остановился и встал на носки. Компания девушек, сидевшая напротив в кабинке, засвистела и заулюлюкала, и я, наблюдая за ним, теперь поняла, что Трейси имела в виду, помещая своего отца и Майкла Джексона в одной реальности, — и вовсе не сочла, что она врушка вообще-то или, по крайней мере, ощутила, что поглубже в ее лжи залегала правда. Их обоих коснулось одно и то же наследие. И если Луи танцевал не так знаменито, как Майкл, ну, для Трейси это была просто техническая недоработка — случайность времени и пространства, — и теперь, вспоминая тот его танец, записывая все, я думаю, что она была совершенно права.

Потом мы решили вернуться с нашими громадными молочными коктейлями обратно на шоссе, по дороге остановились поговорить еще с несколькими друзьями Луи — или же то просто были люди, достаточно знавшие о нем, чтоб его бояться, включая молодого строителя-ирландца, висевшего на одной руке на лесах, возведенных вокруг театра «Трицикл»^[89], все лицо сгорело от работы на солнце. Он свесился пожать Луи руку:

— Ну не Повеса ли это Вест-Индии!^[90] — Он перестраивал крышу «Трицикла», и Луи это сильно поразило — он впервые узнал о жутком пожаре скольких-то месяцев давности. У парня он спросил, сколько будет стоить это перекрытие, сколько ему и всей остальной бригаде Морэна платят в час, какой цемент берут, кто оптовики, а я посмотрела на Трейси — ту переполняла гордость от этого проблеска другого возможного Луи: респектабельного молодого предпринимателя, умеющего быстро считать, хорошо относящегося к своему персоналу, вот он взял дочь к себе на работу и так крепко держит ее за руку. Мне хотелось, чтобы так оно для нее было каждый день.

Мне не пришло в голову, что у нашего маленького выхода в свет могут быть какие-то последствия, но не успела еще вернуться на Уиллзден-лейн, как кто-то уже доложил моей матери, где я была и с кем. Она вцепилась в

меня, едва я переступила порог, выбила у меня из рук молочный коктейль, он ударился в стену напротив, очень розовый и густой — неожиданно драматично, и все остальное время, что мы прожили там, пришлось сосуществовать с бледным клубничным пятном. Она принялась орать. Что это я вздумала? С кем пошла? Все ее риторические вопросы я презрела и только опять спросила, почему мне нельзя на прослушивание, как Трейси.

— Только дура отказывается от образования, — сказала мать, а я ответила:

— Ну, тогда, может, я дура. — Я попробовала обогнуть ее, к себе в комнату, за спиной — моя добыча видеокассет, но она встала у меня на дороге, и потому я в лоб сказала ей, что я — не она и вообще не хочу быть ею, что мне наплевать на ее книжки, или ее одежду, или ее мнение о том и о другом, я хочу танцевать и жить своей жизнью. Оттуда, где прятался, вынырнул отец. Показывая на него, я постаралась подчеркнуть, что, если бы это зависело от моего отца, мне бы прослушивание разрешили, потому что мой отец в меня верит, как отец Трейси верит в нее. Мать вздохнула.

— Конечно, он бы тебе разрешил, — сказала она. — Он не беспокоится — он знает, что ты никогда туда не пойдешь.

— Да господи боже мой, — пробормотал отец, но взглядом со мной встретиться не сумел, и с уколом боли я поняла, что мать, должно быть, сказала правду.

— Самое важное в этом мире, — пояснила она, — то, что записано. А вот с этим что происходит, — она очертила рукой мое тело, — это никогда не будет иметь значения, уж точно не в этой культуре, не для этих людей, поэтому тут ты просто играешь в их игру по их правилам, и, если играешь в эту игру, честное слово — окажешься тенью самой себя. Нахватаешь кучу детишек, никогда не съедешь с этих улиц и станешь одной из тех сестреночек, которых с таким же успехом может и не существовать.

— Это *тебя* не существует, — сказала я.

За эту реплику я ухватилась, как дитя хватается за первое попавшееся под руку. На мать мою подействовало так, как я и надеяться не могла. Рот у нее обвис, а все ее самообладание и вся красота куда-то улетучились. Она расплакалась. Мы стояли на пороге моей комнаты, мать — склонив голову. Отец улизнул, мы остались вдвоем. Лишь через минуту она вновь обрела голос. Сказала мне — яростным шепотом: дальше ни шагу. Но едва она это произнесла, как заметила собственную ошибку: в этом прозвучало признание того, что сейчас ровно тот рубеж моей жизни, когда я наконец могу сделать этот шаг прочь от нее, и не один шаг, мне почти двенадцать, я уже с нее ростом — могу утанцевать из ее жизни совсем, — и потому сдвиг

в ее авторитете неминуем, он происходит прямо сейчас, пока мы тут стоим. Я ничего не сказала, обогнула ее, зашла к себе в комнату и захлопнула дверь.

Пять

«Али-Баба выходит в город» — странный фильм. Это вариация на тему «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», где Эдди Кантор играет Ала Бабсона, заурядного *шмука*, который вдруг оказывается в массовке кинокартины вроде «Тысячи и одной ночи», снимаемой где-то в Голливуде. На съемочной площадке он засыпает, и ему снится, что он вновь в Аравии IX века. Одна сцена оттуда произвела на меня очень сильное впечатление, мне хотелось показать ее Трейси, но ту стало трудно застать — сама она не звонила, а когда я набирала ее домашний номер, на том конце провода повисала пауза, после чего ее мать сообщала мне, что Трейси нет дома. Я знала, что у нее могут быть уважительные причины: она готовилась к прослушиванию в сценической школе, с которым ей любезно согласился помочь мистер Бут, и она почти все дни среди недели репетировала в церковном зале. Но я еще не была готова отпустить ее в ее новую жизнь. Я устраивала на нее множество засад: двери в церкви стояли открытыми, сквозь витражи лилось солнце, мистер Бут аккомпанировал ей на пианино, и если она замечала, как я за ней шпионю, — махала мне, как взрослая, рассеянное приветствие занятой женщины, но ни разу не выходила поговорить. По какой-то невнятной предпубертативной логике я решила, что виною здесь мое тело. Я по-прежнему оставалась долговязым и плоскогрудым ребенком, топталась в дверном проеме, а Трейси, танцуя на свету, уже была маленькой женщиной. Как же она может интересоваться тем, что до сих пор интересует меня?

— Не-а, не слыхала. Как, еще раз, называется?

— Я ж тебе только что сказала. «Али-Баба выходит в город».

Я обнаглела и зашла в церковь в конце одной ее репетиции. Она сидела на пластиковом стуле и снимала чечеточные туфли, а мистер Бут еще был у себя в углу — возился с музыкальной пьесой, «Не могу не любить этого мужчину»^[91], то ускоряя ее, то замедляя, играя ее то как джаз, то как рэгтайм.

— Мне некогда.

— Можно сейчас пойти.

— Мне сейчас некогда.

Мистер Бут сложил ноты в портфель и подошел к нам. Носик Трейси взмыл в воздух, вынюхивая похвалы.

- Ну, это было потрясно, — сказал он.
— Хорошо получилось, правда?
— Потрясающе. Ты танцуешь, как мечта.

Он улыбнулся и похлопал ее по плечу, и лицо у нее зарделось от счастья. Такие похвалы я выслушивала от своего отца каждый день, что бы ни делала, но для Трейси, похоже, это было большой редкостью: как только она это услышала, в тот же миг, казалось, все изменилось, включая отношение ко мне. Когда мистер Бут медленно выходил из церкви, она улыбнулась, закинула свой танцевальный мешок за плечо и сказала:

— Пошли.

Сцена эта — в начале фильма. На песчаной земле сидит группа людей, у них, похоже, уныние, тоска. Это, сообщает Алу султан, музыканты, африканцы, которых никто здесь не понимает, ибо говорят они на чужом языке. Но Алу хочется с ними поговорить, и он пробует всё: английский, французский, испанский, итальянский, даже идиш. Ничего не выходит. Затем — осеняет. «Хай-ди-хай-ди-хай-ди-хай!» Зов Кэба Кэллоуэя, и африканцы, узнав его, вскочили на ноги и ответили отзывом: «Хо-ди-хо-ди-хо-ди-хо!» Возбужденный Кантор не сходя с места включает черного — мажет себе лицо жженой пробкой, оставляя лишь вращающиеся глаза, эластичный рот.

- Это что? Не желаю я на это смотреть!
— Да не на это. Ты погоди, Трейси, пожалуйста. Подожди.

Я забрала у нее пульт и попросила поудобнее устроиться на диване. Теперь Ал пел африканцам — куплет, от какого почти свинговало само время, забегая далеко вперед, к тому мигу, когда африканцы эти больше не будут тем, что они сейчас, к тому времени, когда они зададут ритм, под который миру захочется танцевать, в месте под названием Гарлем. Услышав эту весть, восхищенные музыканты встали и принялись танцевать и петь на высоком настиле, на городской площади. Султана и ее советники смотрят вниз с балкона, арабы смотрят снизу с улицы. Арабы — голливудские арабы, белые, в костюмах Аладдина. Африканцы — черные американцы, разодетые в набедренные повязки и перья, в нелепых головных уборах, и они играют на примитивных музыкальных инструментах, пародируя свои будущие воплощения в клубе «Хлопок»: тромбоны из настоящей кости, кларнеты из выдолбленных полых палок, такое вот. А Кантор, верный происхождению своей фамилии^[92], руководит оркестром со свистком на шее, в который дует, когда пора заканчивать соло или чтобы проводить исполнителя со сцены. Песня достигла припева, он им сказал, что свинг

здесь — навсегда, что избежать его невозможно, поэтому им нужно выбрать себе партнеров — и танцевать. Затем Кантор дунул в свисток, и произошло нечто чудесное. Девушка — возникла девушка. Я заставила Трейси подсесть как можно ближе к экрану, мне не хотелось, чтобы возникли какие бы то ни было сомнения. Я искоса глянула на нее: увидела, как у нее от удивления приоткрылся рот — как у меня, когда я увидела это впервые, и тут я убедилась, что она видит то же, что и я. О, нос был другой — у той девушки нос был нормальный и плоский, — а в глазах — никакого намека на жестокость, свойственную Трейси. Но лицо в форме сердечка, восхитительные надутые щеки, компактное тело, но длинные конечности — все это было от Трейси. Физическое сходство было разительным, однако танцевала она непохоже. Руки у нее при движении кружились, ноги летали взад-вперед, плясала она увлеченно, но не одержимо технично. И она была смешная: ходила на цыпочках или замирала на секунду стоп-кадром в нелепой комичной позе, на одной ноге, руки воздеты, словно фигурка на капоте дорогой машины. Облачена как все прочие — травяная юбочка, перья, — но ее ничто не могло принизить.

В грандиозном финале девушка вернулась на сцену ко всем остальным американцам, одетым африканцами, и к самому Кантору, и встала неподвижно в шеренге, и поклонилась под углом сорок пять градусов к полу. То был отход от будущего назад: годом позже мы все пытались так сделать на игровой площадке, только что увидев, как Майкл Джексон проделывает в точности это же в своем музыкальном клипе^[93]. И не одну неделю после первого показа того клипа Трейси, я и многие другие дети у нас на игровой площадке изо всех сил старались симитировать такое движение, но это было невозможно, такого никто не мог, все мы падали ниц. Тогда еще я не знала, как это делается. Теперь знаю. На видео Майкл пользовался тростиками, а через несколько лет, когда ему хотелось достичь того же на сцене, он надевал пару «антигравитационных» ботинок, у них была прорезь в каблучке, которая сцеплялась с кольшком в сцене, и он был их со-изобретателем, патент зарегистрирован на его имя.

Африканцы в «Али-Бабе» свою обувь прибавляли к полу.

Шесть

В гостинице Эйми мы погрузились в несколько внедорожников. В той первой поездке был полный цирк: с нами отправились ее дети и нянька Эстелль, и, конечно, Джуди, плюс три другие личные помощницы, пресс-секретарь, Грейнджер, французский архитектор, которого я ни разу в жизни не видела, благоговеющая перед звездой женщина из Министерства международного развития, журналист и фотограф из журнала «Роллинг Стоун» и мужчина по имени Фернандо Каррапичано, менеджер нашего проекта. Я смотрела, как потные коридорные в белых льняных униформах грузят в багажники сумки, усаживают всех на места, и думала, из какой они деревни. Я рассчитывала, что поеду с Эйми, в ее машине, чтобы ее проинформировать — уж чего бы это ни стоило — о своей неделе разведки, но стоило Эйми увидеть Ламину, глаза у нее расширились, и первым делом после «Здрасьте» она сказала ему:

— Вы должны ехать со мной. — Меня отправили во вторую машину, с Каррапичано. Нам с ним надлежало провести время вместе, как нам велели, «выглаживая детали».

Поездка обратно в деревню была жутковатой. Все трудности, каких я привыкла ждать от путешествия, теперь отсутствовали: так во сне сновидица отдает себе во всем отчет и способна манипулировать всем окружающим. Никаких уже блокпостов и никаких дорог с выбоинами, по которым доползаешь до полной остановки, а вместо нервирующей удушающей жары — среда с идеально кондиционированным двадцатью одним градусом и ледяная бутылка воды в руке. Сопровождала нас пара джипов, набитых правительственными чиновниками, и полицейский эскорт, и мы быстро перемещались по улицам, что, временами казалось, искусственно расчищены, как столь же искусственно другие населены — вдоль них стояли дети и махали флажками, как на сцене, — и ехали мы странным растянутым маршрутом, который вился через электрифицированную торговую улицу для туристов, а затем — сквозь череду пригородных анклавов, о существовании которых я даже не подозревала, где тиснились выситься из-за своих крепостных стен огромные недостроенные дома, испоганенные арматурными стержнями. Под воздействием этого состояния нереальности мне то и дело повсюду мерещилось материнское лицо — у молоденьких девчонок, бежавших по улице, у старух, продававших рыбу на рынках, а однажды — у молодого

человека, свисавшего с бока микроавтобуса. Когда доехали до парома, тот был пуст — только мы и наши машины. Мне было интересно, как ко всему этому относится Ламин.

Каррапичано я знала не слишком хорошо, и тот единственный раз, когда мы с ним беседовали, я выставила себя дурой. Случилось это в самолете, когда мы полгода назад летели в Того — тогда еще Того у нас был в коротком списке, Эйми еще не успела оскорбить эту крошечную нацию, предположив в одном интервью, что правительство «ничего не делает для своего народа».

— Как оно тут? — спросила тогда я, перегибаясь через него, выглядывая в иллюминатор и имея в виду, должна признаться, «Африку».

— Я не был, — холодно ответил он, не повернув головы.

— Но вы же практически здесь живете — я читала ваше резюме.

— Нет. Сенегал, Либерия, Кот-д'Ивуар, Судан, Эфиопия — да. Того — никогда.

— Ой, да ладно, вы же меня понимаете.

Он повернулся ко мне, покраснев, и спросил:

— Если бы мы летели в Европу, и вам захотелось узнать, какова Франция, вам бы помогло, если б я описал Германию?

Теперь я пыталась загладить вину трепом, но он был занят громадным ворохом бумаг, в которых я заметила диаграммы, каких не поняла, какую-то статистику МВФ^[94]. Мне стало немного жаль его — застрял с нами и нашим невежеством, в такой дали от естественной среды своего обитания. Я знала, что ему сорок шесть, есть ученая степень, по образованию — экономист, занимался международным развитием и, как и Мириам, много лет работал в «Оксфаме»: она же нам его в самом начале и порекомендовала. Почти все девяностые он управлял проектами помощи в Восточной и Западной Африке, в отдаленных деревнях без телевидения, и одним интересным следствием этого — во всяком случае, для меня — было то, что он действительно не очень отчетливо себе представлял, кто такая Эйми: он лишь смутно признавал в этом имени некое явление своей юности. Теперь же ему приходилось проводить с нею все время, а следовательно — и с такими людьми, как Мэри-Бет, взбалмошная вторая помощница Эйми, чья работа состояла исключительно в том, чтобы рассылать электронные письма, которые диктовала Эйми, другим людям, а потом читать вслух их ответы. Или мрачная Лора, помощница номер три, правившая мышечными болями Эйми, ее туалетными принадлежностями и питанием, — она, так уж вышло, верила, что высадки на Луну

срежиссированы. Ему приходилось выслушивать, как Джуди каждое утро зачитывает положения звезд и планирует свой день соответственно. Посреди безумия мира Эйми мне полагалось ближе всех быть к тому, чтобы стать его союзником, но всякая наша попытка разговора отчего-то шла наперекосяк: он воспринимал мир настолько поистине чуждо мне, что возникало ощущение, будто он занимает параллельную реальность, в существовании которой я не сомневалась, но «обращаться к ней», используя его же фразу, никак не удавалось. Эйми, столь же беспомощной перед любой диаграммой, он нравился, потому что был бразильцем и симпатичным, с густыми курчавыми черными волосами и в прелестных золотых очках, из-за которых походил на актера, играющего в кино роль экономиста. Но с самого начала было очевидно: у них впереди неурядицы. Способ Эйми транслировать замыслы полагался на всеобщее понимание — самой Эйми, ее «легенды», — а у «Ферна», как она его звала, никакого контекста всему этому не было. Он прекрасно улаживал детали: архитектурные планы, переговоры с правительствами, земельные контракты — все разнообразные практические соображения. Но если дело доходило до прямой беседы с Эйми о самом проекте — который для нее был в первую очередь личным и эмоциональным предприятием, — он барахтался на мелководье.

— Но что это *значит*, когда она мне говорит: «Давайте превратим его в нечто вроде иллюминированного этоса»?

Он поправлял пальцем очки на изящном носу и всматривался во множество своих заметок — результат, предполагала я, исправной расшифровки всякой чепухи, что сыпалась у Эйми изо рта за их восьмичасовой совместный перелет. Он держал листок на весу, будто тот сам разрешится смыслом, нужно лишь долго и пристально смотреть на него.

— Быть может, я недопонимаю? В каком смысле школа может быть «иллюминированной»?

— Нет-нет, это отсылка к ее альбому — «Иллюминированная». 97-го года? Она его считает своим самым «позитивным» альбомом, поэтому текст там, ну, как бы вроде такой: «Эй, девчонки, валите за своей мечтой, тра-ля-ля, вы сильные, тра-ля-ля, никогда не сдавайтесь». Такое вот? Поэтому она, по сути, говорит: я хочу, чтобы это была школа, придающая девочкам силу.

Он зримо изумился.

— Но почему тогда так прямо не сказать?

Я мягко похлопала его по плечу:

- Фернандо, не беспокойтесь — все будет отлично.
- Мне следует послушать этот альбом?
- Если честно, не думаю, что это поможет.

Впереди, в другой машине, я видела Эйми: она высовывалась с пассажирского сиденья, выставив руку за дверцу, счастливая от всякого взмаха, свиста или вопля восторга с улицы, которые, я была вполне уверена, служили откликом не на саму Эйми, а на эту сияющую кавалькаду внедорожников, кативших по сельской местности, в которой машины не было даже у одного из двухсот жителей. В деревне из любопытства я часто реквизировала телефоны молодых учителей, вставляла свои наушники и слушала тридцать или около того песен, которые они гоняли по кругу: какие-то бесплатно прилагались к их тарифу, другие — особенно любимые — они скачивали, тратя на них драгоценный кредит. Хип-хоп, ар-эн-би, сока, регги, рагга, грайм, дабстеп, хай-лайф — можно было услышать рингтоновые огрызки всей славной музыкальной диаспоры, а вот белых артистов — редко, Эйми — никогда. Теперь я смотрела, как она улыбается и подмигивает множеству солдат: те, освободившись от обычной своей деятельности, бесцельно стояли по сторонам дороги, отставив автоматы, и смотрели, как мы проезжаем. И если где-то звучала музыка, везде, где танцевали дети, Эйми хлопала в ладоши, чтобы привлечь их внимание, и подражала их телодвижениям, как могла, не привставая с места. Вот этот элемент придорожного катящегося хаоса так воздействовал на меня и беспокоил — словно зоотроп разворачивался и наполнялся всеми видами человеческой драмы: женщины кормили детей, носили их, разговаривали с ними, целовали их, били, мужчины беседовали, дрались, ели, работали, молились, животные жили и умирали, бродили по улицам, истекая кровью из ран на шеях, мальчишки бегали, ходили, танцевали, ссали, срали, девчонки шептались, смеялись, хмурились, сидели, спали — все это приводило Эйми в восторг, она так далеко высовывалась из окна, что я боялась, как бы не выпала сюда из своей любимой матрицы. Но с другой стороны, она всегда была счастлива в неуправляемых толпах, как нигде больше. Пока страховая компания не вынудила ее прекратить, она часто сёрфила по толпе, и ее никогда не пугало, как пугало меня, если вдруг на нее налетал рой людей в аэропорту или в гостиничном вестибюле. Меж тем единственное, что мне было видно через тонированное окно, похоже, не удивляло и не тревожило ее, и когда я как-то об этом упомянула в те несколько минут, что мы были с нею вместе, стоя на пандусе и глядя, как на пугающе пустой паром закатываются наши машины, а ее детишки

восторженно носились по чугунным трапам на верхнюю палубу, она повернулась и рявкнула:

— Господи боже, если тебя будет шокировать любой, блядь, признак нищеты, что ты здесь видишь, это у нас будет до фига долгое путешествие. Ты же в Африке!

Как если б я вдруг спросила, отчего снаружи свет, а мне сказали: «Так ведь день!»

У нас было лишь ее имя, мы нашли его в титрах. Жени Легон^[95]. Мы понятия не имели, откуда она взялась, жива она или уже умерла, снималась ли она где-то еще, — у нас были только эти четыре минуты из «Али-Бабы»... ну, у меня они были. Если Трейси хотелось посмотреть, ей нужно было прийти, что она и начала делать время от времени, словно Нарцисс, склоняющийся над прудом. Я понимала, что разучить весь номер много времени у нее не займет — за исключением невозможного наклона, — но кассету на дом я ей давать не намеревалась, уж это я понимала — так у меня есть какая-то гарантия. И я начала примечать Легон там и сям — эпизодические роли в фильмах, которые я много раз уже видела. Вот она горничная у Энн Миллер^[96], борется со щенком мопса, вот трагическая мулатка, умирающая на руках у Кэба Кэллоуэя^[97], вот опять горничная, помогающая одеться Бетти Хаттон^[98]. Открытия эти, широко разнесенные во времени, иногда на много месяцев, стали поводом звонить Трейси, и даже если трубку снимала ее мать, Трейси подходила к телефону сразу же, без колебаний или отговорок. Она садилась в нескольких дюймах от телеэкрана, изготавившись показывать тот или иной миг действия или выражение, чувство, отражавшееся у Жени на лице, вариант того или иного танцевального шага, и толкуя все, что видела, с той четкостью понимания, какой, чувствовала я, не хватает мне, какую я в те времена расценивала как принадлежащее одной лишь Трейси. Дар видеть то, что, казалось, имеет свое единственное выражение и выход здесь, в моей гостиной, перед моим телевизором, чего не различит ни один учитель, ни один экзамен не сумеет успешно уловить или даже приметить, и чему, быть может, единственные истинные свидетели и записи — вот эти воспоминания.

Одного, правда, заметить она не смогла, а мне ей не хотелось об этом говорить: мои родители расстались. Я и сама об этом узнала лишь потому, что мне сообщила мать. Они по-прежнему жили в одной квартире и спали в одной комнате. Куда еще им было деваться? Настоящие разводы — это для тех, у кого есть адвокаты и новые места, где жить. Вопрос также возникал об умениях моей матери. Мы втроем знали, что при разводе обычно уходит отец, но мой отец уйти никуда не мог, так даже вопрос не стоял. Кто в его отсутствие будет заклеивать пластырем мне коленку, если я упаду, или вспомнит, когда мне надо принимать лекарство, или станет спокойно

вычесывать у меня из волос гнид? Кто станет ко мне приходить, если мне будут сниться кошмары? Кто наутро будет отстирывать мои желтые вонючие простыни? Я вовсе не хочу сказать, что мать меня не любила, она просто не была домашней: вся жизнь происходила у нее в уме. Фундаментальный навык всех матерей — управление временем — ей не давался. Она отмеряла время страницами. Полчаса для нее означало — десять прочитанных страниц, или четырнадцать, в зависимости от кегля, а когда мыслишь о времени так, времени не остается ни на что больше, нет времени сходить в парк или купить мороженое, нет времени уложить ребенка в постель, нет времени выслушать слезливый пересказ приснившегося кошмара. Нет, отец мой уйти никуда не мог.

Однажды утром я чистила зубы, и в ванную зашла мать, присела на краешек нашей ванны цвета авокадо и эвфемизмами изложила новую договоренность. Поначалу я едва понимала ее — казалось, она очень долго подбирается к сути того, что на самом деле хочет сказать: излагает что-то о теориях детской психологии и «местах в Африке», где детей выращивают не родители, а «вся деревня», и что-то еще говорила, чего я либо не понимала, либо мне было наплевать, но в конце концов притянула меня к себе, очень крепко меня обняла и сказала:

— Твой папа и я — мы теперь будем жить, как брат с сестрой. — Помню, я подумала, что извращеннее я ничего в жизни не слышала: я так и останусь, значит, единственным ребенком, а мои родители станут друг другу братом и сестрой. Первая реакция моего отца наверняка была такой же, поскольку несколько дней после в квартире шли военные действия — натуральная война, — и мне приходилось спать, прижав к ушам две подушки. Но когда он наконец понял, что она не шутит, не передумает, — впал в депрессию. Все выходные начал проводить на диване, смотря телевизор, а мать держалась кухни и своего высокого табурета, выполняя домашние задания для своей степени. В танцкласс я ходила одна. Чай пила с кем-нибудь из них, но уже не с обоими.

Вскоре после материна объявления отец принял озадачивающее решение: он вновь начал доставлять почту. Ему потребовалось десять лет, чтобы стать управляющим отдела доставки, но в печали своей он прочел «Глотнуть воздуха» Оруэлла^[99], и эта повесть убедила его, что ему лучше заняться «честным трудом», как он выразился, — а за остаток рабочих дней своих вволю «получать образование, которого у него никогда не было», а не работать на бездушной конторской должности, съедавшей все его время. Такие непрактичные, принципиальные действия мать обычно одобряла, и момент принятия этого решения мне казался неслучайным. Но если в его

план входило снова завоевать мать, ничего не вышло: он вновь вставал каждое утро в три и возвращался в час дня, зачастую читал какой-нибудь учебник социологии с материнских полок, но, хотя мать уважительно расспрашивала его, как было утром на работе и время от времени — что он читает, сызнова в него она не влюбилась. Некоторое время спустя они вообще перестали друг с другом разговаривать. Климат в квартире изменился. В прошлом мне всегда приходилось ждать редкого зазора в родительском споре длиной в десяток лет, куда можно было сунуться самой. Теперь же я могла говорить непрерывно, если хотела, с любым из них, но уже было слишком поздно. В городском детстве на ускоренной перемотке они уже не были самыми важными людьми в моей жизни. Нет, теперь вообще-то мне стало безразлично, что мои родители обо мне думают. Считалось лишь мнение моей подруги — теперь больше обычного, и, ощущая это, я подозреваю, она все больше и больше предпочитала его не высказывать.

Восемь

Потом утверждали, что я была для Эйми плохим другом — всегда, что я лишь ждала удобного момента, чтобы сделать ей больно, даже погубить ее. Возможно, она этому верит. Но друга от сна будит только хороший друг. Поначалу я думала, что мне этим заниматься вообще не придется, что ее разбудит сама деревня, потому что невозможным казалось продолжать грезить в таком месте или считать себя в каком-то смысле исключением. Тут я ошибалась. На северной околице деревни, у дороги, ведущей в Сенегал, стоял большой двухэтажный дом из розового кирпича — единственный на много миль окрест, заброшенный, но в основном достроенный, если не считать окон и дверей. Строили его на деньги, как мне сообщил Ламин, которые слал местный молодой человек, чьи дела пошли в гору: он водил такси в Амстердаме, — пока удача не отвернулась от него, и присылка денег резко не прекратилась. Теперь дом, пустовавший уже год, получит себе новую жизнь как наша «база действий». Когда мы до него доехали, солнце уже садилось, и Министр туризма с удовольствием показывал нам голые лампочки, горевшие на потолках всех комнат.

— И всякий раз, как приедете, — сообщили нам, — будет только лучше и лучше. — Деревня ждала света долго — с государственного переворота больше двадцати лет назад, — однако за пару дней Эйми удалось убедить соответствующие власти подвести к этой скорлупе дома питание от генератора, и у нас появились розетки заряжать телефоны, а бригада работников установила перспексовые окна и годные двери из ДСП средней плотности, всем поставили кровати и даже печку. Дети были в восторге — как в походном лагере, а для Эйми те две ночи, что она планировала здесь провести, приняли обличье нравственного приключения. Я слышала, как она говорила журналисту «Роллинг Стоуна», насколько важно побыть «в реальном мире, среди людей», и наутро, после формальных мероприятий под фотосъемку — первая лопата, танцы школьниц, — сделали много снимков Эйми в этом самом реальном мире: она ела из общих чашек, без усилий присаживаясь на корточки рядом с другими женщинами, — применяя мышцы, которые накачала на велотренажере, — или хвасталась своим проворством, лазая по деревьям кешью с компанией мальчишек. После обеда она натянула оливковые грузчицкие штаны, и вместе мы обошли деревню с женщиной из ММР, в чьи задачи входило показывать нам «особо нуждающиеся области». Мы

видели открытые уборные, где кишели анкилостомы, заброшенную недостроенную поликлинику, множество душных комнат с крышами из гофрированного железа, в которых дети спали по десять на одной кровати. Затем обошли общественные огороды — засвидетельствовать «ограничения натурального сельского хозяйства», — но когда вступили на поле, солнце как раз отбрасывало длинные заволаживающие тени, и кустики картошки мощно лохматились и зеленели, а с деревьев свисали петли лоз, пышность всего этого создавала эффект необычайной красоты. Женщины, молодые и старые, смотрелись утопично в своих красочных одеяниях — они пропалывали ряды гороха или перца, смеялись шуткам друг дружки. Заметив, как мы приближаемся, выпрямились и стерли пот с лиц косынками, если те у них были, и руками, если не было.

— Добрый день вам. Как ваш день?

— О, я вижу, что тут происходит, — сказала Эйми одной древней старухе, которая осмелела до того, что обхватила Эйми рукой за тоненькую талию. — Вам, девчонки, выпадает тут поговорить друг с дружкой по-настоящему. Ни одного мужчины вокруг. Ага, так и представляю себе, что тут происходит.

Женщина из ММР смеялась чересчур. Я подумала, насколько слабо могу вообразить, что тут происходит. Даже те простейшие представления, что я с собой сюда привезла, казалось, были тут неприменимы, как бы я ни пыталась. Я, к примеру, не стояла в данный миг на поле со своими соплеменницами, с черными сестрами своими. Тут попросту и понятия такого не существовало. Были только женщины сере, волоф, мандинка, серахули, фула и джола, на последних, как мне когда-то сказали недовольно, я походила хотя бы и основной архитектурой лица: тот же длинный нос, те же скулы. Туда, где стояла я, доносился зов на молитву из квадратного бетонного минарета зеленой мечети, что возвышался над деревьями и над всем этим селеньем, где женщины, покрытые и открытые, были друг дружке сестрами, кузинами и подругами, были матерями и дочерьми друг дружке, или покрывались поутру и открывались днем просто потому, что в гости приходили ровесники, мальчики и девочки, и кто-нибудь предлагал заплести им волосы. Рождество здесь праздновали с поразительным рвением, и все люди книги считались «братьями, сестрами», я же, представляя собой совершенную безбожницу, никому не была врагом, нет — просто меня полагалось жалеть и оберегать, так мне объяснила одна девочка, с кем я жила в одной комнате, как поступают с теленком, чья мать умерла ее родами.

Вот я смотрела, как девочки выстроились у колодца, наливают воду в

громадные пластиковые лохани, затем вздымают эти лохани себе на головы и пускаются в долгий путь обратно к деревне. Нескольких я узнала по тому двору, где прожила последнюю неделю. Двоюродные сестры-двойняшки моей хозяйки Хавы и три ее родные сестры. Я им всем помахала, улыбнувшись. Они признали меня кивком.

— Да, нас всегда поражает, сколько всего женщины и девушки здесь делают, — сказала женщина из ММР тихонько, проследив за моим взглядом. — Работают по дому, понятно, да еще и трудятся в поле, и, как видите, в основном женщины управляют здесь как школой, так и рынком. Власть Девчонок как она есть.

Она склонилась потрогать стебель эфиопского баклажана, и Эйми воспользовалась этим случаем, чтобы повернуться ко мне, скосить глаза к переносице и высунуть язык. Женщина из ММР выпрямилась и поглядела на растущую очередь девушек.

— Многим, конечно, положено быть в школе, но, к сожалению, матерям они нужны здесь. Если подумать о молодых мальчиках, каких мы только что видели, — бездельничают в гамаках среди кешью...

— Образование — вот ответ развитию наших девушек и женщин, — вставил Ламин со слегка обиженным и усталым видом, как мне показалось, человека, вытерпевшего огромное множество нотаций от представителей ММР. — Образование, образование, образование.

Эйми ослепительно ему улыбнулась.

— Для этого мы сюда и приехали, — сказала она.

На всех дневных мероприятиях Эйми держала Ламину рядом, ошибочно принимая его склонность шептать за особую интимность между ними, и немного погодя сама начала шептать ему в ответ, заигрывая с ним, как школьница. Опасно, подумала я, перед неотступным журналистом, но не случилось ни единого мига, когда мы бы оказались с нею наедине и я смогла бы твердо ей об этом сказать. В итоге я наблюдала, как она изо всех сил сдерживает нетерпение всякий раз, когда у несчастного Каррапичано не оставалось другого выхода — только оттаскивать ее от Ламина к необходимым обыденным задачам: подписать бумаги, познакомиться с министрами, обсудить плату за учебу, устойчивость развития, школьную программу, учительскую зарплату. С полдюжины раз он вынуждал Эйми и всех нас остановиться на полдороге и выслушать еще одну речь очередного государственного чиновника — о партнерстве и взаимном уважении, а в особенности — том, в каком Эйми заверял в свое отсутствие Пожизненный Президент, что само по себе было всего лишь подобающим ответом, какой

надлежало дать на то уважение, которое Эйми «явно выказывает нашему любимому Президенту», — а мы все меж тем стояли и мучились на солнцепеке. Всякая речь была почти в точности похожа на предыдущую, как будто где-то в городе существовал некий уртекст, из которого всем этим министрам велели цитировать. Пока мы приближались к школе, медленно, чтобы не перегнать фотографа, который суетился у нас перед носом, один из этих министров еще раз взял Каррапичано за руку, и когда тот попробовал — исподтишка и так, чтобы Эйми не заметила, — разубедить его, разубеждаться министр отказался, встал как вкопанный в воротах школы, перегородив собой проход, и начал свою речь, на что Эйми вдруг отвернулась.

— Послушай, Ферн, я не хочу быть тут сволочью, но я правда стараюсь присутствовать в моменте? И ты для меня сейчас это очень затрудняешь. Жарко, нам всем жарко, и я по правде стараюсь учитывать, что времени у нас на этот раз не очень много. Поэтому я думаю, что с речами пока можно прекратить. Мне кажется, все мы знаем свои позиции, нам тут рады, мы ощущаем взаимное уважение или что еще там. Вот сейчас я хочу здесь присутствовать. Сегодня больше никаких речей, ладно?

Каррапичано опустил взгляд, полупобежденный, к своему планшету, и на миг мне показалось, что он утратит самообладание. Рядом невозмутимо стоял министр — он не очень понял, что сказала Эйми, и просто ждал отмашки начать сызнова.

— Пора уже посетить школу, — сказал Каррапичано, не поднимая головы, обогнул министра и толчком открыл ворота.

Там нас встречала нянька Эстель с детьми, и все они бегали по исполинскому песчаному двору — пустому, если не считать двух покореженных штанг от футбольных ворот без сетки, — и салютовали раскрытыми пятернями любому ребенку, кто бы ни подошел к ним: они были в восторге, что их выпустили к такому количеству своих. Джею в то время исполнилось восемь, а Каре шесть, всю жизнь их воспитывали и обучали дома. Пока мы совершали поспешный обход шести крупных, жарких, весело выкрашенных классных комнат, из них сыпалось множество детских вопросов — не сильно отличающихся от моих, но у них они были неотредактированными и непродуманными, а их нянька старалась — безуспешно — их зашикать и заткнуть. Мне же хотелось к ним только добавить. Почему у директора школы две жены, почему некоторые девочки носят косынки, а какие-то нет, почему все учебники грязные и рваные, почему их обучают на английском, хотя дома по-английски они не говорят, почему учителя пишут слова на доске

неправильно, если новая школа — для девочек, что будет тогда с мальчиками?

Девять

Почти каждую субботу, пока приближался мой собственный средний путь^[100], я ходила с матерью то на один марш протеста, то на другой, против Южной Африки, против правительства, против ядерных бомб, против расизма, против сокращений, против либерализации банковского сектора или в поддержку учительского профсоюза, Совета Большого Лондона или Ирландской республиканской армии. Цель всего этого мне понять было трудно, если учитывать природу нашего неприятеля. Почти каждый день я видела этого неприятеля по телевизору — жесткая сумочка, жесткие волосы, негибкая, негнущаяся — и неизменно не тронутая тем, сколько людей моей матери и ее друзьям удалось собрать на марш субботним утром накануне и провести через Трафальгарскую площадь к самой сияющей черной ее двери. Помню, я как-то маршировала за сохранение Совета Большого Лондона, годом ранее, шла, такое ощущение, что не один день — полмили следом за матерью, которая выступала впереди, увлеченно беседуя с Красным Кеном^[101], — несла над головой плакат, а потом, когда он уже стал слишком тяжелым, на плече, как Христос при Распятии, тащила его по Уайтхоллу, пока наконец мы не сели в автобус домой, где я рухнула в гостиной, включила телевизор и узнала, что СБЛ упразднили в тот же день, но раньше. Но все равно мне рассказывали, что сейчас «нет времени танцевать» или же, для разнообразия, что «сейчас не время танцевать», словно танцы воспрещал сам исторический момент. У меня есть «обязанности», они привязаны к моей «разумности», каковую не так давно подтвердил учитель в школе, которому пришлось в голову попросить наш класс принести «то, что мы читаем дома». То было одно из тех мгновений — а бывало их много, — когда нам, ученикам, напоминали о фундаментальной наивности наших учителей. Весной они выдавали нам семена, чтобы мы «сажали их у себя в садах», или просили после летних каникул написать страничку о том, «куда мы ездили на отдых». Но это меня не ранило: я бывала в Брайтоне, и не раз, а однажды — в алкокруизе до Франции, и к тому же с удовольствием ухаживала за растениями на подоконнике. Но как быть с цыганской девочкой, от которой дурно пахло, у нее весь рот в гноящихся болячках, а каждую неделю фингал под глазом? Или с близнецами, слишком взрослыми и смуглыми, чтоб их хотели усыновить, и потому их пинали из одного местного приюта в другой? Что делать с мальчиком, у которого экзема — мы с Трейси как-то заметили его

через решетку Куинз-парка летней ночью, одного, он крепко спал на лавке? Временные учителя из всех были самые наивные. Помню, как удивился этот, когда немалое число детей принесло либо «Радио-», либо «ТВ-Таймз»^[102].

Я принесла свои биографии танцоров, толстые книги с портретами 70-х в расфокусе на обложках: великие звезды в старости — в шелковых парадных платьях и шарфах, в розовых накидках со страусиными перьями, — и по одному только подсчету страниц было решено, что мое будущее следует «обсудить». Мать пришла на встречу рано, еще до начала занятий, и там ей сообщили, что те же книги, за чтение которых она иногда насмехалась надо мной, — свидетельство моей разумности, что есть тест, который подобные «одаренные» дети могут пройти, а по его итогам, если они выдержат все успешно, им можно будет рассчитывать на такие хорошие школы, где дают стипендии — нет-нет-нет, никакой платы за обучение, не беспокойтесь, я имела в виду «средние», а это совсем не одно и то же, там никакие деньги не требуются вообще, нет-нет, не волнуйтесь, пожалуйста. Я украдкой глянула на мать — ее лицо ничего не выдавало. Это из-за навыков чтения, пояснила учительница, обходя вниманием наше безмолвие, видите ли, они у нее вообще-то довольно развиты. Учительница оглядела мою мать — ее майку без лифчика и джинсы, косынку из кенте^[103] на голове, пару громадных сережек в форме Африки — и спросила, не присоединится ли к нам отец. Отец на работе, ответила мать. О, сказала учительница, поворачиваясь ко мне, а чем занимается твой отец, дорогая, это он в доме читатель или?.. Отец — почтальон, сказала мать. Читатель в доме мать. Так, обычно, сказала учительница, зардевшись и заглядывая в свои записи, обычно мы вообще-то не предлагаем сдавать вступительные экзамены в независимые школы. Я имею в виду, что стипендии в наличии имеются, но нет смысла настраивать этих детей на разочарование... Но эта молодая мисс Брэдуэлл, которая у нас недавно, подумала, что, быть может, ну, она решила, что в ситуации с вашей дочерью может оказаться как раз тот случай, когда...

Домой мы шли молча, обсуждать больше было нечего. Мы уже бывали в громадной и шумной единой средней школе, куда я пойду осенью, — мне ее впахнули с обещанием, что где-то в неразберихе обшарпанных коридоров, отгороженных перегородками классов и временных туалетов есть «танцевальная студия». Все мои знакомые — кроме Трейси — шли туда, и это утешало: чем больше нас, тем надежнее. Но мать меня удивила. Во дворе жилмассива она остановилась у подножия лестницы и сказала,

что я пойду сдавать этот экзамен — и буду прилежно стараться, чтобы его сдать. Никаких танцев по выходным, никаких отвлечений: мне дают возможность, сказала она, какой у нее самой никогда не было, поскольку ей в моем нынешнем возрасте — ее же учителя — посоветовали овладевать сорока словами в минуту, как всем остальным черным девочкам.

Мне казалось, что я попала в некий поезд, мчащийся туда, куда такие, как я, обычно отправляются в юности, вот только вдруг сейчас что-то изменилось. Меня поставили в известность, что я сойду на неожиданной остановке, чуть дальше по линии. Я подумала об отце — он соскочил с поезда, едва отъехав от вокзала. И о Трейси, столь намеренной спрыгнуть именно *потому*, что лучше уж пешком идти, чем выслушивать, какая станция ее или насколько далеко ей можно проехать. Так что нет ли в этом чего-то благородного? Нет ли тут, по крайней мере, некой борьбы — какого-то сопротивления? И были же все те исторические случаи, о каких я выслушивала, сидя у матери на коленях, рассказы о яростно талантливых женщинах — а все они были женщинами по рассказам моей матери, — женщинах, кто мог бы бежать быстрее разгоняющегося поезда, дай им волю, но для них, родившихся не вовремя и не к месту, все остановки были закрыты, им даже в здание вокзала войти не разрешали. И не гораздо ли я свободнее любой из них — родилась в Британии, в нынешние времена, не говоря уже о том, что я светлее, нос у меня гораздо прямей, меня гораздо маловероятнее принять за самую сущность самой Черноты? Что может остановить меня в этом путешествии дальше? Однако, сев в зале моей собственной школы душным июльским днем, когда обычно нет никаких занятий — а это неестественное время, чтобы сидеть в школе, — и раскрыв экзаменационные бумаги, чтобы прочесть от корки до корки ту возможность, за которую мать желала мне «схватиться обеими руками», — я осознала, что мною овладела великая угрюмая ярость, я вообще не захотела ехать никуда ни на каком их поезде, и я написала там и сям слово-другое, страницами по математике и точным наукам пренебрегла вовсе — и ужасающе провалилась.

Десять

Через несколько недель Трейси поступила в сценическую школу. У ее матери не было выбора — она позвонила моей в дверь, вошла в нашу квартиру и все нам об этом рассказала. Трейси она выставила перед собой, как щит, прошаркала к нам в коридор, присесть или выпить чаю отказалась. Через порог к нам она еще ни разу не переступала.

— Приемная комиссия сказала, что они еще никогда не видели ничего подобного ее оригинальной... — Мать Трейси наглухо умолкла и сердито посмотрела на дочь, которая снабдила ее незнакомым словом: — ... оригинальной *хореографии*, такой, во всяком случае. Вот какая она у нее новая. Никогда! Я ей всегда говорила, что ей нужно быть вдвое лучше любой девчонки, чтобы чего-нибудь добиться, — сказала она, прижимая Трейси к своему исполинскому бюсту, — вот она и добилась. — Она пожелала дать нам посмотреть видеозапись прослушивания, которую моя мать приняла достаточно любезно. Я нашла потом кассету у нее в спальне под стопкой книг и как-то вечером посмотрела ее одна. Песня была «Свинг тут навсегда»^[104], и каждое движение, каждое мгновение ока, каждый кивок были Жени Легон.

Той осенью в первом семестре новой школы я обнаружила себя без подруги: тело без четкого контура. Такая девочка переходит от компании к компании, ее не привечают и не презирают, ее терпят, а она всегда стремится избежать стычек. Я ощущала, что не произвожу никакого впечатления. Какое-то время была пара девочек годом старше, которые считали, что я задаюсь — из-за светлого оттенка кожи, длинного носа, веснушек, — и потому измывались надо мной, отнимали деньги, дразнили в автобусе, но тиранам требуется хоть какое-то сопротивление, пусть даже просто слезы, а я ничего подобного им не выказывала, скоро им стало скучно, и от меня отстали. Почти ничего из тех лет, что я провела в той школе, я не помню. Даже пока я их там проживала, некая упрямая часть меня так и не признавала за той школой ничего, кроме места, где каждый день мне нужно бороться за выживание, пока вновь не выйду на свободу. Меня больше занимала учеба Трейси, какой я ее воображала, нежели моя собственная действительность. Помню, как она мне рассказывала, например, вскоре после поступления в ту школу, что, когда умер Фред Астэр, у них в школе провели мемориальное собрание, и некоторых учащихся попросили станцевать в память о нем. Трейси, одевшись

Бодженглзом — белый цилиндр и фрак, — вызвала громовую овацию. Я знаю, что никогда не видела, как она танцует этот номер, но даже теперь у меня такое чувство, что я его помню.

Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, весь трудный средний путь — в те годы мы с ней и впрямь виделись нечасто. Новая жизнь целиком поглотила ее. Ее не было рядом, когда мой отец наконец съехал или когда у меня начались месячные. Я не знаю, как она лишилась девственности или разбил ли ей кто-нибудь впервые сердце, и если да, то кто. Когда бы ни встречалась я с нею на улице, казалось, что она преуспевает. Обычно висела на каком-нибудь очень смазливом молодом человеке зрелого вида, часто — высоком, с четко выстриженными волосами, и в таких случаях мне виделось, что она не идет рядом с ним, а скорее подпрыгивает: со свежим личиком, волосы туго стянуты узлом танцовщицы, в неоновых леггинсах и обрезанном топе, но мало того — еще и с красными глазами, явно обдолбанная. Наэлектризованная, харизматичная, возмутительно сексуальная, неизменно полная летней энергии — даже в морозном феврале. И наткаться вот так на нее, когда она такая настоящая — то есть вне моих завистливых о ней представлений, — всегда было неким экзистенциальным потрясением: будто видишь во всамделишной жизни кого-нибудь из книжки сказок, и я из кожи вон лезла, чтобы встреча наша оказывалась как можно короче, иногда переходила через дорогу, не успевала она со мной поравняться, или заскакивала в автобус, или утверждала, что куда-нибудь очень спешу. Даже когда немного позже я узнала от своей матери и кого-то еще по соседству, что у нее трудности, что она все чаще и чаще попадает в неприятности, я не могла вообразить, с чего бы это: у нее жизнь, с моей точки зрения, складывалась идеально, а это один из побочных эффектов зависти, возможно, такая вот нехватка воображения. У меня в уме вся борьба для нее завершилась. Она была танцором: она обрела свое племя. Меня же меж тем совершенно врасплох застал пубертат, я по-прежнему мычала песенки Гёршвина на задних партах, а вокруг меня начали вылепливаться и отвердевать кольца дружбы, определяемые цветом, классом, деньгами, почтовым индексом, нацией, музыкой, наркотиками, политикой, спортом, жизненными устремлениями, языками, сексуальностями... В той громадной игре в музыкальные стулья я однажды обернулась и поняла, что сидеть мне не на чем. Потерявшись, я стала готом — там обычно заканчивали те, кому больше некуда было податься. Готы уже тогда были в меньшинстве, а я вступила в самую странную их ложу: в группе этой нас было всего пятеро. Кто-то в ней — из Румынии, с косолапостью, один — японец. Черные готы были редкостью,

но не беспрецедентной: я нескольких видела в Кэмдене и теперь подражала им из всех сил: добела пудрила себе лицо, как у призрака, губы подводила кроваво-красным, волосы у меня были в полудредах, а частями я забрызгивала их лиловым. Купила себе пару «доктор-мартензов» и белым корректорским карандашом покрыла символами анархии. Мне было четырнадцать: мир есть боль. Я была влюблена в своего японского друга, он влюбился в хрупкую блондинку из нашего круга, у которой все руки в шрамах, и она походила на сломанного котика, брошенного под дождем, — она не могла любить никого. Почти два года мы оставались почти не разлей вода. Я на дух не выносила музыку готов, а танцевать нам не разрешалось — лишь подпрыгивать, как на пого, либо пьяно крениться друг к другу, — но мне нравилось, что политическая апатия вызывает материно отвращение, а брутальность моего нового внешнего вида будит в моем отце пронзительную материнскую сторону: он теперь беспокоился за меня нескончаемо и пытался кормить меня, поскольку я готично теряла вес. Большую часть каждой недели я сачковала: автобус, шедший до школы, также ездил и в Кэмденский Шлюз. Мы сидели на бечевниках, пили сидр и курили, наши «дэ-эмы» болтались над каналом, мы обсуждали фуфловость всех, кого знали, — беседы произвольной формы, которые могли съедать целые дни. Яростно я обличала свою мать, старый свой район, все из детства, превыше прочего — Трейси. Мои новые друзья вынуждены были слушать все подробности нашей с ней общей истории, все пересказывалось озлобленно, растягиваясь от самого первого дня, когда мы только познакомились, переходя церковный двор. После целого дня такого вот я снова садилась в автобус, проезжала мимо средней школы, в которую так и не попала, и сходила на остановке рядом — буквально совсем рядом — с новой холостяцкой квартирой моего отца, где счастливо могла возвращаться во времени, есть его утешительную еду, предаваться старым тайным наслаждениям. Джуди Гарленд, притворяясь зулуской, танцевала кейкуок во «Встретимся в Сент-Луисе»^[105].

Одиннадцать

Второй наш визит состоялся четыре месяца спустя, посреди сезона дождей. Прибыли мы во тьме после задержанного рейса, и, когда добрались до розового дома, я не смогла справиться со странностью этого места, с печалью его и пустотой, с ощущением, что я вторгаюсь в чью-то несбывшуюся надежду. По крыше такси барабанил дождь. Я спросила Фернандо, не будет ли он против, если я вернусь на участок Хавы.

— По мне — это очень прекрасно. У меня много работы.

— С тобой все хорошо будет? В смысле — одному?

Он рассмеялся:

— Я бывал один в местах и похуже.

Мы расстались у огромного облезлого рекламного щита, которым обозначалось начало деревни. Пройдя двадцать ярдов, я вымокла до нитки, толкнула алюминиевую дверь на участок Хавы, утяжеленную бидоном для масла, куда до половины насыпали песка, но, как обычно, не запертую. Внутри все оказалось почти неузнаваемо. Во дворе, где четырьмя месяцами раньше красная земля была аккуратно разровнена граблями, а повсюду допоздна сидели бабушки, двоюродные, племянники, племянницы, сестры и множество младенцев, теперь никого не было — лишь взбаламученная трясина, в которую я тут же провалилась и потеряла ботинок. Потянувшись за ним, я услышала смех. Подняла голову и поняла, что за мной наблюдают с бетонной веранды. Хава и несколько ее подружек несли жестяные тарелки после ужина туда, где их держали.

— Ой-ой, — воскликнула Хава, хохоча при виде меня, взъерошенной, с большим чемоданом в руках — он отказывался катиться по жидкой грязи. — Смотрите, что нам дождиком нанесло!

Я не рассчитывала опять селиться у Хавы, не предупредила ее, но ни она, ни все остальные на участке, похоже, не очень удивились моему появлению, и хотя и в первый раз я не была ни особенно преуспевающим, ни всеми любимым гостем этого дома, приветствовали меня в нем как родную. Я пожала руки разнообразным бабушкам, и мы с Хавой обнялись и сообщили, как скучали друг по дружке. Я объяснила, что на сей раз приехали только мы с Фернандо — Эйми записывается в Нью-Йорке, — и мы здесь для того, чтобы еще подробнее понаблюдать, что происходит в старой школе и что можно улучшить в новой. Меня пригласили посидеть вместе с Хавой и ее гостями в небольшой гостиной, тускло освещаемой

лампочкой от солнечной батареи, а острее — экранами телефонов у каждой девушки. Мы поулыбались друг дружке: девушки, Хава, я. Учтиво осведомились о здоровье моих матери и отца — и снова все сочли ошеломляющим, что у меня нет ни братьев, ни сестер, а потом спросили о здоровье Эйми и ее детишек, а также Каррапичано и Джуди, но ни о ком не расспрашивали так подобострастно, как о Грейнджере. На самом деле интересовались они здоровьем Грейнджера, ибо тот в первый приезд был истинным гвоздем программы, гораздо больше Эйми или всех остальных нас. Мы выступали диковинками — а его тут полюбили. Грейнджер знал все убогие ар-эн-бишные треки, какие обожала Хава, презирала Эйми, а я никогда не слышала, носил такие кроссовки, которыми она восхищалась больше всего, а в праздничном барабанном кругу, устроенном матерями в школе, без всяких сомнений вошел в кольцо, повел плечами, задвигался всем телом, он выступал павой и делал лунную походку, пока я на своем месте ежилась и деловито фотографировала.

— Ох уж этот Грейнджер! — сказала теперь Хава, счастливо покачивая головой от захватывающих воспоминаний о нем в сравнении со скучной реальностью меня. — Такой чокнутый танцор! Все мальчики говорили: «Это новые движения такие?» И помнишь, твоя Эйми нам сказала: «Нет, это старые!» Помнишь? Но его с тобой в этот раз нету? Жалко. Ох, Грейнджер такой веселый парень! — Молодые женщины в комнате рассмеялись и закачали головами, и завздохали, а потом вновь упало молчание, и до меня наконец-то начало доходить, что я прервала девичник, добрый междусобойчик, который через минуту возобновился на волоф. Не желая уходить в полную тьму спальни, я откинулась на спинку дивана и пустила беседу омыwać себя, а одежде дала сушиться прямо на теле. Рядом со мной своим двором правила Хава: два часа историй, которые — из того, что я могла определить, — варьировались от смешных до скорбных и праведно оскорбленных, но никогда не дотягивавших до гнева. Проводниками мне служили смех и вздохи — и снимки с ее телефона, которыми она посверкивала посреди некоторых рассказов и мимолетно поясняла по-английски, если я особо о чем-то спрашивала. Я поняла, что у нее беда любовная: молодой полицейский из Банджула, с которым она редко видится, — и большой план, уже предвкушаемый: отправиться на пляж, когда дожди закончатся, на семейную сходку, куда пригласят и полицейского. Она показала мне фотографию с такого же мероприятия в прошлом году: панорамный снимок, куда попало человек сто. Я засекала ее в переднем ряду и отметила отсутствие косынки — вместо нее на голове были шелковые накладные пряди, разделенные посередине и падавшие ей

на плечи.

— Другая прическа, — сказала я, и Хава рассмеялась, поднесла руки к хиджабу и сняла его, явив четыре дюйма ее собственных волос, закрученных в маленькие дреды.

— Но так медленно *отрастает*, ох!

Не сразу сумела я вычислить, что Хава — относительная редкость в деревне, девушка среднего класса. Дочь двух университетских преподавателей — я не встречалась ни с одним: отец ее работал теперь в Милане регулировщиком дорожного движения, а мать жила в городе и по-прежнему преподавала в университете. Отец ее уехал, как выражались в деревне, «через черный ход», вместе со старшим братом Хавы — они пересекли Сахару в Ливию, а затем совершили опасный переход до Лампедузы. Через два года, уже женившись на итальянке, он прислал вызов другому брату, но случилось это шесть лет назад, и если Хава до сих пор и ждала, когда вызовут ее, то была слишком горда и мне не говорила. Деньги, присылаемые отцом домой, добавили участку некоторой роскоши, редкой для деревни: трактор, обширный участок частной земли, туалет, хоть и не подсоединенный ни к какой канализации, и телевизор, хотя тот не работал. На самом участке жили четыре жены покойного дедушки Хавы и множество детей, внуков и правнуков, рожденных от всех его союзов, в вечно меняющихся комбинациях. Никогда не удавалось отыскать всех родителей этих детей: лишь бабушки оставались постоянными, передавали грудничков и ползунов взад-вперед между собой и Хаве, которая, несмотря на свою молодость, часто казалась мне главой всего семейства или, по меньшей мере, его душой. Она была из тех, кто притягивает к себе всех. Подчеркнуто хорошенькая, с совершенно круглым иссиня-черным лицом, ярко-диснеевскими чертами, очень красивыми длинными ресницами и чем-то восхитительно утиным в полной и вытянутой вперед верхней губе. Все, кому хотелось легкости, дурачества или чтобы их просто игриво подразнили часок-другой, приходили обычно к Хаве, и та равно интересовалась всеми, хотела слышать все новости, сколь угодно заурадные или обыденные («Так ты просто на рынок пошла? Ой, рассказывай же! И кто там был? А рыбак был?»). Она была бы алмазом в короне любой маленькой деревни где угодно. В отличие от меня, она вообще не презирала сельскую жизнь: любила ее малость, сплетни, повторения и семейную близость. Ей нравилось, что ей есть дело до дел всех, и наоборот. Каждый день к нам приходила соседка Хавы с более трудной любовной прорухой, чем у нее: она влюбилась в мальчика, за

которого родители не пускали ее замуж, — и держалась с Хавой за руки, жалуясь и плача, часто уходила от нас только в час ночи, и все же, заметила я, уходила она, неизменно улыбаясь. Я пыталась припомнить, оказывала ли я когда-нибудь такую услугу какой-нибудь подружке. Мне хотелось больше узнать об этих любовных неурядицах, но переводить Хаве наскучивало, и в ее нетерпеливом изводе два часа разговоров усохли до пары фраз («Ну, она говорит, что он очень красивый и добрый и они никогда не поженятся. Так грустно! Говорю тебе, ночь сегодня не засну! Но ладно тебе: неужели ты хоть *чуть-чуть* волоф еще не выучила?»). Иногда к Хаве приходили гости и, завидя меня в моем темном углу, смотрели настороженно и поворачивались уходить, ибо точно так же, как Хаву повсюду все знали как вестника легкости, человека, чье само присутствие несет облегчение от горестей, всем вскоре стало ясно, что гостя из Англии не привезла с собой ничего, кроме тягости и сокрушенья. Все угрюмые вопросы, какие, чувствовала я, нужно задавать с ручкой в руке, насчет сокращения нищеты, или нехватки припасов для школы, или явных трудностей собственной жизни Хавы — а к ним теперь прибавились еще и трудности сезона дождей, москиты, угроза недолеченной малярии, — все это отталкивало наших гостей и сильно испытывало Хаино терпение. Разговоры о политике ее не интересовали — если только та не была заговорщической, сугубо местной и не касалась ее знакомых непосредственно, — а кроме того не любила она никаких утомительных разговоров о религии или культуре. Как и все, молилась и ходила в мечеть, но, насколько я могла судить, никакого серьезного интереса к религии у нее не было. Она была из тех девушек, кто хочет от своей жизни только одного: чтоб было весело. Такой тип людей я отлично помнила по своим школьным годам, такие девочки всегда ставили меня в тупик — и до сих пор ставят, — и я озадачивала Хаву в той же мере. Каждый вечер я ложилась на полу с нею рядом, на соседние матрасы, благодарная за ту голубую ауру, что испускал ее «Самсунг», пока она пролистывала текстовые сообщения и фотоснимки, иногда — до глубокой ночи, смеясь или вздыхая от картинок, что ее развлекали, рассеивая тьму и облегчая нужду в разговорах. Но ничего, похоже, не вызывало ее негодования или серьезного уныния, и, быть может, поскольку я видела столько всякого, что именно эти эмоции вызывало во мне, каждый день, я ловила себя на том, что меня снедает извращенное желание и в ней пробудить те же чувства. Однажды ночью, пока мы с ней лежали бок о бок, а она опять рассуждала о том, как весело было с Грейнджером, какой он крутой и клевый, я спросила у нее, как она относится к обещанию их Президента лично обезглавить любого

гомосексуалиста, какого он отыщет у себя в стране^[106]. Она цвиркнула зубом и продолжала проматывать сообщения:

— Этот человек всегда какую-нибудь чепуху говорит. Да и вообще таких людей у нас тут нету. — Она не связала мой вопрос с Грейнджером, но в ту ночь я засыпала со жгучим стыдом: неужто я так желаю мимоходом уничтожить для Грейнджера возможность когда-нибудь сюда вернуться, и ради — чего? Принципа? Я знала, как Грейнджеру здесь понравилось, даже больше, чем в Париже, — и гораздо больше, чем в Лондоне, — и ему было так, даже невзирая на экзистенциальную угрозу, какую для него представлял собой этот визит. Мы с ним часто об этом говорили, это помогало развеять скуку записывающих сессий в студии: сидеть вместе в аппаратной, улыбаться Эйми через стекло, не слушая, как она поет, — и то были самые существенные разговоры, что у нас с Грейнджером случались, словно деревня как-то отомкнула в нас отношения между нами самими, о каких мы даже не подозревали. Не то чтоб мы с ним договорились или одинаково сообразили, что к чему. Там, где я наблюдала лишения, несправедливость, нищету, Грейнджер видел простоту, отсутствие материализма, общинную красоту — полную противоположность той Америке, в которой сам вырос. Там, где я наблюдала многоженство, женоненавистничество, детей без матерей (детство моей матери на острове, только крупными буквами, облеченное в обычай), он вспоминал жилье на шестом этаже в доме без лифта, крохотную квартирку-студию, которую они делили с матерью-одиночкой в депрессии, одиночество, купоны на еду, отсутствие смысла, угрозу улиц, что начинались сразу же за парадной дверью, и говорил он со мной с искренними слезами на глазах о том, насколько счастливей был бы, воспитывай его не одна женщина, а пятнадцать.

Однажды, когда во дворе случилось оказаться только Хаве и мне — она заплетала мне волосы, — я вновь попыталась заговорить о трудном, корыстно воспользовавшись интимностью момента, и спросила о слухе, что до меня донесся, о пропавшей женщине из деревни — очевидно, ее арестовала полиция, — матери молодого человека, замешанного в недавней попытке государственного переворота. Никто не знал, где сейчас она и что с нею стало.

— Сюда в прошлом году девушка одна приезжала, ее звали Линдзи, — сказала Хава, как будто я и рта не открывала. — Это еще до того, как вы с Эйми приехали, она была из Корпуса мира^[107] — и с нею было очень весело! Мы играли в двадцать одно и в блэкджек играли. Ты играешь в

карты? Говорю тебе, вот же с нею было весело, ух! — Хава вздохнула, рассмеялась и стянула мне волосы потуже. Я сдалась. Собственной предпочитаемой темой для разговоров у Хавы была звезда ар-эн-би Крис Браун^[108], но мне почти нечего было сказать о нем, а в телефоне у меня нашлась всего одна его песня («Это очень, очень, очень старая песня», — сообщила мне она), Хава же знала об этом человеке все, что только можно было, включая все его танцевальные телодвижения. Однажды утром, перед тем как ей идти в школу, я заметила ее во дворе — она танцевала в наушниках. Одевалась она, говоря строго, в скромный, но крайне облегающий наряд стажера-учителя: белая блузка, длинная черная юбка из лайкры, желтый хиджаб, желтые сандалии, желтые часики и облегающий жилет в узкую полоску, который она особо постаралась ушить в спине, чтобы нагляднее смотрелись ее крохотная талия и зрелищный бюст. Она подняла голову, оторвавшись от восхищенного созерцания быстрых движений собственных ног, и рассмеялась:

— Только моим ученикам не вздумай сказать!

Каждый день в тот наш визит мы с Каррапичано ходили в школу, заглядывали в классы к Хаве и Ламину, делали записи. Каррапичано сосредоточился на всех гранях работы школы, а у меня задание было поуже: сначала я пошла в класс к Ламину, а затем к Хаве, выискивая «лучших и самых сообразительных», как мне велела Эйми. В классе у Ламина — математическом — это было легко: мне пришлось лишь записать имена девочек, правильно отвечавших на вопросы. Так я и делала, всякий раз дожидаясь подтверждения Ламина на доске, что ответили дети правильно. Ибо что угодно сложнее простейшего сложения и вычитания, сказать по правде, было выше моих способностей, и я смотрела, как десятилетки у Ламина умножают быстрее меня и делят столбиком с такой скоростью, что я даже не успевала начать спотыкаться к ответу. Я стискивала ручку, руки у меня потели. Как путешествие во времени. Я опять вернулась на свои уроки математики, меня охватывал тот же старый знакомый стыд, и я по-прежнему, как выяснилось, не рассталась со своей детской привычкой обманываться, прикрывать рукой написанное, когда Ламин проходил мимо, и всякий раз мне удавалось наполовину убедить себя, как только верный ответ возникал на доске, что я и так была очень близка к нему, если б не та или другая мелкая ошибочка, ужасная жара в классе, моя собственная необъяснимая боязнь цифр...

Я с облегчением ушла от Ламина и направилась на занятие к Хаве — общий урок. Там я решила поискать разных Трейси, то есть — самых

смышленных, проворных, своенравных, смертельно скучающих, недисциплинированных, тех девочек, у кого глаза горят, как лазеры, и прожигают санкционированные правительством английские фразы прямо насквозь — мертвые фразы, лишённые содержания или смысла, какие кропотливо выписывала мелом на доске сама Хава, после чего их так же кропотливо переводили обратно на волоф и тем самым объясняли. Я рассчитывала увидеть в каждом классе по несколько таких Трейси, но вскоре стало ясно, что во всех этих жарких кабинетах представителей племени Трейси больше, чем кого бы то ни было. У некоторых этих девочек школьные формы были так изношены, что мало чем отличались от тряпья, у других на ногах не заживали болячки, глаза сочились гноем, а когда я увидела, как плата за учебу отдается прямо в руки учителю каждое утро монетами, у многих детей этих монет просто не оказывалось. Однако они не бросали, все эти Трейси. Их не удовлетворяло выпевать строки Хаве в ответ — она сама, должно быть, всего несколько лет назад сидела за теми же партами, выпевала те же самые строки, вцепившись в учебник так же, как теперь. Глядя на все это пламя от столь малого количества растопки, конечно, легко было отчаяться. Но всякий раз, когда беседа уходила от своих бессмысленных английских оков и ей позволяли вернуться к местным языкам, я видела их снова — эти ясные искры разума, они, словно язычки пламени, лизали решетку, приданную для того, чтобы их удушить, — и разумность эта принимала такой же естественный облик, как и где угодно на свете: препирательства, юмор, споры. К несчастью, в обязанности Хавы входило все это затыкать, всю естественную пытливость и любопытство, тащить класс обратно к государственному учебнику в руке, писать «Горшок стоит на огне» или «Ложка лежит в миске» огрызком мела на доске и заставлять их повторять, а потом заставлять это списывать, в точности, включая частые ошибки самой Хавы. Понаблюдав за этим мучительным процессом несколько дней, я сообразила, что она ни разу не проверяла их на знание этих записанных фраз — ответ всегда бывал у них перед глазами или повторялся только что, и одним особенно жарким днем я ощутила, что должна разрешить этот вопрос сама для себя. Я попросила Хаву сесть туда, где сидела я, на сломанный табурет, чтобы самой встать перед классом и попросить их написать в тетрадке фразу «Горшок стоит на огне». Они посмотрели на пустую доску, затем с ожиданием на Хаву, рассчитывая на перевод. Я не позволила ей говорить. Последовали две долгие минуты: дети тупо смотрели в свои едва ли не испорченные тетрадки, по многу раз обернутые в старую бурую бумагу. Потом я прошла по классу, собирая тетрадки, чтобы показать их Хаве. Что-то во мне

проделывало это с радостью. Три девочки из сорока написали фразу по-английски правильно. У остальных были слово-другое, почти все мальчики не написали вообще никаких букв — у них были лишь непонятные значки, напоминающие английские гласные и согласные, тени букв, но не сами буквы. Хава кивала, глядя в каждую тетрадку, не проявляя никаких чувств, а потом, когда я закончила, встала и продолжила урок.

Когда прозвонил звонок на обед, я побежала через двор искать Каррапичано — тот сидел под манговым деревом, что-то писал в блокноте, — и в возбужденной спешке пересказала все события того утра, доложила о последствиях, какими я их видела, воображая, как медленно развивалась бы сама, веди наши учителя уроки, скажем, на мандарине, хоть я больше нигде бы и не говорила на мандарине, не слышала этого языка и на мандарине бы не разговаривали мои родители...

Каррапичано отложил ручку и воззрился на меня.

— Понимаю. И чего, по-твоему, ты только что добилась?

Поначалу я решила, что он меня не понял, поэтому повторила все сначала, но он меня прервал, топнув ногой по песку.

— Ты только унизила учительницу. Перед ее классом.

Голос его был спокоен, но лицо очень покраснело. Он снял очки и зло уставился на меня — и выглядел при этом до того сурово симпатичным, что это добавляло его позиции определенную весомость, как будто те, кто правы, всегда красивее.

— Но... это... в смысле, я же не утверждаю, что это вопрос способности, это «структурный вопрос» — ты сам всегда так говоришь, — а я просто утверждаю, может, нам и провести урок английского, ладно, конечно, но давайте учить их на их собственных языках в их собственной стране, а потом уже они смогут — могли бы, в смысле, понимаешь, писать контрольные по английскому дома, как домашнюю работу или что-то.

Фернандо горько рассмеялся и выругался по-португальски.

— Домашняя работа! Ты у них дома-то бывала? Видела книги у них на полках? Или сами полки? Письменные столы? — Он встал и закричал: — Что, по-твоему, делают эти дети, когда приходят домой? Учатся? Считаешь, у них есть время учиться?

Он не придвинулся ко мне, но я поймала себя на том, что отступаю, пока не прижалась спиной к стволу манго.

— Что ты тут делаешь? Какой опыт у тебя есть в такой работе? Это работа для взрослых! А ты ведешь себя, как подросток. Да только ты уже не подросток, правда? Не пора ли тебе повзрослеть?

Я расплакалась. Где-то зазвонил звонок. Я услышала, как Фернандо вздохнул с чем-то похожим на сочувствие, и во мне зашевелилась безудержная надежда — какой-то миг — на то, что он меня обнимет. Закрыв лицо руками, я слышала, как сотни детишек вырвались на волю из классов и побежали по двору, крича и хохоча, на следующие свои уроки или за ворота помогать матерям на ферме, а Каррапичано пнул ножку стула, переворачивая его, и зашагал по двору обратно в класс.

Двенадцать

Конец моему собственному среднему пути настал в разгар зимы, идеальное время для того, чтоб быть готом: ты в гармонии с убожеством вокруг, как те часы, что показывают верное время два раза в сутки. Я ехала к отцу, двери автобуса не желали открываться из-за высоты уже нанесенного снаружи снега, пришлось с силой раздвигать их руками в черных кожаных перчатках и шагать вниз в сугроб, а от жуткого холода меня защищали черные «дэ-эмы» со стальными набойками и слои черного джерси и черной джинсы, жар афро — птичьего гнезда — и вонь от того, что я почти не мылась. Я стала животным, идеально приспособленным к среде своего обитания. Позвонила отцу в дверь — открыла мне молодая девчонка. Лет двадцати. Волосы у нее были довольно примитивно заплетены, лицо — сладенькая слезка, а кожа безупречна, сияла, как шкурка баклажана. Похоже, она боялась — нервно улыбнулась, повернулась и позвала моего отца по имени, но с таким сильным акцентом, что как его имя слово это почти не прозвучало. Затем скрылась, ее сменил отец, а она не показывалась из его спальни весь остаток моего визита. Пока мы шли по обветшалому общему коридору мимо облупившихся обоев, ржавых почтовых ящиков по грязному ковру, он тихонько объяснял мне, словно был миссионером и немного смущался от того, что нужно выдавать истинные размеры своей благотворительности, что нашел эту девушку на вокзале Черинг-Кросс.

— Она была босиком! Ей некуда идти, совсем некуда. Видишь ли, она из Сенегала. Ее зовут Мёрси. Ты бы хоть позвонила, что придешь.

Пужинала я, как обычно, посмотрела старое кино — «Зеленые пажити»^[109], — а когда настала пора уходить и больше ничего о Мёрси никто из нас не сказал, я заметила, как он оглянулся через плечо на дверь своей спальни, но Мёрси так и не появилась оттуда, и я немного погодя ушла. Матери я об этом не сказала, никому в школе — тоже. Меня понял бы единственный человек, Трейси, но с нею я не виделась уже несколько месяцев.

Я заметила, что у других есть этот подростковый дар, «пускаться во все тяжкие», «съезжать с рельсов», но какую бы защелку ни удавалось им размыкать в печали или при травме, я такую в себе найти не смогла. И потому застенчиво, словно спортсмен, решающий перейти на другой режим тренировок, я решила слететь с катушек. Но никто слишком всерьез

меня не принимал, и меньше всех — моя мать, ибо считала меня по сути своей подростком надежным. Когда прочие местные мамы останавливали ее на улице, как это часто бывало, попросить совета насчет своих заблудших сынков и дочек, она их выслушивала сочувственно, но, со своей стороны, без особой заботы, а иногда подводила беседу к концу, положив руку мне на плечо и говоря что-нибудь вроде: «Ну, а нам повезло, у нас таких проблем не бывает — пока, во всяком случае». Этот сказ настолько сцементировался у нее в уме, что никаких моих попыток отбиться от рук она попросту не замечала: она вцепилась в тень меня и шла вместо этого только за ней. И не была ли она при этом права? На самом деле я не походила на своих новых друзей — не была особенно саморазрушительной или безрассудной. Я копила (без нужды) презервативы, меня приводили в ужас иглы, я слишком боялась крови вообще, чтобы даже думать о том, чтобы поранить себя, всегда прекращала пить перед тем, как по-настоящему утратить над собой власть, у меня был очень здоровый аппетит, а если ходила в клубы, то украдкой линяла от своей компании — или намеренно терялась — примерно в четверть первого, чтобы встретиться с матерью, положившей себе за правило забирать меня ровно в половине первого каждый вечер пятницы у служебного входа в «Кэмденский дворец». Я садилась к ней в машину и нарочито куксилась из-за этого нашего договора, но всегда втайне была благодарна за то, что он существовал. Ночь, когда мы спасли Трейси, была как раз такой — в «Кэмденском дворце». Обычно мой круг ходил туда на тусовки независимых, которые я едва могла вытерпеть, но на сей раз мы отчего-то пошли на концерт хардкора, накрошенные гитары раздирали огромные динамики, рев и шум, и я в какой-то миг поняла, что до полуночи я не дотерплю, — хоть и выдержала бой с матерью как раз насчет этого. Около половины двенадцатого я сказала, что иду в туалет, и, спотыкаясь, пробралась через этот старый театр, где некогда шли водевили, отыскала местечко в какой-то пустой ложе на первом этаже и взялась напиваться с бутылочки дешевой водки, которую таскала в кармане своей черной шинели. Я стояла на коленках на истертом бархате там, где с мясом вырвали старые стулья, и заглядывала вниз, на месилово в партере. Меня охватило неким печальным удовлетворением от мысли, что я, вероятно, сейчас в этом месте — единственная душа, которой известно, что некогда здесь выступал Чаплин^[110], да и Грейси Филдз^[111], не говоря уже о давно забытых представлениях с собачками, семейных трупп, дам-чечеточниц, акробатов, менестрелей. Я смотрела сверху на всех этих недовольных белых ребяток из предместий, одетых в черное, которые бросались друг на

дружку, и на их месте воображала Дж. Г. Эллиотта, «Негритоса шоколадного оттенка», с головы до пят одетого в белое, поющего о серебристой луне^[112]. За спиной у меня зашелестел занавес — в мою кабинку вошел мальчишка. Белый, очень тощий, не старше меня и явно по чему-то улетевший, лицо изрыто угрями, а на его прыщавый лоб спадало очень много выкрашенных в черный волос. Но глаза у него были синие, очень красивые. И мы с ним принадлежали к одному эрзац-племени: носили ту же форму — черную джинсу, черный хлопок, черное джерси, черную кожу. По-моему, мы с ним даже словом не перекинулись. Он просто вышел вперед, а я к нему обернулась, уже на коленях, и потянулась к его ширинке. Разделись мы как можно минимальнее, улеглись на том ковре-пепельнице и на минуту-другую слились пахами, а все остальное наших тел оставалось разъединенным, закутанным в слои черного. То был единственный раз в моей жизни, когда секс случился без его тени — без тени представлений о сексе или фантазий о нем, что могут накапливаться только со временем. На том балконе все было еще исследованием, экспериментом и делом техники — в смысле куда что вставляется. Я никогда не видела никакой порнографии. Тогда такое было еще возможно.

Готам казалось каким-то неправильным целоваться, поэтому мы нежно покусывали друг друга в шеи, как маленькие вампиры. После он сел и произнес гораздо манернее, чем я ожидала:

— Но мы ничем не пользовались. — У него это, что ли, тоже впервые? Я сказала ему, что это не имеет значения, — таким голосом, что, вероятно, удивил его так же, а потом попросила у него сигаретку, которую он дал мне в виде щепоти табаку, «Ризлы» и картонного квадрата. Мы договорились спуститься в бар и вместе тяпнуть «змеиного укуса»^[113], но на лестнице я его потеряла в толпе, несшейся вверх, и мне вдруг так отчаянно захотелось воздуха и пространства, что я пробралась к выходу и наружу в Кэмден, в ведьмовской час. Все колобродило в полусвете, вываливались из пабов в драной джинсе и клетчатом или черном на черном, кто-то сидел кружками на полу, пели, играли на гитарах, другим дядя говорил сходить повидать другого дядю, дальше по дороге, у которого есть дурь, которую рассчитывал занять собеседник. Я себя почувствовала люто трезвой, одинокой: хоть бы мать появилась, что ли. Вошла в кольцо незнакомых людей на тротуаре, похоже — из моего племени, — и скрутила ту покурку.

Оттуда, где я сидела, мне открывалась боковая улочка до «Джаз-Кафе», и меня поразило, до чего иная публика собралась у его дверей — не выходила, а входила, и вовсе не пьяные, поскольку то были люди,

любившие танцевать, им не нужно было напиваться, чтобы уговорить свои тела двигаться. Ничего на них не было рваным, или драным, или испорченным корректорской жидкостью, все было шикарней некуда, женщины блистали и ослепляли, и никто не сидел на земле, напротив — там прилагались все усилия к тому, чтобы отделить клиентуру от земли: в мужские кроссовки было встроено по два дюйма воздуха, а в женских туфлях было вдвое больше в каблуке. Мне стало интересно, ради чего же они стоят в такой очереди. Может, им будет петь смуглая девушка с цветком в волосах. Я подумала было подойти и посмотреть сама, но тут до меня долетела суматоха у входа в станцию подземки «Морнингтон-Крезнт» — какая-то неурядица между мужчиной и женщиной: они орали друг на дружку, и мужчина прижал женщину к стене, а рукой схватил ее за горло. Мальчишки, с которыми я сидела, не двинулись с места — казалось, их это нисколько не заботит, они продолжали играть на гитаре или же сворачивали себе косяки. Какие-то действия предприняли две девушки — крутая с виду лысая и, наверное, ее подружка, — и я встала вместе с ними обеими, но не кричала, как они, быстро шла следом. Но когда мы подошли ближе, все несколько перепуталось: уже не так ясно стало, вредят «жертве» или помогают, — мы заметили, как ноги у нее подкосились, а мужчина в каком-то смысле ее поддерживает, и мы все при подходе немного сбавили шаг. Лысая девушка перестала быть такой агрессивной, проявила больше внимательности, а я в тот же миг осознала, что женщина эта — вовсе не женщина, а девчонка, и что я ее знаю: Трейси. Я подбежала к ней. Она меня узнала, но сказать ничего не смогла — лишь потянулась ко мне и печально улыбнулась. Из носа у нее текла кровь, из обеих ноздрей. Я почуяла какой-то жуткий запах, перевела взгляд ниже и увидела рвоту, по всему ее переду и лужицей на полу. Мужчина отпустил ее и шагнул назад. Я шагнула вперед, поддержала ее и произнесла ее имя — Трейси, Трейси, Трейси, — но глаза у нее закатились, и у себя на руках я ощутила всю ее тяжесть. Поскольку дело происходило в Кэмдене, у каждого проходящего мимо синяка и долбаря имелась своя теория: плохая «Е», обезвоживание, алкогольное отравление, вероятно, накатил качелей. Нужно было поддерживать ее стоймя, или опустить, чтобы полежала, или дать ей воды, или отойти и дать подышать, и я уже начала паниковать, когда через весь этот шум из-за дороги донесся гораздо более громкий голос, по-настоящему властный, который звал нас обеих, Трейси и меня, по именам. Моя мать подъехала к «Дворцу», как мы условились, в двенадцать тридцать в своем маленьком «2-си-ви». Я помахала ей, и она вновь ринулась вперед и остановила машину прямо перед нами. Столкнувшись с

таким способным взрослым такого яростного вида, все остальные рассеялись, и мать даже не помедлила задать мне, казалось бы, необходимые вопросы. Она разделила нас, уложила Трейси на заднее сиденье, подняла ей голову на пару серьезных томов, которые возила с собой все время, даже посреди ночи, и повезла нас напрямик в Сент-Мэрииз. Мне так хотелось рассказать Трейси о моем приключении на балконе, о том, как я в кои-то веки была поистине безрассудна. Мы выехали на Эджуэр-роуд — она пришла в себя и резко села. Но когда моя мать попробовала мягко объяснить, что происходило и куда мы направляемся, Трейси обвинила нас обеих в том, что мы ее похитили, пытаемся ею управлять — мы, кто всегда пытался ею управлять, еще с самого детства, мы всегда считали, будто знаем, что для нее лучше всего, мы даже пытались украсть ее у ее собственной матери, у ее собственного отца! Гнев ее нарастал пропорционально ледяному спокойствию моей матери, и когда мы заезжали на стоянку «неотложки», она уже перегибалась вперед с заднего сиденья и заплевывала в своей ярости нам затылки. Мать же мою невозможно было искусить или отвлечь. Она велела мне взяться за левую сторону моей подруги, сама взялась за правую, и мы полуповолокли, полужаманили Трейси в приемный покой, где она, к нашему удивлению, стала совершенно податлива, медсестре прошептала «качели» и потом уселась ждать своей очереди, заткнув ноздри комками салфеток. Мать вошла к врачу вместе с ней. Минут через пятнадцать вышла — в смысле моя мать — и сказала, что Трейси останется здесь на ночь, ей нужно промыть желудок, и что она сказала — в смысле Трейси — в своем бреде несколько сексуально оскорбительных вещей уработавшемуся в ночной смене врачу-индийцу. А ведь ей всего пятнадцать лет.

— Что-то серьезное произошло с этой девочкой! — пробормотала мать, цыкнула и склонилась над стойкой подписать какие-то бумаги *in loco parentis*^[114].

В таком контексте мое собственное легкое опьянение не стоило никакой суеТЫ. Заметив у меня в пальто бутылочку водки, мать без обсуждений изъяла ее и бросила в больничную урну, предназначенную для медицинских отходов. На пути к выходу я поймала свое отражение в длинном зеркале на стене неработавшего туалета, у которого случайно оказалась распахнута дверь. Увидела свою тусклую черную форму и нелепо напудренное лицо — конечно, все это я видела и раньше, но не при жестком больничном свете, — и теперь на меня глянуло лицо уже не девочки, но женщины. Воздействие весьма отличалось от всего, что я видела раньше при свете тусклой лиловой лампочки у себя в комнате с

черными стенами. Я переступила порог; я отвергла готичную жизнь.

Часть пятая

Ночь и день

Они сидели друг напротив друга, задушевно — если не думать о том, что на них смотрели миллионы людей. Чуть раньше они побродили вместе по его причудливому дому, посмотрели на его сокровища, на его кричащие произведения искусства, жуткую позолоченную мебель, поговорили о том и сем, и в какой-то миг он ей спел и показал несколько своих фирменных движений. Но нам хотелось знать только одно, и вот наконец она, похоже, приготовилась это спросить, и даже моя мать, которая хлопотала по квартире и утверждала, что ей неинтересно, остановилась и села рядом со мной перед телевизором ждать, что произойдет. Я дотянулась до пульта и сделала звук погромче. Ладно, Майкл, сказала она, теперь давайте перейдем к тому, что о вас говорят больше всего, я думаю, — о том, что цвет вашей кожи очевидно отличается от того, какой у вас был, когда вы были моложе, и потому думаю, это вызывает уйму домыслов и противоречий — то, что вы сделали или делаете?..

Он опустил взгляд, приступил к своей защитной речи. Мать моя не поверила ни единому слову, и следующие несколько минут я не слышала ничего из того, о чем шел разговор, — лишь мою мать, она спорила с телевизором. Поэтому я раб ритма, сказал он и улыбнулся, хотя выглядел ошеломленным, ему отчаянно хотелось сменить тему, и Опра ему позволила, и беседа двинулась дальше^[115]. Мать вышла из комнаты. Немного погода мне стало скучно, и я выключила.

Мне исполнилось восемнадцать. Мы с матерью никогда больше не жили вместе после того года и уже были не очень уверены, как относиться друг к дружке в наших новых воплощениях: две взрослые женщины в данный миг занимают одно и то же пространство. Мы по-прежнему мать и дочь? Друзья? Сестры? Соседи по квартире? У нас были разные графики жизни, мы нечасто виделись, но я беспокоилась, что злоупотребляю гостеприимством — как представление, что слишком уж затягивается. Почти каждый день я ходила в библиотеку, пыталась готовиться к экзаменам, а она каждое утро добровольно работала в центре для неблагополучной молодежи, а по вечерам — в приюте для черных и азиатских женщин. Не утверждаю, что она в этой работе была неискренна, к тому же у нее хорошо получалось, но дело тут еще и в том, что оба эти занятия внушительно смотрятся у тебя в резюме, если ты, уж так совпало,

баллотируешься на должность местного советника. Я никогда не видела ее настолько занятой. Казалось, она в районе повсюду одновременно, занимается всем сразу, и все соглашались: развод ей к лицу, выглядит она моложе, чем обычно, — иногда я даже боялась, что мы с ней сойдемся в одном и том же возрасте. Не часто удавалось мне гулять по улицам ее избирательного участка без того, чтобы кто-нибудь не подошел ко мне и не сказал спасибо «за все, что твоя мать для нас делает», или не попросил спросить у нее, не знает ли она, случайно, как учредить внешкольный клуб для только что приехавших детей из Сомали, или где уместнее будет устроить занятия по улучшению навыков вождения велосипеда. Ее еще никуда не избрали — пока что, — но у нас уже все ее короновали.

Одним важным аспектом ее кампании был замысел превратить старый велосипедный сарай на участке жилмассива в «общественное место встреч», отчего она вошла в конфликт с Луи и его бригадой, которые сарай этот использовали в каких-то своих целях. Мать потом мне говорила, что он прислал к ней домой двух молодых людей, запугать ее, но она «знала их матерей» и не испугалась, и они ушли, так и не выиграв спора. В это я могу поверить. Я помогла ей выкрасить там все в ярко-желтый и ходила с ней по разным местным заведениям, собирала ненужные им складные стулья. Входная плата была назначена в фунт, за нее люди могли там как-то подкрепиться, «Килбёрн Букс» торговали соответствующей литературой с прилавка на козлах в углу. Открылось это место в апреле. Каждую пятницу в шесть являлись выступающие, приглашенные матерью, — всякие местные эксцентрики: поэты-ораторы, политические активисты, консультанты для наркозависимых, непризнанный академик, за свой счет публиковавший свои книги о замалчиваемых исторических заговорах; нахальный нигерийский предприниматель, прочитавший нам лекцию о «черных стремленьях»; тихонькая гайанская медсестра, проповедовавшая масло ши. Приглашали и много ирландских ораторов — в знак уважения к этому первоначальному, быстро сокращающемуся местному населению, — но моя мать могла быть глуха к бореньям иных племен и без всяких сомнений высокопарно представляла («Где б ни сражались мы за свободу, борьба наша одинакова!») подозрительного вида гангстерам, которые припиливали к задней стене триколор и передавали ведерки для сбора пожертвований на ИРА^[116] в конце своих речей. Темы, казавшиеся мне исторически непонятными и далекими от нашей нынешней ситуации — двенадцать колен Израилевых, история Кунты Кинтея^[117], что угодно про древний Египет, — были самыми популярными, и меня в таких случаях

частенько отправляли в церковь просить у дьякона лишние стулья. Но когда ораторы выступали по более прозаическим аспектам нашей повседневной жизни — о местной преступности, наркотикам, подростковой беременности, академической неуспеваемости, — можно было рассчитывать лишь на несколько пожилых ямайских дам, приходивших, какой бы ни была тема выступления: главным образом их привлекали чай и печенье. Но у меня не было ни малейшей возможности чего-либо из этого избежать — мне приходилось являться на все мероприятия, даже послушать шизофреника, который вошел в помещение с футовой кипой конспектов в руках — перехваченных резинками и разложенными согласно системе, ведомой лишь ему одному, — и с большой страстью излагал нам про расистское заблуждение эволюции, осмеливавшейся связать Священного Африканского Человека с низменной и приземленной макакой, хотя в действительности он, Священный Африканский Человек, произошел из чистого света, иными словами — от самих ангелов, чье существование неким манером доказывается — я забыла, каким, — пирамидами. Иногда выступала моя мать: в такие вечера зал был набит битком. Темой ее была гордость — во всех ее видах. Нам надлежало помнить, что мы прекрасны, разумны, способны, мы цари и царицы, мы владеем историей, владеем культурой, владеем сами собой, однако чем больше она затапливала помещение этим натужным светом, тем яснее у меня складывалось ощущение очертаний и масштабов той громадной тени, что должна в конце концов нас накрывать.

Однажды она предложила выступить мне. Возможно, человеку молодому будет проще договориться с молодежью. Мне кажется, она искренне не понимала, отчего ее собственные речи, хоть и популярные, пока не уберегли девочек от беременности, а мальчиков от курения травы, или бросания школы, или грабежей. Она дала мне сколько-то возможных тем — я ничего не знала ни по одной, — а потом сообщила, насколько я ее раздражаю:

— Беда с тобой в том, что ты никогда не знала борьбы! — Мы пустились в затяжную ссору. Мать нападала на «легкие» предметы, которые я выбрала для изучения, на «некачественные» колледжи, куда я подавала документы, на «нехватку амбиций», как она это видела, которую я унаследовала от другой стороны семьи. Я ушла из дому. Немного побродила по шоссе, покурила сиги, а потом сдалась неотвратимому и направилась к отцу. Мёрси уже давно пропала, с тех пор у него никого не было, он опять жил один и, казалось, был сокрушен, выглядел печальнее, чем я его видела когда-либо прежде. Его рабочий день — начинавшийся по-

прежнему каждое утро перед зарей — стал для него новой загвоздкой: он не знал, куда себя девать после обеда. Инстинктивно он был человеком семейным, без семьи совершенно терялся, и мне было интересно, заходят ли когда-либо его навестить другие его дети, белые. Я не спрашивала — мне было неловко. Боялась я теперь уже не власти моих родителей надо мной, а того, что они выволокут на погляд собственные сокровенные страхи, свою меланхолию и сожаления. В отце я такого уже видела предостаточно. Он стал одним из тех, о ком раньше любил мне рассказывать: кого встречал на доставке и вечно жалел, стариц в домашних шлепанцах, что смотрит дневные телепрограммы, пока не начнутся вечерние, почти ни с кем не встречаются, ничего не делают. Однажды я пришла, а там объявился Лэмберт, но после краткой пурги натужной бодрости между ними повисли мрачные и параноидальные настроения пожилых людей, брошенных своими женщинами, и дело отнюдь не облегчилось тем фактом, что Лэмберт пренебрег прихватить с собой средство в виде травы. Включился телевизор, и они молча сидели перед ним весь остаток дня, словно два утопающих, вцепившихся в один кусок плавника, а я вокруг них прибиралась.

Иногда мне приходило в голову, что жаловаться отцу на мать может стать для нас обоих чем-то вроде развлечения — этим мы с ним могли бы делиться, — но такое никогда не получалось гладко, поскольку я крепко недооценивала, до чего сильно он продолжал ее любить и восхищаться ею. Когда я рассказала ему о месте для встреч и о том, что меня вынуждают там выступать, он сказал:

— А, ну что ж, вроде бы как очень интересная задумка. Что-то для всего сообщества. — Во взгляде его читалась тоска. Как он был бы счастлив, даже сейчас, таская стулья через дорогу, настраивая микрофон, успокаивая публику перед тем, как на сцену выйдет моя мать!

Стопка плакатов — не отфотокопированных, а нарисованных каждый от руки — провозглашала тему беседы: «История танца»; ее расклеили по всему жилмассиву, где, как и все общественные объявления, их вскоре творчески и непристойно осквернили — одно граффито вызывало ответ, затем ответ на ответ. Я как раз цепляла один такой плакат у дорожки в жилмассив Трейси, когда ощутила у себя на плечах чьи-то руки — краткое жесткое пожатие — обернулась: вот она. Посмотрела на плакат, но ничего не сказала. Протянула руку к моим новым очкам, примерила их себе и рассмеялась своему отражению в кривом зеркале, установленном возле доски объявлений. Опять рассмеялась, когда предложила мне сигу, а я ее уронила, а потом — еще раз, над сношенными полотняными туфлями на мне, которые я сперла из материна гардероба. Я себя чувствовала каким-то старым дневником, который она нашла в выдвижном ящике: напоминанием о более невинном и глупом времени в ее жизни. Вместе мы пересекли двор и сели на травяной обочине за ее жилмассивом, лицом к Св. Христофору. Она кивнула на двери и сказала:

— Но то были не настоящие танцы. Я теперь на совершенно новом уровне. — В этом я не сомневалась. Спросила, как у нее идет подготовка к экзаменам, и в ответ узнала, что в школах ее типа экзаменов не бывает, все это заканчивается в пятнадцать лет. Там, где я в оковах, она свободна! Теперь у нее все зависело от «выпускного ревю», куда «приходит большинство крупных агентов» и куда меня тоже с неохотой пригласили («Могла бы попробовать и за тебя попросить»), там и отбирают лучших танцоров, они находят себе представителей и принимаются ходить на пробы и прослушивания к осеннему сезону в Уэст-Энде или для региональных антреприз. Она распушила перышки. Мне показалось, что она вообще стала больше хвастаться, особенно в том, что касалось ее отца. Он ей строит сейчас большой семейный дом, как она утверждала, в Кингстоне, и вскоре она туда к нему переедет, а оттуда лишь прыгнуть, скакнуть — и окажешься в Нью-Йорке, где ей выпадет случай выступить на Бродвее, а уж там-то танцоров очень ценят, не как здесь. Да, она станет работать в Нью-Йорке, но жить будет на Ямайке, на солнышке с Луи и наконец избавится от того, что, как я помню, она назвала «этой жалкой ебаной страной» — как будто в самом начале поселилась тут чисто случайно.

Но когда несколько дней спустя я увидела Луи — в совершенно другом контексте, — случилось это в Кентиш-Тауне. Я ехала в автобусе, на верхней палубе, и заметила его на улице: он обнимал очень беременную женщину из тех, кого мы звали «своими в доску», с большими золотыми серьгами в виде пирамид, на ней было много цепочек, а волосы намаслены и поставлены в виде «поцелуйчиков» и шипов. Они смеялись и перешучивались на ходу, то и дело целовались. Она толкала перед собой коляску с ребенком лет двух и держала за руку семи- или восьмилетку. Первой мыслью у меня было не «Кто все эти дети?», а «Что это Луи делает в Кентиш-Тауне? Почему он идет по шоссе Кентиш-Тауна так, будто живет здесь?». Дальше радиуса в одну милю я на самом деле не мыслила. Лишь когда они скрылись из виду, задумалась я обо всех случаях, когда Трейси врала или блефовала насчет его отсутствия: плакать об этом она перестала, когда была еще совсем маленькой, — даже не догадываясь, насколько близко он все это время мог быть. Не на школьном концерте, или дне рождения, или в кино, или на стадионе, или хотя бы просто дома, на ужине, поскольку он в это время, предполагается, ухаживает за вечно больной матушкой в южном Килбёрне, или танцует с Майклом Джексонем, или в тысяче миль отсюда на Ямайке строит для Трейси дом мечты. Но тот односторонний разговор с ней на травянистой обочине подтвердил мне, что мы уже не можем говорить о личном. Придя домой, я рассказала матери об увиденном. Она как раз пыталась приготовить ужин, что всегда у нее было напряженным моментом дня, и я ее этим быстро допекла — с непомерной прытью и пылом. Я ничего не понимала, я же знала, что Луи она терпеть не может — так чего ради его защищать? Грохотать кастрюлями, странно говорить о Ямайке — причем не нынешней, а Ямайке 1800-х, 1700-х годов и еще раньше — нынешний Кентиш-Таун быстро задвинут в сторону как нечто незначительное, — рассказывать мне о скотоводах и туземцах, о детях, вырванных из материнских рук, о повторении и возвращении через века, о множестве пропавших мужчин в ее родословной, включая ее собственного отца, все они — призраки, их никогда не разглядишь вблизи или ясно. Пока она буйствовала, я отодвигалась от нее подальше, пока не уперлась спиной в теплую дверцу духовки. Я не знала, что мне делать со всей этой печалью. Сто пятьдесят лет! Ты представляешь себе, как это долго в человеческой семье — сто пятьдесят лет? Она щелкнула пальцами, и я подумала о мисс Изабел, считавшей для детей такты в танце. Вот как это долго, сказала она.

Через неделю кто-то поджег велосипедный сарай накануне того

вечера, когда я должна была там выступать, и он превратился в обугленную коробку. Мы с пожарными прошлись внутри. Там жутко воняло пластиковыми стульями, сваленными вдоль стен, — теперь они все растеклись и сплавились воедино. Мне стало легче — словно Господь Бог вмешался, хотя все знаки указывали на кого-то из своих, и довольно скоро ребята Луи вновь завладели этим помещением. Через день после пожара, когда мы с матерью вместе выбрались пройтись, несколько доброхотов перешли дорогу выразить сочувствие или попробовать разговорить ее на эту тему, но мать сжала губы и уставилась на них так, словно они произнесли что-то вульгарное или очень личное. Грубая сила ее возмущала, я думаю, поскольку лежала за пределами ее любимого царства языка, и ответить этой силе ей на самом деле было нечем. Несмотря ни на какие революционные взгляды, мне кажется, она была бы не очень полезна в настоящей революции, как только завершится болтовня, закончатся собрания и вспыхнет настоящее насилие. У насилия был такой смысл, в каком она не вполне могла в это насилие поверить: на ее взгляд, оно было слишком глупым, чтоб быть настоящим. Я знала — только от Лэмберта, — что в ее собственном детстве насилия хватало, как эмоционального, так и физического, но она редко об этом упоминала иначе, нежели как о «тех глупостях» или «тех нелепых людях», поскольку, стоило ей возвыситься до жизни ума, все, что жизнью ума не было, перестало для нее существовать. С Луи как социологическим явлением, или политическим симптомом, или историческим примером, или просто личностью, выросшей в той же сокрушающей сельской нищете, какую она извела сама, — с личностью, какую она признавала и, полагаю, глубоко понимала, — с *таким* Луи моя мать могла иметь дело. Но крайняя осиротелость у нее на лице, когда пожарные отвели ее в дальний угол сарая и показали то место, где развели костер — развели те, кого она лично знала, кого пыталась переубедить, но кто, несмотря на все это, предпочел насильственно уничтожить то, что она с такой любовью создала, — этот ее взгляд я не забуду никогда. Луи даже не нужно было делать это самому — да и не обязательно было скрывать, что это он распорядился. Напротив, он желал, чтобы все об этом знали: то было проявление власти. Поначалу я думала, что при том пожаре в моей матери сгорело что-то существенное. Но через несколько недель она взяла себя в руки и убедила викария позволить ей переместить общественные встречи в заднюю комнату церкви. Инцидент даже в каком-то смысле принес пользу ее кампании: то было зримое, буквальное подтверждение «городского нигилизма», о каком она часто говорила и отчасти строила на нем свою агитацию. Вскоре после этого она стала нашим местным

советником. И тут начался второй акт ее жизни, политический — я убеждена, она считала его своим истинным предназначением.

Три

Стройка завершилась с сезоном дождей, в октябре. В ознаменование на новом дворе — с половину футбольного поля — решили провести мероприятие. Планированием его мы не занимались — это делал сельский комитет, — и Эйми приехала только наутро того дня. Но я провела на участке две недели, и меня беспокоили логистика, звуковая система, сколько народу соберется, а также убеждение, разделяемое всеми — детьми и взрослыми, Ал Кало, Ламином, Хавой, всеми ее подругами, — что на мероприятии появится сам Президент. Источник этого слуха определить было трудно. Все это слышали от кого-то еще, больше никакой информации получить было невозможно — все только подмигивали и улыбались, поскольку предполагали, что за этим визитом стоим «мы, американцы».

— Ты у меня спрашиваешь, приедет ли он? — рассмеялась Хава. — А разве сама не знаешь? — Слух и масштабы самого события подкармливали друг друга: сначала-де в параде будут участвовать три местных детских садика, потом пять, потом пятнадцать. Сперва приезжал только Президент, затем еще и руководители Сенегала, Того и Бенина, и потому к барабанному кругу матерей добавилось полдюжины гриотов, игравших на своих длинношеих *корах*^[118], а затем и духовой оркестр полиции. Мы начали слышать, что на автобусах привезут делегации соседних общин, а после официальной программы будет играть знаменитый сенегальский диджей. Под всем этим шумным планированием протекало и что-то еще: низкий рокот подозрений и презрения, который я поначалу не слышала, зато Фернандо распознал сразу. Ибо никто в точности не знал, сколько денег контора Эйми перечислила в банк Серрекунды, и потому никто не был уверен, сколько получил лично Ламин, да и никто не мог сказать, сколько в точности из этих денег поместили в конверт, который позже доставили в дом Ал Кало, и сколько их он оставил в этом доме у Фату, нашего Казначая, перед тем как остаток наконец очутился в кубышках у самого сельского комитета. Никто никого ни в чем не обвинял, во всяком случае — непосредственно. Но все разговоры, как бы ни начинались, казалось, заканчивались вокруг одного вопроса, обычно свернутого в иносказательные конструкции вроде: «От Серрекунды до сюда — долгий путь» или «Эта пара рук, затем эта, потом еще одна пара. Столько рук! Кто отмоеет то, что столько рук трогало?» У Ферна — даже я его теперь так

называла — будила отвращение общая неумелость: с такими идиотами в Нью-Йорке он никогда не работал, они только проблемы создают, без всякого представления о процедуре или местных реалиях. Он тоже стал машинкой по выработке иносказаний:

— При потопе вода растекается повсюду, об этом не нужно думать. При засухе, если хочешь воду, — нужно тщательно направлять каждый дюйм ее русла. — Но его одержимое беспокойство, то, что он называл «ориентацией на детали», меня уже не раздражало: я допускала слишком много ошибок, каждый день, чтобы уже не понимать, что он во всем разбирается лучше. Больше не было возможно не обращать внимания на подлинные различия нас с ним, которые выходили далеко за рамки его гораздо лучшего образования, его ученой степени или даже его профессиональных навыков. Дело было в качестве внимания. Он слушал и подмечал. Он был открытее. Когда б я ни засекала его на своей неохотной ежедневной прогулке по деревне — а занималась я этим чисто для разминки и чтобы избежать клаустрофобии участка Хавы, — Ферн напряженно обсуждал что-нибудь с мужчинами и женщинами всех возрастов и жизненных обстоятельств, сидя подле них на корточках, пока они едят, трусая рядом с тележками, запряженными ослами, за *атаей*^[119] со стариками у рыночных прилавков, и вечно слушал, узнавал что-то новое, просил больше подробностей и ничего не допускал по умолчанию, пока ему недвусмысленно об этом не говорили. Я все это сравнивала со своим образом бытования. Как можно больше сижу у себя в промозглой комнатке, ни с кем не разговариваю, если можно избежать разговоров, при свете фонарика на голове читаю книжки о религии и ощущаю зверскую, убийственную ярость, по сути, очень подростковую, к ММФ и Всемирному банку, к голландцам, покупавшим рабов, к местным вождям, которые их продавали, и ко множеству далеких умственных абстракций, которым не могла нанести никакого практического вреда.

Любимой частью каждого дня у меня стали ранние вечера, когда я шла к Ферну и просто ужинала с ним в розовом доме — еду нам готовили те же дамы, которые кормили и школу. Одна жестяная миска, полная риса, иногда просто с зеленым помидором или эфиопским баклажаном, зарытым где-то внутри, а иной раз — изобилие свежих овощей и очень худая, но вкусная рыбка, выложенная поверх, от которой Ферн учтиво предлагал мне оторвать кусочек первой.

— Мы теперь родня, — сказал он мне, когда мы впервые так поели, двумя руками из одной миски. — Они, похоже, решили, что мы с тобой семья. — После нашего последнего визита генератор сломался, но

поскольку им пользовались только мы, Ферн счел, что это «задача несрочная» — по той же самой причине, почему я ее считала срочной, — и отказался весь день тратить на то, чтоб ехать в город и искать ему замену. Поэтому теперь, как только садилось солнце, мы надевали на головы фонарики на ремешках, стараясь прицепить их так, чтобы не слепить друг другу глаза, и до глубокой ночи беседовали. Он составлял хорошую компанию. У него был тонкий, сострадательный, изощренный ум. Как и у Хавы, у него никогда не возникало депрессии, но удавалось ему это не тем, что он от чего-то отворачивался, а тем, что, напротив, всматривался пристальнее, разбирался с каждым логическим шагом любой частной задачи, чтобы сама задача заполняла все наличествующее умственное пространство. За несколько вечеров до события, когда мы сидели и размышляли о неотвратимом приезде Грейнджера, Джуди и всех остальных — и окончании явно мирного извода нашей жизни тут, — он начал мне рассказывать о новой беде, уже в самой школе: шестеро детей уже две недели не ходят на занятия. Они друг другу не родственники. Но отсутствия их начались, как ему сообщил директор, в тот день, когда мы с Ферном вернулись в деревню.

— С тех пор, как *мы* прибыли?

— Да! И я подумал: но это же странно, почему так? Сначала порасспрашивал. Все говорят: «Ой, а мы не знаем. Вероятно, пустяки. Иногда детям нужно дома поработать». Я опять иду к директору и беру у него список фамилий. Потом иду по всей деревне к их участкам, один за другим. Непросто. Адресов-то нету, нужно нюхом выискивать. Но всех нахожу. «Ой, она болеет», — или: «Ой, он в гости к двоюродному брату в город уехал». У меня чувство, что никто мне правды не говорит. А потом гляжу сегодня на этот список и понимаю: фамилии-то знакомые. Порылся у себя в бумагах и нахожу тот список микрофинансирования — помнишь? — эту штуку Грейнджер еще устроил, независимо от нас. Он милый человек, он книжку по микрофинансированию прочел... В общем, гляжу я на этот список и понимаю, что это в точности те же шесть семейств! Матери — те женщины, кому Грейнджер выдал по тридцать долларов ссуды на их ларьки на базаре. В точности те же самые. И я думаю: какая связь между тридцатидолларовой ссудой и этими пропавшими детьми? Ну очевидно же: матери, которые не могут вернуть долг в сроки, о каких с ними договорился Грейнджер, — они предполагают, что теперь деньги будут взимать с их детей, монета за монетой, из денег на учебу, и тем самым дети будут опозорены! Они опять видят в деревне нас, «американцев», и думают: детишек-то лучше будет дома придержать! Хитро, разумно.

— Бедный Грейнджер! Вот он расстроится-то. Хотел же как лучше.

— Нет-нет-нет... все решается легко. Для меня это просто интересный пример доведения до конца. Или недоведения до конца. Финансирование — мысль хорошая, я думаю, не плохая. Но нам придется изменить график погашения ссуд.

В одно выбитое окно я увидела, как по единственной хорошей дороге в лунном свете рокошет лесная маршрутка. Даже в такой час с нее гроздьями свисали дети, а на крыше ниц лежали трое молодых людей, придерживая весом своих тел матрас. Я ощутила на себе волну нелепости, бессмысленности, какая обычно ловила меня в самые ранние часы, когда я лежала без сна рядом с крепко спящей Хавой, а за стеной безумно надсаживались петухи.

— Даже не знаю... Здесь тридцать долларов, там тридцать долларов...

— Ну? — бодро осведомился Ферн — ему часто не удавалось ловить интонацию, — и когда я подняла на него взгляд, то увидела у него на лице столько оптимизма и интереса к этой маленькой новой задаче, что во мне всколыхнулось раздражение. Мне захотелось его задавить.

— Нет, я в смысле — вот смотри, поедешь в город, в любую другую деревню тут в окрестности — увидишь детишек из Корпуса мира, миссионеров, неправительственные организации, всех этих благонамеренных белых, кого заботят отдельные деревья — а леса как будто никто и не видит!

— Вот теперь ты заговорила иносказаниями.

Я встала и лихорадочно закопалась в гору припасов в углу, ища газовую плитку «Калор» и чайник.

— Вы бы не приняли таких... *микроскопических* решений у себя в домах, в своих странах — так чего ради нам принимать их тут?

— «Нам»? — переспросил Ферн и начал расплываться в улыбке. — Постой-постой. — Он подошел туда, где я сражалась с газовым баллоном, и наклонился мне помочь подсоединить его к кольцу, что в моем скверном настроении мне удавалось плохо. Лица наши очень сблизилась. — «Эти благонамеренные белые». Ты слишком уж много думаешь о расе — тебе это кто-нибудь уже говорил? Но погоди: для тебя я, что ли, белый? — Меня так поразил этот вопрос, что я расхохоталась. Ферн отпрянул: — Ну, мне это интересно. В Бразилии мы себя как белых не понимаем, понимаешь. По крайней мере, моя семья — нет. Но ты смеешься — это означает «да», ты считаешь, что я белый?

— Ох, Ферн... — Кто у нас тут был, кроме друг дружки? Я отвела фонарик, чтобы он не светил прямо на милую озабоченность у него на

лице, которое, в конечном счете, было ненамного бледнее моего. — Помоему, не важно, что я считаю, правда?

— Ох нет, это важно, — сказал он, возвращаясь к своему стулу, и, несмотря на мертвую лампочку у нас над головами, мне показалось, что он вспыхнул. Я сосредоточилась на том, чтобы найти маленькую и очень изящную пару марокканских стаканчиков с прозеленью. Он мне как-то сказал, что возит их с собой повсюду в путешествиях, и признание это было одной из немногих уступок, какие Ферн когда-либо делал при мне касательно личных своих удовольствий, удобств.

— Но я не обижен, нет, все это мне интересно, — сказал он, снова сядя на стул и вытягивая ноги, будто профессор у себя в кабинете. — Что мы здесь делаем, каково наше воздействие, что после нас останется как наследие и так далее. Обо всем этом нужно, конечно, думать. Шаг за шагом. Вот этот дом — хороший пример. — Он протянул руку влево и похлопал по участку стены с оголенной проводкой. — Может, они откупились от хозяина, или, может, он понятия не имеет о том, что мы тут. Кто знает? Но теперь мы в нем, и вся деревня видит, что мы в нем, и потому они теперь знают, что он не принадлежит, в сущности, никому — или принадлежит любому, кому государство решит вдруг его отдать. Поэтому что произойдет, когда мы съедем, когда заработает новая школа и мы сюда в гости наведываться будем нечасто — или вообще не будем? Может, в него вселятся несколько семей, может, он станет общественным пространством. Возможно. Моя догадка — его разберут по кирпичикам. — Он снял очки и помассировал их подолом футболки. — Да, сначала кто-нибудь снимет всю проводку, затем облицовку, затем плитку, но в итоге все до камешка будет перераспределено. Спорить готов... Могу ошибаться, проживем — увидим. Я не так изобретателен, как эти люди. Не бывает людей изобретательнее нищих, где бы их ни находил. Когда ты беден, нужно продумывать все стадии. Богатство — наоборот. С богатством становишься беззаботным.

— Я не усматриваю в такой нищете никакой изобретательности. Я вообще не вижу никакой изобретательности в том, чтобы заводить себе десять детей, когда тебе не по карману даже один.

Ферн снова надел очки и печально улыбнулся мне.

— Дети могут быть своего рода богатством, — сказал он.

Мы немного помолчали. Я подумала — хоть на самом деле мне и не хотелось — о блестящей красной машинке с дистанционным управлением, купленной в Нью-Йорке для одного мальчика на участке, который мне особенно нравился, но к машинке прилагалась неучтенная загвоздка с

батарейками — не учтенная мной, — батарейками, на которые иногда были деньги, а большую часть времени — нет, и потому машинка неизбежно оказалась на полке, которую я заметила у Хавы в гостиной: на ней выстроились декоративные, но по сути своей бесполезные предметы, принесенные несведущими гостями, в обществе нескольких умерших радиоприемников, библии из какой-то висконсинской библиотеки и портрета Президента в сломанной рамке.

— Я вижу свою работу так, — твердо заявил Ферн, когда засвистел чайник. — К ее миру я не принадлежу, это ясно. Но я здесь для того, чтобы, если ей станет скучно...

— *Когда ей станет скучно...*

— Моя работа — обеспечить, чтобы здесь, на земле, осталось что-то полезное, что бы ни случилось, когда б она ни уехала.

— Не понимаю, как ты это делаешь.

— Что делаю?

— Имеешь дело с каплями, когда можешь видеть океан.

— Опять иносказание! Ты же сама говорила, что терпеть их не можешь, а теперь вот подцепила местную привычку!

— Мы пьем чай или как?

— Вообще-то так гораздо проще, — сказал он, наливая мне в стаканчик темную жидкость. — Я уважаю того, кто способен думать об океане. У меня же ум больше так не работает. Когда я был молод, как ты, — тогда, возможно, а сейчас — нет.

Я уже не могла определить, говорим ли мы обо всем мире, о континенте вообще, о деревне в частности или просто об Эйми — о ней, невзирая на все наши добрые намерения, на все наши иносказания, мы оба, похоже, очень ясно думать не могли.

Почти каждый день просыпаясь в пять от петухов и зова на молитву, я привыкла опять засыпать часов до десяти, а в школу приходила ко второй или третьей перемене. Утром приезда Эйми, однако, меня обуяло свежей решимостью увидеть день целиком, пока я еще могу им насладиться. Я сама себя удивила — а также Хаву, Ламину и Ферна, — заявившись в восемь утра к мечети, где, как мне было известно, они каждое утро встречались и вместе шли в школу. Красота утра оказалась еще одним сюрпризом: мне вспомнились самые ранние мои переживания в Америке. Нью-Йорк стал моим первым знакомством с возможностями света, который вламывается в щели между штор, преобразует людей, тротуары и здания в золотые иконы или черные тени, смотря где они относительно солнца

стоят. Но свет перед мечетью — тот свет, в котором стояла я, пока меня приветствовали как местного героя, просто за то, что я поднялась с постели через три часа после большинства женщин и детей, с которыми жила, — этот свет был совершенно чем-то иным. Он жужжал и удерживал тебя в своем жаре, он был густ, жив от пылицы, насекомых и птиц, а поскольку путь ему не преграждало ничего выше одного этажа, он оделял своими дарами сразу, всё равно благословлял, взрыв одновременного озарения.

— Как эти птицы называются? — спросила я у Ламина. — Маленькие беленькие, с кроваво-красными клювиками? Очень красивые.

Ламин запрокинул голову и нахмурился.

— Вон те? Просто птицы, не особенные. Думаешь, красивые? У нас в Сенегале птицы гораздо красивей.

Хава рассмеялась:

— Ламин, ты уже как нигериец заговорил! «Нравится эта речка? У нас в Лагосе есть гораздо красивей».

Лицо Ламина сложилось неотразимой пристыженной ухмылкой:

— Я только правду говорю, когда говорю, что у нас есть похожая птица, но больше. Она внушительней... — А Хава уперла руки в бока на крошечной талии и кокетливо искоса глянула на Ламина: я видела, в какой восторг его это приводит. Надо было раньше понять. Конечно, он в нее влюблен. Да и кто бы не влюбился? Мне эта мысль понравилась, я себя почувствовала отмщенной. Жду не дожусь, когда можно будет сказать Эйми, что она лает не на то дерево.

— Ну а теперь говоришь, как американец, — объявила Хава. Она окинула деревню взглядом. — Мне кажется, в каждом месте есть своя доля красоты, слава богу. А тут красиво так же, как и где угодно, насколько я знаю. — Но всего миг спустя по ее хорошенькому личику пробежала тень нового чувства, и когда я перевела взгляд туда, куда, похоже, смотрела она, я увидела молодого человека: он стоял у проекта ООН по добыче колодезной воды, мыл руки до локтя и поглядывал на нас так же задумчиво. Ясно было, что эти двое представляют друг для дружки нечто вроде провокации. Мы подошли ближе, и я поняла, что он относится к тому типу людей, каких я видела тут и прежде: то там, то здесь, на пароме, они ходили по дорогам, часто в городе, а в деревне — редко. У него была кустистая борода и белый тюрбан, рыхло намотанный на голову, на спине — котомка из волокна рафии, а штаны — странного покроя, на несколько дюймов не доходили до щиколоток. Хава забежала вперед нас поздороваться с ним, а я спросил у Ламина, кто это.

— Это ее двоюродный брат Муса, — ответил Ламин своим обычным

шепотом, только теперь — пропитанным едким неодобрением. — Не повезло, что мы его здесь встретили. Тебе не надо о нем беспокоиться. Он бродяга был, а теперь — *машала*^[120], неприятность для семьи, и тебе не надо о нем беспокоиться. — Но, когда мы догнали Хаву и ее двоюродного, Ламин поприветствовал его с уважением и даже некоторой неловкостью, а я заметила, что и Хава несколько робеет перед ним — как будто он старейшина, а не юноша немногим старше простого мальчишки, — и, вспомнив, что косынка у нее сползла на шею, она вновь надела ее на голову так, чтобы покрывала все волосы. Хава учтиво представила меня Мусе по-английски. Мы друг другу кивнули. Казалось, он сознательно старается уравновесить у себя на лице какое-то выражение — благожелательной безмятежности, словно царь, прибывший с визитом из более просвещенной державы.

— Как ты, Хава? — проямлил он, и она, кому всегда с избытком было чем ответить на такой вопрос, превзошла себя в нервном сумбуре описаний: у нее все хорошо, у бабушек ее все хорошо, у разных племянников и племянниц все хорошо, тут американцы, ну и школа открывается завтра днем, и будет большой праздник, играет диджей Хали — помнит ли он тот раз, когда они танцевали на пляже под Хали? Ой, дядя, ну и весело же было! — и люди приедут с верховий реки, из Сенегала, отовсюду, потому что это чудесная вещь происходит, новая школа для девочек, потому что образование — это штука очень важная, особенно для девочек. Эта часть предназначалась мне, и я улыбнулась в знак одобрения. Муса кивал — несколько встревоженно, как мне показалось, — пока она все это излагала, но теперь, когда Хава наконец умолкла, он чуть повернулся, скорее ко мне, чем к своей кухне, и произнес по-английски:

— К сожалению, меня там не будет. Музыка и танцы — шайтан. Как многое, что здесь делается, это — *ааду*^[121], обычай, а не религия. В этой стране мы всю жизнь танцуем. Все — предлог для танцев. Но я все равно сегодня отправляюсь на *хурудж*^[122], в Сенегал. — Он опустил взгляд на свои простые кожаные сандалии, словно бы проверяя, что они готовы к грядущему странствию. — Я туда иду на *Да'уах*^[123], приглашать и призывать.

На это Ламин рассмеялся, подчеркнуто саркастично, и кузен Хавы резко ответил ему на волоф — а может, то был мандинка, — а Ламин — ему, и снова один другому, я же стояла рядом, улыбаясь, с идиотской гримасой того, кому не переводят.

— Муса, мы по тебе дома соскучились! — неожиданно воскликнула Хава по-английски, с подлинным пылом, обнимая худую левую руку

двоюродного брата, как будто больше ничего в нем обнять не осмеливалась, и он опять много раз кивнул, но ничего не ответил. Мне показалось, что сейчас-то он нас и покинет — их с Ламином диалог выглядел так, что кто-то после него явно должен уйти, — но мы зашагали к школе все вместе. Муса заложил руки за спину и заговорил — тихим, спокойным, приятный потоком, мне это напоминало лекцию, которую Хава слушала уважительно, а вот Ламин постоянно перебивал, все энергичнее и громче, да так, что я его стиль не узнавала. Со мной он дожидался, когда я закончу каждую фразу, и оставлял долгие паузы перед тем, как ответить, — молчания эти я начала воспринимать как разговорные кладбища, куда отправлялось погребаться все неловкое или неприятное, что я могла ему предъявить. Этот же сердитый, противоречащий Ламин был для меня таким чужаком, что я подозревала: он сам бы не хотел, чтобы я его увидела в действии. Я немного ускорила шаг, а когда обогнала их всех на несколько ярдов, обернулась посмотреть, что происходит, и увидела, что и они тоже остановились. Муса держал рукой запястье Ламина: показывал на его большие сломанные часы и что-то очень серьезно говорил. Ламин вырвал у него руку и, казалось, надулся, а Муса улыбнулся так, словно все это было очень приятно или на худой конец необходимо, пожал Ламину руку, несмотря на их очевидные разногласия, вытерпел еще раз, когда Хава обняла его за предплечье, кивнул мне издали и повернулся туда, откуда мы пришли.

— Муса, Муса, Муса... — произносила Хава, качая головой и подходя ко мне. — У Мусы сейчас все *нафс*^[124] — все соблазны, мы *сами* соблазны. Так странно. Мы же с ним были ровесники, всегда играли вместе, он мне был как брат. И дома его мы любили, и он любил нас, но остаться не мог. Для него мы теперь слишком старомодные. Он хочет быть современным. Хочет жить в городе — только он, одна жена, двое детей и Бог. Он все равно прав: когда ты молодой и живешь весь полоумный со своей семьей, трудно быть очень чистым. Мне нравится жить полоумно — ой, я с этим ничего сделать не могу, но, может, когда я старше... — сказала она, окидывая взглядом собственное тело так, как ее двоюродный брат смотрел на свои сандалии: — ... может, стану постарше — и помудрею. Посмотрим.

Казалось, ее это развлекает — размышлять о том, какая Хава сейчас и какой Хавой может стать, — но Ламин возбудился.

— Это полоумный мальчишка всем рассказывает: «Молитесь не так, молитесь так, руки скрещивайте на теле, не вытягивайте по бокам!» В собственном семейном доме людей зовет «Сила киб»^[125] — он

собственную бабушку *критикует*! Но что он имеет в виду: «старый мусульманин», «новый мусульманин»? Мы же один народ! Он ей говорит: «Нет, вам не следует проводить крупную церемонию именования, проведите скромную, без музыки, без танцев», — но у Мусы бабушка из Сенегала, как у меня, и там, когда ребенок рождается, мы танцуем!

— В прошлом месяце, — начала Хава, и я приготовилась к долгому пробегу, — у моей двоюродной сестры Фату родился первый ребенок, Мамаду, и ты бы видела, как тут было в тот день, к нам пришли пять музыкантов, всюду танцевали, столько еды было — ой! Я все и съесть не смогла вообще-то, у меня болело все от столькой еды, от стольких танцев, а моя двоюродная, Фату, смотрела, как ее брат танцует, как...

— Муса еще и женился теперь, — встрял Ламин. — И как женился? Почти никого не было, без еды — твоя бабушка плакала, плакала много дней!

— Это правда... Наши бабушки любят готовить.

— «Оберегов не носите, не ходите к...» — мы их зовем «*марабуты*»^[126], да я-то к ним и не хожу, — сказал он, зачем-то показывая мне правую руку и переворачивая ее. — Наверное, я в каком-то смысле отличаюсь от своего отца, от его отца, но разве говорю я своим старшим, что делать? А Муса сказал *своей собственной бабушке, что ей нельзя?*!

Обращался Ламин ко мне, и я, хотя понятия не имела, что такое *марабут* или зачем к нему ходить, изобразила негодование.

— Они все время ходят... — доверительно произнесла Хава, — наши бабушки. Моя бабушка мне вот что принесла. — Она протянула запястье, и я восхитилась красивым серебряным браслетом, на котором болтался маленький оберег.

— Покажите мне, пожалуйста, где говорится, что уважать своих старших — грех? — потребовал Ламин. — Вы мне показать не сможете. А он теперь хочет своего новорожденного сына в «современную» больницу везти, а не в леса. Так вот решил. Но почему нельзя мальчику церемонию выхода в люди? Муса опять бабушке сердце разобьет этим, вот честное слово. Но мне, что ли, будет то и это рассказывать мальчишка из гетто, который и арабского-то не знает? *Ааду*, шайтан — вот и все, что он знает по-арабски! Да он ходил в школу католической миссии! Да я все *хадиты*^[127] могу прочесть, все *хадиты*. Нет, нет.

То была самая длинная, самая связная, самая страстная речь, какую я когда-либо слышала от Ламина, да и он сам, казалось, ей удивился — на секунду умолк и стер со лба пот белым сложенным носовым платком,

который специально для этого носил в заднем кармане.

— Я скажу, что у людей всегда будут размолвки... — начала Хава, но Ламин вновь перебил ее:

— А потом он мне говорит... — Ламин показал на свои сломанные часы: — «Эта жизнь — ничто по сравнению с вечностью: эта жизнь, которой ты живешь, — лишь полсекунды до полуночи. Я живу не ради этой половины секунды, а ради того, что будет за ней». Но он считает себя лучше меня только потому, что молится, сложа руки на груди? Нет. Я ему сказал: «Я читаю по-арабски, Муса, а ты?» Поверь мне, Муса — человек запутавшийся.

— Ламин... — произнесла Хава, — мне кажется, ты немного несправедлив, Муса только хочет *джихад*^[128] исполнить, а в этом ничего плохого нет...

Лицо мое, должно быть, совершило нечто поразительное: Хава показала на мой нос и расхохоталась.

— Погляди на нее! Ой, дядя! Она думает, мой двоюродный хочет пойти людей стрелять — ой нет, это смешно: у *машалы* нет даже зубной щетки, какое там ружье — ха-ха-ха!

Ламина это не так развлекло — он показал себе на грудь и вновь перешел на шепот:

— Больше никакого регги, больше не отвисать в гетто, не курить марихуаны. Она вот это имеет в виду. У Мусы раньше дредлоки были — ты знаешь, что это? Ладно, дредлоки вот по сюда! А теперь он в этом духовном джихаде, внутри. Она вот о чем.

— Вот бы я была такой чистой! — объявила Хава, мило вздохнув. — Ой, ой... хорошо быть чистой — наверное!

— Ну *конечно*, хорошо, — нахмурился Ламин. — Мы все стараемся исполнять джихад, каждый день по-своему, насколько можем. Но для этого не нужно обрезать себе брюки и оскорблять свою бабушку. Муса одевается, как индеец. Нам тут этот заграничный имам не нужен — у нас свой есть!

Мы подошли к воротам школы. Хава оправила на себе длинную юбку, сбившуюся на ходу, чтобы та снова ровно сидела на бедрах.

— А *почему* у него такие брюки?

— О, в смысле — короткие? — тускло ответила Хава — был у нее этот дар, заставлять меня чувствовать себя так, будто я задала самый очевидный на свете вопрос. — Чтоб ноги в аду не горели!

В тот вечер, под исключительно ясным небом я помогла Ферну и бригаде местных добровольцев расставить триста стульев и возвести над

ними белые навесы, поднять на столбы флаги и написать на стене «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ЭЙМИ». Сама Эйми, Джуди, Грейнджер и девушка-пиарщица спали в гостинице в Банджуле, вымотавшись за перелет — или при мысли о розовом доме, кто знает. Вокруг повсюду говорили о Президенте. Мы терпели одни и те же шуточки: насколько много нам известно, или сколько, по нашим утверждениям, мы не знаем, или кто из нас двоих знает больше. Эйми никто не упоминал. Из всех этих лихорадочных слухов и контр-слухов я никак не могла вычислить одно: визита Президента желают или опасаются. То же самое, объяснил Ферн, пока мы вгоняли в песок жестяные ножки складных стульев, когда слышишь, как на город надвигается буря. Если даже ее боишься, тебе все равно любопытно посмотреть.

Четыре

Рано поутру мы с отцом были на вокзале Кингз-Кросс, в очередной раз в последнюю минуту ехали смотреть университет. Мы только что опоздали на поезд — но не потому, что задержались сами, а потому, что цена билета вдвое превышала ту, о которой я предупреждала отца, и пока мы спорили, что делать дальше: один из нас едет сейчас, а другой позже, или оба не едем, или оба едем в другой день, не в час пик с его особыми тарифами, — поезд отошел от перрона без нас. Мы по-прежнему нервно рывкали друг на друга перед доской объявлений и тут увидели Трейси — она поднималась на эскалаторе со станции подземки. Ну и зрелище! Белые джинсы без единого пятнышка, маленькие сапоги по щиколотку на высоком каблуке, черная кожаная куртка в обтяжку, застегнутая на молнию до подбородка: все это походило на рыцарские доспехи. Настроение у моего отца переменилось. Он вскинул обе руки, словно авиадиспетчер, сигналивший самолету. Я смотрела, как Трейси подходит к нам как-то зловеще формально, с чопорностью, которой отец мой не заметил — обнял ее, как в старину, не обратив внимания на то, как окаменело ее тело рядом, как замерли поршни-руки. Он отпустил ее и спросил о родителях, о том, как она проводит лето. Трейси выдала ему череду бескровных ответов, не содержащих, на мой слух, никаких настоящих сведений. Я заметила, как на его лицо опустилась тень. Не от того, вообще-то, что она ему говорила, а от той манеры, в какой все это излагалось: в ее новехоньком стиле, что, казалось, ничего общего не имел с необузданной, потешной, мужественной девчонкой, которую, казалось ему, он знал. Манера принадлежала совершенно другой девушке, из другого района, другого мира.

— Что они преподают тебе в этом чокнутом месте, — спросил он, — уроки красноречия?

— Да, — строго ответила Трейси и задрала нос: ясно было, что ей хотелось на этом с темой покончить, но отец мой, кому намеки никогда не давались, не отпускал. Все время посмеивался над ней, и, чтобы защититься от его насмешек, Трейси теперь начала перечислять все навыки, какие у нее вырабатываются на летних занятиях пением и фехтованием, бальными танцами и театральным мастерством, — навыки, не особо нужные в районе, но необходимые человеку для того, чтобы выступать, как она это сейчас называла, на «сцене Уэст-Энда». Я задумалась, но не спросила, как она все это оплачивает. Пока она мне

тараторила, отец мой стоял, пялясь на нее, а потом вдруг перебил.

— Но ты же не всерьез, правда, Трейси? Хватит уже про все это — тут же мы, больше никого. Нам не надо пыль в глаза пускать. Мы тебя знаем, мы с тобой знакомы с тех пор, как ты вот такусенькой была, перед нами не надо делать вид, будто ты какая-то фифа! — Однако Трейси разгорячилась, говорила она все быстрее и быстрее — этим своим забавным новым голосом, которым, быть может, надеялась произвести на моего отца впечатление, а не оттолкнуть его, и сама этим голосом еще толком не владела — через фразу неестественно отклонялась к нашему с ней общему прошлому и рывками перемещалась в свое таинственное настоящее, пока мой отец совершенно не перестал собой владеть и не заржал над ней посреди вокзала Кингз-Кросс, перед всеми пассажирами в час пик. Он ничего плохого в виду не имел, просто ничего не понял — но я-то увидела, как ее это задело. Однако, к ее чести, Трейси не утратила своего знаменитого самообладания. В восемнадцать она уже была знатоком свойственного женщинам постарше искусства растравления ярости, сохранения ее, чтобы применить позже. Она учтиво извинилась и сказала, что ей пора на занятия.

В июле мисс Изабел позвонила моей матери спросить, не согласимся ли мы с Трейси добровольно поработать на представлении в конце лета. Мне это польстило: когда мы сами были детьми, ее бывшие ученицы казались нам богинями — длинноногие и независимые, они хихикали друг с дружкой и переговаривались шепотом, обмениваясь своей юношеской злободневкой, когда проверяли у нас билеты, устраивали лотерею, подавали закуски, вручали нам призы. Но то мучительное утро на Кингз-Кроссе еще не выветрилось у меня из памяти. Я знала, что виденье нашей дружбы застряло у мисс Изабел во времени, но не могла себя заставить разрушить этот образ. Через свою мать я ответила, что согласна, и решила дожждаться ответа Трейси. На завтра мисс Изабел позвонила опять: Трейси тоже согласилась. Но ни она, ни я друг дружке не звонили, ни в какой контакт вступать и не пытались. Я не видела ее до утра самого концерта, когда решила, что нужно быть выше этого, и сама отправилась к ней. Дважды нажала на кнопку дверного звонка. После странно долгой паузы дверь мне открыл Луи. Я удивилась — казалось, мы оба друг друга удивили. Он стер пот с усов и грубовато спросил, чего мне надо. Не успела я ответить, как услышала Трейси — смешной какой-то голос, я едва узнала его: она орала отцу, чтобы тот меня впустил, и Луи кивнул и уступил мне дорогу, но сам пошел в другую сторону — за дверь и вдоль по коридору. Я

посмотрела ему вслед: он поспешил вниз по лестнице, через газон и прочь. Я вновь повернулась к квартире, но в прихожей Трейси не было — а потом ее не было ни в гостиной, ни в кухне: у меня сложилось ощущение, что она выходила из каждой комнаты за миг до того, как туда входила я. Нашла я ее в ванной. Я бы решила, что она недавно плакала, но точно сказать не могу. Я поздоровалась. В тот же миг она быстро оглядела себя — то же место, на какое смотрела я, — и поправила обрезанный топ так, чтобы он опять прикрыл ей лифчик.

Мы снова вышли и спустились по лестнице. Я говорить не могла, но Трейси никогда за словом в карман не лезла — даже в чрезвычайных обстоятельствах — и пустилась теперь трещать бодро и комично о «костлявых сучках», с которыми ей предстояло тягаться на прослушиваниях, о новых движениях, какие ей нужно разучить, о задаче форсировать голос так, чтоб его было слышно и за рампой. Говорила она быстро и непрерывно, чтобы не возникло ни провала, ни даже паузы, за которые я могу успеть задать ей вопрос, и таким вот манером она благополучно вывела нас обеих из жилмассива и притащила к церковным дверям, где мы встретились с мисс Изабел. Нам дали одинаковые ключики, показали, как запирать ящик с наличкой и куда его ставить, как закрывать и открывать церковь до и после, а также другие мелкие полезные штуки. Пока мы обходили церковь, мисс Изабел задавала много вопросов о новой жизни Трейси, о маленьких ролях, какие ей уже дают в школе, и о больших, которые она однажды надеется получить вне школы. В вопросах этих звучало что-то прекрасное и невинное. Я понимала: Трейси хочется быть той девочкой, какую представляла себе мисс Изабел, у кого жизнь прямо и незамысловата, у кого впереди нет ничего, кроме целей, все ярко, ясно и ничего не мешает. Приняв на себя роль такой девочки, Трейси шла по знакомому пространству нашего детства, вспоминая, — не забывала сокращать гласные, руки держала за спиной, как турист, бродящий по музею, разглядывая экспонаты мучительной истории, такой турист, у которого нет личной связи с тем, что видит. Мы дошли до дальнего конца церкви, где ребятня выстроилась за соком и печеньем: они все подняли головы и посмотрели на Трейси с необузданным восхищением. Волосы она собрала в узел танцорки, а на плече у нее висела сумка «Ананасной студии»^[129], шла она, выворачивая ступни наружу, — она была тем, о чем мы обе мечтали десять лет назад, когда сами стояли здесь в очереди за соком, маленькие девочки. На меня никто особого внимания не обратил — даже дети видели, что я уже не танцую, — а Трейси, казалось, была счастлива оказаться в окружении всех этих маленьких почитателей. Для

них она была красивой и взрослой, завидно талантливой, свободной. И к тому же глядя на нее так, мне легко было убедить себя, что я все навоображала.

Я прошла через все помещение — и назад сквозь время, — пока не добралась до мистера Бута. Он по-прежнему сидел на облупленном табурете, чуть постарел, но для меня не изменился, и играл мелодию не по сезону: «Устрой себе веселое маленькое Рождество»^[130]. И тут вот случилось это гладкое, от чего во всей самой его неправдоподобности люди вынуждены ненавидеть оперетты — ну, или так мне говорят, когда я им сообщаю, что оперетты мне нравятся: мы начали творить музыку вместе, без обсуждения или репетиции. Он знал музыку, я знала слова. Я пела о верных друзьях. Трейси повернулась в мою сторону и улыбнулась, меланхолично, однако нежно, а может, там лишь для меня сквозило воспоминание о нежности. Я увидела в ней девочку семи, восьми, девяти и десяти лет, подростка, маленькую женщину. Все эти разновидности Трейси тянулись сквозь годы церковного зала, чтобы задать мне вопрос: «Что ты намерена делать?» На него мы обе уже знали ответ. Ничего.

Пять

Не очень походило на открытие школы — скорее на объявление о конце старого режима. Посередине стоял отряд молодых солдат в темно-синих мундирах с медными инструментами в руках, они жестоко потели. Там не было никакой тени, а они простояли навтыжку уже целый час. Я сидела в сотне ярдов от них, под навесом с великими и славными представителями всего региона в верховьях реки, местной и международной прессы, Грейнджером и Джуди, но без Президента и без Эйми — покамест. Ее должен был привести Ферн, когда все наладят и расставят по местам, а это процесс долгий. Ламина и Хаву, не относившихся ни к великим, ни к славным, поместили невесть где, вдали от нас, ибо иерархия рассадки была абсолютна. Примерно каждые четверть часа Джуди, а иногда Грейнджер, а иногда я высказывались, что кому-нибудь пора бы этим несчастным музыкальным солдатам поднести воды, но никто из нас этого так и не сделал, как не сделал этого и никто другой. Меж тем пришли строем детские садики, каждый — в своей особой форме, с фартучками, в рубашечках и шортиках поразительных сочетаний цветов: оранжевых и серых, к примеру, или желтых и лиловых, — вели их небольшие группы женщин, их воспитательницы, которые в смысле наведения блеска ни перед чем не остановились. Воспитательницы Детского сада Кункуянг-Кеитая надели тугие красные футболки и черные джинсы со стразами на карманах, а волосы заплели причудливыми косами. Воспитательницы Детского сада Туджеренг были в просторных одеяньях и косынках с красно-оранжевым узором и одинаковых белых сандалиях на платформе. Каждая команда выбрала тактику, отличную от соседской, но, как «Величайшие»^[131], в своей группе поддерживали полное единообразие. Они входили через главные ворота, плавно пересекали двор, дети тянулись за ними с непроницаемыми лицами — точно не слышали, как мы их приветствуем, — а когда достигали отведенного им места, две женщины без единой улыбки разворачивали самодельный транспарант с названием детского сада и становились, держа его, переминаясь с ноги на ногу, пока ожидание длилось. По-моему, я никогда не видела столько возмутительно красивых женщин в одном месте. Я и сама приоделась — Хава мне твердо заявила, что мои обычные хаки и жатый лен не годятся, — заняв белое с желтым широкое одеянье и топ у моей хозяйки, а поскольку они были для меня слишком узки, застегнуть сзади я не могла, поэтому пришлось

маскировать не сошедшиеся края широким красным шарфом, небрежно накинутым на плечи, хотя жара была градуса 102, не меньше^[132].

Наконец почти через два часа после того, как мы расселись, все, кому нужно было быть во дворе, оказались во дворе, и Эйми, окруженную толпой толкающихся доброхотов, Ферн провел на центральное место. Засверкали вспышки камер. Первым делом она спросила у меня, повернувшись:

— Где Ламин? — Я не успела ей ответить: взревели горны, началось главное мероприятие, и я, откинувшись на спинку стула, недоумевала, не поняла ли я на самом деле неверно все, что, как я была так уверена две предыдущие недели, понимала. Ибо теперь на плац в костюмах вышел парад детишек, все — лет семи или восьми, — одеты вождями африканских наций. Они шли в кенте и дашики^[133], в воротничках Неру и костюмах сафари, и у каждого была своя свита, состоявшая из других детей, переодетых охранниками: темные костюмы и темные очки, говорили в фальшивые рации. У многих маленьких вождей рядом шли их маленькие жены, помахивая маленькими сумочками, хотя Дама Либерия^[134] шла одна, а Южная Африка явился с тремя женами^[135]: те, идя следом, держались за руки. Глядя на толпу, можно было подумать, что никто в жизни не видал ничего смешнее, и Эйми, также считавшая это уморительным, стирала с глаз слезы, когда тянулась обнять Президента Сенегала или потрепать по щеке Президента Кот-д'Ивуар. Вожди шествовали мимо отчаявшихся вспотевших солдат, а затем — перед нашими местами, где махали и позировали для фотоснимков, но не улыбались и не говорили. Затем оркестр прекратил реветь приветственные ноты и пустился в очень громкое медное исполнение национального гимна. Стулья наши задрожали. Я повернулась и увидела, как во двор по песчаной почве с рокотом вкатились два массивных автомобиля: первый внедорожник походил на тот, в котором четырем месяцами раньше ездили мы, а второй — настоящий полицейский джип, вооруженный так, что напоминал танк. Около сотни детишек и подростков из деревни бежали рядом с этими автомобилями, за ними, иногда — перед, но неизменно в опасной близости от колес, ликовали и улюлюкали. В первой машине, высываясь в люк, стоял восьмилетний вариант самого Президента в роскошном белом бубу^[136] и белой куфи, держа в руке трость. Подобие соблюдалось: он был так же темен, как Президент, и у него было такое же лягушачье лицо. Рядом стояла восьмилетняя блистательная красotka примерно моего оттенка кожи, в парике и облегающем красном платье, и швыряла в толпу горстями

«монопольные» деньги. В борта машины тоже вцеплялись маленькие агенты службы безопасности в черных очочках и с пистолетиками, которые наводили на детей, а те иногда в восторге разбрасывали руки, подставляя маленькие груди под прицелы своих сверстников. Рядом с машиной трусили две взрослые ипостаси тех же агентов охраны, в таких же нарядах, но без пистолетов — по крайней мере, я не заметила, — и снимали все происходящее на новейшие видеокамеры. В полицейском джипе, замыкавшем процессию, маленькие полицейские с игрушечными автоматами делили места с настоящими полицейскими, у которых были настоящие «калашниковы». И маленькие, и большие вскидывали оружие вверх — к восторгу детворы, которая бежала за машиной и пыталась взобраться в джип сзади сама — дотянуться до места силы. Взрослых, среди которых я сидела, казалось, разрывает между улыбчивыми приветствиями — когда камеры разворачивались к ним, чтобы его поймать, — и криками ужаса от того, что всякий миг машины грозили столкнуться с бегущими отпрысками этих взрослых.

— Двигайся, — услышала я крик настоящего полицейского настойчивому пацаненку у правого колеса, который выпрашивал сласти. — Или мы тебя задавим!

Наконец машины остановились, миниатюрный Президент выбрался, подошел к настилу и произнес краткую речь, ни слова из которой я не услышала, потому что завелись динамики. Никто другой тоже ничего не расслышал, но все мы засмеялись и захлопали, как только она завершилась. У меня возникла мысль, что, явись сюда сам Президент, воздействие мало чем бы отличалось. Демонстрация власти есть демонстрация власти. Затем встала Эйми, сказала несколько слов, поцеловала человечка, взяла у него трость и помахала ею в воздухе под бурные крики. Школа была объявлена открытой.

Мы не перешли от этой официальной церемонии к отдельной вечеринке — скорее официальная церемония мгновенно рассосалась, и ее заменила вечеринка. Все, кого на церемонию не пригласили, теперь ворвались на площадку, аккуратный колониальный строй стульев развалился, все захватили те места, какие им требовались. Блистательные воспитательницы увели свои классы в тени и разложили их походные обеды, извлеченные горячими и запечатанными в большие горшки — из клетчатых хозяйственных сумок, какие также продают на рынке Килбёрн, международного символа бережливых и неугомонных путешественников. В самом северном углу участка завелась обещанная звуковая система. Все

дети, сумевшие удрать от своих взрослых — или у кого с самого начала взрослого не было, — сбежались туда танцевать. На мой слух, играло что-то ямайское, какой-то дэнсхолл, а поскольку я, казалось, в этом внезапном переходе растеряла всех, то подошла и стала смотреть, как танцуют. Танцев имелось две разновидности. Господствовала ироничная имитация мамаш: колени присогнуты, спины ссутулены, попа открячена, смотрят на собственные ноги, которыми топают в такт по земле. Но время от времени — особенно если замечали, что я на них смотрю, — движения их перескакивали к другим временам и местам, мне более знакомым через хип-хоп и раггу, через Атланту и Кингстон, и я видела рывки, толчки, скользы, кручения. Симпатичный мальчишка лет десяти с самодовольной ухмылкой знал все особо непристойные движения и проделывал их небольшими всплесками, чтобы периодически скандализовать девчонок вокруг: те принимались вопить, забегали прятаться за дерево, а потом вновь выползали оттуда еще поглядеть на него. Он же не сводил глаз с меня. Все время показывал на меня пальцем, кричал что-то, чего я не вполне могла расслышать из-за музыки:

— Танцуешь? Очень жаль! Танцуешь? Танцуешь! Очень жаль! — Я сделала шаг ближе, улыбнулась и покачала головой, хоть он и знал, что я об этом подумываю.

— А, вот ты где, — произнесла Хава у меня из-за спины, продела свою руку под мою и повела меня назад к вечеринке.

Под деревом собрались Ламин, Грейнджер, Джуди, наши учителя и несколько детей — все тянули из пирамидок, обернутых в «саран»^[137], либо апельсиновый лед, либо холодную воду. Я взяла воды у маленькой девочки, которая продавала упаковки, и Хава показала мне, как зубами оторвать уголок, чтобы высасывать жидкость. Закончив, я оглядела маленькую скрученную упаковку у себя в руке, словно сдувшийся презерватив, и поняла, что выбросить ее некуда, только на землю: видать, именно эти пирамидки и были источником всех пластиковых загогулин, что навалены на всех улицах, висят в древесных кронах, замусоривают жилые участки, торчат, как цветы, из каждого куста. Я сунула упаковку в карман, чтобы оттянуть неизбежное, пошла и села между Грейнджером и Джуди — те спорили.

— Я так не *говорила*, — шипела Джуди. — Я сказала только: «Никогда ничего подобного не видала». — Она умолкла, чтобы громко хлопнуть своей ледяной шипучкой. — И я не видала, к черту!

— Ага, ну, может, они никогда не видали той чокнутой срани, что видим мы. День святого Патрика. В смысле — что это за *хуйня*, День

святого Патрика?

— Грейнджер, я из Австралии — и практически буддистка. Нечего на меня вешать День святого Патрика.

— Я в смысле: мы любим *нашего* Президента...

— Ха! За себя говори!

— ...так почему ж этим людям не уважать и не любить своих чертовых вождей? Тебе-то какое дело? Ты ж не можешь просто ввалиться сюда без всякого контекста и судить...

— Его никто не любит, — сказала востроглазая женщина, сидевшая напротив Грейнджера: она спустила одеянье свое на талию и держала у правой груди младенца — а потом переместила его к левой. У нее было миловидное разумное лицо, и была она лет на десять младше меня, но в глазах читался жизненный опыт, какой я начала замечать у некоторых старых своих подруг по колледжу, долгими неловкими вечерами, когда я навещала их и их скучных младенцев — и еще более скучных мужей. В них пропадал некий девический слой иллюзии.

— Все эти молодые женщины, — сказала она, понизив голос и убирая руку из-под головки младенца, чтобы небрежно отмахнуться от толпы. — А где же мужчины? Мальчики — да, а молодые люди? Нет. Никто здесь не любит ни его, ни что он тут натворил. Все, кто могут, — уезжают. Черный ход, черный ход, черный ход, черный ход. — Говоря, она показывала на каких-то мальчишек, танцевавших подле нас, на самой грани отрочества, выбирая их так, словно у нее самой была власть заставить их исчезнуть. Она поцвиркала зубами, совсем как моя мать. — Уж поверьте мне, я б тоже уехала, если б могла!

Грейнджер, кто, я уверена, как и я сама, не предполагал, что эта женщина говорит по-английски — или хотя бы не очень понимает те его варианты, на которых изъяснялись Джуди и он сам, — кивал теперь каждому слову, что она произносила, не успевала она его произнести. Все, кто слышал их: Ламин, Хава, кое-какие молодые учителя из нашей школы, еще кто-то, кого я не знала, — бормотали и присвистывали, но ничего не добавляли. Симпатичная молодая женщина выпрямилась на сиденье, признавая в себе человека, вдруг наделенного властью в группе.

— Если б они его любили, — сказал она, уже совсем не шепотом, но и, заметила я, не называя его по имени, — разве не было б их тут, с нами, вместо того чтоб выбрасывать свои жизни в воду? — Она опустила взгляд и поправила сосок — а мне стало интересно, не абстракция ли в ее случае эти «они», есть ли у них имя, голос, какое-то отношение к голодному младенцу у нее на руках.

— Черный ход — это безумие, — прошептала Хава.

— У каждой страны — своя борьба, — сказал Грейнджер: я услышала отраженное эхо того, что Хава мне сказала тем утром. — *Серьезная* борьба в Америке. За наш народ, за черных. Поэтому нашей душе полезно быть здесь, с вами. — Говорил он медленно, подчеркнуто — и коснулся рукой своей души, которая оказалась ровно посреди его грудных мышц. Казалось, он готов заплакать. Инстинктивно меня потянуло отвернуться, чтоб не мешать ему, но Хава уставилась ему прямо в лицо и, взяв его за руку, сказала:

— Видите, как Грейнджер на самом деле нас чувствует, — он в ответ пожал ей руку, — не просто мозгом, а своим сердцем! — Не весьма тонкий отлуп предназначался мне. Яростная молодая дама кивнула, мы подождали продолжения — казалось, она одна способна придать этому разговору какой-то смысл, но младенец ее как раз закончил питаться, и с речами она покончила. Подтянула на себе желтое одеянье и встала, чтобы он срыгнул.

— Поразительно, что наша сестра Эйми сейчас с нами, — произнесла одна подруга Хавы — живая молодая женщина по имени Эстер, которая, как я заметила, терпеть не могла ни намека на молчание. — Ее имя известно всему свету! Но она теперь — одна из нас. Придется назвать в ее честь деревню.

— Да, — сказала я. Я наблюдала за женщиной в желтом, которая высказывалась. Теперь она брела к танцам, спина опять выпрямлена. Мне хотелось пойти следом и поговорить с нею.

— Она сейчас тут? Наша сестра Эйми?

— Что? А, нет... По-моему, ей пришлось уйти давать какие-то интервью или что-то.

— Ох, это же поразительно. Она знает Джея-Зи, знакома с Риэнной и Бейонсе^[138].

— Да.

— А она знает Майкла Джексона?

— Да.

— Как ты думаешь, она еще и Иллюминат? Или она просто знакома с Иллюминатами?^[139]

Я еще различала женщину в желтом — она выделялась из всех остальных, пока не зашла за дерево и блок уборных, после чего я ее найти уже не могла.

— Я б не... Честно, Эстер, не думаю, что все это — на самом деле.

— Ох, ну что ж, — уравновешенно ответила Эстер, как будто сказала,

что ей нравится шоколад, а я — что мне нет. — Здесь для нас это — на самом деле, потому что в этом точно много власти. Мы про такое много чего слышим.

— Это на самом деле, — подтвердила Хава, — но только в интернете, уж поверьте мне, нельзя всему доверять! Например, мне тут двоюродная моя показала снимки этого белого человека, в Америке, он здоровенный, как четверо мужчин, такой жирный! Я сказала: «Ты дура, что ли, это не настоящая фотография, хватит уже! Невозможно, таких людей не бывает». Чокнутые эти детки. Верят всему, что видят.

Когда мы вернулись на участок, снаружи стемнело, осветилось звездами. Я взялась под руки с Ламином и Хавой и попробовала их немного подразнить.

— Нет-нет-нет, хоть я и зову ее «Женушкой», — возразил Ламин, — а она меня «мистером Мужем», на самом деле мы просто ровесники.

— Флирт, флирт, флирт, — флиртуя, произнесла Хава, — и на этом всё!

— И на этом всё? — переспросила я, пинком распахивая дверь.

— Совершенно определенно всё, — подтвердил Ламин.

На участке многие дети помладше еще не спали — они подбежали к Хаве в восторге, а она в восторге же их приняла. Я поздоровалась за руку со всеми четырьмя бабушками — так всегда полагалось поступать, как впервые, — и каждая женщина подалась ко мне, словно чтобы сообщить что-то важное — или, вернее, действительно сообщила мне что-то важное, чего мне понять не удалось, — а потом, когда слова нас предали, как это всегда случалось, слегка потянула меня за одеянье к дальнему концу веранды.

— Ой, — сказала Хава, подходя с племянником на руках, — но там же мой брат!

На самом деле он был сводным братом и, на мой взгляд, на Хаву совершенно не походил — не был красив, как она, да и ее изюминки в нем не наблюдалось. У него было доброе серьезное лицо, круглое, как у нее, но с двойным подбородком, модные очки и совершенно невыразительная манера одеваться, сообщившая мне — не успел он сам мне это сообщить, — что он, должно быть, много времени провел в Америке. Он стоял на веранде, пил «Липтон» из огромной кружки, локти его покоились на выступе бетонной стены. Я обошла столб с ним поздороваться. Руку мою он взял тепло, но голову отвел при этом назад и полуухмыльнулся, словно заключая этот жест в кавычки иронии. Мне он кое-кого напомнил — мою мать.

— И вы живете тут, на участке, я вижу, — сказал он и подбородком обвел тихую суматоху вокруг, визжащего племянника у Хавы на руках, которого она тут же выпустила во двор. — Но как вам дается сельская жизнь в деревне? Вам же сперва нужно осмотреться в обстоятельствах, чтобы в полной мере ее оценить, я думаю.

Вместо ответа я спросила, где он научился такому идеальному английскому. Он формально улыбнулся, но взгляд его за очками на мгновение отвердел.

— Здесь. В этой стране говорят по-английски.

Хава, не очень понимая, как поступать в такой неловкости, хихикнула в кулачок.

— Мне ужасно нравится, — выпалила я, зардевшись. — Хава ко мне очень добра.

— Еда вам нравится?

— Очень вкусная.

— Она проста. — Он похлопал себя по круглому брюшку и отдал пустую миску проходившей мимо девушке. — Но иногда простое намного приятнее на вкус, чем сложное.

— Да, именно.

— Так — в завершение: значит, все хорошо?

— Все хорошо.

— К сельской жизни в деревне привыкаешь не сразу, как я уже сказал. Даже мне требуется минутка, а я ведь тут родился.

Тут кто-то передал мне миску с едой, хотя я уже поела, но я ощущала, что все в присутствии Хавино брата будет выглядеть как испытание, и потому приняла ее.

— Но вам же нельзя так есть, — захопотал он, а когда я попробовала пристроить миску на выступ стены, сказал: — Пойдемте сядем.

Ламин и Хава остались у стены, а мы опустились на пару слегка шатких самодельных табуретов. Ни единая душа во дворе на него теперь не смотрела, и Хавин брат заметно расслабился. Он рассказал мне, что ходил в городе в хорошую школу, возле университета, где преподавал его отец, а из той школы подался на место в частном квакерском колледже в Канзасе, предоставлявшем студентам из Африки десять стипендий в год, и он стал одним из таких. Заявления подают тысячи, но прошел он — им понравилось его сочинение, хотя дело было так давно, что он уже не помнит, о чем писал в нем. Дипломную работу он защищал в Бостоне, по экономике, затем жил в Миннеаполисе, Рочестере и Боулдере — во всех этих местах я в то или иное время бывала с Эйми, и ни одно для меня не

значило ровным счетом ничего, однако теперь мне хотелось о них послушать, поскольку, наверное, день в этой деревне я ощущала как год — время тут радикально замедлялось, настолько, что теперь даже бурые брюки и красная гольферская футболка Хавиноного брата могли, очевидно, возбудить во мне ностальгическую нежность изгнанницы. Я задавала ему множество очень конкретных вопросов о том времени, что он провел в моем не-вполне-доме, а Ламин и Хава стояли рядом, вымаранные из кадра беседы.

— Но почему же вам пришлось уехать? — спросила я жалобнее, чем намеревалась. Он проницательно взглянул на меня.

— Меня ничто к этому не принуждало. Я мог бы и остаться. Я приехал служить своей стране. Я хотел вернуться. Я работаю в Казначействе.

— О, на государство.

— Да. Но для него наше Казначейство — все равно что личная копилка... Вы женщина сообразительная. Уверен, вы наверняка об этом слышали. — Он вынул из кармана пластинку жвачки и надолго занялся снятием с нее серебряной фольги. — Вы же понимаете, когда я говорю «служить своей стране» — я имею в виду весь народ, а не одного человека. Вы поймете и то, что в данный момент руки у нас связаны. Но так будет не вечно. Я люблю свою страну. И когда все изменится, я хотя бы буду здесь и это увижу.

— Бабу, прямо сейчас ты тут всего на один день, — возмутилась Хава, обнимая своего брата за шею. — И я хочу с тобой поговорить о драме вот в *этом дворе*, а город — ну его!

Брат и сестра нежно выгнули шеи друг к дружке.

— Сестра, я не сомневаюсь, что здесь ситуация гораздо сложнее — постой, мне бы хотелось закончить с доводами для нашей озабоченной гостыи. Видите ли, моей последней остановкой был Нью-Йорк. Верно ли я понимаю, что сами вы из Нью-Йорка?

Я ответила «да» — так было проще.

— Тогда вам известно, каково там, как в Америке устроены классы. Честно говоря, для меня это было чересчур. Когда я доехал до Нью-Йорка, с меня уже хватило. Конечно, у нас тут тоже есть система классов — но без презрения.

— Презрения?

— Так, давайте разберемся... Вот этот участок, на котором вы сидите? Это вы у нас в семье. Ну, на самом деле — в маленькой, очень маленькой ее части, но для наших целей такой пример сгодится. Возможно, для вас они живут очень просто, они же деревенские селяне. Но мы — *форо*, а это

изначально — благородные, по бабушкиной линии. Кое-кого вы тут встретите — директора школы, к примеру, так вот они — *ньямало*, это значит, что его предки были ремесленниками, эти бывают разных видов: кузнецы, скорняки и так далее... Или вот Ламин — твоя семья из *джали*, не так ли?

На лицо Ламина набежала крайне напряженная тень. Он едва заметно кивнул, а затем отвернулся и посмотрел вдаль, на громадную полную луну, грозившую воткнуться в дерево манго.

— Музыканты, рассказчики, поэты, — продолжал брат Хавы, руками изображая, как перебирает струны какого-то инструмента. — А вот некоторые — напротив, *ёнго*. В нашей деревне многие родом от *ёнго*.

— Я не знаю, что это.

— Потомки рабов. — Он улыбнулся и оглядел меня снизу доверху. — Но я это вот к чему — люди тут все равно имеют возможность сказать: «Конечно же, *ёнго* от меня отличаются, но я к ним презрения не испытываю». Под божьим взором мы все разнимся, но в нас всех есть основа равенства. В Нью-Йорке я видел, как к людям низшего класса относятся так, как я и вообразить себе не мог. С совершеннейшим презрением. Они подают пищу, а люди с ними даже взглядами не встречаются. Хотите верьте, хотите нет, но и ко мне самому иногда так относились.

— Есть столько способов быть бедными, — пробормотала Хава, внезапно переживая всплеск вдохновения. Она в тот миг как раз собирала с пола горку рыбьих костей.

— И богатыми, — сказала я, и брат Хавы, чуть улыбнувшись, признал мою правоту.

Шесть

Наутро после представления позвонили в дверь — слишком рано, раньше почтальона. То была мисс Изабел, расстроенная. Пропали ящики с деньгами, в них — почти триста фунтов, а следов взлома никаких. Кто-то ночью проник внутрь. Мать моя сидела на краешке дивана в халате, протирая глаза, слезившиеся от утреннего света. Я слушала от дверей — моя невиновность предполагалась с самого начала. Обсуждали они, что делать с Трейси. Немного погодя позвали меня, допросили, и я сказала правду: мы заперли двери в половине двенадцатого, сложили все стулья, после чего Трейси отправилась к себе, а я к себе. Я думала, что она сунула ключ обратно через дверь, но, конечно, вполне возможно, что просто положила его к себе в карман. Мать и мисс Изабел повернулись ко мне, пока я говорила, но слушали они меня без особого интереса, а стоило мне договорить — опять отвернулись и продолжили свою дискуссию. Чем больше я слушала, тем тревожней мне становилось. Что-то непристойно наглым чудилось мне в этой их уверенности — как в вине Трейси, так и в моей невиновности, хоть я и понимала, умом, что в этом деле Трейси как-то замешана. Я слушала их теории. Мисс Изабел была убеждена, что ключ выкрал Луи. Мать моя была столь же уверена, что ключ ему дали. В то время мне вовсе не показалось странным, что ни та, ни другая даже не подумали вызвать полицию.

— С такой семьей... — сказала мисс Изабел и приняла от матери салфетку промокнуть глаза.

— Когда она придет в центр, — заверила ее мать, — я с ней поговорю. — Тогда впервые я узнала о том, что Трейси ходит в молодежный центр — тот, где добровольно работала моя мать, — и теперь она испуганно подняла на меня взгляд. Самообладание вернулось к ней лишь мгновение спустя, но, не глядя мне в глаза, она принялась гладко объяснять, что «после случая с наркотиками» она, естественно, устроила для Трейси кое-какие бесплатные консультации, а если не сообщила об этом мне, то из-за «конфиденциальности». Даже матери Трейси она не говорила. Теперь я понимаю, что ничего в этом не было особо неразумного, но в тот момент я во всем видела материнские заговоры, манипуляции, попытки контролировать мою жизнь и жизни моих друзей. Я закатила скандал и сбежала к себе в комнату.

После этого все случилось быстро. Мисс Изабел в невинности своей

отправилась поговорить с матерью Трейси, и ее более или менее вышвырнули из квартиры, она вернулась к нам вся в раздрае чувств, лицо больше обычного порозовело. Мать опять усадила ее и отправилась готовить чай, но мгновенье спустя громко хлопнула входная дверь: вверх по лестнице и прямо к нам в вестибюль влетела мать Трейси, подхлестываемая своею незавершенной яростью через дорогу, — и задержалась ровно настолько, чтобы предъявить нам свое контробвинение, кошмарное, против мистера Бута. Говорила она до того громко, что я слышала ее через потолок. Я сбежала вниз по лестнице и столкнулась прямиком с нею — она заполняла собой весь дверной проем, дерзкая, полная презрения — ко мне.

— Ты и твоя мать блядская, — сказала она. — Вы себя всегда считали лучше нас, вечно думали, что ты какое-то золотое дитяtko, к черту, а оказывается, ты вовсе не оно, а? А Трейси моя такая, а вы все просто, блядь, завидуете, и я скорей сдохну, чем дам вам всем ей помешать, перед нею вся жизнь впереди, и своим враньем вы ее не остановите, никто из вас этого не сможет.

Со мной раньше ни один взрослый так не разговаривал — словно они меня презирают. По ее словам, выходило, что я стараюсь испортить Трейси жизнь, а также моя мать, а также мисс Изабел и мистер Бут, а еще и всякие разные люди из жилмассива и все завистливые мамыши из танцкласса. Я убежала в слезах обратно вверх по лестнице, а она орала мне вслед:

— Реви, сколько влезет, на хрен, милочка! — Сверху я услышала, как опять хлопнула входная дверь и на несколько часов все стихло. Сразу перед ужином ко мне в комнату зашла мать и задала череду щекотливых вопросов: то был единственный раз, когда между нами в явном виде возникла тема секса, — и я ей как могла ясно дала понять, что мистер Бут ни меня, ни Трейси ни разу и пальцем не касался, да и никто другой вообще-то, насколько мне это известно.

Не помогло: к концу недели его принудили отказаться от игры на фортепьяно на танцевальных занятиях у мисс Изабел. Не знаю, что с ним произошло потом — остался ли он и дальше жить в том районе, или переехал, или умер, или его просто доконали сплетни. Я подумала о материной интуиции: «Что-то серьезное произошло с этой девочкой!» — и теперь я сознавала, что она, как обычно, права, и что, если б только мы задавали Трейси нужные вопросы в нужный момент и по деликатнее, от нее можно было бы добиться истины. А мы выбрали время неверно, загнали их с ее матерью в угол, на что обе они отреагировали предсказуемо — огнем из всех стволов, сметая все на своем пути, и в данном случае — мистера

Бута. И вот так мы добились чего-то вроде истины, очень на нее похожего, но не вполне.

Часть шестая

День и ночь

Той осенью после вторичного набора я поступила в не лучший из выбранных мной университет изучать СМИ, в полумиле от плоского серого Английского канала — этот пейзаж я помнила по каникулам в детстве. Море окаймлял галечный пляж из множества грустных бурых камешков, там и сям попадались крупные голубые, осколки белых ракушек, суставы кораллов, яркие обломки, которые легко было принять за что-нибудь драгоценное, но они оказывались стекляшками или разбитой посудой. Свою провинциальность жительницы большого города я забрала с собой — вместе с растением в горшке и несколькими парами кроссовок, уверенная, что любая душа на улице поразится, завидя мне подобную. Но мне подобных там оказалось достаточно. Из Лондона и Манчестера, Ливерпуля и Бристоля, в наших широченных джинсах и летчицких куртках, с нашими завитками, или бритыми головами, или тугими узлами волос, блестящими от «Дэкса»^[140], с нашими гордыми коллекциями кепок. Те первые недели мы стягивались друг к дружке, вместе бродили вдоль моря, ощетинившись, готовые к оскорблениям, но местных интересовали не столько мы, сколько они сами. От соленого воздуха у нас трескались губы, некуда было пойти сделать себе прическу, но «Вы, что ли, из колледжа?» был искренним учтивым вопросом, а не нападкой на наше право здесь быть. Имелись и другие, неожиданные преимущества. Училась я здесь по «стипендии на содержание», покрывавшей питание и жилье, а выходные обходились недорого — идти здесь было некуда и делать нечего. Все время мы проводили вместе, в комнатах друг у дружки, расспрашивали о прошлом с той деликатностью, какая казалась правильной для людей, чьи генеалогические древа можно было проследить лишь на ветвь-другую, а остальное терялось в неизвестности. Было, правда, одно исключение: мальчик-гайанец — он происходил из целого рода врачей и юристов и что ни день мучился оттого, что не в Оксфорде. Но все прочие мы, кто лишь на поколение, редко два отошел от отцов-механиков и матерей-уборщиц, от бабушек-нянечек и дедушек-водителей автобуса, все равно ощущали, что добились чуда — мы стали «первыми в роду, кто выбился в люди», и этого самого по себе было достаточно. Учебное заведение так же зелено, как мы сами, — и это тоже стало восприниматься преимуществом. Тут не было никакого шикарного академического прошлого, нам не приходилось ни перед кем снимать шляпы. Предметы наши были относительно новы:

медиа, гендер, — как и наши комнаты, как и наши молодые преподаватели. Нам предстояло изобрести это место. Я подумала о Трейси — она пораньше сбежала в сообщество танцоров, и я ей завидовала, но теперь, напротив, мне стало немного ее жаль, ее мир показался мне детским — это лишь способ поиграть с собственным телом, я же могла пройти по коридору и попасть на лекцию под каким-нибудь названием вроде «Мышление о черном теле: диалектика» или счастливо танцевать в комнатах у моих новых друзей до поздней ночи, да не под старые опереточные песенки, а под новую музыку, «Банду Старр» или Наза^[141]. Теперь, когда я танцевала, мне не нужно было подчиняться никаким древним правилам позиций или стиля: двигалась я, как хотела, поскольку меня принуждали двигаться сами ритмы. Бедная Трейси — ранние пробуждения поутру, тревога на весах, боль в подъемах стоп, нужно выставлять свое юное тело суждениям чужих людей! По сравнению с ней я была очень свободна. Тут мы засиживались допоздна, ели сколько влезет, курили траву. Мы слушали музыку золотого века хип-хопа, в то время и не сознавая, что сами живем в этом золотом веке. Училась я по текстам тех, кто знал больше меня, и эти неформальные уроки я воспринимала так же всерьез, как и все, что слышала в лекционных залах. Таков был дух времени: высокую теорию мы применяли к рекламе шампуня, философию — к видеоклипам «НСП»^[142]. В кружке нашем главное было — «сознавать», и после многих лет насильственного выпрямления волос горячей расческой я теперь давала им курчавиться и виться, пристрастилась носить на шее маленькую карту Африки, на которой страны покрупней выделялись кожаными заплатками черным и красным, зеленым и золотым. Я писала длинные эмоциональные сочинения о явлении «Дяди Тома»^[143].

Когда ко мне на трое суток приехала мать — под конец первого семестра, — я думала, что на нее все это произведет большое впечатление. Но упустила из виду, что я — не вполне как все, вообще-то не «первая из нас выбилась в люди». В этом стипль-чезе мать моя опережала меня на прыжок, и я забыла: все, чего хватало остальным, было вечно недостаточно для нее. Гуляя со мной по пляжу в то последнее утро своего приезда, она принялась провозглашать приговор, который, как я сама понимала, неким образом ей не дался, она зашла гораздо дальше того, что намеревалась высказать, но все равно произнесла: сравнила свою только что полученную степень с той, готовиться к которой я только начала, назвала мой колледж «сфабрикованной гостиницей», а вовсе никаким не университетом, просто ловушкой студенческих займов для детворы, которые ни шиша не

понимают, чьи родители сами не образованны, и я пришла в ярость, мы жутко с ней поссорились. Я сказала ей, чтоб больше не утруждалась приезжать, и она больше не стала.

Я рассчитывала, что на меня навалится опустошение, как будто я перерезала свою единственную связку с миром, — но чувство это так и не возникло. У меня впервые в жизни завелся любовник, и я так полностью занялась им, что обнаружила: я способна выдержать утрату чего угодно и всего, что угодно. Он был сознательным молодым человеком по имени Рахим — взял себе это имя в честь рэпера^[144], и лицо у него, такое же длинное, как у меня, было более густого оттенка бурого меда, куда выронили два очень яростных, очень темных глаза, выдающийся нос и нежно-женские, неожиданные очертания рта, как у самого Хьюи П. Ньютона^[145]. Он носил тощие дреды до плеч, «всезвездные» «конверсы» в любую погоду, круглые ленноновские очки. Я считала, что он самый прекрасный мужчина на свете. Он тоже так считал. Полагал себя «пятипроцентником»^[146], то есть — Богом в себе, поскольку все сыновья Африки — Боги, и когда впервые объяснил мне эту концепцию, я, помню, первым делом подумала: как приятно, должно быть, считать себя живым Богом, как это успокаивает! Но нет, как оказалось, это — тяжкий долг: нелегко носить на себе бремя истины, покуда столько людей живет в невежестве, если точнее — восемьдесят пять процентов людей. Но хуже невежественных — злобные, те десять процентов, кто знает все, что известно Рахиму, по его собственным утверждениям, но активно трудится для того, чтобы замаскировать и подорвать истину, чтоб только лучше держать восемьдесят пять процентов в невежестве и иметь над ними преимущество. (В эту группу извращенных обманщиков Рахим включал все церкви, саму «Нацию ислама», средства массовой информации, «истеблишмент».) На стене у него висел клевый винтажный плакат «Пантер», на котором большой кот, похоже, готовился прыгнуть прямо на тебя, и сам Рахим часто говорил о насилии в жизни крупных американских городов, о страданиях своего народа в Нью-Йорке и Чикаго, в Балтиморе и Л.-А., в тех местах, где я никогда не бывала и едва могла вообразить. Иногда у меня возникало впечатление, что эта жизнь в гетто — хоть и располагалось оно в трех тысячах миль — была для него гораздо реальнее, нежели тот мирный, приятный морской пейзаж, в котором мы обитали на самом деле.

Бывали времена, когда напряжение Бедного Праведного Учителя

оказывалось чрезмерным. Он задвигал у себя в комнате жалюзи, дул, едва проснувшись, пропускал лекции, умолял меня не бросать его одного, целыми часами изучал Верховный Алфавит и Верховную Математику, которые, на мой взгляд, больше походили на тетрадки, заполненные буквами и цифрами в непостижимых сочетаниях. А бывали времена, когда он казался хорошо подготовленным к задаче всемирного просвещения. Безмятежный и знающий, он сидел, скрестив ноги, как гуру, на полу, разливая чай с гибискусом для кружка, «гнал науку», слегка покачивая головой под своего тезку в проигрывателе. Никогда раньше не встречала я такого парня. У тех, кого я знала, страстей, в общем-то, не было, они не могли себе их позволить: для них было важно само наплевательство. Они всю жизнь состязались друг с другом — и со всем миром — именно для того, чтобы показать, кому сильнее всех наплевать, кому больше всех похеру. Некая форма защиты от утраты, которая им все равно казалась неизбежной. Рахим от них отличался: все страсти его были на поверхности, он не умел их прятать, не пытался — вот что я в нем любила. Поначалу я не замечала, как трудно ему было смеяться. Смех казался неуместным для Бога в человеческом облике — и еще неуместнее для подружки Бога, — и мне, вероятно, следовало прочесть в этом предупреждение. А я следовала за ним преданно — и в самые странные места. Нумерология! У меня голова кружилась от нумерологии. Он показал мне, как передавать мое имя в цифрах, а затем — как по-особому манипулировать этими цифрами согласно Верховной Математике, пока они не начинали значить: «Борьба за торжество над разобщением внутри». Не все из того, что он говорил, я понимала — чаще всего при таких разговорах мы были обдолбаны, — но то разобщение, что он, по его утверждениям, во мне видел, я понимала очень хорошо: мне не было ничего легче ухватить, чем мысль о том, что родилась я полуправильной и полунеправильной, да, если только я не думала о своем настоящем отце и моей к нему любви, я это чувство могла засечь в себе вполне легко.

Такие мысли не имели ничего общего с настоящей учебой Рахима, и в ней им не было места: зарабатывал он степень по предпринимательству и гостиничному делу. Но они господствовали в нашем с ним совместном общении, и я понемногу начала ощущать себя под тучами постоянного одергивания. Что бы я ни делала, все было неправильно. У него вызывали отвращение медиа, которые я должна была изучать, — менестрели и танцующие нянюшки, плясуны и хористки; он не видел в этом никакой ценности, пусть даже моей целью была их критика, вся эта тема была для него пустой, продуктом «Еврейского Голливуда», каковой он включал,

скопом, в те лживые десять процентов. Если я пыталась с ним поговорить о чем-то, что писала, — особенно в присутствии его друзей, — он подчеркнуто преуменьшал это или высмеивал. Как-то раз, слишком удолбавшись в компании, я совершила ошибку — попробовала объяснить, что я считаю прекрасным в происхождении чечетки: ирландская команда и африканские рабы отбивают ритм ногами по деревянным палубам судов, делятся движениями, создают гибридную форму искусства, — но Рахим, тоже удолбанный и в жестоком настроении, встал и, поводя глазами и напучив губы, затряс руками, как менестрель, и сказал:

— *Ой, масса, я такой щасливый тут на рабьем судне, что от радости танцую.* — Метнул в меня взгляд и опять сел. Друзья наши усталились в пол. Унижение было сильно: еще много месяцев после от одного воспоминания о том случае щеки у меня начинали пламенеть. Но тогда я его за такое поведение не винила — да и не чувствовала, что как-то меньше люблю его за это: моим инстинктом всегда было отыскивать недостаток в себе. Самым крупным моим недостатком тогда — и по его мнению, и по моему — была моя женскость: не того сорта. По схеме Рахима, женщина предназначена быть «землей», она заземляет мужчину, кто сам по себе — чистая идея, кто «гонит науку», а я, согласно его суждению, была слишком далека от того, где бы мне следовало быть, у корней всего. Я не выращивала растения и не готовила еду, никогда не заговаривала о младенцах или домашних делах и вечно состязалась с Рахимом, где и когда следовало его поддерживать. Романтика мне не давалась: она требовала какой-то личной тайны, состряпать которую я не могла, а в других не любила. Я не умела делать вид, будто у меня на ногах не растут волосы, или что мое тело не извергает из себя мерзкие вещества, или что стопы у меня не плоские, как оладьи. Я не умела флиртовать и не видела во флирте никакого смысла. Я была не прочь наряжаться для посторонних — когда мы ходили на вечеринки нашего колледжа или ездили в Лондон в клубы, — но у нас в комнатах, наедине друг с другом, я не могла быть девочкой, как не могла быть и чьей угодно малышкой, я могла быть лишь человеком женского пола, и секс, какой я понимала, был той разновидностью, что случается между друзьями и ровней, скобками для беседы, словно полка книг между двумя подпорками. Эти глубокие недостатки Рахим возводил к крови моего отца, что текла во мне, как отравы. Но я и сама к этому руку приложила — у себя в уме, слишком напряженно думающем самом по себе. Городской разум, как он это называл, тот, что никогда не знает мира, поскольку нет ему ничего естественного, на что медитировать, лишь конкретика и образы, а также

образы образов, «симулякры», как мы их тогда называли. Города меня развратили, сделали меня мужеподобной. Разве не известно мне, что города выстроены десятую процентами? Что они — намеренный инструмент угнетения? Неестественный хабитат для африканской души? Свидетельства его в поддержку этой теории были сложноваты — подавляемые правительственные заговоры, накарябанные схемы архитектурных планов, малоизвестные цитаты, приписываемые президентам и гражданским вожакам, которым мне приходилось верить на слово, — а порой просты и изобличающи. Известны ли мне названия деревьев? Знаю ли я, как называются цветы? Нет? Но как можно африканцу так жить? Он же знал их все, хотя это из-за того факта — который он не особо стремился афишировать, — что вырос в сельской Англии, сперва в Йоркшире, а затем в Дорсете, в отдаленных деревнях, и всегда был одним таким на своей улице, единственным в своем роде у себя в школе, этот факт я считала гораздо более экзотическим, чем весь его радикализм, весь его мистицизм. Мне очень нравилось, что он знает названия всех графств и как они друг с дружкой граничат, имена рек, куда и как именно они текут к морю, он мог отличить шелковицу от ежевики, подлесок от подростка. Никогда в жизни не ходила я никуда без всякой цели — а теперь да, вместе с ним на прогулки, вдоль голого берега, мимо заброшенных пирсов, а иногда и поглубже в городок, по его брусчатым переулочкам, мы пересекали парк, петляли по кладбищам и проселкам, уходили так далеко, что наконец выбредали в поля и там ложились. На таких долгих прогулках он не забывал ни о чем, что не давало ему покоя. Обрамлял своими заботами все, что мы видели, — да так, что я диву давалась. Георгианское великолепие полумесяца домов, стоявших лицом к морю с белыми, как сахар, фасадами — они тоже, пояснял он, оплачены сахаром, выстроены плантатором с острова наших предков, где мы никогда не бывали. А церковный дворик, где мы иногда собирались по ночам покурить, выпить и полежать на травке, — там выходила замуж Сара Форбз Бонетта^[147]: эту историю он пересказывал всякий раз с таким пылом, что складывалось впечатление, будто он сам на ней женился. Я ложилась с ним на чахлую кладбищенскую траву и слушала. Маленькая семилетняя девочка из Западной Африки, высокого рождения, но попала в племенную войну, и ее похитили дагомейские налетчики. У нее на глазах убили родственников, но впоследствии ее «спас» — Рахим ставил это слово в кавычки из пальцев — английский капитан, убедивший царя Дагомеи подарить ее королеве Виктории. «Подарок Царя Черных Королеве Белых». Капитан назвал ее Бонетта в честь собственного судна, и когда они достигли Англии, он

осознал, до чего умненькая эта девочка, как необычайно смышлена она и сообразительна, такая же сметливая, как любая белая девочка, и когда королева с ней познакомилась, она тоже все это увидела и решила воспитать Сару как собственную крестницу, выдать ее замуж много лет спустя, когда подрастет, за богатого купца-йоруба. В этой самой церкви, сказал Рахим, это случилось вот в этой самой церкви. Я приподнялась на локтях в траве и оглядела церковь — такую скромную, с простыми амбразурами и крепкой красной дверью.

— И в процессии участвовали восемь черных подружек невесты, — сказал он, прочерчивая их путь от ворот к церковной двери кончиком своего тлеющего косяка. — Вообрази! Восемь черных и восемь белых, и африканские мужчины шли вместе с белыми девушками, а белые мужчины — с африканскими девушками. — Даже во тьме я все это видела своими глазами. Карету везла дюжина серых лошадей, великолепные кружева слоновой кости на свадебном платье и огромная толпа, собравшаяся посмотреть на это зрелище, вываливает из церкви на лужайку и вплоть до покойницкой, взбирается на низкие каменные стены и свисает с деревьев, лишь бы углядеть ее хоть одним глазком.

Я думаю о том, как тогда Рахим собирал все эти данные: в публичных библиотеках, в архиве колледжа, упорно читал старые газеты, изучал микрофиши, шел по сноскам. А следом я думаю о нем теперешнем — в эпоху интернета, до чего, должно быть, счастлив он был бы — ну или насколько бы в нем утонул, до полного безумия. Теперь я могу за один миг отыскать, как звали того капитана, — и тем же щелчком узнать, что сам он думал о девочке, которую подарил королеве. «После приезда в страну она добилась значительных успехов в изучении английского языка и проявляет великий музыкальный талант и разумность необычайного порядка. Волосы у нее короткие, черны и вьются, сильно тем самым указывая на ее африканское рождение; черты же ее приятны глазу и красивы, манеры и поведение кротки и нежны ко всем вокруг». Я теперь знаю, что йорубское имя ее было Айна, что означает «трудное рождение», — такое имя даешь ребенку, который рождается с пуповиной, обмотавшей шею. Я могу посмотреть снимок Айны в викторианском корсете с высокой шеей, лицо замкнуто, тело совершенно покойно. Помню, у Ракима был рефрен: он всегда гордо провозглашал, обнажая зубы:

— У нас свои цари! У нас свои царицы! — Я обычно кивала на это, чтобы не рушить мира, хотя вообще-то что-то во мне протестовало. Почему считал он таким важным, чтоб я знала, что Бетховен посвятил сонату

скрипачу-мулату, или что смуглая леди Шекспира была на самом деле чернокожей^[148], или что королева Виктория соизволила вырастить африканское дитя, «сметливое, как любая белая девочка»? Я не желала полагаться на то, что каждый факт в Европе имеет свою африканскую тень, как будто без подпорок европейского факта все африканское у меня в руках рассыплется прахом. Мне не доставляло удовольствия видеть эту девушку с милым личиком, одетую, как кто-нибудь из собственных детей Виктории, замершую на формальном фотоснимке с новой пуповиной, обмотавшей шею. Мне всегда хотелось жизни — движения.

Однажды медленным воскресеньем Рахим выдул изо рта дым и заговорил о том, чтобы сходить посмотреть «настоящее кино». Фильм был французский, показывали его в тот же день в кинообществе колледжа, и за утро мы неуклонно порвали листовку с его рекламой — пустили гляцевую бумажку на множество мелких косяков. Но все равно еще можно было различить на картинке лицо смуглой девушки в синей косынке, у которой, как утверждал теперь Рахим, было что-то от моих черт — или у меня от ее. Она смотрела прямо на меня тем, что осталось от ее левого глаза. Мы потащились через весь студгородок к мультимедийному залу и уселись на неудобных складных стульях. Начался фильм. Но с туманом у меня в голове было довольно сложно понимать, что это я смотрю: казалось, фильм состоит из множества мелких фрагментов, словно витражное стекло, и я не соображала, какие части важны или на каких сценах Рахим хотел, чтобы я сосредоточилась, хотя, может, все в зале чувствовали себя так же, возможно, сам фильм отчасти так воздействовал, что каждый зритель видел в нем что-то свое. Не могу сказать, что видел Рахим. Я видела племена. Множество разных племен, со всех концов света, они действовали по внутренним правилам своих групп, а потом монтировались все вместе сложным узором, в котором, судя по всему, всякий момент присутствовала своя причудливая логика. Я видела японских девушек в традиционных костюмах — они танцевали строем, производя странные хип-хоповые движения на своих высоких *гэта*. Кабовердийцы с изумительным, вневременным терпением ожидали катера, который то ли придет, то ли нет. Я видела белых и светловолосых детишек, шедших по иначе совершенно безлюдной дороге в Исландии, в городке, выкрашенном в черный вулканическим пеплом. Я слышала, как наложенный сверху бестелесный женский голос комментирует все эти изображения: она противопоставляла африканское время времени Европы и тому времени, что переживается в Азии. Она говорила, что сто лет назад человечество столкнулось с

вопросом пространства, но проблемой в XX веке стало одновременное существование различных представлений о времени. Я перевела взгляд на Ракима: он в темноте делал у себя какие-то пометки, обдолбанный безнадежно. Дошло уже до того, что сами изображения стали для него чересчур — он мог лишь слушать женский голос и что-то записывать, все быстрее и быстрее по ходу фильма, пока у себя в блокноте не записал половину его сценария^[149].

Для меня у фильма не было ни начала, ни конца, и ощущение это не было неприятным — просто таинственным, как будто само время расширилось, чтобы уступить место этому нескончаемому параду племен. Он все длился и длился, отказываясь завершаться, в нем были части, которые, признаюсь, я проспала — и резко просыпалась, когда подбородок упирался мне в грудь: тогда вскидывала голову и оказывалась один на один с причудливым образом — храмом, посвященным кошкам, Джимми Стюартом, который гонится по винтовой лестнице за Ким Новак^[150]: все эти образы казались еще более чуждыми оттого, что я не следила за тем, что было прежде, и не знала, что последует потом. И в один из таких промежутков ясности между пробуждением и засыпанием я снова услышала тот же бестелесный голос, говоривший о, по сути, неуничтожимости женщин и об отношении мужчин к ней. Ибо это дело мужчин, сказал голос, не давать женщинам осуществить собственную неуничтожимость — как можно дольше. Всякий раз, когда я просыпалась, вздрогнув, я ощущала раздражение Ракима, его нужду меня одернуть, — и начинала бояться заключительных титров, я могла в точности вообразить мощь и длительность нашего спора, что за ними последует в тот же опасный миг, когда мы выйдем из кино, вернемся к нему в комнату и удалимся от всех свидетелей. Мне хотелось, чтобы этот фильм никогда не кончался.

Несколько дней спустя я бросила Ракима — трусливо, письмом, подsunутым ему под дверь. В письме я винила только себя и надеялась, что мы останемся друзьями, но он прислал мне ответное письмо — жуткими красными чернилами, где ставил меня в известность: он знал, что я отношусь к десяти процентам, и отныне он станет держаться со мной настороже. Слово свое он сдержал. Весь остаток моей жизни в колледже при виде меня он разворачивался и сбегал, переходил на другую сторону улицы, если замечал меня в городе, исчезал из любой аудитории, куда бы я ни зашла. Два года спустя на выпуске через весь зал к моей матери

подбежала белая женщина, схватила ее за рукав и сказала:

— Я так и *думала*, что это вы — вы вдохновляете наших молодых людей, честное слово, — но я так рада, что с вами познакомилась! А это мой сын. — Мать повернулась, уже сложив лицо в то выражение, какое я к тому времени хорошо изучила: нежная снисходительность пополам с гордостью — такое она теперь часто показывала по телевизору, когда б ни позвали ее туда «выступить от лица тех, у кого нет голоса». Она протянула руку поздороваться с сыном этой белой женщины, который поначалу не желал высовываться из-за материной спины, а когда высунулся — смотрел в пол, и тощие дреды падали ему на лицо, хотя я тут же узнала его по «всезвездным» «конверсам», видневшимся из-под выпускной мантии.

В пятую свою поездку я отправилась одна. Прошла прямо через весь аэропорт, в жару снаружи, ощущая в себе достославную осведомленность. И слева от меня, и справа — потерянные и настороженные: пляжные туристы, евангелисты в мешковатых футболках и ужасно серьезные немецкие антропологи. Никакой представитель меня к машине не повел. Я не ожидала никакой «остальной группы». Монетки для калек на парковке я приготовила, плата за проезд уже отложена в задний карман джинсов, наготове с полдюжины фраз. «Накам! Джамун гам? Джама рек!»^[151] Хаки и жатый лен давно исчезли. Черные джинсы, черная шелковая блузка и большие золотые обручи в ушах. Я верила, что овладела местным временем. Знала, сколько нужно, чтобы добраться до парома и в какое время дня, поэтому, когда мое такси подрулило к сходням, сотни людей уже за меня дождались, и мне нужно было лишь выбраться из машины и взойти на борт. Судно качнулось прочь от берега. На верхней палубе от качки меня мотнуло вперед, через два ряда людей к самым поручням, и я была счастлива там оказаться, как будто кто-то внезапно толкнул меня в объятия к возлюбленному. Я смотрела сверху на жизнь и движение внизу: люди толкались, куры квохтали, в пене прыгали дельфины, в нашем кильватере мотало узкие баржи, вдоль берега носились оголодавшие собаки. Там и сям замечала я *таблигов* — я их теперь узнавала: на лодыжках хлопают короткие штанины, потому что будь они длиннее — пачкались бы, а на молитвы нечистых ответа не поступает, поэтому все заканчивается тем, что палишь ноги в аду. Но помимо одеянья их еще выделяла неподвижность. Во всей этой суете они, казалось, поставлены на паузу — либо читали молитвенники, либо молча сидели, часто — закрыв подведенные сурьмой глаза, а в испятнанных хной бородах гнездилась блаженная улыбка, такие мирные по сравнению с нами всеми. Грезили, возможно, о своем чистом и современном *имане*^[152] — о маленьких нуклеарных семьях, что поклоняются Аллаху в скромных квартирках, о хвалах без волшбы, о прямом доступе к Богу без местных посредников, о дезинфицированных больничных обрезаниях, младенцах, рождающихся без всяких праздничных танцев, женщинах, кому и в голову не приходит сочетать ярко-розовый хиджаб с лаймово-зеленым мини-платьем из лайкры. Мне было интересно, до чего трудно, должно быть, поддерживать такую грезу — прямо сейчас, на этом пароме, где вокруг разворачивается непослушная

повседневная жизнь.

Я устроилась на скамье. Слева сидел один из таких вот духовных юнцов: глаза закрыты, к груди прижимал сложенный молитвенный коврик. По другую сторону от меня расположилась гламурная девушка с двумя комплектами бровей — одна пара странным манером нарисована над ее собственными: девушка подбрасывала в руках пакетик кешью. Я задумалась о месяцах, что отделяли мою первую поездку на пароме от этой. Иллюминированная Академия для Девочек — которую мы для удобства и чтоб никому не стыдно было такое произносить за спиной у Эйми сократили до ИАД — пережила свой первый год. Она процветала — если измерять успех в дюймах газетных колонок. Для всех же нас это было периодическое испытание — напряженное, если случалось посреди гастролей, — или какой-нибудь кризис приводил осажденного со всех сторон директора школы в наши комнаты для совещаний в Лондоне или Нью-Йорке посредством хлипкой видеоконференции. Во все остальное время — странно далекое предприятие. Мне часто выпадал повод вспомнить Грейнджера в Хитроу, ночью нашего первого возвращения — он обнял меня за плечи, пока мы стояли в очереди к таможне:

— Все вот это теперь выглядит для меня нереальным! Что-то изменилось. После того, что я повидал, не может оставаться тем же самым! — Но через несколько дней он был таким же, как обычно, все мы вернулись к самим себе: оставляли воду течь из кранов, бросали пластиковые бутылки после нескольких глотков, покупали себе пару джинсов за ту сумму, которую стажер-учитель получает за год. Если Лондон был мним, если мним был Нью-Йорк, то это мощные сценические представления: как только мы в них вернулись, они нам не только показались всамделишными — они стали *единственной возможной действительностью*, и решения, принимаемые здесь насчет деревни, всегда, похоже, обладали некоторой достоверностью, пока мы их обсуждали, и лишь потом, когда кто-нибудь из нас туда действительно возвращался и пересекал реку, становилась ясна их потенциальная нелепость. Четыре месяца назад, к примеру, в Нью-Йорке казалось важным обучать этих детишек — а также их учителей — теории эволюции: многие даже не слышали фамилию Дарвин. В самой же деревне это больше не казалось приоритетом, когда мы туда приехали в разгар сезона дождей и обнаружили, что у трети учеников малярия, в классной комнате обвалилась половина потолка, контракт на туалет не выполнен, а электропроводка от солнечных батарей проржавела и испортилась. Но самой большой неувязкой у нас, как и предсказывал Ферн, были вовсе не наши

педагогические иллюзии, а нестойкая природа внимания Эйми. Ее новым увлечением стала технология. Она принялась проводить много светского времени с блистательными молодыми людьми из Кремниевой долины, и ей нравилось числить себя в их племени, «по сути — нёрдом». Она стала очень отзывчива на их виденье мира, преобразованного — спасенного — технологией. При первом нахлыве этого нового своего интереса она отнюдь не забросила ИАД или сокращение нищеты — напротив, она скорее прилепнула свежее увлечение к старым, с несколько тревожными результатами («Каждой из этих чертовых девчонок дадим по ноутбуку — вот *они* и станут для них тетрадками для упражнений, *вот* будет их библиотека, их учитель, их всё!»). Что Ферну затем предстояло вмаассировать в какое-то подобие действительности. Он оставался «в окопах» не просто на недели, но на целые сезоны, отчасти — из нежности к деревне и собственной приверженности своей роли в ней, но еще и, насколько я знала, чтобы работать с Эйми не ближе его предпочитаемого расстояния в четыре тысячи миль. Он видел то, чего не видел больше никто. Отмечал растущее неприятие мальчиков, которых оставили гнить в старой школе, которая — хоть Эйми время от времени и орошала ее деньгами — теперь была едва ли чем-то лучше городка-призрака, где дети сидели и ждали учителей, которым не платили так долго, что они перестали ходить на работу. Правительство же, похоже, удалилось из деревни полностью: многие другие некогда хорошо — ну, или сносно — работавшие службы теперь жестоко зачахли. Поликлинику так больше и не открыли, громадная выбоина в дороге у самого въезда в деревню осталась расползаться кратером. На сообщения итальянского природоохранника об опасном уровне пестицидов в грунтовых водах не обращали внимания, сколько бы раз Ферн ни пытался предупредить соответствующие министерства. Вероятно, такое все равно бы произошло. Но трудно было избежать подозрения, что деревню наказывают за ее связь с Эйми — или же намеренно пренебрегают ею в расчете, что деньги Эйми притекут и заполнят провал.

Одну беду невозможно было обнаружить в письменном виде ни в одном из отчетов, но мы с Ферном остро ее сознавали, хоть и с разных концов. Ни он, ни я больше не утруждались обсуждать ее с Эйми. («Но что, если я его люблю?» — таков был у нее единственный ответ, когда мы объединили наши усилия в конференц-звонке, попытавшись вмешаться.) Вместо этого мы ее обруливали, обмениваясь информацией, как два частных сыщика, работающие по одному делу. Вероятно, я первой заметила это в Лондоне. То и дело заходила и заставляла ее за обмен какими-нибудь

милыми пустячками — у компьютера, по телефону, которые вечно закрывались или выключались, стоило мне войти куда угодно. Потом робеть она перестала. Когда он сдал анализ на СПИД, который она заставила его сдать, она так радовалась, что рассказала об этом мне. Я уже привыкла видеть бестелесную голову Ламина в уголке — она мне улыбалась, в потоковом видео живьем из, как я подразумевала, единственного интернет-кафе в Барре. Он там завтракал по утрам с детишками и махал им на прощанье, когда приходили их наставники. Он возникал за ужином, словно еще один гость за столом. Его начали включать в совещания — смехотворно «творческой» разновидности («Лам, что ты думаешь об этом корсете?»), но также и в серьезные встречи с бухгалтерами, с управляющим, с пиарщиками. С конца Ферна ситуация выглядела менее тошнотворно романтической, более конкретной: на участке Ламина возникла новая парадная дверь, затем туалет, затем внутренние перегородки, затем новая черепичная крыша. Это не осталось незамеченным. Последние неприятности доставил телевизор с плоским экраном.

— Ал Кало во вторник собрал сходку, — уведомил меня Ферн, когда я позвонила ему сообщить, что самолет взлетает. — Ламин уехал в Дакар, родню навестить. Собралась в основном молодежь. Все были очень расстроены. Все свелось к долгому обсуждению, как и когда Ламин вступил в Иллюминаты...

Я как раз писала эсэмэску Ферну — сообщить свое последнее местонахождение, — когда услышала какую-то суматоху по другую сторону машинного отделения, подняла голову и увидела, как раздвигаются тела, движутся к трапу, чтобы избежать худосочного бьющегося человечка: его стало теперь видно, он орал и размахивал костлявыми ручками, чем-то, очевидно, сильно раздосадованный. Я повернулась к человеку слева — его лицо оставалось безмятежным, глаза закрыты. Дама справа воздела обе пары своих бровей и сказала:

— Пьяный, ох ты ж. — Появились два солдата и в тот же миг навалились на него, схватили за обе исступленные руки и попробовали заставить сесть на лавку невдалеке от нас, но едва его тощие ягодички касались сиденья, он подскакивал, как будто дерево горело, и потому их план изменился: теперь они потащили его ко входу в машинное отделение прямо напротив меня и попытались втолкнуть в небольшую дверцу и вниз по темной лесенке, туда, где его больше не будет видно. К этому времени я уже поняла, что он эпилептик — заметила пену, выступившую в уголках его рта, — и поначалу думала, что как раз этого они не понимают. Его

выкручивали из футболки, а я кричала:

— Эпилептик! У него эпилепсия! — Покуда мне не объяснили четыре брови:

— Сестренка, они это знают. — Они знали, но арсенала движений поделikatнее у них не имелось. Они были из тех солдат, кого обучают только жестокости. Чем больше человек этот бился в судорогах, тем больше у него шла изо рта пена, тем больше он приводил их в ярость, и после короткой борьбы в дверях, где судорогой его скрутило так, что конечности выпрямились, как у малыша, не желающего сдвигаться с места, они пинком сбросили его с лестницы и закрыли за собой дверь. Мы услышали шум борьбы, затем ужасные крики, тупые удары. Затем тишина.

— Что вы делаете с этим беднягой? — крикнула четырехбровая рядом со мной, но, когда дверь открылась вновь, она опустила взгляд и вернулась к своим орешкам, а я не сказала ничего из того, что собиралась, толпа расступилась, и солдаты сошли по трапу в целости и сохранности. Мы были слабы, они — сильны, и какая сила бы ни потребовалась в посредники между слабыми и сильными, ее здесь не оказалось — ни на пароме, ни в стране. Лишь когда солдаты скрылись из виду, *таблиг*, сидевший рядом со мной, — и еще двое соседей — вошел в машинное отделение, они извлекли оттуда эпилептика и вынесли его на свет. *Таблиг* нежно возложил его себе на колени — напоминало пьету. Глаза ему разбили, и они кровоточили, но он был жив и спокоен. Ему расчистили часть скамьи, и весь остальной переход он лежал там, голый по пояс, и тихонько стонал, покуда мы не подошли к причалу, а там встал, как любой другой пассажир, спустился по трапу и влился в орды, направлявшиеся в Барру.

Как же счастлива была я видеть Хаву, по-настоящему счастлива! Когда я пнула входную дверь, стояло время обеда — а также сезон кешью: все устроились кружками по пять-шесть человек, сидели на корточках вокруг больших мисок с орехами, почерневшими от огня, — их теперь требовалось освободить из горелой скорлупы и разложить по нескольким ведеркам вырвиглазных раскрасок. Этим могли заниматься даже маленькие дети, поэтому собрали всех, даже Ферн пришел, и над ним посмеивалась Хава — за относительно небольшую горку скорлупы перед ним.

— Поглядите-ка на нее! Ты же вылитая мисс Бейонсе! Ну, надеюсь, у тебя ногти не чересчур шикарные, дамочка моя, потому что тебе придется показать этому бедному Ферну, как такое делается. Даже у Мохаммеда кучка больше, а ему всего три годика! — Я сбросила свой единственный

рюкзак у дверей — также за это время я научилась паковать вещи, — и подошла обняться с Хавой, подпереться за ее крепкую узкую спину. — Ребенка еще нет? — прошептала она мне на ухо, и я прошептала ей в ответ то же самое, и мы обнялись еще крепче и посмеялись друг дружке в шею. Мне было очень удивительно, что у нас с Хавой обнаружилась в этом связь — меж разными континентами и культурами, но уж вот так. Поскольку так же, как в Лондоне и Нью-Йорке мир Эйми — и, следовательно, мой — извергся младенцами, и ее, и ее друзей, иметь с ними дело и разговаривать о них так, что ничего другого, помимо деторождения, словно бы не существует, и не просто в частном мире: все газеты, телевидение, случайные песни по радио, казалось — мне, — одержимы темой плодородия вообще и плодовитости женщин вроде меня в частности, — точно так же и на Хаву давила деревня, поскольку время шло, и люди уразумели, что полицейский из Банджула — всего-навсего уловка, а сама Хава — девушка новой разновидности, быть может, необрезанная, явно не замужем, детей нет, как нет и ближайших планов их завести. «Ребенка еще нет?» стало нашей скорописью и нашим крылатым выражением для всего этого, нашего общего с ней положения, и фраза эта казалась самой смешной на свете, когда мы ею обменивались, мы хихикали и стонали над ней, и лишь изредка мне приходило в голову — и лишь когда я возвращалась в свой собственный мир, — что мне тридцать два, а Хава на десять лет меня младше.

Ферн поднялся над своим ореховым бедствием и вытер пепел с рук о штаны:

— Она вернулась!

Нам тут же принесли обед. Ели мы в углу двора, тарелки — на коленях, оба до того проголодались, что не обращали внимания на то, что больше никто себе обеденный перерыв от чистки орехов не устроил.

— Выглядишь очень хорошо, — сказал Ферн, сияя мне. — Очень счастливой.

Жестяная дверь в глубине участка стояла настежь, открывая нам вид на земельный надел семьи Хавы. Несколько акров лиловатых деревьев кешью, бледно-желтые кусты и опаленные черные кочки золы, отмечавшие места, где Хава с бабушками раз в месяц устраивали громадные погребальные костры из хозяйственных отходов и пластика. Отчего-то вид был одновременно и цветущим, и опустошенным — и для меня в этой смеси прекрасным. Я поняла, что Ферн прав: это место, в котором я счастлива. В тридцать два года с четвертью я наконец ушла в академ.

— Но что такое «академ»?

— О, это когда ты молод, бросаешь учебу и проводишь год в какой-нибудь далекой стране, учишься, как у них там все устроено, общаешься с... общиной. Мы такой себе никогда позволить не могли.

— Твоя семья?

— Ну, да, но — я думала конкретно о себе и своей подружке Трейси. Мы, бывало, просто смотрели, как люди вот так уезжают, а когда они возвращались — чморили их.

Я рассмеялась от воспоминания.

— «Чморили»? Это что?

— О, мы их называли «туристами нищеты»... Знаешь, такие студенты, что возвращаются из академа в дурацких этнических штанах и с африканскими статуэтками «ручной работы» с бешеными ценниками, какие массово производятся на какой-нибудь фабрике в Кении... Мы раньше считали их такими идиотами.

Но, может, и сам Ферн был среди тех оптимистичных юных хипарей-путешественников. Он вздохнул и поднял уже пустую миску с пола, чтобы спасти ее от любопытного козла.

— Какими циничными молодыми людьми вы были... со своей подружкой Трейси.

Чистка орехов длилась до глубокой ночи. Чтобы не помогать им, я вызвалась прогуляться до колодца под хилым предлогом набрать нам воды для утреннего душа, и Ферн, обычно такой сознательный, удивил меня, согласившись. По пути он рассказал историю о том, как навещал Мусу, двоюродного брата Хавы, — проверить, как самочувствие их новорожденного. Дойдя до их дома — маленького, очень примитивного жилища, которое Муса выстроил себе на окраине деревни, Мусу он обнаружил в одиночестве. Жена и дети отправились повидать ее мать.

— Он меня пригласил, ему было немного одиноко, думаю. Я заметил, что у него маленький телевизор с подсоединенным видеомagneтофоном. Я удивился — он же всегда был такой скаредный, как все *машала*, но он сказал, что это ему оставила женщина из Корпуса мира, возвращавшаяся в Штаты. Он очень рьяно известил меня, что никогда не смотрит никаких голливудских фильмов^[153], никаких теленовелл, ничего такого — уже не смотрит. Только «чистое кино». Хочу ли я взглянуть? Я сказал, ну да. Мы сели, и я через минуту понимаю — это тренировочное видео из Афганистана, мальчишки, все в черном, делают обратные сальто с «калашами»... Я ему говорю: «Муса? Ты понимаешь, о чем говорится в этом видео?» Потому что по-арабски там трещат нескончаемо, можешь себе представить, и я вижу, что он не понимает ни слова. А он мне, эдак

мечтательно: «Обожаю, как они прыгают!» Мне кажется, для него все это — просто запись красивых танцев. Радикальные исламские танцы на видео! Он мне сказал: «Как они движутся — мне от этого хочется внутри быть еще чище». Бедный Муса. В общем, я подумал, тебя это повеселит. Я же знаю, ты интересуешься танцами, — добавил он, когда я не рассмеялась.

Первое в своей жизни электронное письмо я получила от матери. Она отправила его из компьютерной лаборатории в подвале Университетского колледжа Лондона, где она принимала участие в публичных дебатах, а я получила его у себя в библиотеке колледжа. Содержало оно только стихотворение Лэнгстона Хьюза: она заставила меня прочесть его целиком, когда позже в тот вечер я ей позвонила, — доказать, что оно пришло. «Пока ночь крадется — черна, как я сам»^[154]. У нас был первый выпуск, кому дали адреса электронной почты, и моя мать, кого всегда живо интересовало новое, приобрела битый старый «Компак», к которому подключила марзматический модем. Вместе с нею мы вступили в это новое пространство, теперь открывшееся между людьми, — вступили в связь без точно определенных начала и конца, что всегда была потенциально открыта, и мать была одною из первых моих знакомых, кто это понимал и эксплуатировал на всю катушку. Большинство электронных писем, пересылавшихся в середине 90-х, было длинно и похоже на настоящие письма: они начинались и заканчивались традиционными приветствиями — теми же, какими мы до этого пользовались на бумаге, — и в них, как правило, пылко описывалось окружающее, словно новая среда превратила всех в писателей. («Я печатаю это у самого окна, глядя на сине-серое море, над которым три чайки ныряют в воду».) Но мать никогда таких писем не посылала — она сразу сообразила, что тут к чему, и не прошло и нескольких недель после того, как я окончила колледж — но до сих пор оставалась у сине-серого моря, — как она начала слать мне по множеству двух-трехстрочных сообщений в день, как правило — без знаков препинания, и всегда возникало ощущение, что писала она это с огромной скоростью. У всех был один и тот же заголовок: когда ты намерена вернуться? Она не старый наш жилмассив имела в виду — оттуда она переехала за много лет до этого. Теперь она обитала в прелестной квартире в цокольном этаже в Хэмпстеде, с мужчиной, которого мы с отцом привыкли звать «Известный Активист» — после привычных материнских пояснений в скобках («Я пишу с ним вместе доклад, он известный активист, вероятно, вы о нем слышали?») «Он чудесный, чудесный человек, мы с ним очень близки, и он, конечно, известный активист»). Известный Активист был симпатичным пригожим выходцем с Тринидада, с индейскими корнями, носил прусскую бородку и копну зачесанных назад

волос, зрелищно уложенных на макушке так, чтобы лучше подчеркивать единственную седую прядь. Мать познакомилась с ним на антиядерной конференции двумя годами раньше. Ходила с ним на марши, писала о нем работы — а затем и с ним вместе, — после чего перешла к тому, чтобы с ним выпивать, ужинать, спать, а теперь вот к нему и переехала. Их вместе часто фотографировали меж львов на Трафальгарской площади: один за другим они произносили там речи, как Сартр и Бовуар, только гораздо симпатичней, — и теперь, когда бы Известного Активиста ни призывали выступить от имени тех, у кого нет голоса, на демонстрациях или конференциях, чаще всего рядом оказывалась моя мать — в роли «местного советника и народного активиста». Вместе они жили уже год. За это время мать моя стала несколько знаменита. Превратилась в одну из тех, кому может позвонить выпускающий продюсер радиопрограммы и попросить поднажать в каких-нибудь дебатах с левизной, что назначены на этот день. Не первое имя в списке, быть может, но, если президент Студенческого союза, редактор «Нового левого обозрения»^[155] или представитель Антирасистского альянса в этот день случайно заняты, на мою мать и Известного Активиста почти всегда можно было рассчитывать.

Я правда пыталась радоваться за нее. Я знала: этого она хотела всегда. Но ведь трудно, когда сам неприкаянный, радоваться за других, а кроме того, я переживала за отца и жалела себя. Мысль о том, чтобы вновь съехаться с матерью, казалось, отменяет все, чего я достигла за предыдущие три года. Но на свой студенческий заем жить я больше не могла. Отчаявшись, собирая по комнате вещи, перелистывая свои теперь уже бессмысленные сочинения, я смотрела в окно на море и чувствовала, будто просыпаюсь — именно этим и стал для меня весь колледж, сном, отнесенным очень далеко от действительности — ну, или, по крайней мере, от моей действительности. Едва я вернула взятую напрокат академическую шапочку, как детки, поначалу казавшиеся не слишком отличными от меня, принялись объявлять, что уезжают в Лондон прямо сейчас, иногда — в мой район или в другие такие же: они их обсуждали в понятиях безрассудной отваги, словно речь шла о диких фронтах, какие предстояло покорять. Уезжали они с депозитами в руках — на съем квартир или даже домов, — устраивались на неоплачиваемые стажировки или подавали заявления на работу, где собеседования с ними проводил старый университетский кореш их папаша. У меня же не было ни плана, ни депозита, и никто не собирался умереть и оставить мне наследство: вся наша родня была беднее нас. Разве не были мы средним классом — в надеждах своих и на практике? И, быть может, для матери моей эта мечта была правдой, и лишь греза об этом, она

чувствовала, что мечта сбывается. Но вот теперь я проснулась, зрение мое очистилось: некоторые факты неопровержимы, неизбежны. Как бы я на все это ни смотрела, к примеру, те восемьдесят девять фунтов на моем текущем счете были всеми деньгами, что имелись у меня на белом свете. Я питалась тушеной фасолью на тостах и, разослав пару десятков заявлений на работу, ждала.

Оставшись одна в городке, откуда все уже разъехались, я обрела слишком много времени для тяжелых раздумий. На свою мать я взглянула под новым, более кислым углом. Феминистка, которую всегда содержали мужчины — сперва мой отец, затем Известный Активист, — и кто, хоть вечно пилила меня «благородством труда», никогда, насколько мне было известно, не нанималась на работу. Она трудилась «ради людей» — никакой зарплаты ей не платили. Я беспокоилась: то же самое, более-менее, может оказаться правдой и для Известного Активиста, сочинившего, казалось, множество памфлетов, но ни одной книги он не выпустил, и официальной университетской должности у него не было. Сложить все свои яйца в корзинку к такому человеку, отказаться от нашей квартиры — единственной гарантии, что у нас когда-либо была, — и поехать жить к нему в Хэмпстед ровно той буржуазной фантазии, какую она всегда презирала, казалось мне и вероломным идеологически, и безрассудным. Каждый вечер я ходила на набережную звонить из жуликоватого телефона-автомата, считавшего двухпенсовые монеты десятипенсовыми, и вела с нею множество раздраженных бесед об этом. Но раздражена обычно бывала только я — мать моя была влюблена и счастлива, ее переполняла нежность ко мне, хотя от этого только труднее было подловить ее на практических мелочах. Любая попытка коснуться точного финансового положения Известного Активиста, к примеру, провоцировала уклончивые ответы или смену темы. Счастлива обсуждать она была только одну — его четырехкомнатную квартиру, куда она хотела подселить и меня, купленную в 1969 году за двадцать тысяч фунтов на деньги по завещанию покойного дядюшки, а теперь стоящую «хорошо за миллион». Этот факт, несмотря на ее марксистские уклоны, очевидно, сообщал ей громадное наслаждение и довольство.

— Но, мам, — он же не собирается ее продавать, а? Значит, это не имеет значения. Она ничего не стоит, покуда вы, голубки, в ней живете.

— Послушай, а чего бы тебе просто не сесть на поезд и не приехать к нам поужинать? Когда ты с ним познакомишься, ты его полюбишь — этого человека любят все. Тебе много о чем будет с ним поговорить. Он был знаком с Малкольмом Иксом!^[156] Он известный активист...

Но, как и множество людей, чьим родом занятий была переделка мира, при личном знакомстве он оказался возмутительно мелочен. При нашей первой с ним встрече господствовала не политическая или философская дискуссия, а долгая тирада против его ближайшего соседа, собрата-карибца, который, в отличие от нашего хозяина, был зажиточен, много раз публиковался, располагал должностью в американском университете, владел целым зданием и в данный момент возводил «какую-то блядскую беседку» в глубине своего сада. Она бы слегка загораживала Известному Активисту вид на Хит, и после ужина, когда июньское солнце наконец закатилось, мы взяли бутылку «Рея-и-Племянника»^[157] и из солидарности вышли в сад злобно попятиться на эту недостроенную штуку. Мать и Известный Активист уселись за чугунный столик и медленно свернули и выкурили весьма скверно сконструированный кропаль. Я перепила рома. В какой-то момент настроение стало медитативным, и все мы глазели на пруды, а за прудами — на сам Хит, где меж тем зажигались викторианские фонари, и пейзаж лишался всего, кроме уток и людей авантюрного склада. От фонарей трава становилась чистилищно оранжевой.

— Вообрази двух островных ребятишек вроде нас, босоногих ребят из ниоткуда — очутившихся вот здесь... — пробормотала мать, и они взялись за руки и прижались друг к дружке лбами, а я, глядя на них, почувствовала, что хоть они и нелепы, насколько нелепее их я сама, взрослая женщина, которую возмущает другая взрослая женщина, сделавшая в конечном счете для меня столько всего, столько всего сделавшая для себя и, да, для своего народа, и все это, как она справедливо отмечала, вообще из ничего. Жалела ли я себя от того, что у меня нет приданого? И когда я оторвала взгляд от косяка, который как раз сворачивала, мне показалось: мать прочла, что у меня на уме. Но разве ты не понимаешь, как невероятно тебе повезло, произнесла она, — ты живешь в такое время? Такие, как мы, — мы не можем ностальгировать. У нас в прошлом нет дома. Ностальгия — роскошь. Для нашего народа есть одно время — сейчас!

Я прикурила косяк, налила себе еще с палец рому и слушала, склонив голову, а утки кричали, мать произносила речи, покуда не стало поздно, и ее возлюбленный не погладил ее мягко по щеке, а я поняла, что мне пора спешить на последний поезд.

В конце июля я переехала в Лондон — но не к матери, а к отцу. Я вызвалась спать в гостиной, но он об этом и слышать не хотел — сказал, что, если я буду ночевать там, от шума, который он поднимает, спозаранку уходя на работу, стану просыпаться, и я быстро согласилась с такой

логикой и позволила ему укладываться на диване. В ответ же я чувствовала, что мне лучше бы побыстрее найти работу: уж отец мой на *самом* деле верил в благородство труда, он на него всю свою жизнь поставил, и мне стыдно было бездельничать. Иногда, не в силах опять заснуть после того, как он украдкой выберется из дому, я садилась на кровати и думала обо всей этой работе — и отцовой, и его родни, уходившей в прошлое на много поколений. Труд без образования, труд обычно без навыков или умений, какой-то — честный, а какой-то — жульнический, но весь он так или иначе подводил к моему нынешнему состоянию лени. Когда я была еще маленькой, лет в восемь-девять, отец показал мне свидетельство о рождении своего отца и те профессии, которые там указали его родители: кипятильщица тряпья и резчик тряпья, — и это, как мне дано было понять, служило доказательством, что его племя всегда определялось трудом, желали они того или нет. Важность труда была взглядом, какого отец придерживался так же крепко, как моя мать держалась убеждения, что значимы лишь определения культуры и цвета. Наш народ, наш народ. Я думала о том, с какой готовностью мы все пользуемся этим выражением, несколькими неделями раньше, тем чудесным июньским вечером у Известного Активиста, когда мы сидели, пили ром, любовались семействами толстых уток: головы их подвернуты внутрь, клювы угнездились в перьях их собственных тел, они сидели вдоль берега ручья. Наш народ! Наш народ! И теперь, лежа в затхлой отцовой постели, я вертела эту фразу в голове — больше нечего было делать, — и она мне напоминала сливающееся кряканье и гомон птиц, что вновь и вновь повторяли одно и то же причудливое посланье, доставляемое из их клювов им в собственные перья: «Я утка! Я утка!»

Четыре

Выйдя из лесной маршрутки — после многомесячного отсутствия, — я заметила Ферна: он стоял у дороги, очевидно — ждал меня, вовремя, словно бы здесь автобус приходил по расписанию. Я была счастлива его видеть. Но оказалось, что он не в настроении для приветствий или любезностей — просто подстроил свой шаг к моему и тут же пустился в тихий инструктаж, поэтому, еще не дойдя до двери Хавы, я тоже оказалась отягощена бременем слухов, охвативших нынче всю деревню: что Эйми сейчас занята процессом добывания визы, дабы Ламин вскоре переехал в Нью-Йорк на постоянное жительство.

— Ну, так ли это?

Я сказала ему правду: я не знаю и знать не хочу. В Лондоне я вымоталась, держа Эйми за ручку всю трудную зиму, как лично, так и профессионально, и, следовательно, была в особенности невосприимчива к ее изводу личной драмы. Альбом, на запись которого она потратила все мрачные британские январь и февраль, примерно сейчас уже должен был выйти, но его положили на полку из-за краткого уродливого романа с ее юным продюсером, который по окончании забрал с собой все песни. Всего несколькими годами раньше такой развод стал бы для Эйми лишь мелкой неурядицей, едва ли стоил бы половины дня в постели за просмотром старых, давно забытых австралийских сериалов: «Летающих врачей», «Салливэнов»^[158], — таким она занималась в моменты крайней ранимости. Но теперь я заметила в ней перемену: ее личная броня была уже не та, что прежде. Бросать самой и бывать брошенной — теперь такие действия уже не были ей как с гуся вода, ее такое в самом деле ранило, и почти месяц она ни с кем не встречалась, кроме Джуди, едва выходила из дому и несколько раз просила меня ночевать с ней в одной комнате, рядом с ее кроватью, на полу, потому что ей не хотелось оставаться одной. В этот период *пурды*^[159], полагала я, хорошо это или плохо, никого ближе меня у нее не было. Пока я слушала Ферна, первым моим чувством было — меня предали, но чем больше я над этим раздумывала, тем четче понимала: нет, тут не совсем так, это не обман, а разновидность умственного отъединения. В миг ступора я служила ей утешением и компанией, а тем временем в другом отсеке своего сердца она деловито планировала будущее с Ламином — и Джуди в этом была ее сообщницей. А потому не Эйми теперь меня раздражала, а злил Ферн: он пытался меня во все это втянуть, но мне не

хотелось участвовать нисколько, мне все это было неудобно, у меня уже вся поездка распланирована, и чем больше Ферн говорил, тем дальше от меня ускользал маршрут, уже проложенный в голове. Поездка на остров Кунта-Кинтей, несколько дней на пляже, две ночи в каком-нибудь роскошном городском отеле. Эйми почти не предоставляла мне ежегодных отпусков, мне приходилось изворачиваться самой — красть себе каникулы, когда только возможно.

— Ладно, но почему тебе не взять с собой Ламину? С тобой он станет разговаривать. Со мной же он, как ракушка, замыкается.

— В отель? Ферн, нет. Ужасная мысль.

— Ну, тогда в поездку. Ты же все равно туда одна не поедешь, ты этот остров сама ни за что не найдешь.

Я уступила. Когда сообщила об этом Ламину, он был счастлив — не съездить на сам остров, подозревала я, а из-за возможности сбежать с занятий, — и он весь день договаривался со своим приятелем, таксистом Лолу, о цене поездки туда и обратно. Афро у Лолу было выстрижено так, что стоял гребень, выкрашенный в оранжевый, и он носил широкий ремень с большой серебряной пряжкой, на которой было написано «ЖИГ ОЛО». Похоже, договаривались они всю дорогу туда — двухчасовую поездку, наполненную хохотом и спорами на переднем сиденье под оглушительную музыку регги и множество телефонных звонков. Я сидела сзади — волоф я выучила едва ли больше прежнего, и смотрела, как мимо проплывают заросли: время от времени замечала серебристо-серую обезьянку, еще более удаленные от цивилизации людские поселения, их даже деревнями назвать было сложно, просто две-три хижины вместе, а потом еще десять миль — ничего. Особенно мне запомнились две босоногие девочки, шедшие вдоль дороги, взявшись за руки, — похоже, лучшие подружки. Они мне помахали, и я помахала им в ответ. Вокруг не было ничего и никого, они гуляли по самому краю света — по крайней мере, известного мне света, — и я, глядя на них, поняла, до чего трудно, почти невозможно мне вообразить, как они тут ощущают время. Я могла припомнить себя в их возрасте, конечно, — как мы держались за руки с Трейси и как считали себя «детками 80-х», смысленей, чем наши родители, гораздо современнее. Мы считали себя продуктом отдельно взятого мига, поскольку, кроме оперетт, нам нравились и «Охотники на призраков», и «Даллас»^[160], и леденцовые флейты. Мы ощущали, что у нас во времени есть свое место. Какой человек на земле так себя не чувствует? Однако, маша тем двум девочкам, я заметила, что не могу выкинуть из головы мысль, что они — вневременные символы девичества либо детской

дружбы. Умом я понимала, что это вряд ли, но другого способа думать о них у меня не было.

Дорога наконец закончилась у реки. Мы вышли из машины и направились к тридцатифутовой бетонной статуе человека-палочки, стоявшей лицом к реке^[161]. Вместо головы у него был весь земной шар, и свои руки-палочки он вырывал из рабских оков. Одинокая пушка XIX века, краснокирпичный остов первоначальной фактории, маленький «музей рабства, выстроенный в 1992-м» и унылое кафе завершали то, что отчаявшийся гид с несколькими оставшимися во рту зубами описывал как «Приветственный центр». За спинами у нас деревенька из полуразвалившихся хижин — на много порядков беднее той, откуда мы приехали, — упорно стояла напротив старой фактории, как бы надеясь, что та откроется вновь. Там сидела и наблюдала за нашим прибытием кучка детворы, но когда я им помахала, гид меня отчитал:

— Им нельзя ближе подходить. Они кланчат деньги. Они досаждают вам, туристам. Правительство нас выбрало официальными гидами, чтобы они вам не досаждали. — Примерно в миле от нас посреди реки я видела сам остров — маленький скальный выступ с живописными руинами казарм. Я хотела всего минутку поразмышлять о том, где я и что это — если все же что-то — значит. Там и сям, в треугольнике кафе, статуи раба и наблюдающих детей, я видела и слышала группки туристов: серьезное семейство черных британцев, каких-то восторженных афроамериканских подростков, пару белых голландских женщин — обе уже, не таясь, плакали, — и все они пытались проделать то же самое и, точно так же, вынуждены были терпеть заученную наизусть лекцию от какого-нибудь государственного гида в драной синей футболке, или же в кафе им совали в руки меню, или они торговались с лодочниками, рвавшимися перевезти их на остров посмотреть камеры, где содержались их предки. Я поняла, что мне еще повезло: со мной был Ламин — пока он занимался своей любимой деятельностью, то есть напряженным шепотом вел финансовые переговоры одновременно с несколькими сторонами, я вольна была подойти к пушке, усесться на нее верхом и поглядеть на воду. Я пыталась вызвать в себе созерцательное состояние ума. Представить на этой воде суда, по сходням бредет человечья собственность, немногие смельчаки решают рискнуть и прыгают в воду — в обреченной попытке доплыть до берега. Но у всякого образа имелаась карикатурная худосочность, и они ощущались не ближе к действительности, чем фреска на стене музея, изображавшая крепкую голую семью мандинка в ошейниках с цепями, которую из зарослей гонит злой голландец, словно их поймал, как добычу, охотник, а не продал, как

куль зерна, их собственный вождь. Все пути ведут туда, как мне всегда говорила мать, но вот теперь я тут, в этом легендарном углу континента — и переживаю его не как некое исключительное место, а как пример общего правила. Сила тут грабит слабость: всевозможная сила — местная, расовая, племенная, царская, национальная, глобальная, экономическая — всевозможную слабость, не останавливаясь ни перед чем, даже перед самой маленькой девочкой. Но сила так поступает всюду. Весь мир пропитан кровью. У всякого племени — кровавое прошлое: а тут — мое. Я дожидалась хоть какого-то катарсиса, какой люди надеются обрести в подобных местах, но не могла заставить себя поверить, что боль моего собственного племени собрана только здесь, в этом самом месте, боль слишком уж очевидно разлита была повсюду, здесь только — так уж вышло — ей поставили памятник. Я сдалась и пошла искать Ламина. Он опирался на статую и разговаривал по своему новому телефону — модному с виду «блэкберри»: лицо сонное, широкая глупая ухмылка, — и когда заметил, что я подхожу, отключился, даже не попрощавшись.

— Кто это был?

— Значит, если ты готова, — прошептал Ламин, засовывая эту громадную штуковину себе в задний карман, — этот человек теперь перевезет на ту сторону.

Узкую баржу мы разделили с семейством черных британцев. Они пытались завязать разговор с гидом касательно того, насколько далеко от острова до берега и способен ли хоть кто-нибудь, что там в цепях — вообще, переплыть эти быстрые воды. Гид их выслушал — но при этом он выглядел таким усталым, белки его глаз затуманились попросту от обилия лопнувших сосудов, — и не проявил зримого интереса к гипотезам. Лишь повторил свою мантру:

— Если кто-то достигал берега, ему возвращали свободу. — На острове мы побродили, шаркая по руинам, а затем встали в очередь в «последнее средство» — маленький подземный каземат, десять на четыре, где «содержали самых отъявленных бунтовщиков, вроде Кунты». «Представляешь!» Вот что все твердили друг другу, и я действительно попробовала представить, как меня сюда сажают, но инстинктивно знала, что бунтовщица из меня никакая, так что вряд ли я буду из племени Кунты. К нему принадлежат немногие. Мать свою вот я совершенно точно могла бы здесь представить, да и Трейси тоже. И Эйми — она по-своему тоже относилась к этой породе. А я — нет. Толком не зная, что с собой поделать, я протянула руку и ухватила за железный обруч в стене, к которому приковывали за шею этих «самых отъявленных».

— Тут хоть плачь, правда? — произнесла мать британского семейства, и я почувствовала, что надо бы, но стоило мне отвести взгляд от ее подготовки к плачу, посмотреть вверх на крохотное окно, как я увидела государственного гида — он растянулся снаружи на животе, и его трехзубый рот загораживал почти весь драгоценный свет.

— Теперь вы ощутите боль, — пояснил он через решетку, — и вам потребуется минутка наедине с собой. Я буду ждать вас снаружи — после того, как вы ощутите боль.

На обратном пути в барже я спросила у Ламина, о чем это они так часто беседуют с Эйми. Он сидел на банке и от моего вопроса выпрямился, задрал подбородок.

— Она считает меня хорошим танцором.

— Вот как?

— Я научил ее многим движениям, каких она не знала. Через компьютер. Я показываю наши местные. Она говорит, что использует их в своих представлениях.

— Понятно. А она заговаривает когда-нибудь о том, чтоб ты приехал в Америку? Или в Англию?

— Все в руке Божьей, — ответил он, бросая испуганный взгляд на остальных пассажиров.

— Да. И Министерства иностранных дел.

Лолу, терпеливо ждавший нас в такси, подъехал к самому урезу воды, когда мы подплывали, и распахнул дверцу, очевидно собираясь переместить меня с баржи прямо в машину и два часа везти обратно без обеда.

— Но, Ламин, мне нужно поесть!

Я заметила, что весь наш визит на остров он не выпускал из рук ламинированное меню кафе, — и теперь он мне его предъявил, как главную улику обвинения в судебной драме.

— Это слишком много денег на обед! Хава нам обед приготовит дома.

— Я заплачу за обед. Это что — типа трех фунтов на человека. Честное слово, Ламин, для меня это не слишком дорого.

Последовал спор между Ламином и Лолу, который, как я с удовлетворением отметила, Ламин, похоже, проиграл. Лолу упер руки в свою пряжку, как торжествующий ковбой, закрыл дверцу машины и откатил ее обратно вверх по склону.

— Слишком дорого, — опять сказал Ламин с глубоким вздохом, но я двинулась следом за Лолу, а Ламин — за мной.

Мы сели за один из столиков для пикника и съели рыбу в фольге с рисом. Я прислушивалась к болтовне за соседними столиками — странным, неровным разговорам, которые никак не могли решить, что они сами такое: мрачные размышленья посетителей на месте исторической травмы или легкий треп людей на пляжном отдыхе за коктейлями. Высокая, обожженная солнцем белая женщина лет, как минимум, семидесяти сидела за столиком в глубине одна в окружении стопок сложенной ткани с рисунком, барабанов и статуэток, футболок, гласивших «БОЛЬШЕ НИКОГДА», другого местного товара. К ее прилавку никто не подходил и близко, не похоже было, чтобы кто-нибудь что-нибудь намеревался покупать вообще, поэтому немного погодя она встала и принялась бродить между столиков, приветствуя гостей, расспрашивая, откуда они и где остановились. Я надеялась, что мы успеем доесть прежде, чем она доберется до нашего столика, но Ламин всегда ел мучительно медленно, и она поймала нас, а когда узнала, что я ни из какого не отеля, не работаю в благотворительной организации и не миссионер, — заинтересовалась особо и под села к нам, слишком близко к Лолу, который нахохлился над своей рыбой и глядеть на старуху отказывался.

— Из какой вы деревни, сказали? — спросила она, хотя я ничего ей не говорила, — и тут Ламин ей ответил, не успела я воспользоваться случаем и напустить какого-нибудь туману. Тут до старухи дошло. — О, так вы школой занимаетесь! Ну конечно. Ну, я знаю, люди об этой женщине рассказывают всякие ужасы, но мне она очень нравится, я честно ею восхищаюсь. Вообще-то я сама американка изначально, — сказала она, и я задумалась, отчего она считает, будто кто-то на этот счет может сомневаться. — Обычно на американцев мне плевать, но она-то — с паспортом, если вы меня понимаете. Мне кажется, она действительно такая любопытная и страстная, и это очень здорово для страны — она столько рекламы приносит. О, австралийка? Ну, как бы там ни было, такая женщина мне по сердцу! Авантюристка! Хотя я, конечно, сюда приехала из-за любви, а не благотворительности. Благотворительность в моем случае была уже потом.

Она коснулась сердца — наполовину на виду, в разноцветном платъице с лямками-макаронинами и пугающе глубоким декольте. Грудь у нее были длинные, красные и морщинистые. Я совершенно исполнилась решимости не спрашивать у нее, ни за чьей любовью она сюда приехала, ни к каким добрым делам это в итоге привело, но она, почуяв мое сопротивление, решила — на правах женщины постарше — мне все равно рассказать.

— Я же была совсем как вот эти люди — приехала сюда просто

отдохнуть. Не собиралась я влюбляться! В мальчишку вдвое меня младше. — Она мне подмигнула. — И случилось это двадцать лет назад! Но то оказалось гораздо, гораздо больше, чем просто отпускной романчик, понимаете: вместе мы построили все вот это. — Она гордо оглядела громадный памятник любви: кафе с жестяной крышей, четырьмя столиками и тремя блюдами в меню. — Я женщина небогатая, я же на самом деле просто йогу преподавала. Но эти люди из Беркли — им же только скажи: «Смотрите, тут такая ситуация, эти люди в отчаянной нужде», — и, доложу я вам, вы удивитесь, они за такое сразу же хватаются, вот правда. Чуть ли не все захотели вложиться. Когда объяснишь, что здесь способен сделать доллар? Стоит только рассказать, как далеко доллар тут зайдет? О, у людей такое просто в голове не помещается! А теперь, к сожалению, мои собственные дети, от первого брака? Они так меня не поддерживали. Да, иногда руку тебе протягивают совсем посторонние. Но я всегда говорю тут людям: «Не верьте всему, что слышите, пожалуйста! Потому что не все американцы плохи, отнюдь не все». Есть большая разница между публикой в Беркли и публикой в Форт-Уорте, если понимаете, к чему я клоню. Я в Техасе родилась, у христианской публики, и в молодости Америка для меня была довольно неудобным местом — я же вольный дух, я просто себе места не находила. А теперь, наверное, она меня чуть больше устраивает.

— Но живете вы здесь со своим мужем? — спросил Ламин.

Она улыбнулась, но вопрос ее, похоже, не слишком покорил.

— Летом. Зимы я провожу в Беркли.

— И он туда ездит с вами? — спросил Ламин. У меня возникло ощущение, что он производит подспудные изыскания.

— Нет-нет. Он остается здесь. У него тут много дел весь год. Он тут большая шишка — и, наверное, можно сказать, что я — большая шишка там! Поэтому все очень хорошо получается. Для нас.

Я подумала о слое девических иллюзий, какие, судя по всему, растеряли подруги Эйми, эти свежие мамы — у них в глазах погас какой-то огонек, несмотря на их собственную известность и благосостояние, — а потом заглянула в широкие, голубые, полубезумные глаза этой женщины и увидела в них полный раскоп. Казалось, едва ли возможно содрать с кого-то столько слоев — и она все равно способна была играть свою роль.

Пять

После выпуска, расположившись в отцовской квартире, я подавала на все позиции начального уровня в СМИ, какие только могла придумать: каждый вечер оставляла письма с мольбами на стойке в кухне, чтобы отец их утром отправлял, но так прошел целый месяц — и ничего. Я знала, что у отца сложное отношение к этим письмам: хорошие новости для меня означали плохие для него, это значило, что я съеду, — и порой у меня случались параноидные фантазии о том, что он их вообще никогда не отправлял, просто выбрасывал в урну в конце нашей улицы. Я задумалась о том, что мать всегда говорила о нехватке у него амбиций — в ответ на такие обвинения я всегда яростно его защищала, — и пришлось признать, что теперь я понимаю, к чему она клонила. Никогда не радовался он больше, если к нам иной раз в воскресенье заглядывал дядя Лэмберт: тогда мы все втроем усаживались в шезлонгах на плоской крыше отцовых соседей снизу, увитой плющом, и курили траву, ели домашние рыбные пельмени — обычная отговорка Лэмберта, почему он опоздал на два-три часа, — слушали «Всемирную службу» и смотрели, как из недр земли каждые восемь-десять минут поднимаются поезда Юбилейной линии^[162].

— Вот это жизнь, любовь моя, что скажешь? Никаких больше «делай то, не делай это». Просто с друзьями собрались, все вместе, с равными. Э, Лэмберт? Когда еще доведется тебе подружиться с собственным ребенком? Вот это жизнь, я понимаю, разве нет?

Разве нет? Я не помнила, чтобы он когда-либо злоупотреблял родительским авторитетом, от которого, по его нынешним утверждениям, сейчас отказывался, он никогда не говорил «Делай то, не делай это». Любовь и свобода — вот все, что он мне когда-либо предлагал. И к чему это привело? Светит ли мне ранняя обдолбанная пенсия вместе с Лэмбертом? Не зная, чем заняться еще, я вернулась на ужасную работу — ту, куда я устраивалась в свое первое лето колледжа, в пиццерию на Кензэл-Райз. Заправлял ею нелепый иранец по имени Бахрам, очень высокий и худой, считавший себя, несмотря на окружение, птицей высокого полета. Ему нравилось носить длинное шикарное пальто верблюжьего цвета вне зависимости от погоды: часто оно болталось у него на плечах, как у итальянского барона, а помойку свою он звал «рестораном», хотя все помещение было размером с небольшую семейную ванную и занимало угловой участок пустыря, втиснутый между автостанцией и железной

дорогой. Никто никогда не заходил сюда поесть — заказывали доставку или сами забирали еду домой. Я обычно стояла у стойки и смотрела, как по линолеуму носятся мыши. Там располагался единственный столик, за которым теоретически имел возможность отобедать какой-нибудь клиент, а на самом деле его весь день и часть вечера занимал сам Бахрам — дома у него были неприятности, жена и три трудные незамужние дочери: мы подозревали, что наше общество он предпочитает собственной семье — ну, или, по крайней мере, ему лучше орать на нас, чем спорить с ними. На работе дни свои он проводил, не напрягаясь. Время коротал за комментированием того, что показывали по телевизору в левом верхнем углу заведения, либо же из своего сидячего положения словесно оскорблял нас, свой штат. Он постоянно бывал в ярости по тому или иному поводу. В пылкой, комической ярости, которая неизменно выражалась в непристойных подначках всех вокруг — в расистских, сексуальных, политических, религиозных насмешках, — и каждый день это приводило к потере клиента, наемного работника или знакомого, а потому мне стало казаться, что это не столько оскорбительно, сколько щемяще обреченно. Как ни верти, там это было единственное развлечение. Но когда я впервые зашла туда, в девятнадцать, меня никто не оскорбил, нет — меня приветствовали на, как я поняла впоследствии, фарси, да так бурно, что у меня возникло ощущение, будто я и впрямь понимаю, что он говорит. Как юна я, как прелестна, и явно умна — правда ли, что я учусь в колледже? Но как, должно быть, мною гордится мать! Он встал и подержал меня за подбородок, поворачивая мое лицо туда и сюда, улыбаясь. Но ответила ему я по-английски, и он нахмурился, критично присмотрелся к красному платку, которым я повязала волосы: мне казалось, что в заведении питания такое приветствуется, — и несколько мгновений спустя, когда мы установили, что, несмотря на мой персидский нос, я не персиянка, ну вот ни на столечко, и не египтянка, и не марокканка, и вообще никакой не араб, я допустила ошибку: назвала остров, откуда родом моя мать, — и все его дружелюбие испарилось, меня отправили к стойке, где мне в обязанности вменилось отвечать на звонки, принимать заказы для кухни и управлять мальчишками-доставщиками. Самой важной моей задачей было следить за его самым излюбленным проектом — Списком Отлученных Клиентов. Он не почел за труд тщательно выписать их имена на длинном свитке бумаги и прилепил к стене за моей стойкой, некоторые — даже с полароидными снимками.

— В основном твой народ, — небрежно показал он мне на второй день работы. — Не платят, или дерутся, или торгуют наркотики. Не делай мне

лицо! Как тебе оскорбительно? Сама знаешь! Это правда! — Оскорбляться мне было не с руки. Я была полна решимости продержаться эти летние месяцы, ровно столько, чтобы хоть как-то подкопить себе на депозит и снять жилье, как только окончу. Но показывали теннис, а оттого все это стало невозможно. Мальчик-доставщик из Сомали и я следили за ним истово, а Бахрам, который обычно тоже смотрел теннис — спорт он считал чистейшим проявлением его социологических теорий, — в тот год был от тенниса в ярости и вызверился на нас за то, что нам он нравится, поэтому всякий раз, когда заставлял нас за этим занятием, приходил в еще большую ярость: его ощущение порядка до глубины сотрясилось неспособностью Брайана Шелтона^[163] вылететь в первом раунде.

— Зачем вы смотрите? А? А? Потому что из ваших?

Он тыкал пальцем в цыплячью грудь доставщика-сомалийца Анвара, обладавшего невероятно сияющим духом и заметной способностью радоваться, хотя в жизни его, похоже, ничто не предоставляло ему поводов для такой радости, — и тот соответственно отвечал ему, хлопая в ладоши и щерясь от уха до уха.

— Ага, дядя! Мы за Брайана!

— Ты идиот, это нам известно, — сказал Бахрам, после чего повернулся ко мне за стойкой: — А ты же умная и оттого еще больше идиот. — Когда на это я ничего не сказала, он подступил ко мне вплотную и грохнул кулаками по стойке: — Этот ваш Шелтон — он не выиграет. Не может.

— Он *выиграет*! Выиграет! — вскричал Анвар.

Бахрам схватил пульт и выключил телевизор, чтобы его слышали даже в глубинах заведения, где конголезка драила стенки печи.

— Теннис не черная игра. Вы должны понять: у всякого народа своя игра.

— А у вас какая? — спросила я из честного любопытства, и Бахрам весь подобрался и гордо выпрямился на сиденье.

— Поло. — Вся кухня взорвалась от хохота. — Еб вас всех, сукины сыны! — У всех истерика.

Так вышло, что собственно за Шелтоном я не следила, я вообще о нем раньше не слышала, пока мне его не показал Анвар, но теперь следить за ним я стала и вместе с Анваром превратилась в его болельщицу номер один. Я покупала американские флажки на работу в те дни, когда он играл, и старательно усылала по такому случаю остальных мальчишек, кроме Анвара. Вместе мы кричали Шелтону «ура», танцевали по всему заведению при каждом успешно заработанном им очке, а когда он стал

выигрывать один матч за другим, у нас возникло чувство, что это мы своими танцами и воплями подталкиваем его вперед, а без нас ему крышка. Временами Бахрам вел себя так, будто и сам в это верит — точно мы выполняем какой-то древний африканский ритуал вуду. Да, нам как-то удалось околдовать не только Шелтона, но и Бахрама, и по мере того, как шли дни турнира, а Шелтон по-прежнему не желал вылетать, я замечала, что остальные насущные заботы Бахрама — предприятие, его трудная жена, напряженный поиск женихов для дочерей — все они куда-то ускользали, пока занимать его целиком не стало только одно: чтобы мы не ликовали из-за Брайана Шелтона, а сам Шелтон не добрался до финала Уимблдона.

Однажды утром в середине турнира я стояла у стойки и скучала — и тут увидела Анвара на велике: он мчал к нам по мостовой на громадной скорости, затем резко тормознул, соскочил и ворвался в заведение, метнулся прямо к стойке, сунув кулак в рот, но все равно не в силах скрыть улыбку. Передо мной он шлепнул номер «Дейли Миррор», ткнул в колонку спортивного раздела и сказал:

— Араб! — Мы глазам своим не поверили. Звали его Карим Алами^[164]. Из Марокко и посеян еще ниже, чем Шелтон. Их матч начинался в два. Бахрам явился в час. Повсюду царили тревога и огромное предвкушение, мальчишки-доставщики, у кого смена начиналась в пять, пришли пораньше, конголезка в глубине кухни заработала с беспрецедентной скоростью в надежде дойти до передней части заведения — а значит, и до телевизора — к тому времени, когда начнется игра. Матч длился пять раундов. Шелтон начал крепко, и в различные моменты первого сета Бахрам ронял достоинство до того, что вскакивал с ногами на стул и орал. Когда первый сет закончился со счетом шесть-три в пользу Шелтона, Бахрам соскочил со стула и вышел из здания. Мы переглянулись: никак победа? Пять минут спустя он скользнул обратно с пачкой «Голуза» в руке, добытой из машины, и принялся курить одну от одной, не поднимая головы. Однако во втором сете Кариму засветило немного удачи, и Бахрам выпрямился на стуле, затем вообще встал и принялся нарезать круги по крохотному помещению, высказывая собственный комментарий, который так же относился к евгенике, что и к ударам слева, высоким подачам и двойным ошибкам, а когда назначили дополнительную игру, в лекции своей он сделался очень бегл, размахивал сигаретой в руке и гораздо увереннее говорил по-английски. Черный, сообщил он нам, он инстинкт, он двигает тело, он сильный и он музыка, да, конечно, он ритм, все это знают, и он скорость, и это прекрасно, может быть, да, но позвольте мне вам сказать,

теннис это игра ума — ума! Черный человек может быть хорошая сила, хорошая мышца, он может сильно бить мяч, но Карим, он как я: он думает один шаг, два шага вперед. У него ум араба. Ум араба сложная машина, тонкая. Мы изобрели математику. Мы изобрели астрономию. Тонкий народ. Два шага вперед. Ваш Брайан, теперь он проиграл.

Но он не проиграл: сет закончил со счетом семь-пять, и Анвар отобрал швабру у конголезской уборщицы — я так и не выяснила, как ее звали, никто и не думал спрашивать, как ее зовут, — и заставил ее танцевать с собой под какой-то хайлайф, игравший у него в транзисторе, который он повсюду с собой таскал. В следующем сете Шелтон провалился: один-шесть. Бахрам ликовал. Куда ни пойдешь в мире, сказал он Анвару, твой народ на дне! Иногда наверху Белый человек, Еврей, Араб, Китаец, Япон — зависит. Но твой народ, они всегда проигрывают. К четвертому сету мы перестали делать вид, что у нас пиццерия. Звонил телефон, но никто не снимал трубку, печь была пуста, все сбились в тесный зальчик впереди. Я сидела на стойке с Анваром, нервные ноги наши колотили в дешевые ДСП так, что вся стойка сотрясалась. Мы смотрели, как два эти игрока — поистине почти идеально достойные друг друга — бьются ради удлиненного, мучительного тайм-брейка, который Шелтон затем проиграл: шесть-семь. Анвар горестно разрыдался.

— Но, Анвар, дружок, — у него есть еще сет, — объяснил добрый повар-босниец, и Анвар был благодарен ему так же, как человек, уже сидящий на электрическом стуле — и вдруг увидевший за плексигласовой перегородкой, как по коридору спешит губернатор. Последний сет был скор: шесть-два. Гейм, сет, матч — Шелтон. Анвар выкрутил транзистор на максимальную громкость, а из меня наружу рвались все мыслимые танцы: я кружила, топала, шаркала — даже шимми сбацала. Бахрам обвинил всех нас в том, что мы занимаемся сексом с собственными матерями, и с топотом выбежал наружу. А где-то через час вернулся. Настал предвечерний час пик, когда матери понимают, что не в силах готовить ужин, а дневные торчки вдруг осознают, что не ели с завтрака. По телефону меня задержали — как обычно, я старалась разобрать множество различных диалектов пиджин-инглиша, как в трубке, так и у нашей бригады доставщиков, — как вдруг ко мне подошел Бахрам и сунул мне под нос вечернюю газету. Ткнул в снимок Шелтона: рука его вздета, он готовится к одной из своих могучих подач, мяч перед ним в воздухе, он застыл в миг контакта. Я прикрыла трубку рукой.

— Что? Я работаю.

— Смотри лучше. Не черный. Бурый. Как ты.

— Я работаю.

— Может, он половинка, как ты. Вот: это объясняет.

Я посмотрела не на Шелтона, а на Бахрама, очень пристально. Он улыбался.

— Полупобедил, — сказал он.

Я положила трубку, сняла с себя фартук и вышла оттуда.

Не знаю, как Трейси разнюхала, что я опять пошла работать к Бахраму. Я не хотела, чтобы кто-то знал, я и сама едва могла с таким смириться. Вероятно, Трейси просто заметила меня через стекло. Когда она вошла — душным днем в конце августа, — произвела собой сенсацию: леггинсы в обтяжку, обрезанный топ по пупок. Я обратила внимание, что одежда ее со временем не изменилась — ей и не нужно было. Сама она не сражалась, как я — и большинство моих знакомых женщин, — за то, чтобы отыскивать способы, как обрядить свое тело в символы, формы и знаки эпохи. Как будто она была выше всего этого, вне времени. Она всегда одевалась к танцевальной репетиции и оттого всегда выглядела изумительно. Анвар и остальные мальчишки, ждавшие на велосипедах снаружи, хорошенько насладились видом спереди, а затем перепозиционировались так, чтобы им открылся вид на, как выражаются итальянцы, «сторону Ж». Когда она перегнулась через стойку поговорить со мной, я заметила, как один прикрыл ладонью глаза, словно ему физически больно.

— Приятно тебя видеть. Как было на море?

Она ухмылялась, тем самым подтверждая подозрение, что ко мне уже закралось: моя студенческая жизнь стала чем-то вроде местной шуточки — я совершила скверную попытку сыграть роль вне своего диапазона, и роль эта мне не удалась.

— Маму твою вижу. Она нынче повсюду.

— Да. Я рада, что вернулась, наверное. Здорово выглядишь. Работаешь где-нибудь?

— О, я всем на свете занимаюсь. Есть крупные новости. Ты когда заканчиваешь?

— Я только начала.

— Как тогда насчет завтра?

Бахрам бочком подобрался к нам и в своей учтивейшей манере осведомился, не персиянка ли Трейси случайно.

На следующий вечер мы встретились в местном пабе, который всегда считали ирландским, но теперь он не был ни ирландским, ни каким-либо

другим. Старые кабинки снесли и заменили большим количеством диванов и мягких кресел из различных исторических эпох: их отделали несочетающимися принтами и разбросали по всему помещению, как недавно разобрannую сценическую декорацию. Часть стены над камином заклеили лиловыми бархатными обоями, а под стеклянные колпаки насажали множество скверно набитых чучел лесных зверьков, остановленных в прыжке или подкрадывании, колпаки расставили на высоких полках, и зверьки теперь взирали на нашу с Трейси встречу своими косенькими стеклянными глазками. Я оторвала взгляд от окаменевшей белочки и перевела его на Трейси, которая возвращалась от бара с двумя бокалами белого в руках и могучим отвращением на лице.

— Семь дубов? Что это за поебень?

— Можем в другое место пойти.

Она сморщила нос:

— Нет. Этого они и хотят. Мы тут родились. Пей медленно.

Медленно пить мы никогда не умели. И потому продолжали — по Трейсиной кредитке, вспоминая и смеясь — хохоча громче, чем я смеялась за все три года колледжа, возвращая друг дружку к желтым туфлям мисс Изабел, к материнной яме с глиной, к «Истории танца», вновь проходя через все это, даже сквозь то, над чем, как я считала, мы никогда не посмеем вместе смеяться. Луи, танцевавший с Майклом Джексонem, моя собственная одержимость Королевским балетом. Осмелев, я спросила о ее отце.

Она перестала смеяться.

— Там по-прежнему. Теперь у него целая куча детишек «вне дома», как мне говорили...

Ее неизменно выразительное лицо стало задумчивым, а затем она на него напустила то выражение крайней холодности, что я так хорошо помнила с детства. Я подумывала рассказать ей о том, что много лет назад видела в Кентиш-Тауне, но от такого льда фраза застряла у меня в рту.

— А твой старик как? Его давненько не видела.

— Веришь или нет, я думаю, он по-прежнему влюблен в мою мать.

— Это славно, — сказала она, но холод с ее лица никуда не делся. Она смотрела мимо меня, на белочку. — Это славно, — повторила она.

Я поняла, что мы подошли к концу воспоминаний, что теперь уместно будет погрузиться в нынешние дни. Можно было догадаться, насколько легко новости Трейси переплунут всё, что ей могла бы предложить я. Так и оказалось: она получила роль на сцене Уэст-Энда. Возобновили постановку одного из наших любимейших спектаклей, «Парни и куколки»,

и она играла «Девушку из „Жаркого ларчика“ номер один» — что, насколько мне помнилось, было не очень крупной ролью: в фильме у нее не имелось своего имени, и она произносила лишь четыре или пять реплик, — но все равно она много где присутствовала, пела и танцевала в клубе «Жаркий ларчик» либо таскалась за Аделаидой, своей якобы лучшей подругой. Трейси выпало петь «Забирай свою норку»^[165] — ее мы пели в детстве, размахивая парочкой перьевых боа облезлого вида, — и носить кружевные корсеты и настоящие атласные платья, ей укладывают и завивают волосы.

— У нас уже настоящие генеральные репетиции начались. Мне каждый вечер волосы утюгом расправляют, сдохнуть можно. — Она коснулась волос, и под воском, с которым она их приглаживала, я заметила, что у них действительно метелками посечены концы.

С хвастовством она покончила. А после него я поразилась, до чего она ранима и настороженна — и у меня возникло ощущение, что я отреагировала на ее известие не вполне так, как она рассчитывала. Быть может, она и впрямь воображала, что двадцатиднолетняя выпускница колледжа услышит ее хорошую новость и с рыданиями рухнет на пол. Она взяла бокал и выпила вино до дна. Спросила наконец, как жизнь у меня. Я поглубже вдохнула и повторила то, что говорила своей матери: это просто перестой, жду, когда представятся другие возможности, временно живу у отца, самой жилье снимать дорого, отношений ни с кем нет, но, с другой стороны, отношения были такими запутанными, сейчас мне такого не надо, а я просто хочу поработать сама...

— Ну да, ну да, ну да, но тебе ж нельзя больше на этого пиздюка с пиццей вкалывать, правда? Тебе нужен план.

Я кивнула и стала ждать. Меня омыло облегчением — знакомым, хотя уже давно его не ощущала, и я связала его с тем, что Трейси берет меня за руку, все решения у меня отбираются, а заменяет их ее воля, ее намерения. Разве Трейси не всегда знала, в какие игры нам играть, какие истории рассказывать, какой ритм выбирать, какое движение под него делать?

— Слушай, я знаю, ты сейчас взрослая женщина, — произнесла она доверительно, откидываясь на спинку, ступни под столиком стрелочкой: создала красивую вертикаль от коленей к носкам. — Меня это не касается. Но если тебе что-то понадобится, они сейчас ищут рабочих сцены. Можешь попробовать. Я за тебя словечко замолвлю. Там всего на четыре месяца, но, блядь, все ж лучше, чем ничего.

— Я же ничего не знаю про театр. У меня нет опыта.

— О господи ты боже мой, — сказала Трейси, качая головой и вставая

сходить за добавкой. — Наври, и всё!

Шесть

Я предположила, что мои расспросы Ламина дошли до Эйми, потому что в день моего отъезда из отеля «Коко-Океан» мне в номер позвонили снизу и сказали, что у них для меня сообщение, а когда я открыла белый конверт, в нем была записка: «Свой „лирджет“ занят. Придется лететь коммерческим. Сохраняй квитанции. Джуди».

Меня наказывали. Поначалу мне стало смешно, что представление Эйми о наказании сводится к «полету коммерческим», но, добравшись до аэропорта, я удивилась, сколько всего на самом деле забыла: ожидание, очереди, подчинение нелепым инструкциям. Со всех сторон: присутствие такого количества других людей, бесцеремонность персонала, даже несдвигаемое время вылетов на табло в зале ожидания — все это воспринималось как пощечина. Место мне досталось рядом с двумя водителями грузовиков из Хаддерсфилда: обоим за шестьдесят, везде ездят вместе. Им тут очень понравилось, приезжали бы сюда «каждый год, если б могли себе это позволить». После обеда они взялись употреблять пузырьки «Бейлиз» и сравнивать впечатления о «девушках». У обоих — обручальные кольца, полувросшие в жирные волосатые пальцы. К тому времени я уже сидела в наушниках: вероятно, они думали, что я их не слышу.

— Моя мне сказала, что ей двадцать, но ее двоюродный брат — он там тоже официант, — он сказал, что ей семнадцать. Но мудра не по годам. — К его футболке прилип засохший желток. У его друга пожелтели зубы и кровоточили десны. Им полагалось семь дней отпуска в любом календарном году. Человек с желтыми зубами трубил двойные смены три месяца, чтобы только позволить себе провести эти длинные выходные со своей девочкой в Банджуле. Мне в голову лезли убийственные фантазии: взять зазубренный пластиковый ножик и чиркнуть тому и другому по горлам, — но чем дольше я их слушала, тем грустнее все это выглядело. — Я ей говорю, ты разве в Англию не хочешь приехать? А она мне, по сути: «Не бойся, любимый». Хочет нам с ней дом выстроить в Уассу, где б это нахуй ни было. Они не дуры, эти девчонки-то. Реалистки. Фунт там гораздо большего стоит, чем у нас дома. Моя-то ноет все время, как ей хочется в Испанию. Я ей говорю: «Ты вчерашним днем живешь, дорогая. Знаешь, почему нынче Испания?» — Одна слабость кормилась другой.

Через несколько дней я вернулась на работу. Все ждала, когда назначат

официальное совещание или подведение итогов, но было ощущение, что я вообще никуда не ездила. Никто о моей поездке не заикался, и само по себе это было не очень необычно — одновременно происходило много всякого: новый альбом, новые гастроли, — но исподтишка, как это получается у лучших тиранов, Джуди и Эйми удалось выморозить меня из всех важных решений, а в то же время обеспечить, чтобы никакие слова их и действия не воспринимались в явном виде как наказание или воздаяние. Мы готовились к осеннему переезду в Нью-Йорк — в такие периоды мы с Эйми обычно приклеивались друг к дружке, но теперь я ее почти не видела, и две недели подряд мне поручали всякую тупую работу, больше подходящую для экономки. Я обзванивала компании-грузоперевозчиков. Каталогизировала обувь. Водила детей на занятия йогой. Однажды в субботу рано поутру я прижала Джуди в угол по этому поводу. Эйми была в подвале, разминалась, дети смотрели свой час телевидения в неделю. Я прочесала весь дом и обнаружила Джуди в библиотеке: она сидела, закинув ноги на покрытый байкой стол и красила себе ногти на них в жуткий фуксиевый цвет; между длинными пальцами торчали белые клинышки. Она не оторвалась от этого занятия, пока я не договорила.

— Ага, ну очень не хочется тебе об этом сообщать, солнышко, но Эйми поебать на то, что ты думаешь о ее частной жизни.

— Я стараюсь блюсти ее интересы. Это моя работа как ее друга.

— Нет, солнышко, неверно. Твоя работа — личный помощник.

— Я здесь уже девять лет.

— А я — двадцать девять. — Она смахнула со стола ноги и поместила их в черную коробку на полу, которая тлела пурпуром. — И я видела много таких помощников — они приходят и уходят. Но, господи боже, из них никто не бредил так, как ты.

— Вот оно как? Она что же, не пытается ему визу добыть?

— Я с тобой это не обсуждаю.

— Джуди, сегодня весь день я работала главным образом на собаку. У меня университетская степень. Только не говори мне, что меня не наказывают.

Джуди отвела от лица челку обеими руками.

— Перво-наперво, не надо этих чертовых мелодрам. Ты здесь в первую очередь *работаешь*. Что б ты там себе ни думала, ляля, твоя работа не есть «лучшая подруга» и *никогда не была* ею. Ты ее помощница. И всегда ею была. Но в последнее время, похоже, про это забыла — и самое время тебе об этом напомнить. Это, стало быть, у нас первый пункт. Номер два: если она хочет его сюда привезти, если она хочет выйти за него замуж или

танцевать с ним на верхушке Большого, блядь, Бена, тебя это не касается. Ты слишком далеко вышла за свои рамки. — Джуди вздохнула и посмотрела на свои ногти на ногах. — А самое забавное — она на тебя даже не злится из-за мальчишки. Тут дело даже *вообще* не в мальчишке.

— В чем же тогда?

— Ты в последнее время со своей мамой разговаривала?

От этого вопроса я непроизвольно залилась свирепым румянцем. Сколько времени уже прошло? Месяц? Два? Шла сессия парламента, она занята, а если ей хочется со мной пообщаться, она же знает, где меня найти. Все эти оправдания я перебирала у себя в голове довольно долго, прежде чем мне взбрело на ум вообще поинтересоваться, почему Джуди это интересует.

— Ну так, может, стоит поговорить. Она сейчас нам жизнь усложняет, и я не очень понимаю, с чего бы. Было бы полезно, если б ты это выяснила.

— Моя *мать*?

— В смысле, на этом сраном острове, который вы зовете страной, миллион проблем — буквально миллион. А ей хочется поговорить о «Диктатурах в Западной Африке»? — сказала Джуди, расставив пальцами в воздухе кавычки. — Британский сговор с диктатурами в Западной Африке. Она в телевизоре, она пишет полемические колонки, она встает в Чайный Час Вопросов чертова Премьер-Министра, или как вы эту херню там называете. Ей просто нейдет об этом поговорить. Прекрасно. Ну, это проблема не моя — чем ММР занимается, чем занимается ММФ, — это не входит в *мою* сферу. А вот у Эйми, напротив, — *входит*. И в твою тоже. У нас партнерство с этим чокнутым клятым Президентом, и если пойдешь и спросишь у своего возлюбленного Ферна, он тебе расскажет, по какому канату мы сейчас ходим. Поверь мне, солнышко, если его Пожизненное Величество всемогущий Царь Царей не захочет нас у себя в стране? Мы вылетим оттуда в два счета. Школе пиздец, всем пиздец. Ладно, я *знаю*, что у тебя степень. Ты мне сама говорила много, много раз. По международному развитию она у тебя? Нет, я так и думала. И я уверена, что твоя трепливая мамаша на своих задних скамьях, вероятно, считает, что и она пользу приносит, бог его ведает, но знаешь, что она в *действительности* делает? Она вредит тем, кому, по ее утверждениям, помогает, ссыт на тех из нас, кто пытается хоть что-то изменить. Кусает руку. Это у вас, похоже, семейное.

Я села в шезлонг.

— Боже, ты хоть газеты читаешь вообще? — спросила Джуди.

Через три дня после этого разговора мы вылетели в Нью-Йорк. Матери я оставляла сообщения, слала эсэмэску, электронные письма, но она мне не перезванивала до конца следующей недели, и необычайным выбором уместного момента, так свойственного матерям, избрала половину третьего дня в воскресенье, как раз когда из кухни вынесли торт Джея, с потолка «Радужной залы»^[166] посыпались ленты и конфетти, и две сотни гостей запели «С днем рождения» под аккомпанемент скрипачей из струнной секции Нью-Йоркской филармонии.

— Что там за шум? Ты где вообще?

Я раздвинула двери на террасу и закрыла их за собой.

— Тут день рождения у Джея. Ему сегодня девять. Я на вершине «Рокфеллера».

— Послушай, я не хочу с тобой спорить по телефону, — сказала мать тем самым тоном, который подразумевал, что именно этого она и хочет. — Я прочла твои письма, я понимаю твое положение. Но я надеюсь, ты понимаешь, что я на эту женщину не работаю — да и на тебя вообще-то. Я работаю на всех британцев, и если у меня появился интерес к тому региону, если меня все больше и больше заботит...

— Да, но, мам, тебя не могло бы все больше и больше заботить что-нибудь другое?

— Тебе разве безразлично, кто твои партнеры в этом проекте? Я же знаю тебя, моя дорогая, и мне известно, что ты не наемница, знаю, что у тебя есть идеалы — я же тебя сама вырастила, бога ради, потому и знаю. Я этим вопросом глубоко занялась, Мириам тоже, и мы пришли к выводу, что на этом рубеже проблема прав человека действительно становится невыносимой — хотелось бы, чтоб это было не так, ради тебя, но нет. Дорогая моя, разве ты не желаешь знать...

— Мам, извини — я тебе перезвоню, мне пора идти.

Ко мне шел Ферн в скверно сидящем, явно прокатном костюме, коротковатом в лодыжках, нелепо мне помахивая, и я, по-моему, до сего мгновения не понимала, как далеко от них всех меня отнесло. Мне он показался вырезанной фигуркой, приклеенной не к той фотографии, не вовремя. Он улыбнулся, раздвинул двери, голова у него склонилась набок, как у терьера:

— Ах, но ты же выглядишь совершенно прекрасно.

— Почему мне никто не сказал, что ты приедешь? Почему сам не сказал?

Он провел рукой по кудряшкам, полуприрученным дешевым гелем, и напустил на себя робость — как школьник, пойманный на мелкой шалости.

— Ну, я по конфиденциальному делу. Курам на смех, но я все равно не мог бы тебе сказать, извини. Они не хотели болтать.

Я посмотрела, куда он показывал, и увидела Ламина. Тот сидел за центральным столом в белом костюме, как жених на свадьбе, по бокам — Джуди и Эйми.

— Господи Иисусе.

— Нет-нет, по-моему, это не он. Если только не работает на Госдеп. — Он шагнул вперед и положил руки на ограждение. — Ну и вид отсюда!

Перед нами лежал весь город. Я повернулась к виду спиной, чтобы вместо этого присмотреться к Ферну, проверить, насколько он реален, а затем — посмотреть, как Ламин принимает от проходящего официанта ломтик торта. Попыталась как-то обосновать возникшую внутри панику. Это больше, чем просто оставаться в неведении — это отвержение того, как я вообще организовала собственную действительность. Ибо у себя в уме в то время — как, вероятно, и большинство молодых людей — я сама была в центре всего, единственной личностью на свете с подлинной свободой. Я перемещаюсь отсюда туда, наблюдаю за жизнью так, как она мне открывается, но всем остальным в этих сценах, всем второстепенным персонажам, место лишь в тех отсеках, куда я сама их помещаю: Ферн вечно в розовом доме, Ламин ограничен пыльными тропами деревни. Что они делают здесь, сейчас, в моем Нью-Йорке? Я не знала, как разговаривать с ними обоими в «Радужной зале», не была уверена, какими следует быть нашим отношениям или что в этом контексте должна я или должны мне. Я попробовала представить, каково Ламину сейчас, наконец-то — на другой стороне матрицы, и есть ли кому направлять его в этом ошеломляющем новом мире, есть ли кому помочь ему советом, объяснить, до чего непристойные количества денег истрачены на такие штуки, как шарики с гелием, на булочки с вареным кальмаром и четыреста пионов. Но рядом сидела Эйми, а не я, и у нее таких тревог не было, я и отсюда это видела: это ее мир, и Ламина в него просто пригласили, как она пригласила бы кого угодно — это привилегия и дар, так же беззастенчиво королевы некогда предлагали свое покровительство. В уме у нее все это было судьбой, так издревле полагалось, а потому оно — по сути своей несложно. Вот за что на самом деле платили мне, Джуди, Ферну и всем нам: чтобы жизнь оставалась несложной — для нее. Мы брели в спутанных водорослях, чтобы она плыла на поверхности.

— Как бы то ни было, я рад, что приехал. Хотел тебя увидеть. — Ферн протянул руку и легонько погладил меня по правому плечу, и в тот миг мне показалось, что он просто снял какую-то пылинку, думала я совсем о

другом — залипла на образе себя, запутавшейся в водорослях на дне, а Эйми безмятежно проплывает у меня над головой. Затем другая рука его опустилась мне на другое плечо: я по-прежнему не понимала. Как и все остальные на этом празднике, за исключением, быть может, самого Ферна, я не могла отвести глаз от Ламина и Эйми.

— Боже мой, ты только посмотри!

Ферн быстро глянул, куда я показывала, и успел тоже заметить, как Ламин и Эйми кратко поцеловались. Он кивнул:

— А, значит, они этого больше не прячут!

— Господи ты боже мой. Она что, собирается за него замуж? Или намерена его усыновить?

— Какая разница? Я не хочу о ней разговаривать.

Ферн вдруг схватил меня за обе руки, и когда я повернулась к нему — обнаружила, что он пристально пялится на меня в комическом напряжении.

— Ферн, что ты делаешь?

— Ты притворяешься таким циником... — Он не переставал искать глазами встречи с моим взглядом, а я так же упорно старалась ее избежать. — ... но мне кажется, ты просто боишься.

С его выговором прозвучало как реплика из какой-нибудь мексиканской теленовеллы, какие мы с ним, бывало, смотрели с половиной деревни каждую пятницу днем в телевизионной комнате школы. Я ничего не смогла с собой поделать — рассмеялась. Брови его сошлись вместе печальной линией.

— Не смейся надо мной, пожалуйста. — Он окинул себя взглядом, я тоже посмотрела: мне кажется, я впервые увидела его не в грузчицких шортах. — Правду сказать, я не знаю, как одеваться в Нью-Йорке.

Я высвободила руки.

— Ферн, я не знаю, что ты себе про меня думаешь. На самом деле, ты меня совсем не знаешь.

— Ну, хорошо, узнать тебя трудно. Но я хочу тебя узнать. Вот оно как — быть влюбленным. Хочешь узнать кого-то — лучше.

Вся эта ситуация казалась мне до того неловкой, что он тут же должен исчезнуть — как подобные сцены в теленовеллах обрываются на рекламу, — поскольку иначе я просто не понимала, как нам выжить в следующие две минуты. Он не двигался. Вместо этого схватил с официантского подноса два фужера шампанского и выпил свой залпом.

— Тебе нечего мне сказать? Я предлагаю тебе свое сердце!

— О боже мой — Ферн... прошу тебя! Не нужно так говорить! Я не хочу твоего сердца! Я не желаю нести ответственность за чье-либо сердце.

За чужое что угодно!

Он зримо смешался.

— Причудливая мысль. Если живешь в этом мире — уже за что-то отвечаешь.

— Только за себя. — Теперь и я выпила весь фужер. — Я хочу отвечать только за себя.

— Иногда в этой жизни приходится рисковать с другими людьми. Посмотри на Эйми.

— Посмотреть на Эйми?

— А чего нет? Ею невольно восхищаешься. Ей не стыдно. Она любит этого молодого человека. Вероятно, от этого у нее много неприятностей.

— Хочешь сказать — у нас. От этого у нас будет много неприятностей.

— Но ей безразлично, что люди думают.

— Это потому, что она, как обычно, и понятия не имеет, во что вляпалась. Все это сплошная нелепица.

Они склонились друг к другу, наблюдая за фокусником — занятым господином в костюме с Сэвил-Роу^[167] и галстук-бабочке, который приходил к Джею и на восемь лет. Он как раз показывал фокус с китайскими кольцами. В «Радужную залу» лился свет, и кольца проскальзывали друг в дружку, несмотря на свою очевидную цельнолитность. Ламина это, похоже, заворожило — всех заворожило. Я слышала, очень тихо, китайскую молитвенную музыку и понимала в теории, что это, должно быть, часть всего воздействия. Я видела, каково всем остальным, но сама была не с ними и почувствовать этого никак не могла.

— Ревнуешь?

— Мне бы хотелось так себя обманывать, как умеет она. Я ревную ко всему, что настолько очевидно. Немного невежества ее никогда не останавливало. Ее вообще ничего не останавливает.

Ферн допил фужер и неуклюже поставил его на землю.

— Мне не следовало говорить. Полагаю, я неверно представил ситуацию.

Язык любви у него был довольно дурацкий, но теперь, раз он вернулся к своему более привычному административному наречию, мне стало жаль. Он повернулся и снова ушел внутрь. Фокусник закончил. Я смотрела, как Эйми встала и подошла к маленькой закругленной эстраде. Вызвали Джея — ну, или он оказался рядом с ней, за ним Кара, затем Ламин. Вся компания окружила их полумесяцем обожания. Похоже, я одна оставалась по-прежнему снаружи, заглядывая внутрь. Одной рукой Эйми обнимала

Джея и Кару, другой держала Ламина за левую руку в триумфальной позе. Все хлопали и приветствовали — приглушенным ревом через двери двойного стекления. Она выдержала эту позу: засверкал зал, полный вспышек. Оттуда, где стояла я, в позе этой, казалось, слилось много периодов ее жизни: мать и возлюбленная, старшая сестра, лучшая подруга, сверхзвезда и дипломат, миллиардерша и уличная пацанка, глупая девчонка и солидная женщина. Но почему ей обязательно забирать все, иметь все, делать все, быть всеми, повсюду, во всякое время?

Семь

Ярче всего я помню тепло ее тела, когда она сбегала со сцены за кулисы, мне в объятья — я стояла с узкой прямой юбкой на замену ее атласному платью или с черным кошачьим хвостом прицепить ей на попу — едва она выскользнет из узкой юбки, — и с чистыми салфетками стереть пот, который вечно выступал у нее на веснушчатой переносице. Было, разумеется, и множество других парней и куколок, кому мне приходилось вручать пистолеты или трости, или закреплять галстучную булавку, выравнивать шов, или поправлять брошку, но помню я Трейси: одной рукой она держалась за мой локоть, чтоб не потерять равновесия, и быстро совала ноги в пару ярко-зеленых капри, которые я затем сбоку застегивала на молнию, стараясь не прищемить ей кожу, а потом опускалась на колени завязать банты на ее белых туфлях для чечетки с наборными каблуками. При таких быстрых переодеваниях она всегда была серьезна и молчалива. Никогда не хихикала и не суежилась, как остальные «девушки из „Жаркого ларчика“», да и не сомневалась в себе никак, не требовала заверений, что, как я вскоре поняла, было типично для хористок, но совершенно чуждо натуре Трейси. Когда я раздевала или одевала ее, она сосредоточенно наблюдала за тем, что происходит на сцене. Если можно было смотреть представление, она смотрела. Если же застревала в гримерке за сценой и слушала через мониторы, то так сосредоточивалась на этом, что завязать с нею разговор было невозможно. Не имело значения, сколько раз она уже смотрела спектакль, — он ей никогда не надоедал, ей не терпелось вновь в нем оказаться. За сценой ей все наскучивало. Настоящая жизнь у нее была только там, в этой выдумке, под софитами, и это меня как-то смущало, поскольку я знала то, чего больше не знал никто в труппе: у нее был тайный роман с одной из звезд, женатым мужчиной. Он играл Брата Арвида Эбернети, милого пожилого господина, который в оркестре Армии спасения носит бас-барабан. Волосы ему сединой опрыскивать не приходилось, он был почти в три раза старше Трейси, и седин ему хватало: носил он афро соль-с-перцем, которая добавляла тому, что театральные критики называли «солидностью». В действительности он родился и вырос в Кении, сколько-то учился в КАТИ^[168], затем работал в Королевской Шекспировской труппе; у него был весьма аристократичный выговор, над которым большинство посмеивалось у него за спиной, но мне его слушать нравилось, особенно на сцене — такой он был роскошный, просто

словесный бархат. Роман их происходил в небольших карманах времени, свободы как-то его развивать у них не было. На сцене они почти не играли вместе — их персонажи происходили из двух разных миров: дома молитв и притона греха, — а за сценой все случалось втайне и торопливо. Но я была рада взять на себя роль посредницы: разыскивала им пустые гримерки, стояла на страже, врала за них, если требовалось врать, — мне это давало заняться хоть чем-то конкретным, а не просто задаваться вопросом, что я вообще тут делаю, как это со мной происходило почти каждый вечер.

Наблюдать за их романом было мне интересно еще и потому, что он был причудливо сконструирован. Стоило этому бедняге заметить Трейси, как вид у него становился такой, точно он на месте умрет от любви к ней, однако она с ним никогда не бывала особо любезна, насколько я могла видеть, и я часто слышала, как она его зовет «старым дурнем», или дразнит белой женой, или отпускает жестокие шуточки о его стареющем либидо. Однажды я им случайно помешала — зашла в гримерку, не зная, что они внутри, — и обнаружила там исключительную сцену: он стоял на коленях на полу, полностью одетый, но склонив голову и открыто плача, а она сидела на табурете спиной к нему, глядя в зеркало, и накладывала помаду.

— Пожалуйста, не надо, — услышала я, захлопывая дверь. — И встань. Хватит уже стоять на этих блядских коленях... — Позднее она мне рассказала, что он ей предлагал уйти от жены. Страннее всего для меня в ее к нему двусмысленности было то, насколько сурово та расшатывала иерархии театрального мира, которую Трейси занимала: там все до единого в постановке обладали точной ценностью и соответствующей властью, и все отношения строго подчинялись определенной схеме. Общественно, практически, сексуально звезда-женщина стоила, к примеру, всех двадцати хористок, а «девушка из „Жаркого ларчика“ номер один» — примерно трех хористок и всех дублерш; любая же мужская роль со словами равнялась всем женщинам на сцене, взятым вместе — ну, может, за исключением исполнительницы главной роли, — и звезда-мужчина мог печатать собственную валюту: если он входил в комнату, она перегруппировалась вокруг него, если он выбирал себе хористку, она ему тут же покорялась, если он предлагал что-нибудь изменить, режиссер вытягивался по струнке и наострял уши. Система эта была до того прочна, что революции где бы то ни было на нее действовали. Режиссеры, к примеру, начали задействовать актеров вдоль, поперек и вопреки старым классовым и цветовым ограничениям: появились черные короли Генрихи и Ричарды III, говорящие на кокни, а кенийский Арвид Эбернети звучал совсем как Лэрри Оливье^[169], — но прежние сценические иерархии рангов оставались

незыблемы, как всегда. В первую свою неделю я заблудилась за сценой — не знала, где находится шкаф с реквизитом, а потому остановила хорошенькую индианку в корсете, случайно пробегавшую мимо, и попробовала уточнить, куда мне идти.

— Не спрашивай у меня, — ответила она, не остановившись, — я здесь никто... — Роман Трейси поразил меня как разновидность мести всему этому: сродни тому, чтобы домашняя кошка изловила льва, укротила его и стала относиться к нему, как к собаке.

Я была единственной, с кем влюбленные могли общаться после представления. Они не могли ходить в «Коляску и лошадей»^[170] со всей остальной труппой, но нужда утопить в алкоголе адреналиновый нахлыв после спектакля была у них та же, поэтому они шли в «Колониальный зал», куда из труппы не ходил больше никто, а он там много лет уже был членом клуба. Меня часто приглашали пойти с ними. Здесь все называли его «Мелком» и знали, что он пьет: виски с имбирным элем, — эта выпивка всегда ждала его на стойке, когда он являлся ровно без четверти одиннадцать. Ему это очень нравилось — как и глупая кличка, поскольку давать глупые клички — шикарная английская привычка, а он был предан всему шикарному и английскому. Я заметила, что он почти никогда не упоминал в разговоре ни о Кении, ни об Африке. Однажды вечером я попробовала расспросить его о доме, но он пришел в раздражение:

— Слушайте, детки, вы-то выросли здесь, так думаете, будто там, откуда я, сплошь голодающие дети и «Живая подмога»^[171], или что вы там, к черту, считаете. Так вот, мой отец преподавал экономику, мать — министр в правительстве, я вырос на очень красивом участке, получите и распишитесь, с прислугой, поваром, садовником... — Так он распинался еще довольно долго, а затем вернулся к излюбленной своей теме — славным дням Сохо. Мне стало стыдно — но еще я сообразила, что он намеренно меня не понял: само собой, я знала, что его мир существует — такой мир есть где угодно. Знать же я хотела не это.

Истинную верность он хранил только бару и нежность свою к нему изо всех сил старался втолковать двум девчонкам, которые едва ли слышали о Фрэнсисе Бейконе^[172] и перед собой видели только узкую, закопченную комнату, тошнотно-зеленые стены и чокнутый беспорядок вещей — «художественную срань», как называла их Трейси, — занимавших все поверхности. Чтобы досадить любовнику, Трейси нравилось изображать невежество, но хоть она и пыталась это замаскировать, я подозревала, что

ей частенько бывали интересны долгие пьяные истории с отвлечениями, что он рассказывал — о художниках, актерах и писателях, которых знал, об их жизни и трудах, о том, кого они ебли и что пили или принимали, как умерли. Когда он уходил в туалет или купить покурки, я иногда ловила ее на глубокой задумчивости, с какой она созерцала ту или иную ближайшую картину — следила за движением, считала я, кисти, вглядывалась пристально, с остротой, какую применяла ко всему. А когда Мелок, шатаясь, вваливался обратно и возобновлял свою речь, она закатывала глаза, но — слушала, это я понимала. Мелок знал Бейкона шапочно, они только вместе выпивали, а общим хорошим другом у них был один молодой актер по имени Пол, человек «огромной красоты, огромного личного обаяния», сын ганцев, живший со своим дружкой и какое-то время с Бейконом в платоническом треугольнике, где-то в Бэттерси.

— А понимать тут нужно вот что, — сказал Мелок (после некоторого количества виски нам всегда нужно было понимать то или иное), — понимать тут нужно вот что: здесь, в Сохо, в то время черных не было и белых не было. Ничего настолько банального. Тут вам не Брикстон, нет, здесь мы все были братья — в искусстве, в любви... — он слегка ущипнул Трейси, — ... во всем. Потом Полу досталась эта роль во «Вкусе меда»^[173] — мы пришли сюда отпраздновать, — и все только об этом и говорили, мы себя чувствовали в центре всего — свингующего Лондона, богемного Лондона, театрального Лондона, как будто все это теперь и наша страна. Это было прекрасно! Говорю вам, если бы Лондон начинался и заканчивался на Дин-стрит, все было бы... счастьем.

Проелозив, Трейси сползла с его коленей обратно к себе на табурет.

— Ебанный ты зассыха, — пробормотала она, и бармен, услышав, что она сказала, рассмеялся ей:

— Боюсь, солнышко, таково неременное условие членства тут... — Мелок повернулся к Трейси и слюняво ее поцеловал:

— «Ну, ну, оса, — ты слишком уж сердита...»^[174]

— Вот видишь, с чем мне приходится мириться! — воскликнула Трейси, отстраняя его. У Мелка имелась склонность к заупокойным шекспировским балладам — Трейси от них на зеленые стены лезла, отчасти из-за того, что завидовала его красивому голосу, но еще и потому, что, когда Мелок принимался петь об ивах и неверных стервах, это служило надежным знаком того, что вскоре его придется сносить вниз по крутой и шаткой местной лесенке, загружать в такси и отправлять назад к белой жене, приготовив плату за проезд из денег, стащенных Трейси у него

из бумажника: она обычно брала оттуда чуть больше, чем требовалось. Но она была практична — вечер заканчивала лишь после того, как что-нибудь узнавала. Полагаю, она пыталась так наверстать пропущенное за три последних года — такое, что приобрела я: бесплатное образование.

Спектакль принимали очень хорошо, и в ноябре за пять минут до занавеса нас всех собрали за сценой, и продюсеры объявили: постановка продлится за свой рождественский лимит, до весны. Труппа была в восторге, и в тот вечер восторг свой все вынесли на сцену. Я стояла за кулисами, тоже радовалась за них, но у меня внутри прятались собственные тайные новости, о которых я пока не сообщала ни руководству, ни Трейси. Наконец-то прошло одно мое заявление: на должность ассистента режиссера, оплачиваемая стажировка на только запускаемой британской версии «УайТВ». Накануне я сходила на собеседование, сразу же нашла общий язык с интервьюершей, и та мне сказала — несколько непрофессионально, как мне показалось, с учетом очереди из девушек снаружи, что работа — моя, не сходя с места. Всего тринадцать штук, но, если я буду жить у отца, этого хватит выше крыши. Я была счастлива, однако сомневалась, как сообщить об этом Трейси, — на самом деле не задаваясь вопросом, в чем корни моего сомнения. Мимо пронеслись девушки из «Жаркого ларчика», только что от гримера и прямо на сцену, одетые в кошечек, Аделаида — впереди и в центре, а Девушка из «Жаркого Ларчика» Номер Один сразу слева от нее. Они провокационно взбивали груди, облизывали себе лапки, придерживали хвосты — один такой я самолично пристегнула к Трейси десятью минутами раньше, — приседали, как котята, готовые прыгнуть, и уже начали петь — о гадких «папиках», что держат тебя слишком крепко, отчего так и хочется уйти к другому, и об иных, нежных чужаках, с которыми ты как дома... Этот номер у них всегда проходил на ура, но в тот вечер он стал сенсацией. Оттуда, где я стояла, был отлично виден первый ряд — и я замечала неприкрытую похоть в глазах мужчин, замечала, сколько таких взглядов приковано в особенности к Трейси, хотя смотреть, по идее, они должны были на женщину, игравшую Аделаиду. Всех остальных затмило изящество ног Трейси, затянутых в трико, чистая живость ее движений, поистине кошачьих, ультраженских так, что я завидовала и нипочем не надеялась воссоздать собственным своим телом, сколько бы хвостов на меня ни нацепили. В том номере танцевало тринадцать женщин, но лишь Трейси что-то значила по-настоящему, и, когда она сбежала со сцены вместе со всеми остальными и я сказала ей, как чудесно она танцевала, она не стала,

подобно другим девушкам, уточнять или переспрашивать, чтобы я повторила хвалу, а ответила просто:

— Да, я знаю, — нагнулась, разделась и отдала мне свои трико комком.

Тем вечером труппа праздновала в «Коляске и лошадях». Трейси и Мелок пошли с ними вместе, я тоже, но мы слишком уж привыкли к пьяной сокровенной напряженности «Колониального зала» — а также к собственным местам, к тому, что слышишь свой голос, когда говоришь, — и минут через десять, которые мы простояли, вопя во весь голос, а нас не обслуживали, Трейси захотела уйти. Я решила было, что назад, в «Колониальный зал» с Мелком, как мы обычно поступали, чтобы они с возлюбленным могли напиться и обсудить их невозможную ситуацию: его желание обо всем рассказать жене, ее решимость в том, что он не должен, сложности в виде детей — они были примерно нашего возраста, — и вероятность, которой Мелок страшился, а я считала несбыточной: об их романе узнают газеты и сделают из этого какую-нибудь историю. Но, когда он ушел в уборную, Трейси выволокла меня наружу и сказала:

— Не хочу его сегодня делать... — Помню я это «делать». — Пойдем лучше к тебе и нахерачимся.

В Килбёрн мы добрались где-то к половине двенадцатого. Один Трейси свернула прямо в поезде, и теперь мы курили, идя по улице, вспоминая те разы, когда мы делали то же самое на этой же дороге в двадцать, пятнадцать, тринадцать, двенадцать лет...

По пути я рассказала ей свои новости. Звучало весьма блистательно — «УайТВ», три буквы из того мира, что занимал нас, подростков, и мне едва ли не было совестно, что я об этом заговорила, мне непристойно повезло, как будто я буду *мелькать* на этом канале, а не раскладывать его британскую почту по папкам и заваривать его британский чай. Трейси остановилась и взяла у меня косяк.

— Но ты ж не прямо сейчас уйдешь? Посреди спектаклей?

Я пожала плечами и призналась:

— Во вторник. А ты пиздец злишься, что ли?

Она не ответила. Молча мы прошли еще немного, а потом она сказала:

— Съезжать отсюда тоже планируешь?

Я не планировала. Я убедилась, что мне нравится жить с отцом и быть рядом — но не в одном пространстве — с матерью. К моему собственному удивлению, я не спешила съезжать. И помню, как пустилась подробно объяснять это Трейси — как я «люблю» старый свой район, — желая этим произвести на нее впечатление, наверное, доказать, насколько прочно стою ногами на местной почве, невзирая на перемену своих обстоятельств: я по-

прежнему жила с отцом так же, как она по-прежнему жила с матерью. Она слушала, как-то скупно, по-своему улыбалась, задирала носик и не высказывалась. Через несколько минут мы дошли до отцова дома, и я сообразила, что у меня нет ключа. Я его часто забывала, но звонить в дверь мне не хотелось — вдруг он уже спит, ему же рано вставать, — поэтому я огибала дом сбоку и пробиралась внутрь через кухню, дверь там обычно не запиралась. Но в тот миг я добивала косяк, и мне не хотелось, чтобы отец меня увидел за этим занятием — мы не так давно дали друг другу слово, что бросим курить. Поэтому я отправила туда Трейси. Минуту спустя она вернулась и сказала, что кухонная дверь заперта, поэтому нам лучше будет пойти к ней.

Назавтра была суббота. Трейси ушла рано на утренник, а я по субботам не работала. Я вернулась к отцу и весь день провела с ним. Письма в тот день я не видела, хотя оно уже могло лежать на коврике. Нашла я его утром в воскресенье: его подсунули под дверь, адресовано мне, написано от руки, с пятнышком от какой-то еды в углу одной страницы, и я сейчас думаю, что это было последнее по-настоящему личное письмо, какое я когда-либо получала, поскольку хоть у Трейси — тогда еще — и не было компьютера, вокруг уже происходила революция, и вскоре бумажные письма мне будут слать лишь банки, коммунальные службы или правительство — с маленьким пластиковым окошком в конверте, предупреждающем о содержимом. Это же письмо пришло без всякого предупреждения — я много лет не видела почерка Трейси, — и я распечатала его, сев за отцов стол, отец — напротив.

— От кого это? — спросил он, и первые несколько строк я этого и сама не знала. Две минуты спустя у меня оставался лишь один вопрос: правда это или выдумка. Наверняка же выдумка: поверить во что-то иное — значит превратить в невозможность всю мою нынешнюю жизнь, а заодно уничтожить почти всю ту, что я вела до сего момента. Это бы означало позволить Трейси подложить под меня бомбу и разорвать меня в клочья. Я перечитала письмо — убедиться, что поняла. Начала она с того, что это ее долг и жуткая обязанность, и она все спрашивала и спрашивала себя («спрашивала» написано неправильно), что ей делать, и вот почувствовала, что у нее нет выбора («выбора» написано неправильно). Вечер пятницы она описала так же, как его помнила и я: шли по улице к дому моего отца, курили косяк — вплоть до того рубежа, когда она обошла дом проверить вход через кухню, безуспешно. Но тут линия времени у нас разломалась надвое — на ее действительность и мою либо на ее выдумку — насколько

это касалось меня — и мой факт. По ее версии, она обошла вокруг квартиру моего отца, постояла во двореке, засыпанном гравием, а потом, раз кухонная дверь, казалось, была на запоре, сделала два шага влево и прижалась носом прямо к заднему окну — к окну в спальню моего отца, ту, где спала я, ладони сложила чашкой у стекла и заглянула внутрь. И там увидела моего отца, голого, на чем-то сверху, он двигался вверх-вниз, и поначалу она, естественно, решила, что это женщина, и будь это женщина — ну или в этом она меня уверяла, — она б нипочем не стала мне об этом говорить, ни ее это не касается, ни меня, но вся штука в том, что это вообще была не женщина, а кукла, в человеческий рост, но надувная и очень темного цвета — «как голливог»^[175], написала она, — с полумесяцем синтетического ягнячьего руна вместо волос на голове и огромной парой ярко-красных губ, красных как кровь.

— Все в порядке, милая? — спросил отец через стол, пока я тряско держала это комическое, трагическое, нелепое, трогательное, отвратительное письмо в руке. Я ответила, что все прекрасно, вынесла письмо Трейси на задний двор, вытащила зажигалку и подожгла его.

Часть седьмая

Поздние дни

Потом мы с Трейси не виделись восемь лет. Стоял теплый майский вечер не по сезону — тогда я пошла с Дэниэлом Креймером, наше первое свидание. В город он приезжал каждый квартал и был одним из фаворитов Эйми в том смысле, что — по причине миловидности своей — не целиком сливался с прочими бухгалтерами, финансовыми советниками и адвокатами по авторскому праву, с которыми она регулярно консультировалась, и потому ему у нее в уме выделялось имя, такие свойства, как «хорошая аура» и «нью-йоркское чувство юмора», а также несколько биографических подробностей, какие ей удалось запомнить. Родом из Квинса. Ходил в Стайвесэнт^[176]. Играет в теннис. Стараясь договариваться как можно рыхлее, я ему предложила двинуть в Сохо и там «сыграть на слух», но Эйми хотела, чтобы сначала мы зашли в дом выпить. Совсем не рядовое это событие — такое вот сокровенное приглашение между делом, но Креймер, похоже, ему не удивился и не встревожился. Те двадцать минут, что нам выделили, прошли без клиентского поведения. Он восхищался искусством — не перебарщивая — и учтиво слушал, как Эйми повторяла все, что ей наплел торговец, продавая то или иное произведение, а вскоре мы уже вышли на свободу — от Эйми, от давящей роскоши этого дома, сбежали вниз по черной лестнице, оба немного ословелые от хорошего шампанского, вынырнули на Бромптон-роуд, в теплый душный вечер, сырой, грозящий бурей. Ему хотелось неспешно дойти пешком до города — у него был смутный план посмотреть, что идет в «Кёрзоне»^[177], — но я была отнюдь не туристка, и дело происходило в мои первые неопытные дни невозможных каблуков. Я уже намеревалась искать такси, когда он — ну «весело» же — сошел с обочины и остановил проезжавший педикэб.

— У нее собрано много африканского искусства, — сказал он, когда мы забирались на сиденья с леопардовым рисунком: просто беседу поддержать, но я, наостренная против любого намека на клиентство, его срезала:

— Ну, я вообще-то не понимаю, что ты имеешь в виду под «африканским искусством».

Он с виду удивился моему тону, но сумел выдавить нейтральную улыбку. Он полагался на бизнес Эйми, а я была продолжением Эйми.

— Большинство из того, что ты видел, — начала я тоном, более

уместным в лекционной аудитории, — на самом деле — Огэста Сэвидж. Такое гарлемское. Там она жила, когда только приехала в Нью-Йорк — я имею в виду Эйми. Разумеется, она вообще очень поддерживает искусство.

Теперь Креймеру явно стало скучно. Я сама от себя заскучала. Больше мы не разговаривали, покуда велосипед не остановился на углу Шэфтсбёри-авеню и Грик-стрит. Подъезжая к бордюру, мы удивились присутствию бангладешского мальчишки, о чьем независимом существовании мы до этого момента совершенно забыли, однако же он, бесспорно, довез нас досюда и теперь повернулся на велосипедном седле, все лицо мокрое от пота, едва способный, тяжело сопя, объяснить, сколько стоил этот его труд человеческий в минуту. В кино нам ничего смотреть не захотелось. В несколько напряженном настроении, в одежде, прилипавшей к телу от жары, мы побрели к Пиккадилли-Сёркэс, толком не зная, в какой бар направляемся или не стоит ли нам вместо этого поесть, оба мы уже считали вечер потерянным, глядели прямо перед собой, и через каждые несколько шагов на нас пялились громадные театральные афиши. Как раз перед одной из них, чуть в глубине, я остановилась как вкопанная. Представление оперетты «Плавучий театр», снимок «негритянского хора»: головные платки, подвернутые штаны, фартуки и рабочие юбки, но всё — со вкусом, тщательно, «подлинно», без всяких намеков на Мамушку или Дядю Бена^[178]. А девушкой, стоявшей к камере ближе всех: рот широко открыт в песне, одна рука воздета ввысь, держит метлу — само олицетворение кинетической радости, — была Трейси. Креймер подошел ко мне сзади и присмотрелся у меня через плечо. Я ткнула пальцем во вздернутый носик Трейси, как сама Трейси, бывало, показывала на лицо какой-нибудь танцовщицы, когда та проходила по нашим телеэкранам.

— Я ее знаю!

— Вот как?

— Я ее очень хорошо знаю.

Он выколотил из пачки сигарету, прикурил и осмотрел театр снизу доверху.

— Ну что... хочешь сходить посмотреть?

— Но тебе же оперетты не нравятся, да? Серьезные люди их не любят.

Он пожал плечами.

— Я же в Лондоне, а это спектакль. В Лондоне именно это делать и полагается, разве нет? Сходим посмотрим?

Он отдал мне сигарету, толкнул тяжелые двери и направился к кассе. Всё вдруг показалось очень романтичным, случайным и своевременным, и у меня в голове уже пробежало смехотворное девичье повествование — о

каком-нибудь будущем, когда я буду объяснять Трейси, где-нибудь за кулисами грустного провинциального театрала, пока она стаскивает с себя усталые колготки в сеточку, — что в тот самый миг я осознала, что встретила свою любовь, то был миг, когда на меня снизошло истинное счастье, — именно тогда я совершенно случайно заметила ее в той очень маленькой роли, которую она еще в те времена играла в кордебалете «Плавучего театра», столько лет назад...

Креймер вышел с двумя билетами — отличные места во втором ряду. Вместо ужина я себе купила большой пакет шоколадных конфет, такие мне редко доводилось есть — Эйми подобное считала не только питательно смертоносным, но и явным показателем нравственной слабости. Креймер взял два больших пластиковых стакана скверного красного вина и программу. Я в ней поискала, но Трейси не нашла. Ее не было там, где ей полагалось быть по алфавиту занятых в спектакле, и я уже начала тревожиться, что у меня какая-то галлюцинация или я совершила постыдную ошибку. Я листала страницы взад и вперед, на лбу у меня выступил пот — должно быть, выглядела я спятившей.

— Ты в норме? — спросил Креймер. Я уже почти добралась до конца программы, и тут Креймер ткнул пальцем в страницу, чтобы я ее не перелистнула. — Но это разве не твоя девушка?

Я присмотрелась: она. Трейси сменила свою заурядную варварскую фамилию — под которой я всегда ее знала, — на офранцузенную и для меня нелепую: Леруа. Имя тоже оказалось подогнанным — теперь она звалась Треси. А на снимке волосы у нее были гладкими и блестящими. Я громко расхохоталась.

Креймер с любопытством взглянул на меня.

— Вы с ней старые подруги?

— Я ее очень хорошо знаю. То есть мы не виделись лет восемь.

Креймер нахмурился:

— Понимаешь, в мире парней мы бы такое назвали «бывший друг», а еще лучше — «чужой человек».

Заиграл оркестр. Я читала биографию Трейси, яростно разбирала ее по косточкам, стараясь обогнать время, пока в зале не померк свет, словно зримые буквы прятали в себе какой-то другой набор слов с гораздо более глубоким смыслом, требовавшим расшифровки, и явили бы нечто существенное о Трейси и том, как она теперь живет:

Треси Леруа

ХОР / ДАГОМЕЙСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА

Театральные роли:

«Парни и куколки» (театр Уэллингтон); «Пасхальный парад» (гастроли по СК); «Бриолин» (гастроли по СК); «Слава!» (Шотландский национальный театр); Анита, «Уэстсайдская история» (мастерская)^[179]

Если такова история ее жизни, то разочаровывает. Здесь не доставало вездесущих достижений других подобных биографий: нет телевидения, нет кино, никаких упоминаний о том, где ее «готовили», из чего я сделала вывод, что учебу она так и не закончила. Помимо «Парней и куколок» другие работы в Уэст-Энде не значились — только эти унылые на слух «гастроли». Я представила себе маленькие церковные залы и школы в глубинке, малолюдные утренники на сценах заброшенных кинотеатров, мелкие местные театральные фестивали. Но что-то во всем этом пришлось мне по душе — другая моя часть, столь же крупная, возбудилась от мысли, что эта биография Треси Леруа довольно-таки сопоставима — для любых прочих в этом зале, кто сейчас читает программу, или кого угодно из актеров труппы — с любой другой подобной историей. Что у Треси Леруа общего со всеми этими людьми? С девушкой сразу справа от нее в программе, у кого биография бесконечна: Эмили Вулфф-Прэтт, училась в КАТИ и не может знать, в отличие от меня, насколько статистически невероятно то, что моя подруга вообще оказалась сейчас на этой сцене — в любой роли, в любом контексте; вероятно, ей достает опрометчивости думать, будто это она, Эмили Вулфф-Прэтт — настоящая подруга Трейси лишь из-за того, что видит ее каждый вечер, лишь потому, что они вместе танцуют, хотя на самом деле она и понятия не имеет, кто такая Трейси, или откуда взялась, или чего ей стоило сюда попасть. Я перевела взгляд на портрет Трейси. Что ж, надо признать: вышла она довольно неплохо. Нос у нее уже не казался таким возмутительным, она с ним как-то сжилась, а жестокость, которую я всегда у нее в лице подмечала, теперь затмевалась мегаваттной бродвейской улыбкой, общей для всех актеров на странице. Удивительно было не то, что она хорошенькая или сексуальная — эти свойства имелись у нее чуть ли не с детства. Удивительно было, насколько элегантной она теперь стала. Пропали ее ямочки Шёрли Темпл вместе с намеком на провокационную полноту, которую она проявляла ребенком. Мне почти невозможно было вообразить сейчас ее голос, каким я его знала, каким запомнила: чтобы он исходил от этого нахальноносового, гладковолосого, нежно веснушчатого существа. Я улыбнулась ей на странице. Треси Леруа, за кого ты теперь себя выдаешь?

— Ну, поехали! — сказал Креймер, и занавес раздвинулся. Локти он упер в колени, руки — двумя детскими кулаками под подбородком, лицо он сделал шаловливое: *сгораю от нетерпения*.

Справа на сцене — южный дуб, задрапированный испанским мхом, прекрасно изображен. Слева — намек на миссисипский городок. В центре — плавучий театр у пристани, «Цветок хлопка». Трейси вместе с четырьмя другими женщинами вышла первой на сцену из-за дуба, держа метлу, а за ними с различными мотыгами и лопатами появились мужчины. Оркестр сыграл начальные такты песни. Ее я узнала, как только услышала — большой хоровой номер, — и тут же меня охватила паника, сама не знаю почему, и только мгновение спустя сама музыка дала мне подсказку из памяти. Мне представилась вся песня, разложенная в нотах, — и к тому же я вспомнила, каково мне было, когда я увидела этот номер впервые. И вот слова — ребенком они меня шокировали — сами слепились у меня во рту, в такт самой увертюре оркестра: я вспомнила Миссисипи, где все «негритосы» работают, а белые люди — нет, и вцепилась в подлокотники кресла, меня так и подмывало вскочить с места — как будто сцена эта мне снилась — и остановить Трейси, пока она еще не начала, но едва я об этом подумала, стало уже слишком поздно, и поверх слов я подумала, что мне показалось, будто некоторые слова тут заменили, но, разумеется, их заменили — первоначальный текст уже никто не поет много, много лет^[180]. «Здесь работаем мы все... Здесь работаем мы все...»

Я забила поглубже в кресло. Смотрела, как Трейси умело обращается с метлой — туда и сюда, та оживает у нее в руках так, будто кажется, что на сцене еще один человек, как тот трюк Астэра с вешалкой для шляп в «Королевской свадьбе»^[181]. В какой-то миг Трейси совершенно совпала со снимком на афише: метла воздета ввысь, рука вытянута, кинетическая радость. Мне хотелось нажать на паузу, чтобы она осталась в этой позе навсегда.

На сцену вышли настоящие звезды, чтобы начать действие. На заднем плане Трейси подметает крыльцо лавки. Находится она справа от главных героев — Джули Лаверн и ее преданного мужа Стива, двух актеров кабаре, которые вместе работают на «Цветке хлопка» и влюблены друг в друга. Но вскоре — перед самым антрактом — выясняется, что Джули Лаверн — на самом деле Джули Дозье, то есть — не белая женщина, какой она всегда притворялась, а на самом деле трагическая мулатка, которая «смахивает», убеждает всех, включая собственного мужа, покуда ее не разоблачают. В этот момент паре угрожает тюрьма, поскольку брак их незаконен по закону

о смешении рас^[182]. Стив режет Джули ладонь и пьет немного ее крови: правило «одной капли» — теперь они оба негры. В тусклом свете, посреди этой нелепой мелодрамы я сверилась с биографией актрисы, игравшей Джули. У нее была греческая фамилия, и выглядела она не смуглее Креймера.

В антракте я много — и слишком быстро — пила, а также безостановочно разговаривала с Креймером. Я опиралась на стойку бара, не давая другим людям к нему подойти, размахивая руками и тараторя о несправедливости такого подбора актеров, о том, как мало ролей для таких актеров, как я, а если даже они и существует, их нипочем не получишь, кто-нибудь вечно отдает их белой девушке, ибо даже трагическая мулатка явно не годится на роль трагической мулатки, даже по сей день и...

— Таких актеров, как ты?

— Что?

— Ты сказала: «актеров, как я».

— Нет, не говорила.

— Нет, сказала.

— Я вот о чем: эту роль нужно было дать Трейси.

— Ты только что сказала, что она не может петь. Судя по тому, что я видел, это роль в основном с пением.

— Прекрасно она поет!

— Господи, чего ты на меня орешь?

Второе действие мы просидели молча, как и первое, только на сей раз у этого молчания возникла новая текстура, остуженная льдом нашего взаимного презрения. Мне очень хотелось оттуда убраться. Долгие куски спектакля проходили без участия Трейси и меня совершенно не интересовали. Только ближе к концу вновь появился хор — теперь как «дагомейские танцоры», то есть африканцы из Царства Дагомея, они якобы выступали на Всемирной ярмарке в Чикаго в 1893 году. Я смотрела на Трейси в кольце женщин — мужчины танцевали напротив них в собственном кругу: она размахивала руками, низко приседала и пела на вымышленном африканском языке, пока мужчины топали ногами и бряцали копьями в ответ: «гунга, хунго, бунга, губа!» Неизбежно мне в голову пришла моя мать — и ее взгляд на дагомейские истории: чередой гордых царей, форма и текстура раковин каури, которые использовались как деньги, батальон амазонок, состоявший исключительно из женщин, как они брали пленных, что становились рабами царства, — или же просто они отрубали врагам головы и вздымали их над собой. Как другие дети слушают сказки про Красную Шапочку и Златовласку, я слушала об этой

«Черной Спарте» — благородном царстве Дагомеи, что до самого конца держалось против французов. Но почти невозможно было примирить эти воспоминания с тем фарсом, что происходил нынче на сцене и вне ее, поскольку большинство публики, среди которой я сидела, не знало, что в пьесе будет дальше, а потому, как я поняла, у них было такое чувство, будто они смотрят некое позорное шоу менестрелей и желают, чтобы эта сцена поскорее закончилась. И на сцене «публика» на Всемирной ярмарке пятилась от Дагомейских Танцоров, хоть и не от стыда, а из их собственного страха: вдруг эти танцоры свирепы, ничем не отличаются от всего своего племени, вдруг копья у них — не реквизит, а настоящие. Я бросила взгляд на Креймера: ему было неловко. Я снова повернулась и стала смотреть на Трейси. Как же ее развлекало общее неудобство — совсем как в детстве, когда ей нравились такие моменты. Она потрясала копьем и ревела, маршируя со всеми остальными к испуганной публике на ярмарке, а затем хохотала вместе со всеми, когда эта публика сбежала со сцены. Оставшись одни, Дагомейские Танцоры совсем распоясались: они запели о том, до чего рады они и устали — рады видеть спины белых, а устали, так устали играть в «дагомейском спектакле».

И вот теперь публика — настоящая публика — все поняла. Они увидели: то, что смотрели они, было призвано быть смешным, ироничным, что танцоры это американские, а никакие не африканцы — да, наконец-то они сообразили, что их самих разыграли. Да эти ребята совсем не из Дагомеи! Это же просто старые добрые негры, в конце концов, прямо с Авеню А, из самого Нью-Йорка! Креймер хмыкнул, музыка сменилась на рэгтайм, и я ощутила, как подо мной задвигались мои же ноги, пытаюсь отзвуком по толстому красному ковру повторить те сложные па шаффла, которые Трейси надо мной выполняла на сцене из твердого дерева. Все шаги были мне знакомы — их любой танцор знает, — и я пожалела, что сама не с ней там, наверху. Я застряла в Лондоне, в 2005 году, а Трейси была в Чикаго в 1893-м, и в Дагomee за сотню лет до того, и где угодно, и в любое время, где и когда люди так двигали ногами. Я так завидовала, что расплакалась.

Спектакль закончился, я вышла из длинной очереди в дамскую комнату и заметила Креймера, не успел он заметить меня: он стоял в вестибюле, скучая и злясь, держа на руке мое пальто. Снаружи опять полило.

— Ну, я пошел, — сказал он, отдавая мне пальто, едва ли в силах на меня посмотреть. — Ты же наверняка хочешь со своей «подругой»

поздороваться.

Он поднял воротник и удалился в ту жуткую ночь, без зонтика, по-прежнему злой. Ничто так не оскорбляет мужчину, как пренебрежение им. Но на меня произвело впечатление: его неприязнь ко мне настолько явно была сильнее его страха перед тем, как я могу повлиять на его нанимателя. Как только он скрылся из виду, я обошла театр сбоку и обнаружила, что там все такое же, каким всегда видишь в старом кино: надпись на двери гласила «Служебный вход», а перед нею толпилась солидная группа людей — ждала, когда выйдут актеры, — невзирая на дождь, прижимая к себе свои блокнотики и ручки.

Сама без зонтика, я прижалась к стенке, выходявшей наружу, сверху меня прикрывал лишь крохотный свес. Я не знала, что собираюсь сказать или как к ней подойти, и только я взялась об этом думать, как в переулок въехала машина; за рулем сидела мать Трейси. Она едва ли изменилась: сквозь заляпанное дождем ветровое стекло я видела у нее в ушах все те же обручи из жести, тройной подбородок, волосы, туго забранные назад, сигарету в углу рта. Я тут же повернулась лицом к стене и, пока она ставила машину, сбежала оттуда. Промчалась по Шэфтсбёри-авеню, вся вымокла, думая о том, что успела увидеть на заднем сиденье машины: двух спящих маленьких детишек, пристегнутых к сиденьям. Мне было интересно, это ли — и ничто другое — было истинной причиной того, что историю жизни Трейси можно прочесть так быстро.

Хочется верить, что есть предел тому, чего можно достичь деньгами, какие границы с их помощью пересечь. Ламин в том белом костюме в «Радужной зале» ощущался как пример ровно противоположного урока. Хотя на самом деле визы у него не было — пока. У него имелся новый паспорт и дата возвращения. И когда настала пора уезжать, мне следовало сопроводить его в обратную деревню вместе с Ферном, а там задержаться на неделю, чтобы завершить годовой отчет для совета фонда. После чего Ферн останется и дальше, а я полечу в Лондон встречать детей и надзирать за их ежеквартальным посещением их отцов. Так нас проинформировала Джуди. А до тех пор — месяц вместе в Нью-Йорке.

Все последнее десятилетие, пока мы жили в городе, моей базой была комната горничной в цокольном этаже рядом с кухней, хотя время от времени заводилось вялое обсуждение возможности предоставить мне отдельное жилье: гостиницу, съемную квартиру где-нибудь, — что никогда ни к чему не приводило и вскоре забывалось. Но на сей раз мне сняли квартиру еще до моего приезда — трехкомнатную на Западной 10-й улице, высокие потолки, камин, весь второй этаж прекрасного бурого городского особняка. Здесь некогда жила Эмма Лазарэс: синяя табличка под моим окном увековечивала ее нахохленные массы, стремящиеся вздохнуть свободно^[183]. Вид у меня открывался на розово-зардевший кизил в полном цвету. Все это я приняла за усовершенствование. Затем возник Ламин, и я поняла, что меня переселили для того, чтоб мог вселиться он.

— Что с тобой конкретно происходит? — спросила меня Джуди наутро после дня рождения Джея. Безо всяких вводных — лишь ее настойчивый вопль, донесшийся в телефон, как раз когда я пыталась убедить парня из *бодегы* на Мерсер, что яблока мне в зеленый сок не нужно. — Ты что, с Фернандо поругалась? Потому что мы просто не можем устроить его сейчас в доме — в таверне ему нет места. У нас битком, как ты, вероятно, заметила. Нашим влюбленным птишкам нужно уединение. План был в том, чтобы он несколько недель пожил у тебя в квартире, всё уже решили — а он вдруг уперся.

— Ну, мне об этом ничего не известно. Потому что мне никто не сказал. Джуди, ты мне даже не сообщила, что Ферн вообще в Нью-Йорк приезжает!

Джуди нетерпеливо фыркнула.

— Слушай, Эйми мне этим поручила заниматься. Дело было в том, чтобы сопроводить Ламину сюда, а она не хотела, чтоб об этом знал весь мир... Вопрос деликатный, и я с ним разобралась.

— С кем мне теперь жить, тоже ты разбираешься?

— Ох, солнышко, ну *извини* — ты, что ли, сама за квартиру платишь?

Мне удалось избавиться от нее в телефоне, и я позвонила Ферну. Он сидел в такси где-то на Уэстсайдской трассе. До меня донесся туманный горн круизного судна, подходящего к причалу.

— Лучше я найду где-то еще. Да, так лучше. Сегодня днем я смотрю место в... — Я услышала, как грустно шелестят бумагами. — Ну, не важно. Где-то в городе.

— Ферн, ты не знаешь этого города — и ты не хочешь платить тут за квартиру, поверь мне. Возьми у меня комнату. Мне говенно будет, если не возьмешь. Я все равно днем и ночью буду у Эйми — у нее программа начинается через две недели, у нас по уши работы. Честное слово — ты меня почти не будешь видеть.

Он закрыл окно, ветер с реки отсекся. Затишье было непредупредительно интимным.

— Мне *нравится* тебя видеть.

— Ох, Ферн... Согласись, пожалуйста, на комнату!

В тот вечер единственным признаком его были пустая кофейная чашка в кухне и высокий холщовый рюкзак — такие студенты пакуют себе в академ, — подпиравший косяк при входе в его пустую комнату. Когда он карабкался с этим единственным багажом на спине по трапу парома, простота его, бережливость казались чем-то благородным, я к такому сама стремилась, но тут, в Гренич-Виллидж, мысль о сорокапятилетнем мужчине, у которого из всех пожитков — только рюкзак, поразила меня своей печалью и эксцентрикой. Я знала, что он в одиночку пешком пересек Либерию, когда ему было всего двадцать четыре, — то была некая его дань уважения Грэму Грину^[184], — но сейчас в голову мне приходило только одно: «Братишка, да тебя этот город живьем слопает». Я написала ему приятную нейтральную приветственную записку, подсунула под лямки его рюкзака и легла спать.

Насчет того, чтобы почти не видеться с ним, я была права: к Эйми мне следовало являться каждое утро к восьми (просыпалась она обычно в пять, чтобы два часа разминаться в подвале, потом час медитации), а Ферн в это время обычно еще спал — или делал вид, что спит. В особняке у Эйми —

сплошь неистовое планирование, репетиции, тревожность: новое шоу ее ставилось в зале средних размеров, петь она будет живьем, группа тоже играет живьем, такого она не делала уже много лет. Чтобы не попадать под огонь, чтобы меня не задевали ее срывы и споры, я сколько могла сидела в конторе и репетиций избегала всеми правдами и неправдами. Но сообразила, что разрабатывается некая западноафриканская тема. В дом доставили комплект барабанов *атумпан*^[185], а также длинношеюю *кору*, рулоны кенте, и — однажды утром во вторник — прибыла танцевальная труппа из двенадцати человек: африканцы-из-Бруклина, их сразу провели в подвальную студию, а вышли они оттуда лишь после ужина. Они были молодыми, главным образом — сенегальцы во втором поколении, и Ламина они заворожил: он хотел знать их фамилии, деревни, откуда родом их родители, он гонялся за любой возможной связью, через семью или место. А Эйми приклеилась к Ламину: наедине с ней уже невозможно было беседовать, он непременно был рядом. Но какой же это Ламин? Она считала весьма провокационным и забавным рассказывать мне, что он по-прежнему молится по пять раз в день — у нее в гардеробном чулане, который, очевидно, смотрел в сторону Мекки. Лично мне хотелось бы верить в такую непрерывность, в ту его часть, до какой она еще не дотянулась, но бывали дни, когда я с трудом узнавала его. Однажды днем я принесла в студию поднос с кокосовой водой и застала там его: в белой рубашке и белых брючках он показывал движение, которое я помнила по канкурунгу — сочетание притопа боком, шарканья и нырка. Эйми и другие девушки внимательно смотрели на него и повторяли за ним. Они потели в своих обрезанных топах и драных гимнастических комбинезонах и прижимались к нему и друг дружке так тесно, что любое движение, какое он делал, выглядело единой волной, проходящей через пять тел. Но самым неузнаваемым жестом он смахнул у меня с подноса бутылку кокосовой воды — без всякого спасибо, даже не кивнув, можно было подумать, что он берет напитки с качких подносов девочек-служанок каждый день своей жизни. Возможно, через матрицу роскоши проходить легче всего. Возможно, нет ничего проще, чем привыкнуть к деньгам. Хотя случались такие разы, когда я замечала в нем некую затравленность, будто его что-то неотступно преследует. Забредя в столовую ближе к концу его визита, я обнаружила его по-прежнему за столом после завтрака: он беседовал с Грейнджером, который выглядел очень усталым, словно сидит здесь уже очень давно. Я подседа к ним. Глаза Ламина были устремлены куда-то между бритой головой Грейнджера и противоположной стеной. Он снова шептал — озадачивающе и монотонно, и речь его звучала заклинанием:

— ...и вот сейчас наши женщины сеют лук на грядках по правую руку, а потом горох на грядках по левую руку, и если горох правильно не поливать, когда они придут боронить землю граблями, где-то еще через две недели, беда будет, листья свернутся оранжевым, а если листок так свернулся, значит, у него потрава, и тогда им придется выкапывать то, что посеяли, и снова засаживать грядки, а при этом, я надеюсь, они не забудут уложить сверху слой богатой почвы, которую мы берем выше по течению реки, понимаешь, когда мужчины уходят вверх по течению, где-то через неделю, когда мы туда уходим, мы добываем богатую почву...

— Угу, — примерно через каждую фразу говорил Грейнджер. — Угу. Угу.

В наших жизнях время от времени возникал Ферн — на совещаниях совета или когда Эйми требовала его присутствия, чтобы разобраться с практическими неувязками в школе. У него постоянно бывал измученный вид — он физически морщился, когда мы встречались взглядами, — и он рекламировал свою скорбь, куда бы ни пришел, как человек из комикса, у которого над головой черная тучка. Эйми и остальным членам совета он излагал пессимистические оценки, сосредоточиваясь на недавних агрессивных заявлениях Президента касательно иностранного присутствия в стране. Я никогда раньше не слышала, чтобы он так говорил — настолько обреченно, это было не в его натуре, и я знала, что истинной косвенной мишенью его критики была я сама.

В тот день в квартире я не стала прятаться у себя в комнате, как обычно, вышла ему навстречу в коридор. Он только что вернулся с пробежки, вспотевший, согнулся, уперев руки в колени, тяжело дышал, глядя снизу на меня из-под густых бровей. Я была очень рассудительна. Он не отвечал мне, но, казалось, все впитывал. Без очков его глаза выглядели огромными, как у карикатурного младенца. Когда я договорила, он выпрямился и изогнулся в другую сторону, подпирая себе копчик обеими руками.

— Ну, я приношу свои извинения, если я тебя смутил. Ты права — это было непрофессионально.

— Ферн — разве мы не можем быть просто друзьями?

— Конечно. Но ты же еще хочешь, чтобы я сказал: «Я счастлив, что мы друзья»?

— Не хочу, чтоб ты был несчастлив.

— Но это не какая-нибудь твоя оперетта. Правда в том, что я очень печален. Я хотел чего-то — я хотел тебя — и вообще не получил то, чего

хотел или на что надеялся, и теперь я печален. Я это в себе одолею, наверное, но теперь я печален. Можно мне быть печальным? Да? Что ж. Теперь мне надо в душ.

Мне в то время было трудно понимать человека, который так говорил. Мне это было чуждо как идея — меня воспитывали не так. Какого ответа такой человек — отказывающийся от любой власти — может вообще ожидать от такой женщины, как я?

На представление я не пошла — не смогла бы этого выдержать. Мне не хотелось стоять на дешевых местах с Ферном и ощущать его недовольство, глядя на версии танцев, что мы оба видели у их истока, только теперь — представленные в комнате смеха. Эйми я сказала, что пойду, и пойти намеревалась, но, когда подкатили восемь часов, я по-прежнему была в домашних трениках, валялась, подперев спину подушкой, у себя на кровати, в пах мне был уперт ноутбук, а затем настало девять, а затем — и десять. Мне совершенно необходимо встать и пойти — разум мой твердил мне об этом, и я с ним соглашалась, — но тело замерло стоп-кадром, ощущалось тяжелым и несдвигаемым. Да, я должна пойти, это ясно, как ясно было и то, что никуда я не пойду. Я влезла на «Ю-Тьюб», проскакала от одного танцора к другому: Бодженглз наверху лестницы, Херолд и Фаярд на рояле, Жени Легон в своей размашистой травяной юбочке, Майкл Джексон в «Мотауне 25»^[186]. Я часто заканчивала на этом клипе Джексона, хотя на сей раз, пока он лунно прохаживался по сцене, меня заинтересовали отнюдь не экстатические вопли публики и даже не сюрреальная текучесть его движений, а то, насколько коротки у него брючки. И все равно вариант пойти не казался совсем утраченным или полностью закрытым, пока я не оторвалась от бесцельного брожения по Сети и не обнаружила, что уже случилось без четверти двенадцать, а это значит, что теперь мы оказались в бесспорном прошлом времени: я никуда не пошла. Поиск по Эйми, поиск по залу, поиск по бруклинской танцевальной труппе, поиск изображений, поиск по новостям АП^[187], поиск по блогам. Поначалу просто из виноватости, но вскоре — с пониманием того, что я могу реконструировать, 140 знаков за раз, снимок за снимком, один пост в блоге за другим, все переживание того, будто я там побывала, покуда к часу ночи никто бы там не присутствовал мощнее, чем я. Я была там гораздо больше тех, кто там оказался на самом деле, они оставались привязаны к одному месту и одной перспективе — к одному потоку времени, — я же была в том зале повсюду во все мгновенья,

смотрела представление со всех ракурсов единым могучим актом сшивки. Там я бы могла и остановиться — мне уже с головой хватало на то, чтобы наутро представить Эйми полный отчет о своем вечере, — но я не остановилась. Меня заворожил процесс. Наблюдать в реальном времени споры, когда они только лепятся и обретают плоть, смотреть, как развивается консенсус, определяются пики смущенья, их значения и подтексты принимаются или отвергаются. Оскорбления и шутки, слухи и сплетни, мемы, «Фотошоп», фильтры и все многообразие критики, которая тут царила невозбранно, до которой тут не дотянется, которую не проконтролирует сама Эйми. Раньше на той же неделе, наблюдая примерку — где Эйми, Джея и Кару наряжали в аристократию ашанти, — я с сомнением затронула вопрос о заимствовании. Джуди застонала, Эйми посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на собственное призрачно-бледное миниатюрное тело, обернутое в огромное количество ярко раскрашенной материи, и сказала мне, что она — художник, а художникам следует разрешать любить вещи, трогать их и ими пользоваться, потому что искусство — это не заимствование, цель искусства не такова: цель искусства — любовь. А когда я у нее спросила, возможно ли одновременно любить что-то и при этом его не трогать, она странно воззрилась на меня, притянула детей к себе поближе и спросила:

— Ты бывала когда-нибудь влюблена?

Но теперь я себя чувствовала под защитой, виртуально окруженной со всех сторон. Нет, не хотелось мне останавливаться. Я все перезагружала и перезагружала страницы, дожидаясь, когда проснутся новые страны и увидят эти изображения, и у них сложатся собственные мнения или они начнут кормиться теми мнениями, что уже высказали. Под самое утро я услышала, как тихонько скрипнула входная дверь и в квартиру ввалился Ферн — наверняка прямиком с отходной вечеринки. Я не шевельнулась. И, должно быть, часа в четыре утра, прокручивая в браузере свежие мнения и слушая, как в кизиле щебечут птички, я увидела кличку «Трейси Легон», подзаголовок «Правдорубка». Контактные линзы уже чуть не трескались у меня в глазах, больно было моргать, но мне это не мерещилось. Я щелкнула. Она опубликовала то же фото, какое я уже видела сотни раз: Эйми, танцоры, Ламин, дети — все выстроились на авансцене в *адинкре*^[188], которую у меня на глазах на них примеряли: густой небесно-голубой цвет, заштампованный орнаментом черных треугольников, а в каждом треугольнике — глаз. Трейси взяла это изображение, во много раз увеличила его, обрезала так, чтобы видны оставались только треугольник и глаз, а под этим снимком задавался вопрос: «ВЫГЛЯДИТ ЗНАКОМО?»

Три

Возвращаясь с Ламином, мы взяли свой «лиэрджет», но без Эйми — та была в Париже, ей французское правительство вручало медаль, — поэтому нам пришлось оформляться в главном здании аэропорта, как всем прочим, идти через зал прилетов, забитый вернувшимися сыновьями и дочерями. На мужчинах были шикарные джинсы из толстого денима, жесткие узорчатые рубашки с воротничками биржевиков, фирменные толстовки с капюшонами, кожаные куртки, новейшие кроссовки. А женщины точно так же были полны решимости надеть на себя все лучшее сразу. Красиво уложенные волосы, свеженакрашенные ногти. В отличие от нас, все они были прекрасно знакомы с этим залом и быстро обеспечили себе услуги носильщиков, кому вручили свои исполинские чемоданы, велев обращаться бережно — хотя каждая сумка была обернута во много слоев пластика, — после чего повели этих разгоряченных и затравленных молодых носильщиков через толпы к выходу, то и дело оборачиваясь и рявкая им наставления, словно скалолазы своим шерпам. Сюда, сюда! Над головами плыли смартфоны, указывая путь. Глядя в этом контексте на Ламину, я поняла, что его дорожный наряд, вероятно, был сознательным выбором: несмотря на всю одежду, все кольца, цепочки и обувь, какие Эйми подарила ему за последний месяц, одет он был точно так же, как и при отъезде. Та же старая белая рубашка, твиловые штаны и пара простых кожаных сандалий, черных и стоптанных в пятке. Мне поневоле пришло в голову, что я в нем чего-то не понимаю до сих пор — а может, и много чего.

Мы взяли такси, и я села с Ламином на заднее сиденье. Три стекла в машине были разбиты, а в полу салона — дыра, сквозь которую я видела, как под нами катит дорога. Ферн сидел спереди, рядом с шофером: его новая политика сводилась к тому, чтобы всегда держаться от меня на прохладном расстоянии. В самолете он читал свои книги и журналы, в аэропорту ограничился вопросами практическими: взять ту тележку, встать вон в ту очередь. Ни разу не повел себя гадко, не сказал ничего грубого, однако воздействием своим изолировал.

— Хочешь, остановимся поедим? — спросил меня он через зеркальце заднего вида. — Или сможешь подождать?

Мне хотелось быть таким человеком, кто не прочь пропустить обед, кто может выдержать, как часто выдерживал Ферн, уподобляясь практике беднейших семейств в деревне тем, что ел раз в сутки, под конец дня. Но

таким человеком я не была: не могла пропустить трапезу и не прийти при этом в раздражение. Ехали мы сорок минут, а потом остановились у придорожного кафе напротив чего-то под названием «Академия американского колледжа». На окнах у нее были решетки, а на вывеске не хватало половины букв. В кафе меню изображали поблескивавшую еду в американском стиле «с картошкой», цены на нее Ламин прочел вслух, сурово покачивая головой, словно ему повстречалось нечто глубоко святотатственное или оскорбительное, и после долгой беседы с официанткой нам вынесли три тарелки куриной яссы по договорному «местному» тарифу.

Склонившись над едой, мы поглощали ее молча — и тут услышали из самой глубины кафе раскатистый голос:

— Мальчик мой Ламин! Братишка! Это Бачир! Я тут!

Ферн помахал. Ламин не шевельнулся: Бачира он заметил давно и молился, чтобы его не заметили ответно. Я повернулась и увидела человека, сидевшего в одиночестве за последним столиком возле самой стойки, в тени — кроме нас, он был здесь единственным посетителем. Он был широк и мускулист, как будто играл в регби, носил темно-синий костюм в полоску, галстук, заколку для галстука, мокасины с носками и толстую золотую цепь на запястье. Костюм плотно облегал его мускулатуру, а по лицу тек пот.

— Он не брат мне. Он мой ровесник. Он из деревни.

— Но ты разве не хочешь...

Бачир уже обрушился на нас. Вблизи я увидела, что на нем еще и головная гарнитура — наушник и микрофон, похожие на те, какие Эйми надевала на сцену, а в руках он держал ноутбук, планшет и очень крупный телефон.

— Надо место найти, куда все это сложить! — Но подсел он к нам, по-прежнему прижимая все это к груди. — Ламин! Братишка! Давно не виделись!

Ламин кивнул себе в обед. Мы с Ферном представились и в ответ получили крепкие, болезненные, влажные рукопожатия.

— Мы с ним росли вместе, чувак! Сельская жизнь! — Бачир схватил Ламину за голову и потно ее потискал. — Но потом мне в город уехать пришлось, детка, понимаешь, про что я? Я гнался за деньгами, детка! Работал в крупных банках. Покажите мне денег! В натуре Вавилон! Но в душе я по-прежнему сельский пацан. — Он поцеловал Ламину и отпустил его.

— Говорите вы, как американец, — сказала я, но то была лишь одна

нить в богатом гобелене его голоса. Там еще звучали многие фильмы и рекламы, а также много хип-хопа, «Эсмеральда»^[189] и «Пока возвращается мир», новости Би-би-си, Си-эн-эн, «Аль-Джазира» и что-то из регги, игравшего по всему городу, из каждого такси, рыночного ларька, парикмахерской. Старая песенка Желтого Человека^[190] звучала прямо сейчас из жестяных динамиков у нас над головами.

— В натуре, в натуре... — Он упокоил свою крупную квадратную голову на кулаке в глубокомысленной позе. — Знаете, я ведь пока не был в США вообще-то, еще не доехал. Тут много чего есть. Все происходит. Разговоры, разговоры, нужно не отставать от технологии, поспевать. Посмотрите вот эту девушку: она звонит на мой номер, детка, ночью и днем, днем и ночью! — Он засветил мне портрет на планшете: красивая женщина с глянцевыми локонами и драматичными губами, выкрашенными в глубоко лиловый цвет. Мне показалось, что это изображение с какой-то рекламы. — Эти девушки из большого города, они слишком уж чокнутые! Ох, братишка, мне подавай девушку с верховьев реки, я хочу себе хорошую семью завести. А этим девушкам и семья теперь уже не нужна! Чокнутые! Но вам-то сколько?

Я ему сказала.

— И детей нет? Даже не замужем? Нет? Ладно! Ладно, ладно... Я вас чую, сестренка, я вас чую: мисс Независимая, пральна? Так у вас принято, ладно. Но для нас женщина без детей — как дерево без плодов. Как дерево... — Он полуприподнял мускулистый зад со стула, не вставая полностью, раздвинул руки, как сучья, и пальцы, как веточки. — ... без плодов. — Опять уселся и снова сжал кулаки. — Без плодов, — повторил он.

Впервые за много недель Ферну удалось выдавить в мою сторону полуулыбку.

— Мне кажется, он говорит, что это ты — как дерево...

— Да, Ферн, это я поняла, спасибо.

Бачир заметил мой телефон-раскладушку — мой личный телефон. Взял его и с преувеличенным изумленьем повертел в руке. Ладонь у него была такая большая, что телефон в ней выглядел детской игрушкой.

— Это же *не* ваш. Серьезно? Ваш?! Вот чем пользуются в Лондоне? ХА-ХА-ХА. Ох, чувак, мы-то тут посвежее будем! Ох, чувак! Смешно, смешно. Я бы такого и не ожидал. Глобализация, пральна? Странные времена, странные времена!

— А вы в каком банке, сказали, работаете? — поинтересовался Ферн.

— О, у меня много чего тут происходит, чувак. Развитие, развитие. Земля тут, земля там. Строительство. Но я работаю тут в банке, да, торгую, торгую. Сами же понимаете, как это, братишка! Правительство иногда очень жизнь *усложняет*. Но покажите мне деньги, пральна? Вам Риэнна нравится? Знаете ее? Вот у *нее*-то деньги есть! Иллюминаты, пральна? Мечту в жизнь, детка.

— Нам уже нужно на паром, — прошептал Ламин.

— Ага, у меня, наверное, сейчас много сделок — сложный бизнес, чувак, — нам шевелиться нужно, шевелиться, шевелиться. — Он показал как, двигая пальцами над тремя своими устройствами, словно изготовился применить какой-нибудь из них в любой миг ради чего-то жутко важного. Я заметила, что экран ноутбука черен, и на нем несколько трещин. — Видите, некоторым нужно жить на ферме каждый день, земляные орехи эти чистить, пральна? А мне надо шевелиться. Такой вот тут у нас новый баланс работы-жизни. Знаете же, да? Да, чувак! Это новейшее! А в этой стране у нас склад ума из старого мира, пральна? Тут многие от чертова времени отстают. Таким людям сильно не сразу, ладно? В голове себе уложить получается. — Пальцами он очертил в воздухе прямоугольник: — Будущее. Вот что надо в голове у себя уложить. Но слушайте: для вас? В любое время! Мне ваше лицо нравится, чувак, оно красивое, такое ясное и светлое. И я бы мог в Лондон приехать, мы б тогда в натуре о бизнесе потолковали! А, вы не в бизнесе? Благотворительность? НПО? Миссионеры? Мне нравятся миссионеры, чувак! У меня хороший друг есть, он из Саут-Бенда, Индиана, — Мики звать. Мы с ним много тусуемся. Мики был четкий, чувак, очень он четкий был, он был Адвентист Седьмого Дня, но мы же все Божьи дети, верняк, верняк...

— Они здесь образовательной работой занимаются, с нашими девочками, — произнес Ламин, отворачиваясь от нас, стараясь привлечь внимание официантки.

— Ох, ну еще б, я слышал, какие тут перемены. Большие времена, большие времена. Хорошо для деревни, пральна? Развитие.

— Надеемся на это, — сказал Ферн.

— Но, братишка, — тебе-то что-нибудь с этого перепадает? Вы, ребята, знали, что братишка мой тут слишком хорош, ни за какие деньги не купишь? Он весь про следующую жизнь. Я — нет: я этой жизни хочу! ХА-ХА-ХА-ХА. Деньги, деньги, валяются. Вот правда же. Ох, чувак, ох чувак...

Ламин встал:

— До свиданья, Бачир.

— Такой серьезный этот-то у нас. Но он меня любит. Вы б меня тоже

полюбили. Ой-ё-ёй, вам тридцать три будет, девушка! Нам надо поговорить! Время летит. Жить свою жизнь надо, пральна? В следующий раз в Лондоне, девушка, в Вавилоне — давайте поговорим!

Идя назад к машине, я слышала, как Ферн хмыкает себе под нос — эта встреча его взбодрила.

— Таких у нас в народе зовут «персонажами», — сказал он, и когда мы дошли до ждавшего нас такси и обернулись, чтобы в него садиться, — увидели персонажа Бачира: он стоял в дверях, по-прежнему в наушнике, держал в руках всю свою технику и махал нам. Когда стоял, наряд его выглядел особенно причудливо: брюки слишком коротки на лодыжках, словно у *машалы* в деловом костюме.

— Бачир три месяца назад работу потерял, — тихо сказал Ламин, когда мы сели в машину. — Теперь он в этом кафе каждый день.

Да, все в той поездке ощущалось как-то не так, с самого начала. Предыдущей достославной своей осведомленности я больше не ощущала — никак не могла избавиться от назойливой мысли, что совершаю ошибку, все неверно поняла, начиная с Хавы, которая открыла дверь на свой участок в новой косынке, черной — она покрывала ей голову, и концы свисали до середины туловища, — в длинной бесформенной юбке — над такими она всегда обычно смеялась, когда мы замечали их на рынке. Обняла меня она крепко, как и раньше, а Ферну лишь кивнула — казалось, его присутствие раздражает ее. Все мы немного постояли во дворе, Хава со скрипом поддерживала светскую болтовню — но к Ферну ни с чем не обращалась, — а я надеялась на какое-нибудь упоминание об ужине, который, как вскоре я поняла, не воспоследует, покуда Ферн нас не покинет. Наконец до него дошло: он устал и двинется обратно к розовому дому. Как только дверь за ним закрылась, вернулась прежняя Хава — схватила меня за руку, расцеловала мне все лицо и воскликнула:

— Ой, сестренка, — хорошая новость: я выхожу замуж! — Я обняла ее, но ощутила, что к лицу моему прилипла знакомая улыбка — та же, какую я носила в Лондоне и Нью-Йорке, когда мне сообщали подобные вести, и я уловила то же острое чувство, что меня предали. Мне было стыдно так себя чувствовать, но я ничего с этим поделать не могла: часть моего сердца ей закрылась. Она взяла меня за руку и повела в дом.

Столько всего нужно рассказать. Его звать Бакари, он *таблиг*, друг Мусы, и врать она не станет и не скажет, что красавец, потому что на самом деле все вовсе наоборот, это она хочет, чтоб я сразу понимала, в доказательство вытаскивая телефон.

— Видишь? На жабу похож! Честно, я бы все-таки предпочла, чтоб он этим черным глаза себе не красил и хной так не поливался, в бороде... а иногда еще он носит *лунги*!^[191] Мои бабушки считают, что он похож на женщину в гриме! Но они наверняка ошибаются, потому что сам Пророк красился, это полезно от глазных инфекций, да и вообще я еще столько всего не знаю, что надо учиться. Ой, бабушки мои плачут день и ночь, ночью и днем! Но Бакари добрый и терпеливый. Он говорит, что вечно никто плакать не будет — и это же правда, правда?

Племянницы Хавы, двойняшки, принесли нам ужин: рис для Хавы, печную жареху для меня. Несколько ошалев, я слушала, как Хава мне рассказывает смешные случаи из своего недавнего *мастурата*^[192] в Мавританию — самая дальняя поездка в ее жизни, — где она часто засыпала на лекционных занятиях («Мужчина, который там говорит, ты его не видишь, потому что ему не разрешается на нас смотреть, поэтому говорит из-за занавески, а все мы, женщины, сидим на полу, а лекция у него очень длинная, поэтому иногда нам просто спать хочется») и даже думала нашить на свою жилетку изнутри карман, чтобы прятать там телефон и украдкой писать эсэмэски своему Бакари, когда говорят особенно скучно. Но такие истории она неизменно завершала какой-нибудь благочестиво звучащей фразой: «Самое важное — это любовь, которую я испытываю к своим новым сестрам». «Не мне об этом спрашивать». «Все в Божьих руках».

— В конце, — сказала она, когда еще две девочки вынесли нам жестяные кружки «Липтона», сильно наслащенные, — значение имеют лишь хвалы Богу и чтобы всякую *дунью*^[193] позади оставить. Говорю тебе — на этом участке только и слышишь, что про *дунью*. Кто сходил на рынок, у кого новые часы, кто «черным ходом» едет, у кого есть деньги, у кого нет, хочу того, хочу сего! А когда путешествуешь, несешь людям правду Пророка, на всю эту *дунью* времени совсем нет.

Мне стало интересно, почему же она до сих пор на участке, если жизнь здесь так ее раздражает.

— Ну, Бакари хороший, только очень бедный. Как только сможем, мы поженимся и переедем, а пока он спит в *марказе*^[194], близко к Богу, а я тут, близко к курам и козам. Но мы накопим много денег, потому что свадьба у меня будет очень, очень маленькая, как у мышки, и на ней будет только Муса с женой, и никакой музыки или танцев, или пиров никаких не будет, и мне даже новое платье не понадобится, — произнесла она с отретпетированной бодростью, и мне вдруг стало так грустно, поскольку

если я что-то про Хаву и знала, так это насколько любит она свадьбы, и свадебные платья, и свадебные пиры, и свадебные банкеты. — Поэтому, видишь, на этом много денег можно сэкономить, это уж точно, — сказала она и сложила руки на коленях, чтобы чопорно отметить конец этой мысли, а я не стала с ней дискутировать. Но я видела, что ей не терпится поговорить, что заученные фразы ее — как крышки, танцующие на кипящих котелках с едой, и мне следовало лишь терпеливо сидеть и ждать, когда из нее польется. Я больше не задала ни одного вопроса, но она заговорила сама — сначала робко, затем все энергичнее, о своем женихе. Похоже, что в Бакари на нее самое большое впечатление производила его чувствительность. Он скучный и страшный с виду, но чувствительный.

— Скучный отчего?

— Ой, мне не надо было говорить «скучный», но, в смысле, видела бы ты их с Мусой вместе — они слушают эти священные пленки весь день, это очень священные пленки, Муса теперь хочет выучить больше арабского, а я тоже учусь их полностью ценить, а пока они для меня все равно слишком скучные — но когда Бакари их слушает, он плачет! Плачет и Мусу обнимает! Иногда я на рынок пойду и вернусь, а они по-прежнему обнимаются и плачут! Я никогда не видела, чтоб босьяк плакал! Если только у него наркотики украдут! Нет, нет, Бакари очень чувствительный. У него все дело в сердце на самом деле. Поначалу я думала: моя мать — ученая женщина, она меня много чему по-арабски научила, я в *имане* обгоню Бакари, но это же так неправильно! Дело-то не в том, что ты читаешь, а в том, что чувствуешь. А мне еще долгий путь предстоит, пока сердце у меня не наполнится *иманом* так, как у Бакари. Я думаю, из чувствительного человека и муж хороший получится, а ты? А наши мужчины-*машала* — я не должна их так называть, правильное слово *таблиги* — они такие добрые к своим женам! Я этого не знала. Моя бабушка вечно говорила: они полувзрослые, они сумасшедшие, не разговаривай с этими девчонками, а не мужчинами, у них даже работы нет. Ой-ёй, а теперь она *целыми днями* плачет. Но она не понимает, она такая старомодная. Бакари всегда говорит: «Есть такой хадит, в нем сказано: „Лучший мужчина — тот, кто помогает жене своей и детям, и с ними милостив“». И вот так оно все и есть. Поэтому, если мы ездим в эти поездки, на *мастурат*, ну, чтоб другие мужчины нас на рынке не видели, *наши мужчины сами ходят* и делают за нас все покупки, *они* овощи покупают. Я так смеялась, когда это услышала, даже подумала: не может быть, что это правда, — но это правда! Мой дедушка даже не *знал*, где у нас рынок находится! Вот что я пытаюсь своим бабушкам объяснить, но они такие старомодные. Плачут каждый день из-за

того, что он *машала*, то есть *таблиг*. А по-моему, они просто втайне завидуют. Ох как бы мне хотелось прямо сейчас отсюда уехать. Когда я ездила побыть со своими сестрами, я была такая счастливая! Мы вместе молились. Мы вместе ходили. После обеда одной надо было вести молитву, понимаешь, и одна сестра мне сказала: «Давай ты!» И вот так я была Имамом в тот день, понимаешь? Но я не робела. У меня многие сестры робкие, они говорят: «Не мне говорить», — но вот в этой поездке я на самом деле поняла, что я вообще нисколько не робкая. И все меня слушали — о! Люди даже *мне* вопросы задавали потом. Представляешь?

— Меня это вовсе не удивляет.

— У меня тема была — шесть основ. Это про то, как человеку следует есть. Вообще-то я их сейчас не соблюдаю, потому что ты здесь, но на следующий раз-то я их точно не забуду.

Эта виновная мысль подвела к другой: она склонилась ко мне что-то прошептать, и ее неотразимое лицо сложилось в полуулыбку.

— Я вчера в школу ходила, в телевизионную комнату, и мы смотрели «Эсмеральду». Нельзя мне улыбаться, — сказала она и вдруг прекратила, — но ты же в особенности знаешь, до чего я *люблю* «Эсмеральду», и я уверена — ты согласишься с тем, что никто не способен избавиться от *дуњи* за один присест. — Она опустила взгляд на свою бесформенную юбку. — И одежду мне придется поменять в итоге, не только юбку, все с головы до пят. Но все мои сестры согласны: это трудно поначалу, потому что тебе так жарко и люди смотрят, зовут тебя ниндзей или Усамой на улице. Но я же помню, что ты мне однажды сказала, когда только-только сюда приехала: «Какая разница, что другие думают?» И это очень сильная мысль, я ее все время с собой ношу, поскольку награда мне достанется на Небесах, где меня никто не будет звать ниндзей, потому что таким людям уж точно гореть на огне. Я Криса Брауна моего по-прежнему люблю, ничего не могу с собой поделаться, и даже Бакари по-прежнему любит свои песни Марли, я знаю, потому что однажды слышала, как он одну такую поет. Но мы с ним выучимся вместе, мы же еще молодые. Как я тебе уже сказала, когда мы в поездку ездили, Бакари за меня там все делал — ходил за меня на рынок, даже когда люди над ним смеялись, он так поступал. Стирку мне стирал. Я бабушкам сказала: мой дед за все сорок лет с вами *хоть один носок* сам себе выстирал?

— Но, Хава, почему же мужчинам нельзя тебя видеть на рынке?

Она зримо заскучала: я опять задала тупейший вопрос.

— Когда мужчины смотрят на женщин, которые не их жена, этого мига ждет Шайтан, чтоб на них броситься, наполнить их грехом. Шайтан

повсюду! Но разве ты этого и так не знаешь?

Я не могла больше этого слушать и попрощалась с ней, извинившись. Однако единственное место, куда я могла пойти или знала, как до него добраться в темноте, было розовым домом. Еще издали, с дороги, я заметила, что все огни в нем мертвы, а когда дошла до двери — увидела, что она болтается под углом на сломанной петле.

— Ты здесь? Можно войти?

— Моя дверь всегда открыта, — ответил из теней Ферн звучным голосом, и мы с ним одновременно расхохотались. Я вошла, он приготовил мне чай, я изложила ему все вести о Хаве.

Ферн слушал мои тирады, а голова его запрокидывалась все дальше назад, пока фонарик у него на голове не осветил потолок.

— Должен сказать, мне это вовсе не видится странным, — сказал он, когда я закончила. — Она на том участке работает, как собака. Едва ли вообще с него куда-то выходит. Могу вообразить, что она отчаялась, как любой смысленный молодой человек, получить себе свою собственную жизнь. Тебе разве не хотелось слиться из родительского дома в таком возрасте?

— В ее возрасте мне хотелось свободы!

— И ты бы сочла ее менее свободной, то есть с поездкой в Мавританию, с проповедованием, чем она сейчас, запертая в этом доме? — Он поводит сандалией по слою красной пыли, собравшейся на пластиковом полу. — Это интересно. Интересная точка зрения.

— Ой, ты так говоришь, только чтобы мне досадить.

— Нет, этого мне никогда не хочется. — Он опустил взгляд на рисунок, который сделал на полу. — Иногда мне становится интересно, не хотят ли люди смысла больше, чем свободы, — медленно произнес он. — Вот это я и имел в виду. По крайней мере, по своему опыту.

Продолжай мы в том же духе, мы бы с ним заспорили, поэтому я сменила тему и предложила ему сухого печенья, которое подрезала в комнате у Хавы. Я вспомнила, что на «айподе» у меня остались кое-какие сохраненные подкасты, и мы, сунув в уши по наушнику, мирно уселись бок о бок, грызя печенье и слушая эти рассказы об американской жизни, с их маленькими драмами и удовлетвореньями, их упоеньями и раздраженьями, с трагикомическими просветленьями, пока мне не настала пора уходить.

Наутро, когда я проснулась, первая моя мысль была о Хаве: Хава вскоре выходит замуж, за этим наверняка последуют дети, — и мне захотелось поговорить с кем-нибудь, кто бы разделил мое разочарование. Я

оделась и пошла искать Ламина. Нашла на школьном дворе — он под манговым деревом просматривал план урока. Но разочарованием на мое известие о Хаве он не отреагировал, да и не стало оно его первым откликом — им стала сердечная мука. Еще и девяти утра нет, а мне уже удалось разбить кому-то сердце.

— Но где ты это услышала?

— От Хавы!

Он с трудом пытался справиться с собственным лицом.

— Иногда девушки говорят, что выйдут за кого-то замуж, а потом не выходят. Обычное дело. Там этот полицейский у нее был... — Он смолк.

— Извини, Ламин. Я знаю, как ты к ней относишься.

Ламин натужно хохотнул и вернулся к своему плану урока.

— Ох нет, ты ошибаешься, мы брат и сестра. Всегда ими были. Я так и сказал нашей подруге Эйми: это моя младшая сестренка. Она вспомнит, что я так говорил, если ты у нее спросишь. Нет, мне просто жаль семью Хавы. Они будут очень грустить.

Прозвенел школьный звонок. Все утро я навещала занятия в классах и впервые ощутила, чего именно добился здесь Ферн в наше отсутствие, несмотря ни на какое вмешательство Эйми, работая в некотором смысле в обход ее. В учительской теперь стояли только новые компьютеры, которые мы сюда прислали, а более надежный интернет, о чем я могла судить по истории их поисков, покамест использовался только учителями — в двух целях: ошиваться по «Фейсбуку» и вбивать фамилию Президента в поисковую строку «Гугла». В каждом классе были разбросаны таинственные — для меня — трехмерные логические головоломки и маленькие наладонные приспособления, на которых можно играть в шахматы. Но не эти новшества произвели на меня впечатление. Ферн пустил какие-то деньги Эйми на то, чтобы разбить во дворе за главным зданием огород — я не помню, чтобы он про это вообще упоминал на заседаниях нашего совета, и там росла всяческая продукция, принадлежавшая, как он объяснил, коллективно всем родителям, а это — вместе со множеством других последствий — означало, что, когда заканчивалась первая смена, половина школы не исчезала помогать своим матерям на ферме, а оставалась на месте и ухаживала за собственными ростками. Я узнала, что Ферн по предложению матерей из родительского комитета пригласил к нам в школу несколько учителей из местного *меджлиса*^[195], и им предоставили классы для преподавания арабского и Корана, а за это им платили небольшое жалованье непосредственно, и потому еще одна крупная часть школьного населения перестала исчезать в

середине каждого дня или проводить время, выполняя домашнюю работу для этих учителей *меджли*, как они это делали раньше в уплату. Целый час я просидела в новом классе искусств, где самые младшие девочки сидели за столиками, смешивали краски и делали отпечатки рук — играли: все ноутбуки, которые Эйми для них воображала, как теперь признался Ферн, исчезли по пути в деревню, что неудивительно, учитывая, что каждый стоил вдвое больше годовой зарплаты любого учителя. В общем и целом, Иллюминированная Академия для Девочек не так уж и сияла, вовсе не стала она тем радикально новым, беспрецедентным «инкубатором будущего», о котором я столько слышала за обеденными столами Эйми в Нью-Йорке и Лондоне. Это была «Люмовая академия», как ее называли местные, где происходило много мелкого, но интересного каждый день, что затем оспаривалось и обсуждалось в конце недели на сельских сходах и вело к дальнейшим подстройкам и переменам: лишь немного из всего этого доходило до Эйми или вообще докладывалось ей, как я чувала, но Ферн за всем пристально следил, выслушивал всех с этой своей поразительной открытостью, делал целые стопки заметок. То была вполне работающая школа, выстроенная на деньги Эйми, но не сдерживаемая ими, и сколь бы мелкую роль в ее создании я ни сыграла — теперь ощущала, как любой незначительный житель этой деревни, и собственную часть гордости за нее. Я наслаждалась этим теплым ощущением свершения, возвращаясь из школьного огорода в кабинет директора, — и тут заметила Ламину и Хаву под деревом манго: они стояли слишком близко друг к другу, спорили.

— Я не слушаю твои нотации, — донесся до меня ее голос, когда я подходила, а когда она меня заметила, то повернулась и повторила уже мне: — Я не выслушиваю от него нотации. Он хочет, чтобы я последней тут осталась. Нет.

У директорского кабинета в тридцати ярдах от нас в тени дверного проема собрался кружок любопытных учителей — они только что дообедали и теперь мыли руки из жестяного чайника с водой, а заодно наблюдали за дебатами.

— Мы теперь не станем говорить, — прошептал Ламин, робея перед такой аудиторией, но Хава уже разошлась, и остановить ее было трудно.

— Тебя тут один месяц не было, так? А ты знаешь, сколько других отсюда за этот месяц уехало? Поищи Абдулае. Ты его не увидишь. Ахмет и Хаким? Мой племянник Джозеф? Ему семнадцать. Нету! Мой дядя Годфри — его никто не видал. Теперь у меня его дети. А его нет! Он не хотел оставаться здесь и гнить. Через черный ход ушли — все они.

— Черный ход — это безумие, — пробормотал Ламин, но затем вдруг осмелился на дерзость: — *Машала* — тоже безумие.

Хава шагнула к нему — он как-то весь съежился. Он же не только в нее влюблен, подумала я, он еще и немного ее боится. Такое я понимала — я и сама ее побаивалась.

— А когда я поеду в учительский колледж в сентябре, — сказала она, тыча пальцем ему в грудь, — ты по-прежнему тут будешь, Ламин? Или тебе нужно быть в каком-то другом месте? Ты еще будешь тут? — Ламин перевел на меня взгляд — панический, виноватый, что Хава приняла за подтверждение: — Нет, не думаю.

В шепот Ламина прокралась угодливость.

— А почему просто к твоему отцу не обратиться? Он же достал визу твоему брату. И тебе такую же сможет достать, если попросишь. Это не невозможно.

Я и сама об этом далеко не раз думала, но никогда не спрашивала у Хавы напрямую — ей, казалось, никогда особо не хотелось говорить об отце, — и теперь, видя, как все лицо у нее оживилось от праведной ярости, я очень обрадовалась, что не спросила. Кружок учителей разразился болботаньем, словно публика на боксерском матче, когда нанесен особенно жесткий удар.

— Не любим мы с ним друг друга, да будет тебе известно. У него теперь новая жена, новая жизнь. Некоторых людей можно купить, некоторые могут улыбаться в лицо другим, кого не любят, чтобы только преимущество получить. Но я — не как вы, — произнесла она, и местоимение это приземлилось где-то между Ламином и мной, а сама она развернулась и ушла прочь от нас обоих, и длинная юбка ее шелестела по песку.

В тот день я попросила Ламина поехать со мной в Барру. Он ответил «да», но его, казалось, обуревают унижение. Поездка в такси у нас вышла молчаливая, как и переправа на пароме. Мне требовалось поменять денег, но, когда мы добрались до дырок в стене — где мужчины сидели на высоких табуретах за ставнями, отсчитывая громадные башни замусоленных купюр, перехваченных резинками, — он меня бросил. Раньше Ламин никогда нигде не оставлял меня одну, даже когда мне этого очень хотелось, а теперь я осознала, какую панику вызывает у меня эта мысль.

— Но где же мы с тобой встретимся? Ты куда собираешься?

— Мне самому надо кое-что сделать, но я буду поблизости, тут рядом,

возле парома. Все отлично, просто позвони мне. Меня не будет сорок минут.

Не успела я ему возразить, как он исчез. Не поверила я в его дела: ему просто хотелось от меня избавиться на какое-то время. Но обмен денег занял у меня всего две минуты. Я побродила по рынку, а затем, чтобы избежать людей, постоянно меня окликавших, прошла дальше паромной переправы к старому военному форту — раньше музеем, теперь заброшенному, но там по-прежнему можно было взобраться на укрепления и посмотреть на реку, на то, как возмутительно построили весь этот город — спиной к воде, наплевав на реку, он оборонительно присел против нее, как будто прекрасный вид противоположного берега, моря и скачущих дельфинов как-то оскорблял людей, или был лишним для их требований, или же просто напоминал собой о слишком сильной боли. Я слезла оттуда и задержалась у парома, но все равно оставалось еще двадцать минут, и я зашла в интернет-кафе. Там — обычная сцена: один мальчик за другим, у всех головные гарнитуры, все говорят «Я тебя люблю» или «Да, моя крошка», а на экранах белые женщины определенного возраста машут и шлют им воздушные поцелуи, почти исключительно — англичанки, если судить по их домашним интерьерам, — и пока я стояла у конторки, чтобы заплатить свои двадцать пять даласи за пятнадцать минут, мне было видно, как все они одновременно выходят из своих душ, сложенных из стеклоблоков, или едят батончики на завтрак, или бродят в своих садах камней, или развалились в шезлонгах в оранжереях, или просто сидят на диване, смотрят телик, в руке — ноутбуки или телефоны. Ничего необычного во всем этом не было, такое я видела уже много раз, но вот в тот конкретный день, как раз когда я клала свои деньги на стойку, в заведение, что-то лопоча, вбежал ополоумевший мужчина и принялся бегать зигзагами между компьютеров, размахивая длинной изрезанной палкой, и хозяин кафе бросил нашу с ним транзакцию и погнался за ним вокруг терминалов. Псих был неописуемо прекрасен и высок, как масаи, и босиком, в традиционном дашики, вышитом золотой нитью, хотя одеянье его было драным и грязным, а на заплетенных в дреды волосах набекрень сидела бейсболка миннесотского гольф-клуба. На ходу он постукивал молодых людей по плечам, по разу с каждой стороны, словно царь, наделяющий многих рыцарским званием, пока владельцу не удалось выхватить у него трость, которой он и принялся того колотить. И пока его колотили, псих не умолкал — все время произносил с комически рафинированным английским выговором, что напомнил мне Мелка так много лет назад:

— Любезный сэр, вам разве не известно, кто я такой? Вы, дураки, кто-нибудь знаете, кто я? Бедные вы бедные дураки? Неужели вы меня даже не узнаете?

Я оставила деньги на стойке и вышла ждать на солнышке.

Четыре

Вернувшись в Лондон, я поужинала с матерью — она заказала столик у Эндрю Эдмундза^[196], внизу — «я угощаю», — но на меня давили темно-зеленые стены и смущали украдчивые взгляды других едоков, а затем мать разжала мне смертельную хватку, какой я стискивала свой телефон, и сказала:

— Погляди только на это. Посмотри, что она с тобой делает. Ногтей нет, пальцы кровоточат. — Мне стало интересно, когда это моя мать начала питаться в Сохо, и почему она такая худая, и где Мириам. Возможно, я бы задумалась над всеми этими вопросами поглубже — будь у меня хоть немного пространства, чтобы всерьез над ними подумать, — но в тот вечер мать несло поговорить, и почти весь ужин был занят монологом об облагораживании Лондона — адресовался он как мне, так и соседним столикам, и протягивался от обычных современных жалоб вглубь лет, пока не стал импровизированным уроком истории. К тому времени, как возникло главное блюдо, мы добрались до начала XVIII века. Сам тот ряд городских особняков, где мы сидели — член парламента с задних скамей и личная помощница поп-звезды, евшие вместе устриц, — некогда размещал в себе плотников и рамочников, каменщиков и столяров, и все они платили ежемесячную аренду, которая даже с поправками на инфляцию не покрывала бы и одной устрицы, какую сейчас я кладу себе в рот. — Рабочий люд, — поясняла она, вытряхивая лох-райанскую^[197] себе в горло. — А также радикалы, индийцы, евреи, беглые карибские рабы. Pamфлетисты и агитаторы. Роберт Уэддербёрн! «Черные дрозды»!^[198] Это и их место было, прямо под носом у Уэстминстера... Сейчас же здесь ничего подобного не происходит — иногда я прямо жалею об этом. Дайте нам всем что-нибудь такое, с чем можно работать! Или ради чего! Или даже против... — Она протянула руку к панели из трехсотлетнего дерева рядом со своей головой и томительно погладила ее. — Правда в том, что большинство моих коллег даже не помнят, что *такое* настоящие левые, и уж поверь мне, помнить не *хотят*... — Так она разорялась, как обычно, немного чересчур долго, но поток ее речи был полон и волновал — едоки поблизости даже подавались к нам, чтобы ухватить обрывки, — и ничего из этого не было колючим и не адресовалось мне, все острые углы сточены. Унесли пустые устричные панцири. По привычке я принялась обдирать заусенцы. Сколько она будет говорить о прошлом, думала я, столько и не будет спрашивать меня о

настоящем или будущем, когда я перестану работать на Эйми или когда рожу ребенка — избегать двух этих рогов атаки стало первой моей потребностью всякий раз, когда я ее видела. Но она не спросила меня об Эйми, она ни о чем меня не спрашивала. Я подумала: наконец-то она добралась до центра, она «во власти». Да, пусть ей даже нравится описывать себя как «шило в боку партии», факт остается фактом — она в самой сердцевине всего наконец, это-то, должно быть, и меняет дело. Теперь у нее есть то, чего она хотела и в чем больше прочего нуждалась всю свою жизнь: уважение. Может, для нее уже не важно, что я намерена делать со своей жизнью. Ей больше не обязательно воспринимать это как осуждение себя — или того, как она меня воспитала. И хоть я засекла, что она ничего не пьет, это я тоже пометила мелком как свойство новой версии моей матери: зрелая, трезвая, самоуверенная, больше не обороняется, добилась успеха на собственных условиях.

Именно от такой линии рассуждений меня и застало врасплох то, что за всем этим последовало. Она умолкла, подперла рукой голову и сказала:

— Солнышко, мне придется тебя попросить мне кое в чем помочь.

Произнося это, она поморщилась. Я вся сжалась, ожидая некой самодраматизации. Ужасно теперь об этом вспоминать — и понимать, что гримаса эта скорее всего была подлинным невольным откликом на неподдельную физическую боль.

— А я хотела справиться с этим сама, — говорила меж тем она, — чтобы тебя этим не озадачивать, я же знаю, что тебе очень некогда, но я просто не знаю, к кому еще мне сейчас обратиться.

— Да — ну так а в чем дело?

Я очень увлеклась, срезая жир со свиной отбивной. Когда я наконец подняла взгляд к материнскому лицу, выглядела она такой усталой, какой я ее никогда не видела.

— В твоей подруге — Трейси.

Я отложила прибор.

— Ох, на самом деле все это очень нелепо, но я получила это электронное письмо, дружелюбное... оно ко мне в операционную пришло. Я ее много лет не видела... но подумала: ох, Трейси! Там говорилось об одном из ее детей, старшем мальчике — его выгнали из школы, она считала, что это несправедливо, и хотела моей помощи, понимаешь, поэтому я ответила, и поначалу ничего странного во всем этом не было, мне такие письма люди постоянно шлют. Но знаешь, теперь мне и вправду кажется — а вдруг это уловка?

— Мам, ты о чем вообще?

— Мне и тогда показалось, что это как-то причудливо — она столько писем рассылает, но... в общем, понимаешь, она же не работает, это ясно, не знаю, была ли у нее когда-нибудь работа на самом деле, и она по-прежнему сидит в этой чертовой квартире... Это само по себе способно свести с ума. Должно быть, у нее много свободного времени — и там сразу обрушился целый шквал писем, по два или три в день. По ее мнению, школа несправедливо отчисляет черных мальчиков. Я написала кое-какие запросы, но в данном случае, казалось, ну... школа ощущала, что она в своем праве, и дальше на них давить я уже не решалась. Я ей написала, и она очень рассердилась, ответила несколькими очень злыми письмами, и я решила, что на этом все, но — то было только начало.

Она встревоженно поскребла сзади свою головную повязку, и я заметила, что кожа у нее под волосами покраснела от раздражения.

— Но, мам, — зачем тебе вообще отвечать на что-то Трейси? — Я ухватилась за край стола. — Даже я бы тебе сказала, что она неуравновешенна. Я знаю ее много лет!

— Ну, во-первых, она мой избиратель, а я всегда отвечаю избирателям. А когда я поняла, что это *твоя* Трейси — она же сменила себе имя, ты в курсе... но письма от нее стали очень... зловещими, очень своеобразными.

— Сколько это уже продолжается?

— Где-то с полгода.

— Так почему же ты мне раньше об этом ничего не сказала!

— Дорогая моя, — ответила она и пожала плечами. — Когда бы у меня была такая возможность?

Она так похудела, что ее великолепная голова смотрелась незащищенно на лебединой шее, и эта новая ее хрупкость, этот намек на то, что смертное время обрабатывает ее точно так же, как и всех прочих, заговорила со мною громче любых старых обвинений в дочернем пренебрежении. Я накрыла ее руку своей ладонью.

— В каком смысле причудливые?

— Вообще-то я не очень хочу здесь об этом говорить. Я тебе лучше перешлю некоторые.

— Мам, не надо такой драмы. Дай мне понять общий смысл.

— Они довольно оскорбительны, — ответила она, и в глазах ее заблестели слезы, — а я себя не очень хорошо чувствую в последнее время, и мне их теперь приходит много, иногда по дюжине в день, и я знаю, что это глупо, но они меня расстраивают.

— А чего ты не поручишь Мириам с этим разобраться? Она же занимается твоими связями, нет?

Она отняла руку и придала лицу парламентское выражение — скупая печальная улыбка, пригодная для отражения вопросов о здравоохранении, но видеть ее за обеденным столом нервировало.

— Ну, рано или поздно ты бы сама узнала — мы расстались. Я по-прежнему живу в квартире на Сидмаут-роуд. Мне, как это очевидно, следовало остаться в своем районе, а кроме того, таких условий я все равно больше нигде себе не найду — по крайней мере, не сразу, поэтому я и попросила ее съехать. Конечно, технически говоря, это ее квартира, но она отнеслась ко всему с пониманием, ты же знаешь Мириам. В общем, ничего особенного, никаких обид, и в газеты ничего не попало. Вот и все.

— Ох, мам... мне жаль. Правда.

— Не стоит, не стоит. Некоторым не удастся справляться с тем, что у женщины есть определенная власть, все к этому и сводится. Я с таким уже встречалась и еще столкнусь не раз, я уверена. Посмотри на Раджа! — сказала она, а я так давно уже не думала об Известном Активисте под его настоящим именем, что сообразила — я его забыла. — Сбежал с этой дурочкой, как только я закончила свою книгу! Разве я виновата, что он свою так и не дописал?

Нет, заверила ее я, она не виновата в том, что Радж не дописал свою книгу — о труде кули в Вест-Индии, — хоть он и возился с ней два десятка лет, а моя мать начала и закончила свою о Мэри Сикоул^[199] всего за полтора года. Да, винить в этом Известный Активист мог только самого себя.

— Мужчины такие нелепые. Но женщины, оказывается, — тоже. В общем, с какой-то стороны это хорошо... в определенный момент я на самом деле почувствовала, что она пытается вмешаться так, как... Ну, эта ее *одержимость* «нашими» практиками ведения дел в Западной Африке, нарушениями прав человека и тому подобное — я в том смысле, что она поощряла меня задавать вопросы в Палате — в тех областях, говорить о которых я была не очень квалифицирована — и в итоге, думаю, все сводилось к тому, как это ни забавно, чтобы попытаться вбить клин между мною и *тобой*... — Менее вероятной мотивации для Мириам я едва ли могла вообразить, но язык придержала. — ... А я не молодею, и у меня уже не столько энергии, сколько раньше, я на самом деле хочу сосредоточиться на *своих* местных заботах, *своих* избирателях. Я местный представитель, этим я и хочу заниматься. Дальше мои амбиции не заходят. Не улыбайся, дорогая моя, я правда не хочу ничего больше. Уже нет. В какой-то момент я сказала ей, Мириам: «Послушай, ко мне в операционную каждый день люди приходят из Либерии, из Сенегала, из Гамбии, из Кот-д'Ивуара! У

меня и *так* глобальная работа! Вот она в чем. Эти люди приезжают со всех концов света на *мой избирательный участок*, в этих своих жутких лодочках, они травмированы, у них прямо на глазах гибли другие люди, а они приехали *сюда*. Вселенная так пытается мне что-то сказать. Я действительно ощущаю, что родилась для этой работы». Бедная Мириам... она хочет хорошего, и бог свидетель, хорошо организована, но иногда ей недостает перспективы. Хочет всех спасать. А из такого человека не лучший партнер по жизни получается, это уж точно, хотя я всегда буду считать ее весьма действенным администратором. — Это производило впечатление — и было немного печальным. Я задалась вопросом, не существует ли где-нибудь подобного эпиграфа и для меня, от которого мороз по коже: «Она была не лучшей дочерью, но служила вполне адекватным застольным собеседником». — Как ты думаешь, — спросила мать, — как ты считаешь, она сбрендилась... душевно больна или...

— Мириам — один из самых здоровых людей, кого я встречала.

— Нет — твоя подруга Трейси.

— Хватит ее уже так называть!

Но мать меня не слушала — она витала в собственной грезе:

— Знаешь, отчего-то... ну, меня из-за нее совесть мучает. Мириам считала, что мне с самого начала из-за этих электронных писем нужно просто обратиться в полицию... Даже не знаю... когда становишься старше, что-то из прошлого... как-то начинает тебя тяготить. Помню, как она приходила в центр на консультации... Конечно, заметок по ней я не видела, но у меня от разговоров с командой центра возникало ощущение, что там были проблемы, вопросы душевного здоровья — даже еще тогда. Может, я и не права была, что запретила ей приходить, но там же вообще нелегко было добиться для нее места, и прости меня, но в то время я действительно и по правде ощущала, что она злоупотребила моим доверием, твоим доверием, всех... Она была еще ребенок, конечно, но то *было* преступление — и речь шла о крупных деньгах — я уверена, что все они попали к ее отцу, — но что если бы они обвинили в этом *тебя*? Тогда лучше всего было отсечь все связи, подумала я. Ну, я уверена, у тебя более чем достаточно своих суждений о том, что там произошло — у тебя вообще всегда было много суждений, — но мне бы хотелось, чтобы ты понимала: растить тебя мне было непросто, мое положение было не из легких, а поверх всего я сосредоточивалась на том, чтобы самой получить образование, старалась стать квалифицированным специалистом, может быть — чересчур старалась, с твоей точки зрения... но мне нужно было налаживать жизнь и для тебя, и для себя. Я знала, что отец твой этого не

сможет. Он был недостаточно крепок. Никто бы за меня этого не сделал. Мы были сами по себе. А у меня слишком много шариков было в воздух запущено, так я это себе ощущала, и... — Она дотянулась из-за стола и схватила меня за локоть. — Нам нужно было сделать больше — чтобы защитить ее!

Пальцы ее ущипнули меня — костлявые в своей хватке.

— Тебе еще повезло, что у тебя был такой чудесный отец. У нее такого не было. Ты же не знаешь, как это ощущается, *потому что* тебе повезло, ты же на самом деле родилась счастливицей, — а я вот знаю. А она была частью нашей семьи практически!

Она меня умоляла. Собиравшиеся у нее в глазах слезы теперь потекли.

— Нет, мам... нет, не была. Ты неправильно помнишь: тебе она никогда не нравилась. Кто знает, что происходило в той семье или от чего ее нужно было защищать, если вообще от чего-то надо было? Нам никто никогда не говорил — она сама-то уж совершенно точно. У всех семей из того коридора были свои тайны. — Я посмотрела на нее и подумала: а хочешь знать нашу? — Мам, ты же сама сказала: нельзя спасать всех.

Она несколько раз кивнула и поднесла салфетку к своим влажным щекам.

— Это правда, — произнесла она. — Это очень верно. Но в то же время разве нельзя всякий раз сделать больше?

Пять

Наутро зазвонил мой британский мобильник — с номера, которого я не узнала. Не мать, не Эйми, не кто-то из отцов ее детей, не три приятеля по колледжу, которые еще не отчаялись раз или два в год выманить меня куда-нибудь с ними выпить перед каким-нибудь моим вылетом. Голос поначалу я тоже не признала: я никогда не слышала Мириам такой суровой или холодной.

— Но вы же понимаете, — спросила она после нескольких неловких учтивостей, — что ваша мать действительно очень больна?

Я лежала на серой плюшевой тахте Эйми, глядя в окно на Кензингтон-Гарденз — серый шифер, голубое небо, зеленые дубы — и понимала, покуда Мириам объясняла мне ситуацию, что вид этот сливается с предыдущим: серый цемент, голубое небо над верхушками конских каштанов, вдоль по Уиллзден-лейн на железную дорогу. В соседней комнате нянька Эстелль пыталась муштровать детей Эйми — с этим певучим выговором, какой я связывала с самыми ранними своими воспоминаниями: колыбельными, сказками для ванны и перед сном, шлепками деревянной ложкой. С лучами фар проезжавших машин, скользившими по потолку.

— Алло? Вы еще здесь?

Третья стадия: началось у нее в позвоночнике. Частично успешная операция еще в феврале (где я была, в феврале-то?). Теперь она в ремиссии, но от последнего натиска химиотерапии стала очень хрупка. Ей следовало отдыхать, дать себе восстановиться. Безумие, что она по-прежнему ходит в Палату, безумие, что пошла со мной ужинать, безумие, что я ей позволила.

— Откуда мне было знать? Она ничего мне не говорила.

Я услышала, как Мириам цвиркнула мне зубом.

— Да любой, кому хватает здравого смысла, посмотрит на эту женщину и поймет — что-то не так!

Я заплакала. Мириам терпеливо слушала. Инстинктивно мне хотелось дать отбой и позвонить матери, но когда я попробовала это сделать, Мириам взмолилась: не надо.

— Она не хочет, чтоб вы знали. Знает, что вам нужно ездить и что не — ей не хочется расстраивать ваши планы. Она поймет, что это я вам сказала. Знаю про это только я.

Я не могла вытерпеть такого виденья себя — человека, у которого

собственная мать скорее умрет, чем побеспокоит. Чтобы этого избежать, я пошарила вокруг, ища какой-нибудь драматический жест и, не зная толком, возможно это или нет, предложила услуги множества частных врачей Эйми с Харли-стрит^[200]. Мириам печально хмыкнула.

— Частных? Вы что, свою мать до сих пор не знаете? Нет, если хотите что-то для нее сделать, могу вам подсказать, что для нее сейчас будет самым важным. Ей не дает покоя эта чокнутая! Не знаю, отчего у нее эта одержимость, но она должна прекратиться, больше она сейчас ни о чем не думает — и в такое время это ей совсем не нужно. Она мне сказала, что разговаривала с вами по этому поводу.

— Да. Она мне собиралась переслать электронные письма, но пока не переслала.

— У меня есть, я сама это устрою.

— А, ладно... Я думала — то есть она сказала мне за ужином, что вы с ней...

— Да, много месяцев назад. Но ваша мать — тот человек, кто навсегда останется в моей жизни. Она не из тех, кто оставляет вашу жизнь, сколько-то побыв в ней. В общем, когда тот, кто вам очень небезразличен, заболевает, все остальное... просто меркнет.

Через несколько минут после того, как я отложила телефон, начали сыпаться письма — небольшими шквалами, пока не пришло с полсотни или больше. Я читала их, не сходя с места, ошеломленная яростью. От силы их воздействия я ощутила свою несообразность — как будто Трейси испытывала к моей матери чувства сильнее моих, пусть в них выражалась отнюдь не любовь, а ненависть. К тому же меня ошеломляло, насколько хорошо она пишет — ни разу не скучно, ни на секунду, ни дислексия, ни множество грамматических ошибок ей не мешали: у нее имелся дар быть интересной. Ни одно письмо нельзя было начать читать и не захотеть добраться до конца. Главное обвинение, выдвигавшееся ею против моей матери, заключалось в пренебрежении: бедами ее сына в школе, жалобами и письмами самой Трейси, ее собственным долгом — матери в смысле — по защите интересов ее избирателей. Если быть честной, самые ранние письма не показались мне неразумными, но затем Трейси расширила диапазон. Пренебрежение государственными школами в районе, пренебрежение черными детьми в этих школах, черными людьми в Англии, черным рабочим классом в Англии, матерями-одиночками, детьми матерей-одиночек и лично Трейси как единственным ребенком матери-одиночки все эти годы назад. Мне стало интересно, что она здесь писала «мать-

одиночка» так, словно отца у нее вообще никогда не было. Тон стал ругательским, оскорбительным. В некоторых письмах бывало похоже, что она пьяна или в наркотическом угаре. Вскоре корреспонденция стала односторонней — превратилась в систематический разбор множества способов, какими, по убеждению Трейси, моя мать ее подвела. Я вам никогда не нравилась, вы никогда не хотели меня рядом, вы всегда пытались меня унижить, я вечно не годилась, вы боялись, что люди сочтут нас ровней, вы всегда держались отчужденно, вы притворялись, что за общину горой, а на самом деле всегда были только за саму себя, вы говорили всем, что я украла деньги, но у вас не было доказательств, и вы меня никогда не защищали. Целая цепочка писем посвящалась только нашему жилмассиву. Ничего не делается для улучшения квартир, в которых обитают муниципальные жители, квартиры эти остаются в разрухе — почти все они теперь в корпусе самой Трейси, — их не касались с начала 80-х. А меж тем жилмассив через дорогу — наш, который муниципалитет теперь деловито распродает, — заполняется молодыми белыми парами и их младенцами и выглядит как «блядский курортный отель». А что моя мать намерена делать с мальчишками, торгующими крэком на углу Торбей-роуд? С закрытием плавательного бассейна? С борделями на Уиллзден-лейн?

Вот так оно и было: сюрреалистическая смесь личной мести, болезненной памяти, резкого политического протеста и жалоб местного жителя. Я заметила, что чем больше недель проходило, тем длиннее эти письма становились: начиналось все с абзаца-двух, а дошло до тысячи тысяч слов. В самых недавних вновь всплыли некоторые фантазии конспирологического мышления, какие я помнила десятью годами ранее — по духу, если не в букве. Ящеры, правда, не возникали: теперь свое подавление пережила тайная баварская секта XVIII века и работала в сегодняшнем мире, среди членов ее — множество могущественных и знаменитых черных — в сговоре с белыми элитами и евреями, — и Трейси все это очень глубоко изучала и ее все больше убеждало, что и моя мать могла оказаться инструментом этих людей, незначительным, но опасным — ей удалось проникнуть в самое сердце британского правительства.

Сразу после полудня я дочитала последнее электронное письмо, надела пальто, прошла по дороге и дождалась автобуса № 52. Сошла у Брондзбёри-Парка, прошла по всей Крайстчёрч-авеню, добралась до жилмассива Трейси, поднялась по лестнице и позвонила в дверь. Должно быть, она уже стояла в коридоре, потому что дверь мне открылась сразу: она предстала передо мной с четырех- или пятимесячным младенцем на

бедре, который отвернулся от меня. Из-за ее спины я слышала других детей — они спорили — и телевизор на максимальной громкости. Не знаю, чего я ожидала, но передо мной стояла встревоженная, отяжелевшая женщина средних лет в штанах от махровой пижамы, домашних тапочках и черной толстовке, на которой было написано только одно слово: «ПОВИНУЙСЯ». Я выглядела намного моложе.

— Это ты, — сказала она. И защитно прикрыла рукой затылок младенца.

— Трейси, нам нужно поговорить.

— МАМ! — завопил изнутри голос. — КТО ТАМ?

— Ага, ну так я обед сейчас готовлю?

— Моя мать при смерти, — сказала я — ко мне непроизвольно вернулась старая детская привычка преувеличивать, — и тебе надо прекратить то, что ты...

Тут в дверь высунули головы двое других детей и уставились на меня. Девочка выглядела белой, с волнистыми каштановыми волосами и глазами зелеными, как море. У мальчика цвет кожи был как у Трейси и пружинистое афро, но на нее он не особо смахивал: вероятно, скорее пошел в отца. Девочка-младенец была гораздо темнее всех нас, и когда повернула ко мне личико, я увидела, что она — копия Трейси и невероятно красива. Но такими были все они.

— Можно войти?

Она не ответила. Только вздохнула, ногой в тапке распахнула дверь пошире, и я прошла за нею в квартиру.

— Ты кто, ты кто, ты кто? — спросила у меня маленькая девочка, и не успела я ответить, как она вложила мне в руку свою ручонку. Пока мы шли через гостиную, я заметила, что своим приходом прервала просмотр «Южной Пацифики»^[201]. Деталь эта меня тронула, и мне стало трудно удерживать в уме ту озлобленную Трейси из электронных писем или Трейси, которая десятью годами раньше подсунула мне под дверь то письмо. Я знала ту Трейси, которая могла весь день потратить на «Южную Пацифику», — и эту девочку я любила. — Тебе нравится? — спросила меня ее дочь, и когда я ответила, что да, она потянула меня за руку, пока я не уселась на диван между нею и ее старшим братом, который не отрывался от игры в телефоне. Я прошагала по Брондзбёри-парку, полная праведной ярости, но теперь казалось совершенно возможным, что я просто могу сидеть на диване и проводить день за просмотром «Южной Пацифики», держа за ручку маленькую девочку. Я спросила, как ее зовут.

— Мариа Мими Алиша Шантель!

— Ее звать Жени, — сказал мальчишка, не поднимая головы. Мне показалось, что ему восемь, а Жени — пять или шесть.

— А тебя как? — спросила я, и меня саму несколько повело от того, что я услышала в себе голос своей матери, когда она разговаривала со всеми детьми, сколько бы лет им ни было, так, словно они едва соображают.

— Меня звать Бо! — ответил он, подражая моей же интонации, и натужно расхохотался — смех его был чистой Трейси. — А что у вас за дела, мисс женщина? Вы из Отдела соцобеспечения?

— Нет, я... подруга твоей мамы. Мы вместе росли.

— Хм-м-м, ну, может, — произнес он так, словно прошлое было гипотезой, которую можно принять или отвергнуть. Он вновь занялся своей игрой. — Но я вас раньше никогда не видел, поэтому ЗАПОДОЗРИЛ.

— Вот этот кусочек — «Счастливый разговор»!^[202] — в восторге сказала Жени, показывая на экран, и я ответила:

— Да, но мне нужно поговорить с твоей мамой, — хотя все во мне хотело остаться на диване и держать ее горячую ручку, ощущать, как мне в ногу нечаянно упирается колено Бо.

— Ладно, только как поговоришь, сразу приходи обратно!

Она громыхала на кухне с маленькой дочкой на бедре и не остановилась, когда я вошла.

— Отличные детки. — Я поймала себя на том, что говорю это, а она меж тем складывала тарелки и собирала приборы. — Милые такие — и сообразительные.

Она открыла духовку — дверца едва не царапнула по стене напротив.

— Что готовишь?

Она вновь захлопнула дверцу и, спиной ко мне, переместила ребенка на другое бедро. Все тут было не так: это я выглядела угодливой, я извинялась, а она была праведно права. Сама квартира, казалось, вытягивает из меня эту покорную роль. На сцене жизни Трейси иная мне и не предназначалась.

— Мне правда очень нужно с тобой поговорить, — снова сказала я.

Она развернулась. Лицо она теперь надела соответствующее, как мы раньше выражались, но, перехватив взгляды друг дружки, мы обе улыбнулись — невольно, взаимной ухмылкой.

— Но мне даже не ржака, — сказала она, сгоняя ее с лица, — а если ты сюда пришла поржать, так лучше сразу уходи, потому что я не готова.

— Я пришла попросить тебя перестать преследовать мою мать.

— Вот как она это тебе представила!

— Трейси, я читала твои письма.

Она перенесла младенца на плечо и принялась подбрасывать ее и похлопывать ей по спине, снова и снова.

— Слушай, я в этом районе живу, — сказала она, — в отличие от тебя. Я вижу, что тут происходит. В парламенте могут болтать сколько влезет, но я тут, на земле, а твоя мать вроде как должна представлять эти улицы. Она что ни вечер по телевизору выступает, но ты видишь, как тут хоть что-нибудь меняется? У моего мальчика коэффициент интеллекта 130 — ничего? Его проверяли. У него СДВГ^[203], у него мозг так быстро работает, и ему *каждый день скучно* в этом сральнике. Ну да, он влипает в неприятности. *Потому что ему скучно*. А учителя эти считают, что его только и можно, что выгнать из школы!

— Трейси, мне про это ничего не известно — но ты же не можешь просто...

— Ой, хватит напрягать, принеси какую-нибудь пользу. Помоги мне лучше на стол накрыть.

Она вручила мне стопку тарелок, сверху положила приборы и отправила назад в гостиную, где оказалось, что я накрываю для ее семьи маленький круглый стол — точно так же, как некогда накрывала чай для ее кукол.

— Обед готов! — объявила она, как мне показалось — имитируя мой голос. И игриво отвесила детям по подзатыльнику.

— Если это опять лазанья, я зарыдаю и упаду на колени, — заявил Бо, а Трейси ответила:

— Это лазанья, — и Бо встал в обещанную позу и комически заколотил по полу кулаками.

— Вставай, клоун, — сказала Трейси, и все они рассмеялись, а я не знала, как мне продолжить свою миссию.

За столом я сидела тихо, пока они спорили и смеялись из-за каждой мелочи, все, казалось, говорили как можно громче, беззастенчиво сквернословили, а малышку, по-прежнему на коленях у Трейси, то и дело подбрасывали, пока сама Трейси ела одной рукой и пререкалась с той парочкой, и вот так, вероятно, у них проходили все обеды, но я не могла избавиться от ощущения, что все это к тому же со стороны Трейси — представление, способ сказать: «Посмотри на полноту моей жизни. Посмотри на пустоту своей».

— Ты по-прежнему танцуешь? — вдруг спросила я, перебив их всех. — В смысле — профессионально?

За столом все стихло, а Трейси обернулась ко мне.

— А *похоже*, что я до сих пор танцую? — Она оглядела себя и весь стол и жестко рассмеялась. — Я знаю, конечно, что из нас двоих я умная была, но... прикинь, блядь, сама, да?

— Я... я тебе так и не сказала, Трейс, но я тебя видела в «Плавучем театре».

Она даже отдаленно не удивилась. Мне стало интересно, не заметила ли она меня в тот раз.

— Ага, ну это все древняя история. Мама заболела, за детьми присматривать было некому... стало слишком трудно. У меня самой были неполадки со здоровьем. Не для меня это, в общем.

— А их отец?

— А что их отец?

— Почему он за ними не присмотрит? — Я подчеркнуто пользовалась единственным числом, но Трейси — всегда на стреме с эвфемизмами или ханжеством — это не обмануло.

— Ну, как видишь, я попробовала ванильный, кофе-с-молоком и шоколадный — и знаешь, что для себя открыла? Изнутри все они, блядь, одинаковы — мужчины.

Меня покорила ее язык, но дети — развернувшие стулья к «Южной Пацифике», — похоже, не обратили внимания или им было все равно.

— Может, беда с тем сортом, который ты выбираешь?

Трейси закатила глаза:

— Вот спасибо, доктор Фройд! Я об этом не подумала! Еще жемчуг мудрости для меня найдется?

Я прикусила язык и ела свою порцию лазаньи дальше — внутри она осталась отчасти замороженной, но оказалась вкусной. Мне это напомнило ее мать, и я спросила, как она.

— Она умерла, пару месяцев назад. Правда, принцесса? Она умерла.

— Бабуля умерла. Она улетела к ангелам!

— Ага. Теперь только мы. Но у нас все хорошо. Эти ебанные соцработники нас достают, но все в порядке. Четыре мушкетера.

— Мы сожгли бабулю на большом костре!

Бо развернулся:

— Ты такая дура — мы не сжигали ее, правда? Типа мы ее просто на костер положили или как-то! Ее кре-ми-ро-ва-ли. Это лучше, чем когда в землю пихают, в каком-нибудь забитом ящике. Вот уж спасибо. Я себе тоже так хочу. Бабуля была как я, потому что ненавидела закрытые места. У нее была кла-ус-тро-фо-бия. Поэтому она всегда ходила по лестнице.

Трейси ласково улыбнулась Бо и протянула к нему руку, но он увернулся и отстранился.

— Но хоть детишек она увидела, — пробормотала Трейси, чуть ли не самой себе. — Даже малютку Беллу. От этого мне как-то хорошо.

Она поднесла Беллу к губам и расцеловала ей весь носик. Затем перевела взгляд на меня и показала на мой живот:

— А ты чего ждешь?

Я задрала нос, слишком поздно сообразив, что это заемный жест — я его применяла много лет в мгновения гордости или непреклонности, — и по праву принадлежит женщине, сидевшей сейчас напротив.

— Нужной ситуации, — ответила я. — Нужного времени.

Она улыбнулась, на лице — прежняя жестокость:

— Ох, ладно. Тогда удачи. Смешно, да, — сказала она, для пущего эффекта подчеркнув выговор и поворачиваясь к телевизору, а не ко мне: — Богатенькие пташки без детей, а у бедненьких их слишком много. Твоей маме, конечно, было бы что по этому поводу сказать.

Дети доели. Я собрала за ними тарелки и унесла на кухню, минутку посидела там на высоком табурете, сознательно вдыхая и выдыхая — как нам показывала тренерша Эйми по йоге — и глядя в полоску окна на парковочные загоны. Я хотела от нее определенных ответов — и они уходили в давнее прошлое. Я пыталась прикинуть, как мне половчее снова войти в гостиную так, чтобы весь день переустановился в мою пользу, но не успела — зашла Трейси и сказала:

— Штука вот в чем: то, что между твоей мамой и мной, — это между твоей мамой и мной. Я даже не понимаю, зачем ты сюда сегодня пришла, вот честно.

— Я просто пытаюсь понять, зачем тебе...

— Ага, но так в этом-то все и дело! Между тобой и мной уже не может быть никакого понимания! Ты сейчас — в другой системе. Такие, как ты, считают, будто они все могут контролировать. Но меня ты не сможешь!

— Такие, как я? Ты о чем это вообще? Трейс, ты уже взрослая женщина, у тебя трое чудесных детей, тебе правда нужно взять в руки эту свою делюзию...

— Можешь это называть как угодно шикарно, солнышко, — но есть система, и вы со своей ебаной матерью обе в ней.

Я встала.

— Хватит преследовать мою семью, Трейси, — сказала я и целеустремленно вышла из кухни, Трейси — за мной, через гостиную и к выходу. — Если так будет продолжаться, вмешается полиция.

— Ага, ага, идешь — иди, — сказала она и захлопнула за мной дверь.

Шесть

В начале декабря Эйми вернулась проверить успехи своей академии — приехала со свитой поменьше: Грейнджер, Джуди, ее взбалмошная помощница по электронной переписке Мэри-Бет, Ферн и я, без прессы и без особой повестки дня, — ей хотелось предложить устроить на участке самой школы клинику полового здоровья. В принципе никто этому не противился, но все равно очень трудно было понять, как ее публично называть «клиникой полового здоровья» или как осмотрительные отчеты Ферна о половой незащищенности здешних девушек — материал для них собирался медленно и с огромной долей доверия через нескольких местных учительниц, которые сами многим рисковали, соглашаясь с Ферном поговорить, — можно вывести на обсуждение всей деревни, не вызывая межличностного хаоса и обид, а то и завершения всего нашего проекта. В самолете по пути сюда мы как раз это и обсуждали. Я, запинаясь, пыталась поговорить с Эйми о необходимой щепетильности, о том, что я сама понимала в местном контексте, думая про себя о Хаве, а Ферн гораздо более красноречиво обсуждал прежние вмешательства одной немецкой неправительственной организации в дела близлежащей деревни мандинка, где женское обрезание практиковалось всеми, и немецкие медсестры обнаружили, что косвенные подходы встречались тут благоприятнее, нежели более непосредственное осуждение. Эйми хмурилась от таких сравнений, а затем снова продолжила с того, на чем остановилась:

— Слушай, у меня так было в Бендигоу, у меня так было в Нью-Йорке, такое везде происходит. Дело тут вовсе не в твоём «местном контексте» — так повсюду. У меня была большая семья, двоюродные и дядья все время приходили и уходили — я-то знаю, что к чему. И готова спорить с тобой на миллион долларов — зайдешь в любой класс, где угодно на свете, где тридцать девчонок, и в нем непременно окажется хотя бы одна с секретом, о котором она не сможет рассказать. Я помню. Мне было некуда пойти. И я хочу, чтобы этим девчонкам было к кому обратиться!

Рядом с ее собственной страстью и преданностью этому делу все прочие наши квалификации и заботы выглядели мелко и плоско, но нам удалось сузить ее до слова «клиника» и ударения — по крайней мере, при обсуждениях этой клиники с местными мамашами — на менструальное здоровье, что само по себе было осложнением для многих девочек, у кого не имелось средств на санитарные продукты. Но лично я не считала, что

Эйми неправа: я вспоминала и свои школьные классы, занятия танцами, игровые площадки, молодежные группы, дни рождения, девичники — помню, всегда там имелась девочка с секретом, с чем-то уклончивым и сломанным внутри, и теперь, когда я ходила по деревне с Эйми, заглядывала в дома селян, пожимала людям руки, принимала у них еду и питье, когда меня обнимали их дети, мне часто казалось, что я опять вижу ее, эту девочку, какая живет повсюду и во все времена истории, подметает двор, или наливает нам чай, или таскает чьего-нибудь еще ребенка на бедре и смотрит на тебя, а в глазах у нее — секрет, о котором она не может рассказать.

Трудный нам выпал первый день. Мы радовались, что вернулись сюда, и в том, чтобы гулять по деревне, уже не странной или чужой нам, было неожиданное наслаждение, видеть знакомые лица — а для Ферна эти люди стали еще и близкими друзьями, — однако мы все равно несколько напрягались, поскольку знали: у Эйми, хоть она выполняла свои обязанности и улыбалась на фотографиях, которые поручили делать Грейнджеру, голова была полна Ламином. Каждые несколько минут она бросала яростный взгляд на Мэри-Бет — та снова и снова набирала номер, но в ответ получала лишь голосовую почту. На некоторых участках, чьи обитатели были связаны с Ламином узами крови или дружбы, мы о нем спрашивали, но никто, похоже, не знал, где он — его видели вчера или сегодня утром, но раньше: может, поехал в Барру или Банджул, а то и в Сенегал повидаться с родней. К исходу дня Эйми уже с трудом сдерживала раздражение. Нам полагалось спрашивать у людей, как они относятся к переменам в деревне и что еще желают в ней увидеть, но у Эйми стекленели глаза, когда люди говорили ей что-то хоть сколько-то долго, и мы начали заходить во дворы и покидать их чересчур быстро, отчего люди обижались. Мне хотелось там задерживаться: я задавалась вопросом, не в последний ли раз мы тут, меня не оставляла некоторая тяга удержать при себе все, что вижу, запечатлеть всю деревню в памяти, ее цельный свет, ее зелень и желтизну, тех белых птиц с кроваво-красными клювами и людей — мой народ. Но где-то на этих улицах от Эйми прятался молодой человек: это унижительное чувство — и для нее новое, для нее, а ведь всегда была тем, к кому бежали другие. Чтобы об этом не размышлять, как я видела, она исполнялась решимости двигаться дальше, и как бы ее цели ни расстраивали моих планов, я не могла ее не жалеть. Я отставала от нее на двенадцать лет, но и сама ощущала свой возраст среди всех этих возмутительно молодых девушек, каких мы встречали на каждом участке, слишком красивых — они в тот жаркий день противопоставляли нам то

единственное, что невозможно вернуть, если оно ушло, ни за какие деньги или власть.

Перед самым закатом мы добрались до восточного края деревни, до границы, за которой она переставала быть деревней и опять становилась чащей. Там уже не было дворов — только хижины из гофрированного железа, и вот в одной из них мы и повстречались с младенцем. Все уже очень устали, нам было очень жарко, и поначалу мы не заметили, что в небольшом помещении есть кто-то еще, кроме женщины, которой Эйми как раз пожимала руку, но я шагнула в сторону, чтобы пропустить Грейнджера внутрь с солнцепека, и заметила, что на тряпке, расстеленной на полу, лежит младенец, а еще одна девочка лет девяти сидит с ним рядом и гладит его по лицу. Мы, конечно, видели тут множество младенцев, но таких маленьких — никогда: этому было дня три. Женщина завернула его и дала подержать крошечный сверток Эйми, которая его приняла и уставилась на него, не произнося того, что люди обычно говорят, когда им дают подержать новорожденного. Мы с Грейнджером, ощутив неловкость, подошли ближе и заговорили сами: девочка или мальчик, какая красивая, какая маленькая, какие глазки, такие миленькие волосики. Я произносила это машинально — мне и раньше не раз приходилось это говорить, — пока не посмотрела на нее. Глаза у нее были огромны, с чудными ресницами, черно-лиловые, несфокусированные. Она была маленькой богиней, отказывавшей мне в милости, хоть я и стояла на коленях. Эйми прижала к себе ребенка покрепче, отвернулась от меня и ткнулась своим носом младенцу в губки-буточник. Грейнджер вышел наружу немного подышать. Я снова придвинулась к Эйми ближе и склонилась над ребенком. Шло время. Мы с ней вдвоем, бок о бок, неприятно близко, потели друг на друга, но обе не желали рисковать и сдвигаться прочь из поля зрения младенца. Мать малышки что-то говорила, но, по-моему, ни Эйми, ни я ее не слышали. Наконец Эйми весьма неохотно повернулась и передала ребенка мне. Возможно, дело тут в химии, как дофамин, захлестывающий влюбленных людей. Для меня это было как — тонуть. Ничего подобного я не переживала ни раньше, ни с тех пор.

— Нравится? Нравится? — произнес благодушный мужчина, возникший из ниоткуда. — Берите ее в Лондон! Ха-ха! Нравится?

Мне как-то удалось вернуть ребенка матери. В то же время где-то в альтернативных будущих я выбежала прямо оттуда с младенцем в руках, поймала такси в аэропорт и улетела домой.

Когда солнце упало и больше ничего нельзя было сделать в смысле

визитов, мы решили на сегодня закончить и собраться наутро, чтобы осмотреть школу и посетить сельский сход. Эйми и остальные направились за Ферном в розовый дом. Мне же было интересно, что изменилось после моего прошлого визита, и я пошла к Хаве. В совершенной темноте очень медленно пробиралась, как я считала, к главному перекрестку, как слепая, тянулась к древесным стволам и на каждом шагу поражалась, сколько взрослых и детей, как я ощущала, проходит мимо — быстро и действенно, без фонариков, туда, куда направлялись. Я добралась до перекрестка и была уже в нескольких шагах от дома Хавы, когда рядом со мной возник Ламин. Я обняла его и сказала, что Эйми искала его везде и рассчитывает увидеть его завтра.

— Я же тут. Я нигде больше не был.

— Ну, я к Хаве иду — ты пойдешь?

— Ты ее не найдешь. Два дня назад она уехала выходить замуж. Завтра в гости должна приехать, она бы хотела тебя повидать.

Мне хотелось посочувствовать, но нужных слов не нашлось.

— Ты должен завтра явиться в школу — на обход, — повторила я. — Эйми искала тебя весь день.

Он пнул камешек на земле.

— Эйми очень милая дама, она мне помогает, и я благодарен, но... — Он замер на рубеже, как бы раздумав прыгать в длину, — и все равно прыгнул: — Она старая женщина! Я молодой мужчина. А молодой мужчина хочет иметь детей!

Мы стояли у двери Хавы, глядя друг на друга. Стояли мы так близко, что шеей я ощущала его дыхание. Думаю, я тогда уже знала, что между нами произойдет — той же ночью или следующей, — и это будет сочувствие, предложенное телом в отсутствие более ясного или четко выраженного решения. Мы не поцеловались — в тот миг, по крайней мере, — он даже не потянулся к моей руке. Нужды не было. Мы оба поняли, что это уже решено.

— Ну, зайдем, — наконец предложил он, открывая дверь Хавы как к себе домой. — Ты здесь, уже поздно. Поешь здесь.

Стоя на веранде и глядя наружу, более или менее в том же месте, где я видела его в последний раз, стоял брат Хавы Бабу. Мы тепло приветствовали друг друга: как и все, с кем я здесь встречалась, он считал, что, раз я предпочла опять вернуться, это само по себе некая добродетель, — ну или делал вид. Ламину он лишь кивнул — от фамильярности или враждебности, я определить не смогла. Но когда я осведомилась о Хаве, лицо его явно помрачнело.

— Я был там вчера на свадьбе, только свидетелем. Самому мне все равно, есть там певцы, платья или блюда еды — все это не имеет для меня значения. Но мои бабушки! О, да она же тут просто войну развязала! Мне придется выслушивать женские жалобы до скончания моих дней!

— Думаешь, она счастлива?

Он улыбнулся, как будто меня за чем-то застигли.

— Ах да — для американцев это всегда самый важный вопрос!

Нам вынесли ужин — вообще-то настоящее пиршество, — и мы поели на улице, а бабушки сбились в разговорчивый кружок на другом конце веранды, время от времени поглядывали на нас, но их слишком занимала собственная дискуссия, чтобы уделять нам слишком пристальное внимание. У наших ног стояла лампа на солнечной батарее и освещала нас снизу: я видела то, что ем, и нижние части лиц Ламина и брата Хавы, а за этим кругом света раздавался обычный шум домашней работы, смеялись дети, плакали, кричали, и люди ходили по двору взад-вперед из различных надворных построек. Не слышно было лишь мужских голосов — но вот какие-то раздались очень близко, и Ламин вдруг встал и показал на стену участка: там, по обе стороны от дверного проема, теперь сидело с полдюжины мужчин, свесив ноги к дороге. Ламин шагнул было к ним, но Хавин брат поймал его за плечо и вновь усадил на место, а подошел к ним сам, в сопровождении двух бабушек по бокам. Я заметила, что один из этих молодых людей курил — и теперь швырнул окурок к нам во двор, но, когда брат Хавы до них дошел, у них случился краткий разговор: он что-то сказал, один паренек рассмеялся, что-то сказала бабушка, он опять заговорил, уже тверже, и шесть спин соскользнули во тьму. Говорившая бабушка открыла дверь и проводила их взглядом по дороге. Из-за покрова облаков высунулась луна, и оттуда, где я стояла, различила, что, по крайней мере, у одного за спину был заброшен автомат.

— Они не отсюда, они с другого конца страны, — сказал Хавин брат, возвращаясь ко мне. Он по-прежнему бескровно улыбался, как в зале заседаний, но за дизайнерской оправой его очков я по глазам видела, до чего он потрясен. — Такое нам попадаете все больше и больше. Они слышат, что Президент хочет править миллиард лет. У них заканчивается терпение. Они начали слушать другие голоса. Иностранные. Или голос Бога, если верить, что его можно приобрести на пленке «Касио» за двадцать пять даласи на рынке. Да, у них больше нет терпения, и я их не виню. Даже наш спокойный Ламин, наш терпеливый Ламин — у него тоже уже терпения не хватает.

Ламин протянул руку к ломтю белого хлеба, но ничего не сказал.

— А когда уезжаешь? — спросил у Ламина Бабу, и в голосе его звучало столько осуждения, обвинения, что я решила, будто он имеет в виду «черный ход», но оба они хмыкнули — должно быть, заметив панику, выступившую у меня на лице. — Нет-нет-нет, у него официальные бумаги будут. Все устраивается, благодаря твоим людям, которые тут. Мы и так уже теряем самых сообразительных наших молодых людей, а теперь ты забираешь еще одного. Грустно, но уж как есть.

— Ты же уехал, — хмуро произнес Ламин. Изо рта он вытащил рыбью кость.

— То было другое время. Я здесь был не нужен.

— Я тоже здесь не нужен.

Бабу не ответил, его сестры, чтобы заполнить паузы своей трескотней, рядом не было. Покончив с нашей тихой трапезой, я опередила множество этих детей-горничных, собрала все тарелки и двинулась в ту сторону, куда, как я видела, ходили все эти девочки, к последней комнате в блоке, которая оказалась спальней. Я остановилась в тусклом свете, не зная, что делать дальше, но один из полудюжины детей, спавших там, поднял голову от односпальной кровати, увидел стопку тарелок у меня в руках и показал на занавеску. Я снова оказалась снаружи, опять во дворе, только теперь это был задний двор, и там бабушки и кое-кто из девочек постарше сидели на корточках вокруг нескольких ванн с водой, где крупными кусками серого мыла стирали белье. Сцену освещал круг ламп на солнечных батареях. Пока я к ним приближалась, работа замерла: все смотрели маленький театр животных — петух гнался за курицей, догнал ее, прижал ей шею когтем, сунув голову в пыль, а затем взгромоздился на нее. Действие заняло около минуты, но курица все это время выглядела скучающей, ей не терпелось заняться другими своими делами, поэтому грубое торжество власти петуха над нею выглядело несколько комичным.

— Мужик! Мужик! — закричала одна бабушка, заметив меня и показывая на петуха. Женщины засмеялись, курицу отпустили: она побродила по кругу, разок, другой, третий, явно ошалевшая, после чего вернулась в курятник к своим сестрам и цыплятам. Я поставила тарелки куда мне велели — на землю — и вернулась; Ламин уже ушел. Я поняла, что это сигнал. Объявила, что тоже иду спать, но вместо этого легла у себя в комнате, не раздеваясь, дожидаться, когда смолкнут последние звуки человеческой деятельности. Перед самой полночью взяла свой головной фонарик, быстро пробралась по двору, за границу участка и через всю деревню.

Эйми рассматривала этот визит как «ознакомительную поездку», но сельский комитет считал все поводом для празднования, и на завтра, покончив с инспекцией школы и выйдя во двор, мы обнаружили, что под деревом манго нас поджидает барабанный круг: двенадцать пожилых женщин с барабанами между ляжек. Не предупредили даже Ферна, а Эйми вся взбудоражилась от такой новой задержки по графику, но избежать не представлялось возможным — это была засада. Из школы высыпали дети, выстроились вторым кругом, побольше, вокруг своих матерей-барабанщиц, а нас, «американцев», попросили сесть самым узким кружком на стульчиках, вытасненных из классов. За ними сходили учителя, и среди них у другого конца школьного здания рядом с кабинетом математики Ламина я заметила его и Хаву — они шли вместе, несли каждый по четыре стульчика. Но, увидев их, я не почувствовала никакой робости, никакого стыда: события прошедшей ночи были так отделены от моих дневных занятий, что мне казалось — они случились с кем-то другим, с теневым телом, преследовавшим отдельные цели, какое не выгнать было на свет. Забарабанили. Я не могла их перекричать. Я вновь повернулась к кругу и села на место, которое мне предложили, рядом с Эйми. Женщины стали по очереди выходить в круг, отложив барабаны, и танцевать зрелищными трехминутными выплесками — что-то вроде антипредставления, несмотря на блистательную работу ног, на гениальность их бедер, они не поворачивались лицами к своей публике, а смотрели только на своих барабанящих сестер, спинами к нам. Когда вышла вторая, в круг вступила Хава и села рядом со мной — я придержала ей место, — а Ламин лишь кивнул Эйми и уселся на другой стороне круга, как можно дальше от нее и, подозреваю, от меня. Я сжала руку Хаве и поздравила ее.

— Я очень счастливая. Мне было нелегко оказаться сегодня здесь, но я хотела увидеть тебя!

— Бакари с тобой?

— Нет! Он думает, я в Барре рыбу покупаю! Ему не нравятся такие танцы, — сказала она и немного подвигала ногами — эхом женщине, топавшей по земле в нескольких ярдах от нас. — Но я сама, конечно, танцевать не буду, поэтому никакого вреда.

Я снова сжала ее руку. Как-то чудесно было сидеть с нею рядом — любую ситуацию она кроила до собственных масштабов, верила, что все можно к себе подстроить, пока не подойдет, даже когда гибкость вышла из моды. В то же время меня охватило патерналистским — или, вероятно, следует написать «матерналистским» — порывом: я не выпускала ее руку, держала ее слишком крепко в надежде, в безосновательной надежде, что

хватка моя, словно некий дешевый оберег, купленный у *марабута*, — даст ей защиту, убережет от злых духов, в чьем существовании в этом мире я уже не сомневалась. Но когда она повернулась ко мне и заметила морщины у меня на лбу — засмеялась надо мной и высвободилась, захлопала тому, что в круг вышел Грейнджер: тот перемещался по нему, словно среди брейкдансеров, похваляясь своими тяжкими телодвижениями к восторгу барабанивших матерей. После уместной минуты сдержанности к нему туда вышла Эйми. Чтобы не смотреть на нее, я оглядывала круг: в нем чувствовалась нестигаемая, негибкая любовь — к сожалению, направленная не туда. Справа от себя я ощущала Ферна — он не сводил с меня глаз. Я видела, как Ламин то и дело поднимает взгляд, но смотрел он только на Хаву, а ее идеальное лицо было запаковано туго, как подарок. Но под конец я уже не могла избежать образа Эйми, танцевавшей для Ламина, Ламину, с Ламином. Будто кто-то танцем вызывает дождь, а тот никак не льется.

Восемь барабнящих женщин спустя попробовала станцевать даже Мэри-Бет, а затем настал мой черед. С обеих сторон меня тянули за руки мамыши, поднимали меня со стульчика. Эйми импровизировала, Грейнджер историзировал — выдавал лунную походку, робота, бегущего человека, — а у меня по-прежнему не было никаких замыслов танца, одни инстинкты. С минуту я за ними понаблюдала — за этими двумя женщинами, что танцевали мне, дразня, — тщательно послушала множественные ритмы и поняла: то, что делают они, могу сделать и я. Я встала между ними и взялась повторять все в точности, шаг за шагом. Детвора обезумела. Мне орало так много голосов, что я перестала слышать барабаны — продолжать теперь я могла, только отвечая движениям самих женщин, которые ни на миг не потеряли ритма, они слышали его вопреки всему. Через пять минут я закончила — и устала при этом больше, чем если бы пробежала шесть миль.

Я рухнула на стульчик рядом с Хавой, и откуда-то из складок своего хиджаба та достала кусок ткани, чтобы я стерла с лица хоть немного пота.

— Почему они говорят «тупая»? У меня что, плохо получилось?

— Нет! Ты была такая замечательная! Они говорят: «*Тубаб*» — это значит... — Она провела пальцем по коже у меня на щеке. — В общем, они говорят: «Хоть ты и белая девушка, но танцуешь ты как черная!», и я считаю, что это правда: вы с Эйми обе — вы правда танцуете, как будто вы черные. Это большой комплимент, я бы сказала. Я бы в тебе такое нипочем не угадала. Ой-ёй, да ты танцуешь не хуже Грейнджера!

Услышав это, Эйми расхохоталась.

Семь

За несколько дней до Рождества я сидела в лондонском доме за столом в кабинете у Эйми, подбивала список к новогодней вечеринке и тут услышала Эстелль — где-то наверху, она говорила:

— Нью, нью. — Стояло воскресенье, контора на втором этаже была закрыта. Дети еще не вернулись из нового пансиона, а Джуди и Эйми улетели в Исландию на две ночевки, что-то продвигать. Эстелль я не видела и не слышала с тех пор, как уехали дети, и предполагала — если вообще о ней задумывалась, — что ее услуги больше не потребуются. А теперь до меня доносилась знакомая певучая речь: — Нью, нью. — Я взбежала на этаж выше и нашла ее в прежней комнате Кары — раньше мы называли ее детской. Эстелль стояла у подъемных окон, глядя сверху на парк, в своих удобных резиновых тапочках и черном свитере, расшитом золотой нитью, как мишурой, в скромных темно-синих брюках с защипами. Стояла спиной ко мне, но, услышав мои шаги, повернулась — на руках у нее был спеленатый младенец. Укутали его так плотно, что ребенок выглядел ненастоящим, как реквизит. Я быстро подошла, протягивая руку... — Неча подходить и трогать детку! Руки мыть надоть! — ... и мне потребовалось будь здоров самоконтроля, чтобы сделать шаг прочь от них и убрать руки за спину.

— Эстелль, чей это ребенок?

Младенец зевнул. Эстелль с обожанием взглянула на него.

— Три недели назад взяли вроде как. Не знала? А я-то смекала, все знают! Но приехавши только вчера вечером. Санкофа звать — не спрашивай, что за имя такое, я без понятий. Поди знай, зачем миленькой малютке такое имя давать. Сандрой буду звать, пока не запретять.

Тот же лиловый, темный, несфокусированный взгляд скатился с меня, сам собою зачарованный. В голосе Эстелль мне послышался восторг, который она уже испытывала от ребенка, — гораздо больший, нежели она когда-либо питала к Джею и Каре, кого практически вырастила, — и я попыталась сосредоточиться на истории этой «счастливой, счастливой девочки» у нее на руках, спасенной «невесть откуда», попавшей «в роскошь». Лучше не спрашивать, как это удалось повернуть — международное усыновление меньше чем за месяц. Я снова потянулась к ней. Руки у меня тряслись.

— Если прям хошь ее подержать, я ее сейчас мыть буду — пойдем со

мной наверх, руки вымоешь заодно.

Мы зашли в бескрайние апартаменты Эйми, которые в какой-то момент втихоря подготовили для младенца: комплект полотенец с кроличьими ушками, детские присыпки и масла, детские губки и детские мыла, а также полдюжины разноцветных пластиковых уточек, выстроившихся по краю ванны.

— Вот чепуха-то всякая! — Эстелль присела рассмотреть сумасбродное маленькое приспособление, сделанное из махровой ткани и металлической рамы, цеплявшееся за край ванны и походившее на шезлонг для крохотного старичка. — Приспособы все эти. Такого малого ребятенка токмо в раковине и мыть.

Я опустилась на колени рядом с Эстелль и помогла распеленать миниатюрный сверток. Лягушачьи лапки растопырились в изумлении.

— Потрясенье, — пояснила Эстелль, когда младенец взвыл. — Было тепло да туго, а теперь холодно да привольно.

Я стояла рядом, пока она опускала возмущенно вопившую Санкофу в глыбу викторианского фаянса за семь тысяч фунтов, которую я сама некогда заказывала.

— Нью, нью, — повторяла Эстелль, протирая тряпицей множество морщинистых складочек младенца. Через минуту или около того она обхватила ладонью крохотную попку Санкофы, поцеловала ее в по-прежнему вопившее личико и велела мне расстелить треугольником пеленальное одеяльце на подогреваемом полу. Я села на корточки и смотрела, как Эстелль обмазывает всего ребенка кокосовым маслом. Младенцев я держала в руках лишь считанные мгновенья, и мне вся эта процедура казалась мастерской.

— У тебя самой дети есть, Эстелль?

Восемнадцать, шестнадцать и пятнадцать — но руки у нее были в масле, поэтому она показала мне на свой задний карман, и я вытащила ее телефон. Провела по экрану вправо. На миг заметила ничем не загороженное изображение высокого молодого человека в мантии выпускника, по бокам — улыбающиеся младшие сестры. Она сообщила мне, как их зовут, в чем их особые таланты, какого они роста и темперамента и как часто — или нет — каждый из них звонит ей по «Скайпу» или отвечает на «Фейсбуке». Недостаточно часто. За те десять или около того лет, что мы обе проработали у Эйми, то был самый длительный и личный у нас с ней разговор.

— Ими мамка моя занимается. В лучшую школу ходят в Кингстоне. Он теперича в Университет Вест-Индии подастся, на инженера. Он

чудесный молодой человек. Пример с него берут, девчонки-то. Звезда он прям. Они на него уж так равняются.

— Я с Ямайки, — сказала я, и Эстель кивнула и ласково улыбнулась младенцу. Я столько раз уже видела, как она это делает, когда мягко подтрунивает над детьми или самой Эйми. Вспыхнув, я поправилась: — То есть родители моей мамы — из Сент-Кэтрин.

— А, да. Ясно. Бывала тама?

— Нет. Пока нет.

— Ну, ты еще молодая. — Она вновь завернула младенца в кокон и прижала к груди. — Время, оно за тебя.

Настало Рождество. Мне представили младенца — всем нам — как свершившийся факт, законное удочерение, предложенное и одобренное родителями, и никто не поставил это под сомнение, во всяком случае — вслух. Никто не спрашивал даже, что может значить слово «одобренное» — при таком-то глубоком неравенстве. Эйми обуяла любовь к младенцу, все остальные, казалось, радовались за нее — то было ее рождественское чудо. А у меня остались одни подозрения — ну и то, что весь процесс от меня скрывали, пока он не завершился.

Несколько месяцев спустя я вернулась в деревню в последний раз — и как могла хорошенько расспросила. Никто со мной об этом разговаривать не хотел, не предлагал ничего, кроме счастливых банальностей. Биологические родители здесь больше не жили, никто, казалось, толком не знал, куда они переехали. Если об этом что-то и было известно Фернандо, он бы мне все равно не рассказал, а Хава переселилась со своим Бакари в Серрекунду. Ламин тоскливо болтался по деревне — скорбел по Хаве; возможно, я тоже. Вечера на участке без нее были долги, темны, одиноки и коротали их целиком на языках, которых я не знала. Но хотя я твердила себе, направляясь к Ламину — всего я так делала пять или шесть раз и неизменно поздно ночью, — что мы с ним просто отрабатываем физическое желание, думаю, мы оба прекрасно понимали, что, какая бы страсть между нами ни существовала, она была направлена через другого человека на что-то еще, к Хаве — или к тому, чтоб быть любимым, или чтобы просто доказать себе нашу собственную независимость от Эйми. На самом деле это она была тем, в кого мы целили всю нашу безлюбую еблю, она участвовала в процессе так, словно присутствовала в комнате.

Крадясь от Ламина обратно на участок Хавы, как-то очень рано поутру, еще и пяти не было, солнце только начало подниматься, я услышала зов к молитве и сообразила, что уже слишком поздно оставаться

незамеченной: какая-то женщина тянула несговорчивого осла, мне из дверного проема махала компания детворы, — и потому я сменила курс, сделала вид, что просто вышла прогуляться без какой-либо особой цели: все знали, что американцы так иногда поступают. Огибая мечеть, прямо перед собой я увидела Фернандо — он опирался на следующее дерево, курил. Я никогда раньше не видела, чтобы он курил. Попробовала небрежно улыбнуться ему в знак приветствия, но он подстроил свой шаг к моему и больно схватил меня за руку. От него пахло пивом. Похоже, он совсем не спал.

— Что ты делаешь? Зачем ты так поступаешь?

— Ферн, ты за мной *седишь*, что ли?

Он не ответил, пока мы не достигли другой стороны мечети — у громадного термитника мы остановились, с трех сторон нас не стало видно. Он отпустил меня и заговорил так, словно у нас не заканчивалась какая-то долгая дискуссия.

— А у меня для тебя хорошая новость: благодаря мне он будет с тобой очень скоро на постоянной основе, да, и все это из-за меня. Вообще-то я сегодня еду в посольство. Я очень прилежно работаю за кулисами ради объединения молодых и не таких уж молодых любовников. Всех троих.

Я начала было отрицать, но какой смысл? Ферну всегда очень трудно было врать.

— Должно быть, у тебя к нему по-настоящему сильное чувство, если ты стольким рискуешь. Столь многим. В последний раз, когда ты здесь была, знаешь, я заподозрил, да и в предыдущий раз — но это отчего-то все равно шок, когда подтверждается.

— Но у меня нет к нему *никаких* чувств!

Лицо его тут же стало беззащитным.

— Ты себе воображаешь, что это должно меня утешить?

Наконец — стыдно. Подозрительная эмоция, такая древняя. В академии мы всегда советовали девочкам ее не испытывать, поскольку она устарела, не помогает и приводит к таким практикам, каких мы не одобряем. Но я сама наконец-то ее почувствовала.

— Пожалуйста, не говори ничего. Прощу тебя. Завтра я уезжаю, и на этом всё. Оно едва началось и уже закончилось. Пожалуйста, Ферн, — тебе придется мне помочь.

— Я пытался, — сказал он и ушел прочь, к школе.

Следующий день был мукой, и день за ним, и перелет был мучителен, переход по аэропорту с телефоном, как с гранатой, у меня в заднем

кармане. Она не взорвалась. Когда я вошла в лондонский дом, все там было как прежде, только счастливее. Дети устроились неплохо — по крайней мере, от них до нас не доносилось ни звука, — последний альбом приняли хорошо. Фотографии Ламина и Эйми вместе, оба очень красивые — еще на дне рождения Джея, с концерта — публиковали во всех сплетниках, и они по-своему были гораздо успешнее самого альбома. Дебют состоялся и у младенца. Логистика мир не особо интересовала, как выяснилось, и газеты считали малышку восхитительной. Всем казалось логичным, что Эйми удалось так легко раздобыть себе ребенка — с такой же легкостью она могла бы заказать в Японии сумочку ручной работы. Сидя однажды у Эйми в трейлере на съемках видеоклипа и обедая с Мэри-Бет, личной помощницей номер два, я робко затронула тему, надеясь выудить из нее какую-то информацию, но осторожность моя оказалась излишней — Мэри-Бет была счастлива мне все выложить, я заполучила историю целиком: контракт составил один из юристов шоу-бизнеса через несколько дней после того, как Эйми познакомилась с младенцем, и Мэри-Бет присутствовала при подписании. Она была в восторге от такого свидетельства собственной значимости и того, что это говорило о моем положении в иерархии. Она вытащила телефон и пролистала снимки Санкофы, ее родителей и Эйми — все вместе они улыбались, а где-то между этими фотографиями я заметила и сам контракт, снимком с экрана. Когда Мэри-Бет вышла в туалет и оставила свой телефон передо мной, я отправила договор себе электронной почтой. Двухстраничный документ. По местным меркам — огромные деньги. Примерно столько же мы тратили за год на цветы для дома. Когда я изложила этот факт Грейнджеру, моему последнему союзнику, он удивил меня: счел это благородным случаем «подкрепления слов деньгами» и с такой нежностью говорил о младенце, что все имевшееся по этому поводу у меня звучало в сравнении чудовищно и бесчувственно. Я осознала, что разумная беседа тут невозможна. Малышка наводила чары. Грейнджер был так же влюблен в Кофи — так мы ее называли, — как и все остальные, кто подходил к ней близко, и бог свидетель — любить ее было легко, никто не мог бы этому противиться, уж точно не я. Эйми же втюрилась по уши: час или даже два она могла провести, лишь сидя с малышкой на коленях, просто глядя на нее и больше ничего не делая, а зная отношения Эйми со временем, зная его ценность и малодоступность для нее, мы все понимали, какую могучую меру любви это собой представляет. Малышка искупала любые омертвляющие ситуации: долгие совещания с бухгалтерами, скучные примерки, мозговые штурмы по связям с общественностью, — она меняла цвет дня

исключительно своим присутствием в углу какой-нибудь комнаты, на коленях у Эстелль или качаясь в люльке на стойке, похмыкивая, курлыкая, плача, непорочная, свежая и новая. Мы толпились вокруг нее при любой возможности. Мужчины и женщины всех возрастов и рас — но все мы отработали определенное время в команде Эйми, от старых боевых коней вроде Джуди, до среднего звена вроде меня и юных деток только что из колледжа. Все мы поклонялись у алтаря малышки. Малышка же начинала с нуля, малышка не была скомпрометирована, малышка не шустрила, малышке не требовалось подделывать подпись Эйми на четырех тысячах рекламных снимков, отправлявшихся в Южную Корею, малышке не нужно было извлекать смысл из обломков и осколков того и сего, малышка не ностальгировала, у малышки не было воспоминаний и сожалений, ей без надобности химический пилинг кожи, у нее не было телефона, ей некому было писать электронные письма, время поистине было за нее. Что бы ни случилось потом, случилось это не от недостатка любви к малышке. Малышку просто окружала любовь. Вопрос только в том, на что любовь дает тебе право.

Восемь

В тот последний месяц работы на Эйми — сразу перед тем, как она меня уволила вообще-то — мы проводили мини-гастроли по Европе, начиная с показа в Берлине — не концерта, а выставки ее фотографий. То были снимки снимков: образы позаимствованные и переснятые; замысел она стащила у Ричарда Принса^[204], старого давнего друга, и ничего к нему не прибавила — кроме того, что это делала она, Эйми. Но все равно одна из самых уважаемых галерей в Берлине оказалась более чем счастлива предоставить место для ее «работ». Все снимки были танцоров — себя она считала в первую очередь танцовщицей и глубоко с ними отождествлялась, — но все изыскания для этого проводила я, а большинство снимков сделала Джуди, поскольку, когда наставало время идти в студию и переснимать фотографии, возникала необходимость делать что-то другое: встречаться с нужными людьми в Токио, «разрабатывать» новые духи, иногда даже действительно записывать новую песню. Мы так пересняли Барышникова и Нуреева, Павлову, Фреда Астэра, Айседору Дункан, Грегори Хайнза, Марту Грэм, Сэвиона Гловера^[205], Майкла Джексона. Джексона отстаивала я. Эйми не хотела его включать, он, по ее представлению, художником не был, но я застала ее как-то раз в спешке, и мне удалось убедить ее, в то время как Джуди проталкивала «цветную женщину». Она опасалась из-за недостаточной представительности, это с ней бывало часто, что на самом деле означало: она беспокоилась, что могут принять за недостаточную представительность другие, и когда б у нас ни случались такие разговоры, у меня возникало зловещее ощущение, будто я в действительности и себя рассматриваю одной из таких штук, вовсе не человеком, а каким-то предметом — без которого определенная математическая последовательность других вещей останется незавершенной, — или даже не предметом, а некой концептуальной вуалью, нравственным фиговым листком, защищающим ту или иную личность от той или иной критики, и о ней редко думают вне такой роли. Меня это, в общем, не очень оскорбляло: меня интересовал сам опыт — все равно что быть вымыслом. Я думала о Жени Легон.

Случай мне выпал в машине, когда мы переезжали границу Люксембурга — куда Эйми отправилась немного поокучивать прессу — и Германии. Я вытащила телефон и науглила Жени Легон, и Эйми рассеянно проглядела снимки — в то же время она строчила эсэмэски кому-то у себя в

телефоне, — а я говорила изо всех сил быстро о Легон как человеке, актрисе, танцовщице, символе, стараясь не выпустить из хватки ее шаткое внимание, как вдруг она решительно кивнула на снимок Легон с Бодженглзом вместе: Легон стоит, танцуя, в позе кинетической радости, а Бодженглз — на коленях у ее ног, показывает на нее, — и сказала:

— Да, вот эту, мне нравится, да, мне нравится такой выворот, мужчина на коленях, женщина у руля. — Как только мне досталось это «да», я хотя бы могла начать изыскания, что дать текстом в каталог, а через несколько дней Джуди сделала снимок — слегка под углом, обрезав части рамки, ибо Эйми просила все их так переснимать, словно «фотограф сама танцует». Если уж об этом зашла речь, на выставке этот экспонат стал самым популярным. А я была рада заново открыть Легон. Ища материал по ней, часто одна, часто поздно ночью, в череде европейских гостиничных номеров, я осознала, как много фантазировала о ней в детстве, насколько фундаментально наивна была касаясь чуть ли не всех аспектов ее жизни. Воображала себе, к примеру, целое повествование о дружбе и уважении между Легон и теми, с кем она работала, с танцорами и режиссерами — ну или мне хотелось верить, что такие дружба и уважение действительно существовали, в том же духе детского оптимизма, от какого маленькой девочке хочется верить, будто ее родители глубоко влюблены друг в дружку. Но Астэр никогда не разговаривал с Легон на съемочной площадке, у него в уме она не только играла горничную, она и впрямь немногим отличалась от прислуги, так же было и со многими режиссерами — они ее на самом деле не замечали и редко нанимали, если не считать ролей горничных, да и эти роли вскоре истощились, и, лишь перебравшись во Францию, она себя начала чувствовать «личностью». Когда я узнала про все это, я сама была в Париже — сидела на солнышке перед театром «Одеон», пыталась считывать информацию с засвеченного солнцем экрана телефона, пила «кампари», навязчиво карауля время. Я наблюдала, как минута за минутой исчезают те двенадцать часов, которые Эйми выделила на Париж, едва ли не быстрее, чем я успевала их переживать, и вскоре уже приедет такси, а затем подо мной вниз уйдет взлетная полоса, и рванемся мы вперед, к следующим двенадцати часам в другом прекрасном, непостижимом городе — Мадриде. Я думала о певцах и танцорах, трубачах и скульпторах, и щелкоперах, кто утверждал, будто здесь, в Париже, они наконец почувствовали себя людьми, уже не теньями, а людьми по собственному праву, а такое действие, вероятно, достигается более чем двенадцатью часами, и мне было интересно, как этим людям удалось в себе опознать с такой точностью тот самый миг, когда они ощутили себя

людьми. Зонтик, под которым я сидела, не давал тени, лед у меня в стакане растаял. Моя собственная тень была громадна и походила на нож под столом. Казалось, она тянулась через половину площади и показывала на величественное белое здание на углу, занимавшее почти весь квартал, а перед ним в этот миг экскурсовод держал флажок и начал перечислять имена, некоторые мне были известны, какие-то — новые: Томас Пейн, Э. М. Чоран, Камий Демулен, Силвия Бич...^[206] Тесный кружок пожилых американских туристов кивал, потел. Я снова посмотрела на телефон. Стало быть, именно в Париже — я пристукнула по этой фразе большим пальцем — Легон начала себя чувствовать личностью. Что означало — эту часть я записывать не стала, — что та личность, которую настолько идеально имитировала Трейси много лет назад, та девушка, что перед нами на экране танцевала с Эдди Кантором, высоко вскидывая ноги, тряся головой, — вообще была не личность, а всего лишь тень. Даже ее прелестное имя, которому мы обе так завидовали, даже оно не было реальным — в действительности она была дочерью Гектора и Хэрриет Лигон, переселенцев из Джорджии, потомков издольщиков, а другая Легон — та, кого, как думали, мы знаем, та беззаботная плясунья, — она была вымышленным существом, рожденным опечаткой: ее измыслила однажды Луэлла Парсонз^[207], когда неправильно написала «Лигон» в своей разошедшейся по всем изданиям колонке светских сплетен в «Л.-А. Игзэминере».

Девять

Граната наконец разорвалась на День труда. Мы были в Нью-Йорке, до отъезда в Лондон оставалось несколько дней, там мы должны были встретить Ламину, британскую визу ему в конце концов оформили. Стояла отвратительная жара — тухлый канализационный воздух мог вызвать улыбку у двух случайных прохожих на улице: «Невероятно, что мы здесь живем, правда?» Смердело желчью, так сегодня пахла Малберри-стрит. На ходу я прикрывала рот ладонью — пророческий жест: когда я добралась до угла Брум, меня уволили. СМС мне прислала Джуди — как и десяток похожих на него последующих, и все они были так набиты личными выпадами, будто их писала сама Эйми. Я — блядь и предатель, ебаное то и блядское сё. Даже личное негодование Эйми можно было делегировать.

Слегка обалдев, ошалев, я дошла до Крозби и села на парадные ступеньки «Мастерских жилья»^[208], со стороны лавок винтажной одежды. Всякий вопрос вызывал лишь новые вопросы: где я буду жить и что буду делать, и где мои книги, и где моя одежда, и каков статус моей визы? Я не столько сердилась на Ферна, сколько меня раздражала я сама: не смогла лучше предугадать распорядок времени. Этого мне следовало ожидать: разве не знала я, каково ему? Можно было бы воссоздать его переживания. Оформлял Ламину бумаги, покупал Ламину билет на самолет, организовывал его отлет и прибытие, его встречи и проводы, терпел обмен электронными письмами взад-вперед между собой и Джуди на каждой стадии планирования, все время и энергию посвящал чужому существованию, чьим-то желаниям, нуждам и требованиям. Это теневая жизнь, и через какое-то время она тебя допекает. Няньки, помощницы, агенты, секретарши, матери — женщины к такому привыкли. У мужчин порог терпимости ниже. Должно быть, Ферн за последние несколько недель отправил сотню писем касательно Ламина. Как же мог он удержаться и не послать то одно, которое взорвет мне всю жизнь?

Телефон мой жужжал так часто, что казалось, будто у него какая-то своя животная жизнь. Я перестала смотреть на экран и сосредоточилась на очень высоком черном братане в витрине «Мастерских жилья»: у него были невероятные дуги бровей, и он подносил к своему плотному корпусу одно платье за другим и то и дело вставал в пару просторных туфель на высоком каблуке. Заметив меня, улыбнулся, втянул живот, слегка повернулся и поклонился. Не знаю, отчего или как, но вид его привел меня в действие. Я

встала и поймала такси. На некоторые вопросы ответы нашлись быстро. Все, что у меня было с собой в Нью-Йорке, размещалось в коробках на тротуаре рядом с квартирой на Западной 10-й улице, а замки в дверях уже сменили. Статус моей визы был связан с моим нанимателем: мне предоставлялось тридцать дней на то, чтобы покинуть страну. Где остановиться — на это потребовалось больше времени. В Нью-Йорке я на самом деле никогда ни за что не платила: жила за счет Эйми, ела с Эйми, выходила куда-то с Эйми, и весть, которую мне принес мой телефон о стоимости единственной ночевки в манхэттенской гостинице, пробудила меня, как Рипа ван Уинкла от столетнего сна^[209]. Сидя на ступеньках Западной 10-й я пыталась измыслить альтернативы, друзей, знакомых, связи. Все звенья были слабы и все равно вели обратно к Эйми. Я прикинула невозможность: честно идти на восток по этой улице, пока она не вольется в какой-то сентиментальной грезе в западный конец Сидмаут-роуд, а там дверь мне откроет мать и отведет меня в свободный чулан, полупогребенный в книгах. Куда еще? Куда дальше? Координат у меня не было. Мимо проезжали неостановленные такси, одно за другим, и проходили шикарные дамочки со своими песиками. Это Манхэттен, никто не остановится посмотреть на явно срежиссированную сцену: плачущая женщина сидит на ступеньках под табличкой Лазарес, в окружении коробок, далеко от дома.

Я вспомнила про Джеймса и Дэррила. С ними обоими я познакомилась где-то в марте, дело было в воскресенье вечером — мой выходной, — и я поехала из центра прочь посмотреть на танцоров Алвина Эйли^[210], и в театре разговорилась с соседями по местам, двумя почтенными ньюйоркцами под шестьдесят, парой, один черный, другой белый. Джеймс был англичанин, высокий и лысый с заунывным голосом и очень веселым хохотком, он по-прежнему был одет словно бы к приятному обеду в пабе какой-нибудь оксфордширской деревушки, хотя прожил здесь уже много лет, — а Дэррил американец, с афро, тронутой сединой, кротовыми глазками за стеклами очков и в брюках с обтрепанными кромками, заляпанных краской, словно у студента-художника. Он знал столько всего, что происходит на сцене, — историю каждого номера, о нью-йоркском балете вообще и об Алвине Эйли в частности, что я поначалу решила, будто он и сам, должно быть, хореограф или бывший танцор. На деле оба оказались писателями — забавными, полными глубоких наблюдений, я наслаждалась их обменом мнениями шепотом касательно использования и

пределов «культурного национализма» в танце, и сама я, у кого о танце не было никакого мнения, лишь изумление, развлекала их тоже, аплодируя после каждой перемены света и вскочив на ноги, как только упал занавес.

— Приятно видеть «Откровения»^[211] с тем, кто не видел их уже пятьдесят раз, — отметил Дэррил, а затем они пригласили меня выпить в бар гостиницы рядом и рассказали длинную и драматичную историю о доме, который они купили в Гарлеме, развалину эпохи Эдит Уортон^[212], которую они ремонтируют на собственные сбережения. Отсюда и краска. По мне — очевидно героические усилия, но одна их соседка, женщина за восемьдесят, не одобряла — как самих Джеймса и Дэррила, так и торопливое облагораживание всего района: ей нравилось орать на них на улице и совать в почтовый ящик религиозную литературу. Джеймс превосходно изобразил эту даму, и я очень смеялась, и допила второй martini. Такое облегчение — быть где-то с людьми, которым наплевать на Эйми, и они ничего не хотят от меня. — А однажды днем, — сказал Дэррил, — я шел один, Джеймс был где-то в другом месте, и она выскакивает из теней, хватая меня за руку и говорит: «Но я могу вам помочь от него сбежать. Вам не нужен хозяин, вы можете быть свободны — давайте я вам помогу!» Могла бы ходить от двери к двери, агитируя за Барака, но нет: ее тема была в том, что Джеймс меня держит в рабстве. Она предлагала мне мою собственную подпольную железную дорогу^[213]. Контрабандой провезти меня в Испанский Гарлем!

С тех пор я время от времени с ними встречалась, если в городе мне выпадал свободный воскресный вечер. Я смотрела, как они обдирают штукатурку и обнаруживают первоначальные карнизы и фальшивый порфир — брызги краски на темно-розовой стене. Всякий раз, заходя к ним в гости, я бывала тронута: как же счастливы они вместе после стольких лет! Немного было у меня в этом других таких образцов. Два человека вместе творят время собственной жизни, их как-то защищает любовь, историю они признают, но она их не изуродовала. И уж так они мне оба нравились, хотя кем-то большим, нежели просто знакомыми, я б их не сочла. Но теперь о них вспомнила. И когда я отправила осторожную эсэмэску со ступенек Западной 10-й, ответ прилетел немедленно, типично щедрый: к ужину я уже была у них, ела лучше, чем когда-либо и близко у Эйми. Вкусную и пикантную, полную жиров, поджаренную на сковороде еду. Постель мне устроили в одной из незанятых комнат, и я поняла, что они — как любовно предвзятые родители: как бы ни излагала я им свою горестную повесть, они отказывались считать, что я виновата хоть в малой

ее части. По их мнению, это я должна была сердиться, виновата во всем только Эйми, а я — ни в чем, и я ушла в свою прекрасную комнату с деревянными панелями, успокоенная этим видением через розовые очки.

Я не сердилась, пока наутро Джуди не прислала мне соглашение о неразглашении. Я смотрела на ".pdf" куска бумаги, который, должно быть, подписала в двадцать три года, хотя не помнила вообще, что сделала это. По его негибким условиям, все, что выходило из моих уст, больше мне не принадлежало — ни мои замыслы, ни мнения, ни чувства, даже мои воспоминания. Все это теперь было ее. Все, что случилось в моей жизни за последние десять лет, принадлежало ей. Ярость вскипела во мне мгновенно: мне захотелось сжечь ее дом. Но все, что нужно для того, чтобы сжечь кому-нибудь дом в наши дни, уже у тебя в руке. Все и было в моих руках — мне даже не нужно было выбираться из постели. Я завела анонимный профиль, выбрала сайт сплетен, который она ненавидела больше всего, написала электронное письмо, в котором привела все, что мне известно о маленькой Санкофе, приложила снимок ее «сертификата об удочерении», нажала на кнопку «отправить». Удовлетворенная, спустилась к завтраку, рассчитывая, полагаю, на триумфальный прием героя. Но когда я рассказала своим друзьям о том, что сделала, — и о том, что, как я полагала, это значило, — лицо Джеймса стало таким же суровым, как у статуи святого Мориса в вестибюле, а Дэррил снял очки, сел и заморгал, уставившись в сосновый обеденный стол. Он сказал мне, что надеется, я понимаю, насколько сильно за такое короткое время они с Джеймсом меня полюбили — и вот потому, что они меня любят, они могут сказать мне правду: мое электронное письмо означает лишь одно — я по-прежнему еще очень молода.

Десять

Они разбили лагерь у бурого особняка Трейси. Два дня спустя — к моему стыду — они стучались в двери дома Джеймса и Дэррила. Но эту часть организовала Джуди, не называя имен: незаконная любовная интрижка, «мстительный бывший сотрудник»... Джуди родом была из совершенно другой эпохи, когда слив без имен и оставался безымянным и новость можно было контролировать. Мое имя они узнали через несколько часов, а вскоре после — и где я нахожусь, бог знает как. Возможно, Трейси права: может быть, нас и впрямь все время отслеживают через наши телефоны. Я не вылезала из постели, Джеймс приносил мне чашки чаю и открывал и закрывал дверь перед настырным репортером, а мы с Дэррилом день напролет смотрели, как меняется погода, у нас на глазах, у меня в ноутбуке. Не делая ничего радикально иного, не предпринимая вообще никаких действий, я превращалась из мишурной, завистливой подручной Джуди в дерзкого Народного Обличителя — и все это за несколько часов. Перезагрузка, перезагрузка. Втягивает. Позвонила мать, и не успела я даже спросить, как у нее дела, сказала:

— Алан показал мне в компьютере, и я думаю, что это по-настоящему храбрый поступок. Знаешь, ты же всегда была трусовата, я не в смысле — трусиха, но немного робкая. Это я виновата, я слишком тебя оберегала, вероятно, потакала тебе. А тут я увидела первое что-то по-настоящему храброе, и я очень тобой горжусь! — Кто такой Алан? Говорила она местами неразборчиво и как-то по-чужому, слышалось больше фальшивого шика, чем я привыкла с ней. Я бодренько осведомилась о ее здоровье. Она ничего не выдала — немного простыла, но это уже прошло, — и, хотя я точно знала, что она мне лжет, тон у нее был столь непреклонный, что в этом ощущалась правда. Я дала ей слово: как только вернусь в Англию, тут же ее навещу, — и она сказала: — Да-да, конечно, навестишь, — с гораздо меньшей убежденностью, чем говорила что-либо прежде.

Следующий звонок был от Джуди. Она спросила, не хочу ли я убраться. У нее для меня уже есть билет, на «красноглазый» сегодня вечером. На том конце меня будет ждать квартира, где я могу пожить несколько суток, возле крикетного стадиона «Лордз», пока шумиха не утихнет. Я попробовала сказать ей спасибо. Она хохотнула тюленем, как обычно.

— Ты что же, думаешь, я это ради тебя это делаю? Да что вообще за

хуйня у тебя в голове?

— Ладно, Джуди, я уже сказала, что билет приму.

— Очень любезно с твоей стороны, солнышко. После той горы говна, что ты для меня наложила.

— А что с Ламином?

— А *что* с Ламином?

— Он же должен приехать в Англию. Вы не можете просто...

— Ты смехотворна.

Телефон наглухо смолк.

После того как село солнце и последний человек ушел с крыльца, я оставила свои коробки у Джеймса и Дэррила и поймала на Леннокс такси. Шофер был такого же густого оттенка кожи, что и Хава, с каким-то соответственным именем, а я пребывала в таком состоянии, что во всем видела знаки и символы. Я со всеми своими восторгами академика и случайным набором местных фактов склонилась к нему и спросила, откуда он. Оказался сенегальцем, но это меня не обескуражило: я без пауз протрещала весь тоннель через город аж до Джамэйки. Он то и дело колотил по рулю запястьем правой руки, вздыхал и хохотал.

— Значит, вы знаете, каково оно там, дома! Ох уж эта сельская жизнь! Нелегкая она, но такой жизни мне тут не хватает! Но, сестренка, надо ж было к нам в гости зайти! Прямо по дороге бы и дошла!

— Вообще-то тот друг, о котором я вам рассказывала, — произнесла я, отрывая взгляд от своего экрана, — ну, из Сенегала? Мы договорились с ним встретиться, я ему только что сообщение отправила. — Я подавила в себе позыв рассказать этому совсем постороннему человеку о том, что я, от щедрот своих, сама заплатила за билет Ламина.

— О, славно, славно. Лондон лучше? Приятней, чем тут?

— Там иначе.

— Я тут уже двадцать восемь лет. Тут все так напряжно, чтоб здесь выжить, нужно быть очень злым, только этой злостью и живешь... это чересчур.

Мы уже въезжали в Джей-Эф-Кей, и когда я попробовала дать ему чаевые, он вернул.

— Спасибо, что побывали у меня в стране, — сказал он, забыв, что я в ней так и не побывала.

Одиннадцать

Теперь всем известно, кто ты на самом деле.

К тому времени, как я приземлилась, наш старый девичий танец вышел в мир. По-моему, интересно, что Трейси предпочла не отправлять его лично мне, пока не прошло целых два дня. По ее виденью мира, другим полагалось узнать, кто я на самом деле, прежде чем об этом узнаю я сама, — но опять-таки, возможно, они всегда и знают. Мне это напомнило о том, как она обходилась с самыми ранними нашими историям о балеринах в опасности, как она меня поправляла и редактировала: «Нет — эту часть сюда», «Пошло бы лучше, если б она умерла на второй странице». Передвигать и переставлять все, чтобы лучше всего воздействовать. Теперь она достигла того же с моей жизнью, переместив начало истории пораньше, чтобы все, что было потом, читалось как перекрученное следствие одержимости длиной в целую жизнь. Так звучало убедительнее моей версии. У людей это вызывало странный отклик. Все хотели посмотреть съемку — и никто не мог: ее убрали отовсюду, где ее публиковали, почти сразу же после того, как видео вывешивали. Кое для кого — может, и для тебя самой, — это граничило с детской порнографией, по воздействию, пусть намерение и не было таковым. Другие считали это простой эксплуатацией, хотя там трудно было ткнуть пальцем, кто кого эксплуатирует. Могут ли дети эксплуатировать сами себя? Неужели это нечто большее, чем просто две девочки дурачатся, просто девочки танцуют — две смуглые девочки танцуют, как взрослые, невинно, однако умело копируя взрослые движения, как смуглые девочки часто умеют? И если считаешь, что большее, тогда у кого именно все с приветом: у девочек в фильме — или у тебя? Что ни скажи или ни подумай об этом — похоже, зритель тут окажется соучастником: лучше всего не видеть этого вообще. Это будет единственно возможная нравственная высота. Иначе сплошное облако вины, которую ни на кого прицельно не возложишь, но все равно ее чувствуешь. Даже мне, смотревшей это видео, в голову пришла тревожная мысль: ну, если девочка так ведет себя в десять лет, можно ли вообще сказать, что она когда-то была невинна? Чего тогда не совершит она в пятнадцать, в двадцать два — в тридцать три? До чего же сильно желание стоять на стороне невинности. Оно билось из моего телефона волнами, во всех постах, наездах и комментариях. А малышка, напротив, была невинна, у малышки не было никаких мук совести. Эйми любила малышку,

биологические родители малышки любили Эйми, хотели, чтобы она вырастила их малышку. Джуди распространяла это вдаль и вширь. Кому тут судить? Кто я такая?

Теперь всем известно, кто ты на самом деле.

Погода снова сменилась — яростно, на большую симпатию к Эйми. Но на пороге квартиры, арендованной Джуди, еще были люди, несмотря на все ее приготовления и заверения привратника, и на третий день мы с Ламином вместе отправились домой к моей матери на Сидмаут-роуд, которая, как мне было известно, во всех доступных документах будет зарегистрирована на имя Мириам. Там на крыльце никого не было. Я позвонила в дверь, и никто не ответил, а телефон матери переключался на голосовую почту. Наконец нас впустила соседка. Выглядела она смущенной — потрясенной, — когда я спросила, где моя мать. Этой женщине тоже известно, кто я на самом деле: такая дочь, которая еще не знает, что ее собственная мать в хосписе.

Внутри все походило на любые пространства, где когда-либо приходилось жить моей матери, повсюду книги и газеты, как мне это и помнилось, только побольше: пространство для самой жизни сократилось. Стулья служили книжными полками, как и все столы в наличии, почти весь пол, рабочие поверхности в кухне. Но то не был хаос, в нем имелась своя логика. На кухне господствовали проза и поэзия о диаспоре, а в ванной по большей части — истории Карибов. Там была стена повествований о рабстве и комментарии к ним — она уводила из ее спальни по коридору к бойлеру. На холодильнике я нашла адрес хосписа — написан чьей-то чужой рукой. Мне стало грустно и виновато. Кого она попросила его записать? Кто ее туда отвез? Я попробовала немного прибраться. Ламин подсобил, нехотя — он привык к тому, что за него все делают женщины, и вскоре сел на материн диван смотреть тот же старый тяжелый телевизор, что был у меня в детстве, который тут держали за креслом — подчеркнуть, что его никогда не смотрят. Я подвигала взад-вперед стопки книг, немного расчистила плацдарм, а чуть погодя сдалась. Села за материн стол спиной к Ламину, открыла свой ноутбук и вернулась к тому, на что потратила весь предыдущий день: к поискам себя, к чтению о себе, а еще и к выискиванию Трейси, подспудно. Найти ее оказалось несложно. Как правило, в четвертом или пятом комментарии — и втапливала она до полу, всякий раз, бескомпромиссно, воинственно, про заговоры. У нее было много кличек. Некоторые — довольно тонкие: крохотные отсылки к моментам нашей общей с ней истории, намеки на песни, что нравились нам обоим, игрушки, которые у нас были, или цифровые комбинации года, когда мы встретились,

или наших дат рождения. Я заметила, что ей нравится употреблять слова «омерзительный» и «позорный» — и фразу «Где были их матери?». Когда бы ни увидела я эту строчку или какую-либо вариацию на ее тему, я знала — это она. Я отыскивала ее повсюду, в самых невероятных местах. В лентах других людей, под газетными статьями, на стенках «Фейсбука» — она оскорбляла всех, кто не соглашался с ее доводами. Пока я шла по ее следу, у меня за спиной начинались и заканчивались идиотские дневные передачи. Если я поворачивалась глянуть, как там Ламин, — видела, что по-прежнему сидит, как статуя, смотрит.

— Прикрути немного, а?

Он вдруг прибавил громкости на программе по созданию нового облика земельной собственности — такие некогда любил смотреть мой отец.

— Этот человек говорит про Эджуэр. У меня в Эджуэре дядя. И двоюродный брат.

— Правда? — сказала я, стараясь, чтобы не прозвучало со слишком большой надеждой. Подождала ответа, но он опять уткнулся в телевизор. Село солнце. В животе у меня забурчало. Я не тронулась с места — слишком хотелось продолжить охоту на Трейси, выманить ее из-под прикрытия, а второе окно браузера я проверяла каждые четверть часа или около того: не вторглась ли она в мой почтовый ящик. Но ее методы, очевидно, отличались от методов моей матери. То письмо из одной строчки так и осталось единственным.

В шесть начались новости. На Ламина очень подействовало откровение, что народ Исландии вдруг катастрофически обеднел. Как такое могло случиться? Неурожай? Корруптированный президент? Но для меня это тоже была новость, и я, не понимая всего, что говорил диктор, никакого толкования предложить не могла.

— Может, мы и про Санкофу что-нибудь услышим, — предположил Ламин, и я рассмеялась, встала и сказала ему, что такую чепуху в вечерние новости не включают. Через двадцать минут, когда я заглядывала в холодильник, полный гниющего провианта, Ламин позвал меня обратно. То был заключительный сюжет «реальных новостей», как их называла Британская вещательная служба, и там, в правом верхнем углу экрана, показывали стоковый снимок Эйми. Мы присели на краешек дивана. Монтажная склейка: конторское пространство где-то, освещенное лампами дневного света, с покосившимся портретом жаболикого пожизненного Президента на стенке, перед которым в сельской одежде сидели

биологические родители, похоже, им было жарко и неудобно. Слева от них — женщина из агентства по усыновлению, переводила. Я пыталась вспомнить, мать — та ли женщина, которую я видела в хижине из гофры, или нет, но в точности уверена не была. Послушала женщину из агентства: та объясняла ситуацию иностранному корреспонденту, сидевшему напротив них всех, — на нем был вариант моей старой униформы из льна и хаки. Все делалось согласно процедуре, утекший документ — вовсе не сертификат усыновления, это лишь промежуточное соглашение, явно не рассчитанное на публичное рассмотрение, родители удовлетворены удочерением и понимают, что за бумагу они подписали.

— У нас нет проблемы, — произнесла мать на спотыкливом английском, улыбаясь в камеру.

Ламин закинул обе руки за голову, откинулся на диван поглубже и выдал мне поговорку:

— Деньги устраняют проблему.

Я выключила телевизор. По дому разлилась тишина, нам было совершенно нечего сказать друг другу — третья вершина нашего треугольника исчезла. Два дня назад я была довольна своим драматическим жестом — я выполнила долг заботы, каким пренебрегла Эйми, — но сам этот жест затмил собой действительность Ламина: Ламина у меня в постели, Ламина в этой вот гостиной, Ламина у меня в жизни на неопределенно долгий срок. У него не было ни работы, ни денег. Никакие его квалификации, приобретенные с таким трудом, здесь ничего не значат. Сколько б раз ни выходила я из комнаты — за чаем, в туалет, — первой моей мыслью, когда я возвращалась, была: что ты делаешь у меня в доме?

В восемь я заказала доставку эфиопской еды. Пока мы ели, я показала ему карты «Гугла» — где именно мы в Лондоне относительно всего остального города. Показала ему Эджуэр. Различные способы, какими можно добраться до Эджуэра.

— Завтра я поеду навестить мать, но ты тут не стесняйся, конечно. Ну или, я не знаю, сходи посмотри, что тут и как.

Кто б ни наблюдал за нами в тот вечер, подумал бы, что мы познакомились всего лишь несколько часов назад. Я опять робела перед ним — перед его гордой самодостаточностью и способностью молчать. Он больше не был Ламином Эйми — но и моим он не был. Я понятия не имела, кто он такой. Когда стало ясно, что географию как тему для беседы я истощила, он встал и без всяких разговоров пошел в чулан. Я отправилась в материну спальню. Двери за собой мы закрыли.

Хоспис располагался в Хэмпстеде — в тихом тупичке, обсаженном деревьями, рукой подать до той больницы, где родилась я, и в нескольких улицах от жилья Известного Активиста. Осень уже почти совсем настала — рыжеватая и золотая на фоне всей этой ценной викторианской недвижимости из красного кирпича, и у меня возникли сильные ассоциативные воспоминания о моей матери: как она гуляла такими бодрящими утрами под ручку с Известным Активистом и стенала из-за итальянских аристократов и американских банкиров, русских олигархов и магазинов одежды для богатеньких детишек, о том, что подвалы выкапывают прямо в земле. Конец некоего давно утраченного божественного представления о том месте, что было ей дорого. Ей тогда было сорок семь. Теперь ей всего пятьдесят семь. Из всех будущих, какие я воображала для нее на этих улицах, нынешнее отчего-то казалось самым маловероятным. В моем детстве она была бессмертна. Я не могла представить себе, как она покинет этот мир, не разорвав самой его ткани. Но вот же — тихая улочка, деревья гингко сбрасывают золотую листву.

У конторки я назвала свое имя, немного подождала — за мной пришел низенький молодой медбрат. Он предупредил, что мать моя — на морфии, поэтому иногда путается, затем повел меня к ней в палату. Ничего особенного в этом медбрате я не заметила, он казался совершенно безликим, но когда я дошла до палаты и он открыл мне дверь, мать с натугой приподнялась на кровати и воскликнула:

— Алан Пеннингтон! Так ты познакомилась со знаменитым Аланом Пеннингтоном!

— Мам, это я.

— О, Алан — это я, — сказал медбрат, и я повернулась еще раз посмотреть на молодого человека, кому так лучисто улыбалась моя мать. Небольшого роста, с песочно-каштановыми волосами, голубыми глазками, слегка одутловатым лицом и непримечательным носом, а на переносице — несколько веснушек. Необычным для меня в нем было только то, что в контексте всех беседовавших в коридорах нигерийских, польских и пакистанских медсестер он выглядел совершенно английским.

— Алан Пеннингтон здесь знаменитость, — сказала мать, помахав ему. — Доброта его легендарна.

Алан Пеннингтон улыбнулся мне, обнажив пару заостренных резцов, как у собаки.

— Оставлю вас наедине, — сказал он.

— Мам, ты как? Тебе очень больно?

— Алан Пеннингтон, — сообщила она меня, когда за медбротом закрылась дверь, — работает только на других. Ты это знала? Про таких людей только слышишь, а вот познакомиться с ними — совершенно другое дело. Я, конечно, тоже работала на других, всю свою жизнь, — но не так. А тут они все такие. Сначала у меня была девушка из Анголы, Фатима, прелестная девочка, так вот она была такая же... к сожалению, ей пришлось двинуться дальше. Потом пришел Алан Пеннингтон. Видишь ли, он — опекун. Раньше я никогда об этом слове глубоко не задумывалась. Алан Пеннингтон *опекает*.

— Мам, почему ты все время зовешь его «Алан Пеннингтон», только так?

Мать посмотрела на меня, как на идиотку.

— Потому что это его имя. Алан Пеннингтон — опекун, который *опекает*.

— Да, мам, но за это опекунам платят.

— Нет-нет-нет, ты не понимаешь: он *печется*. Все, что он для меня делает! Никому не следует делать такого ни для какого другого человека — а он для меня делает!

Устав от обсуждения Алана Пеннингтона, я убедил ее дать мне почитать ей из нетолстой книжечки, лежавшей на тумбочке, — отдельного издания «Блюза Сонни»^[214], а затем на подносе Алана Пеннингтона прибыл обед.

— Но я не могу это есть, — печально сказала мать, когда Алан пристраивал поднос у нее на коленях.

— Ну а если мы договоримся: я оставлю его у вас на двадцать минут, и если вы совершенно уверены, что не сможете съесть, — просто позвоните в звонок, и я вернусь и его заберу? Как вам такой уговор? Так вам нормально?

Я ожидала, что мать сейчас порвет Алана Пеннингтона на тряпки — всю свою жизнь она ненавидела и смертельно боялась, если до нее снисходят или разговаривают с ней, как с ребенком, — но теперь она лишь серьезно кивнула, как будто это было очень мудрое и щедрое предложение, взяла руки Алана в свои трясущиеся, хваткой призрака, и сказала:

— Спасибо вам, Алан. Пожалуйста, не забудьте вернуться.

— Забыть самую красивую здешнюю женщину? — ответил Алан, хотя, совершенно ясно, был геем, и моя мать, феминистка всю свою жизнь, расхихикалась, как девчонка. Так они и остались, держась за руки, пока Алан не улыбнулся и не отпустил ее, не ушел куда-то опекать кого-то еще, бросив нас с матерью друг на дружку. Мне взбрела в голову негодяйская

мысль — очень не хотелось ее думать: вот бы со мной здесь была Эйми. С нею вместе мы были у смертных одров, четырежды, и всякий раз меня поражало и смиряло, как она умеет быть с умирающими: ее честность, теплота и простота, которыми, казалось, больше никто в комнате не владел, даже родня. Смерть ее не пугала. Она смотрела прямо на нее, погружалась с умирающим человеком в нынешнюю ситуацию, сколь бы чрезвычайной та ни была, без ностальгии или фальшивого оптимизма, она принимала твой страх, если ты боялся, и твою боль, если тебе было больно. Сколько людей способно на такое, вроде бы безыскусное? Помню, одна ее подруга, художница, потерявшая несколько десятков лет в суровой анорексии, которая ее в итоге и прикончила, сказала Эйми, как оказалось — на своем смертном ложе:

— Боже, Эйм, — я ведь просто потеряла, блядь, столько времени! — На что Эйми ответила:

— Ты даже понятия не имеешь, сколько. — Помню, как эту фигуру из палочек под простынями, с провалившимся ртом, такое заявление так потрясло, что она расхохоталась. Но то была правда, какую никто больше сказать ей не осмеливался, а люди умирающие, как я выяснила, нетерпеливо желают ее знать. Я своей матери не говорила вообще никакой правды, лишь обыденно светски трепалась, почитала ей еще из ее любимого Болдуина, послушала историй об Алане Пеннингтоне и подняла ей кувшинчик с соком, чтоб она могла попить через соломинку. Она знала, что я знаю, что она умирает, но из-за чего-то — от храбрости, отрицания или бреда — об этом она никак не заговаривала в моем присутствии, только сказала, когда я спросила, где ее телефон и почему она не отвечает на звонки:

— Слушай, я не хочу тратить оставшееся мне время на эту клятую дрянь.

Телефон я нашла в ящичке ее тумбочки, в мешке для больничной стирки вместе с брючным костюмом, папкой бумаг, справочником по парламентскому поведению и ее ноутбуком.

— Нет, тебе не нужно им пользоваться, — сказала я, включив его и положив на столик. — Но оставь его здесь, чтобы я могла с тобой связаться.

Сразу заработало оповещение — телефон зажужжал и заерзал по всей столешнице, — и мать с каким-то ужасом поглядела на него.

— Нет-нет-нет — я его не хочу! Я не хочу, чтоб он работал! Зачем тебе надо было это *делать*?

Я взяла его в руку. Я видела неоткрытые электронные письма, десятки

и десятки, они заполняли не один экран, оскорбительные даже своими заголовками, все — с одного адреса. Я начала читать их подряд, стараясь противостоять каталогу боли: горести воспитания детей, задолженности по квартплате, стычки с социальными работниками. Самые недавние были и самыми неистовыми: она боялась, что у нее заберут детей.

— Мам, ты в последнее время от Трейси что-нибудь слышала?

— Где Алан Пеннингтон? Я не собираюсь это есть.

— Боже мой, ты же так сейчас болеешь — тебе не следует со всем этим разбираться!

— Не похоже на Алана, чтоб он не зашел и не проверил...

— Мам, ты слышала от Трейси?

— НЕТ! Я же тебе сказала, я в эту дрянь не смотрю!

— И ты с ней не разговаривала?

Она тяжело вздохнула.

— Меня мало кто навещает, дорогая моя. Приходит Мириам. Однажды зашел Лэмберт. Мои соратники по Парламенту не приходят. Вот ты сейчас здесь. Как сказал Алан Пеннингтон: «Поймете, кто ваши друзья». Я главным образом сплю. Мне многое снится. Снится Ямайка, бабушка снится. Я возвращаюсь во времени... — Она закрыла глаза. — Мне твоя подруга снилась, когда я только сюда попала, мне вкатили большую дозу вот этого... — Она подергала за трубку капельницы. — Да, твоя подруга пришла меня повидать. Я спала и проснулась, а она просто стояла у двери, не разговаривала. Потом я опять уснула, и она пропала.

Вернувшись в квартиру, эмоционально ослабнув, с еще сбитыми после перелета биоритмами, я молилась, чтобы Ламина дома не было — и его не оказалось. Когда он не пришел к ужину, я вздохнула с облегчением. Лишь на следующее утро я постучалась к нему, приоткрыла дверь, увидела, что нет ни его, ни его сумки, — и осознала, что он ушел совсем. Позвонив ему, я попала на голосовую почту. Четыре дня я звонила каждые несколько часов, и все было так же. Я настолько сосредоточилась на том, как довести до его сведения, что ему нужно уйти, что у нас с ним нет будущего, — что ни на миг не воображала: все это время он сам замышлял побег от меня.

Без него, без включенного телевизора в квартире стояла смертельная тишь. Здесь были только я и компьютер, да еще радио, из которого не раз до меня доносился голос Известного Активиста — он по-прежнему вещал, излагал свои мнения. Моя же история тускнела, и в Сети, и в других средах, все эти ярко сиявшие комментарии уже перегорели, затрещали и погасли, остались лишь чернота и зола. Не зная, что делать, я весь день

писала электронные письма Трейси. Вначале — с достоинством и праведные, затем саркастические, затем злые, затем истеричные, пока не поняла, что молчанием своим она воздействует на меня сильнее, чем мне бы удалось всеми этими словами. Власть ее надо мной — та же, какой была всегда, — суждение, а оно превыше слов. Я не смогу привести ни одного доказательства, какое изменило бы то, что я была ее единственным свидетелем, единственным человеком вообще, кто знает все, что в ней есть, все, что было презрено и растрчено, но я по-прежнему там ее чувствовала — в рядах незасвидетельствованных, где нужно орать, чтобы тебя услышали. Позднее я выяснила, что у Трейси долгая история рассылки огорчительных электронных писем. Режиссер в «Трицикле», не давший ей роль, как она считала, из-за цвета кожи. Учителя в школе у ее детей. Медсестра из приемной ее врача. Но ничего из этого не изменит суждения. Если она мучила мою мать, пока та лежала при смерти, если она пыталась испортить жизнь мне, если она сидела в клаустрофобной своей квартирке, глядя, как у нее в телефоне выстраиваются мои письма, и решая их просто не читать, — что бы ни делала она, я знала, что такова ее форма суждения меня. Я была ей сестрой: у меня имелся перед нею священный долг. Даже если только мы с ней знали, в чем он состоит, только мы признавали его, он все равно был правдой.

Несколько раз я выходила из квартиры в магазинчик на углу — купить сигарет и пачки пасты, но помимо этого я никого не видела и вестей ни от кого не слышала. Ночью брала случайные книги из материной кипы, пыталась немного читать, теряла интерес и принималась за другие. Мне пришло в голову, что у меня депрессия, что мне нужно с кем-то поговорить. Я сидела со своим новым телефоном на тарифе по расходу, глядя на короткий список имен и номеров, который скопировала из старого рабочего, незамедлительно отключенного, и пыталась вообразить, какую форму примет каждое мое взаимодействие, если — и как — я сумею его пережить, но всякий потенциальный разговор воспринимался как сцена из театральной пьесы, где я буду играть ту, кем так долго была: этот человек, похоже, обедает с тобой, а на самом деле повернут к Эйми, работает на Эйми, думает об Эйми днем и ночью, ночью и днем. Я позвонила Ферну. Зазвучал одиночный долгий сигнал иностранного вызова, и он ответил:

— *Hola*^[215]. — Он был в Мадриде.

— Работаешь?

— Путешествую. Это будет мой академ. Ты не знала, что я уволился?

Но я так счастлив оттого, что свободен!

Я спросила у него, почему, рассчитывая на личную атаку,

направленную на Эйми, но в его ответе ничего личного не прозвучало: его беспокоило «искажающее» воздействие ее денег на деревню, распад государственных услуг в регионе и наивность фонда, его сговор с правительством. Пока он вещал, я вспомнила о глубокой разнице между нами — и устыдилась ее. Я всегда быстро норовила толковать все лично, Ферн же видел более крупные структурные беды.

— Ну, рада была тебя услышать, Ферн.

— Нет, ты ничего от меня не услышала. Это я услышал — от тебя.

Он подвесил молчание. Чем дольше оно длилось, тем труднее было придумать, что сказать.

— Зачем ты мне звонишь?

Еще несколько секунд я сидела и слушала его дыхание, пока у меня в телефоне не закончился кредит.

Где-то через неделю он прислал мне письмо — сообщить, что он ненадолго в Лондоне. Уже несколько дней я не разговаривала ни с кем, кроме матери. Мы встретились на Южном берегу, в окне «Кафе Фильм» — сидели бок о бок лицом к воде, немного вспоминали, но было неловко, я очень быстро озлобилась, каждая мысль подтаскивала ближе к тьме, к чему-то болезненному. Я только и делала что жаловалась и, хотя могла видеть, что раздражаю его, словно бы не могла остановиться.

— Ну, можем сказать, что Эйми живет в своем пузыре, — произнес он, перебив меня, — как и твоя подруга, и, кстати, ты сама. Возможно, для всех оно так. Различны только размеры пузыря, только и всего. И, вероятно, толщина... как у вас по-английски это называется? — кожи... пленки. Тонкого слоя на пузыре.

Подошел официант, мы оба рьяно обратили на него внимание. Когда он ушел, мы посмотрели, как мимо по Темзе проплывает туристический катер.

— О! Я знаю, что хотел тебе сказать, — вдруг произнес он, шлепнув по стойке бара, отчего звякнуло блюдо. — У меня есть известия о Ламине! У него все прекрасно — он в Бирмингеме. Хотел взять у меня рекомендательное письмо. Надеется пойти учиться. Мы с ним немного попереписывались. Я выяснил, что Ламин — фаталист. Он мне написал: «Мне было *предначертано* приехать в Бирмингем. Поэтому я всегда сюда и ехал». Забавно, да? Нет? Ну, может, я не то английское слово употребил. Я имел в виду, что для Ламина будущее так же определено, как и прошлое. Есть такая философская теория.

— Похоже на кошмар.

Ферн опять зримо озадачился:

— Может, я неправильно выразился, я же не философ. Для меня это означает нечто простое — как сказать, что будущее уже здесь, поджидает тебя. Так чего не подождать, не посмотреть, что оно тебе принесет?

В лице его было столько надежды, что я рассмеялась. К нам отчасти вернулся наш старый дружеский тон, мы долго просидели, разговаривая, и я подумала: ведь отнюдь не невозможно, что может существовать такое будущее, в котором я смогу его опекать. Я уже свыкалась с мыслью, что никуда не еду, что больше нет никакой спешки, что я не сяду в следующий самолет. Время было за меня — как и за кого угодно другого. Все в тот день казалось мне открытым настежь, это как-то потрясло, я не знала, что произойдет в следующие несколько дней или даже несколько часов — новое ощущение. Я удивилась, когда подняла голову от своего второго кофе и увидела, что день гаснет, а ночь почти надвинулась на нас.

После он хотел сесть в подземку, на Ватерлоо, для меня это тоже была самая удобная станция, но я его бросила и вместо этого пошла по мосту. Наплевав на оба барьера, шла прямо по центру, над рекой, пока не достигла другой стороны.

Эпилог

В последний раз, когда я видела мать живой, мы разговаривали о Трейси. Нет, это недостаточно сильно: на самом деле Трейси стала единственным, что вообще дало нам поговорить. Мать почти всегда слишком уставала говорить сама или слушать, что ей говорят другие, и впервые в жизни книги ее не привлекали. Я ей пела, и, похоже, ей это нравилось — пока я держалась старой классики «Мотауна». Мы вместе смотрели телевизор — раньше мы таким никогда не занимались, и я болтала с Аланом Пеннингтоном, который время от времени заходил проверить неистовую икоту у матери, ее стул и развитие ее галлюцинаций. Принес обед, на который она даже взглянуть не смогла, куда там поесть, но в тот последний день, что нам с нею выпал, когда Алан вышел из палаты, она открыла глаза и сказала мне спокойно и авторитетно, словно бы отмечая некий простой и объективный факт — вроде погоды снаружи или того, что лежало у нее на тарелке, — что пришло время «что-то сделать» с семьей Трейси. Поначалу я решила, что она заблудилась в прошлом — такое часто случалось в те последние дни, — но вскоре я поняла, что говорит она о детях, детях Трейси, хотя, говоря о них, она свободно перемещалась между их действительностью, как она ее себе воображала, историей собственной маленькой семьи и более глубокой историей: то была последняя речь, что она произнесла. Она слишком много работает, сказала мать, и дети ее не видят, а теперь они хотят забрать у меня детей, но твой отец был очень хороший, очень хороший, и часто я думаю: а была ли я хорошей матерью? Была? А теперь они хотят отобрать у меня детей... Но я же просто была студенткой, я учусь, потому что нужно выучиться выживать, и я была матерью, и мне нужно учиться, потому что ты же знал, что любому из нас, кого поймали за чтением или письмом, грозила тюрьма, или порка, или еще что похуже, а любой, кого ловили за тем, что нас учил читать или писать, получал то же самое, тюрьму или порку, такой закон в то время был, очень строгий, и вот так нас забрали из нашего времени и места, а затем не дали даже *знать* наше время и место — а ничего худшего нельзя сделать с людьми, чем вот это. Но я не знаю, хорошая Трейси мать или нет, хотя я уж точно старалась как могла всех их вырастить, но точно знаю, что отец твой был очень хороший, очень хороший...

Я сказала ей, что она была хорошей. Остальное не имело значения. Я сказала ей, что все старались как могли в пределах того, какими сами были.

Не знаю, услышала она меня или нет.

Я собирала свои вещи, когда услышала, как по коридору идет Алан Пеннингтон — он пел, фальшиво, как обычно, одну из материных любимых песенок Отиса о том, как родился у реки и бегу с тех самых пор^[216].

— Слышал, как вы ее вчера пели, — сказал он мне, возникнув в дверях, бодрый, как всегда. — Прекрасный у вас голос. Ваша мама вами очень гордится, знаете, всегда о вас говорит.

Он улыбнулся моей матери. Но она уже была вне Алана Пеннингтона.

— Ясно как божий день, — пробормотала она, закрывая глаза, когда я поднялась уходить. — Они должны быть с тобой. Лучшее возможное место для этих детей — с тобой.

Весь остаток того дня я развлекалась фантазией — не всерьез, мне все же кажется, то была лишь техноколорная греза-песня, игравшая у меня в голове: уже готовая семья вдруг здесь и сейчас же наполняет мою жизнь. На следующий день я вышла на утреннюю прогулку вдоль пустынного периметра парка Тивертон — ветер хлестал по запертому забору, унося палки, брошенные для собак подальше, — и поймала себя на том, что все иду и иду, прочь от квартиры и мимо станции, с которой могла бы уехать в хоспис. Мать умерла в двенадцать минут одиннадцатого, как раз когда я свернула в Уиллзден-лейн.

Появилась башня Трейси — над конскими каштанами, а с нею — действительность. То были не мои дети, они бы никогда не стали моими детьми. Я чуть не повернула назад, как тот, кто бродил во сне и вдруг резко проснулся, — вот только мне пришло в голову нечто новое: ведь может быть что-то еще, что я бы могла предложить, что-нибудь попроще, почестнее, между материным представлением о спасении и вообще ничем. Я торопливо сошла с дорожки и двинулась наискосок по траве к крытому переходу. Я уже собиралась зайти на лестницу, как услышала музыку, остановилась и задрала голову. Она была прямо надо мной, у себя на балконе, в домашнем халате и тапочках, руки вскинуты, она кружилась, кружилась, а дети вокруг нее, все танцевали.

Благодарности

Большое вам спасибо, мои первые читатели: Джош Аппиньянези, Дэниэл Келманн, Тамсин Шо, Майкл Шэвит, Рейчел Каадзи Ганса, Джемма Сайфф, Дэррил Пинкни, Бен Бейли-Смит, Ивонн Бейли-Смит и в особенности Девора Баум, — за поддержку, когда она была особенно нужна.

Особое спасибо Нику Лэрд, который прочел первым и увидел, что следует сделать со временем, — вовремя.

Спасибо моим редакторам и агенту: Саймону Проссеру, Энн Годофф и Джорджии Гэрретт.

Спасибо Нику Парнзу, Ханне Парнз и Бренди Джоллифф — за напоминание о том, какой работа была в 90-х.

Спасибо Элинор Уохтел за то, что познакомила меня с несравненной Жени Легон.

Спасибо Стивену Баркли — за местечко в Париже, когда оно было нужно больше всего.

Я в долгу перед д-ром Марлоузом Дженсоном, чье захватывающее, продуманное и вдохновляющее антропологическое исследование «Ислам, молодежь и современность в Гамбии: „Джамаат Таблиг“» оказалось бесценным, предоставило контекст там, где у меня были только впечатления, возможные ответы, когда у меня возникали вопросы, и придало этой истории богатую культурную основу, а также помогло создать ощущение и текстуру некоторых сцен романа. Географическое примечание: Северный Лондон на этих страницах — состояние ума. Некоторые улицы могут выглядеть не так, как на «Гугл-картах».

Ник, Кит, Хэл — любовь и благодарность.

Примечания

Кадр из мультимедийного проекта канадского художника Грегори Кольбера (р. 1960) «Пепел и снег» («Ashes and Snow», 2002). — *Здесь и далее прим. переводчика.*

Речь идет об убийстве 24-летнего студента Тимоти Бакстера в июне 1999 г. Его друг Гейбриэл Корниш выжил после нападения. В 2000 г. нападавшие Сонни Рейд (20 лет), Джон Ричес (22 года) и Кэмерон Сайрэс (18 лет) были приговорены к пожизненному заключению. В нападении также участвовали мальчики 15 и 17 лет и 16-летняя девочка, все без определенного места жительства.

«Swing Time» (1936) — музыкальная комедия американского режиссера Джорджа Стивенза, в главных ролях — танцор, певец, актер и хореограф Фред Астэр (Фридрих Эмануэль Остерлиц, 1899–1987) и актриса, танцовщица и певица Рыжая Роджерз (в рус. trad. Джинджер, Вирджиния Кэтрин Макмэт, 1911–1995).

Мистер Бодженглз — американский актер и чечеточник Билл Робинсон (1878–1949), самый высокооплачиваемый черный актер первой половины XX в.

Ширли Темпл Блэк (1928–2014) — американская актриса, певица, танцовщица, впоследствии — предприниматель и дипломат, в 1935–1938 гг. — одна из крупнейших звезд Голливуда.

Анжела Ивонн Дэвис (р. 1944) — американский политический активист, борец за гражданские права, писатель, преподаватель, одна из основных фигур политического андерграунда второй половины XX в., член Коммунистической партии США (1969–1991). Глория Мари Стайнем (р. 1943) — американская феминистка, журналист, общественный и политический активист.

Традиционный детский английский стишок, сопровождаемый игрой на развитие мелкой моторики.

«Freed of London» (с 1929) — британский производитель профессиональной танцевальной обуви, осн. сапожником Фредериком Фридом. Флагманский магазин сети располагается в Ковент-Гардене, где была мастерская основателя.

«Night and Day» (1932) — популярная песня американского композитора и автора песен Коула Алберта Портера (1891–1964) из оперетты «Веселый развод» («Gay Divorce»).

«The Black Jacobins: Toussaint L'Ouverture and the San Domingo Revolution» (1938) — книга афротринидадского историка Сирила Лайонела Роберта Джеймса (1901–1989), история Гаитянской революции 1791–1804 гг.

Социалистическая рабочая партия Великобритании — левая политическая партия, учреждена в 1950 г.

Открытый университет — британский университет открытого образования, основан указом королевы Великобритании в 1969 г.

Юджин Кёрран Келли (1912–1996) — американский танцор, актер, певец, хореограф и кинематографист.

«Менестрель-шоу» — форма американского народного театра XIX в., в котором загримированные под чернокожих белые актеры разыгрывали комические сцены из жизни чернокожих, а также исполняли стилизованную музыку и танцы африканских невольников. Сам термин возник в 1837 г., хотя подобные формы расово заряженного увеселения известны в США с XVII в.

Строка из песни Мэка Гордона и Хэрри Уоррена «Chattanooga Choo Choo» (1941), впервые прозвучавшей в исполнении оркестра Гленна Миллера в музыкальном фильме американского режиссера Х. Брюса Хамберстоуна «Серенада Солнечной долины» («Sun Valley Serenade»).

«All of Me» (1931) — популярная песня и джазовый стандарт Джералда Маркса и Симора Саймонза. «Autumn in New York» (1934) — джазовый стандарт Вернона Дьюка из бродвейского музыкального ревю «Первый сорт!» («Thumbs Up!»). «42nd Street» (1933) — заглавная песня Хэрри Уоррена и Ала Дубина из одноименного музыкального фильма американского режиссера Ллойда Бейкона (1933).

Имеется в виду песня «The Clapping Song» (1965) афроамериканского автора песен Линколна Р. Чейза; ее текст заимствован из игровой песенки с прихлопами «Little Rubber Dolly» (1939).

Argos — британская компания розничной торговли по каталогам, осн. в 1972 г.

«Вернись и возьми» (диалект чви аканского языка) — понятие африканской диаспоры, важность изучения прошлого, символизируется либо птицей, обернувшейся назад, либо стилизованным изображением сердца.

Интерпретация немецко-еврейского философа и критика культуры Вальтера Беньямина (1892–1940) монопринта швейцарско-немецкого художника Пауля Клее (1879–1940) «Angelus Novus» (1920), приводимая в неоконченной работе Беньямина «Тезисы о философии истории» (или «О понятии истории», 1940).

«Тигры освобождения Тамил-Илама» (1976–2009) — тамильское повстанческое и сепаратистское движение, сражавшееся за создание независимого тамильского государства Тамил-Илам на территории Шри-Ланки.

«Angel Delight» — британский полуфабрикат, порошковый десерт, взбиваемый с молоком до консистенции мусса, выпускается с 1967 г.

«Easter Parade» (1948) — американский музыкальный фильм режиссера Чарлза Уолтерза. «The Red Shoes» (1948) — британская драма режиссеров Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбёргера; в главной роли снялась британская балерина и актриса Мойра Ширер (впоследствии леди Кеннеди, 1926–2006).

«Top of the Pops» — британская музыкальная телепрограмма, выходила на Би-би-си с 1964 по 2006 г.

14-минутный музыкальный клип «Michael Jackson's Thriller» американского режиссера Джона Лэндиса был выпущен 2 декабря 1983 г. Главную женскую роль в нем сыграла модель и актриса Ола Рей (р. 1960).

Астэр считал Джексона своим «настоящим потомком», в чем признавался незадолго до смерти.

Findus — первоначально шведская торговая марка замороженных полуфабрикатов, существует с 1945 г. «Crispy Pancakes» были изобретены в начале 1970-х.

В «ночь Гая Фокса» (вечером 5 ноября) в Великобритании по традиции отмечается раскрытие «Порохового заговора» (неудавшегося заговора против английского короля Якова I и парламента, 5 ноября 1605 г.); люди жгут костры, устраивают фейерверки, сжигают чучело главы заговора — Гая Фокса).

«Pick Yourself Up» — популярная песня композитора Джерома Кёрна на слова Дороти Филдз из фильма «Время свинга».

«Ribena» — британская торговая марка прохладительного безалкогольного напитка на основе сока черной смородины, выпускается с 1938 г.

Роналд (1933–1995) и Реджиналд (1933–2000) Креи — британские гангстеры, крупные (и популярные) фигуры в организованной преступности лондонского Ист-Энда в 1950–1960-х гг. Арестованы в 1968 г.

Кампания за ядерное разоружение (с 1957) — организация, пропагандирующая одностороннее ядерное разоружение Соединенного Королевства, а также международное ядерное разоружение и более жесткое регулирование вооружений в мире путем соглашений. Символ кампании, разработанный художником Джералдом Хербертом Холтомом (1914–1985) в 1958 г., стал международным символом мира и пацифизма.

«Cabbage Patch Kids» — торговая линейка кукол, разработанных и запатентованных в 1978 г. американским предпринимателем Ксавье Робертсом. «Garbage Pail Kids» — серия коллекционных карточек, разработанных изначально американским художником-карикатуристом Артом Спигелменом как пародия на упомянутых кукол и запущенных в производство в 1985 г.

Лев Иуды — символ еврейского племени, «колена Иуды» (1-я Книга Моисеева Ветхого Завета), также титул императора Хайле Селассие I (1892–1975), был изображен на флаге Эфиопии (1897–1974); до сих пор — один из важнейших символов растафарианства.

«Тор Нат» (1935) — американская музыкальная комедия режиссера Марка Сэндрича.

«Cheek to Cheek» — песня американского композитора и автора песен Ирвинга Берлина, написанная для фильма «Цилиндр».

Пэмела Сюзетт Гриэр (р. 1949) — американская актриса, звезда черного «эксплуатационного» кино 1970-х гг.

Огэста Сэвидж (Огэста Кристин Фоллз, 1892–1962) — афроамериканский скульптор, гражданский активист, одна из основных фигур Гарлемского ренессанса — культурного, общественного и художественного всплеска афроамериканского самосознания в Нью-Йорке в 1920-х гг.

«Coronation Street» (с 1960 г.) — телевизионная драма, созданная британским сценаристом Тони Уорреном (Энтони Маквеем Симпсоном, 1936–2016).

Точнее — «Они все смеялись» («They All Laughed», 1937), песня композитора Джорджа Гершвина на слова Айры Гершвина из музыкальной комедии «Потанцуем» («Shall We Dance») американского режиссера Марка Сэндрича.

«Top Cat» (1961–1962) — американский мультипликационный сериал Уильяма Ханна и Джозефа Барберы.

«The Jungle Book» (1967) — американская мультипликационная музыкальная комедия производства студии Уолта Диснея по мотивам одноименного сборника рассказов (1894) английского писателя Редьярда Киплинга (1865–1936).

«My Fair Lady» (1964) — американский музыкальный фильм режиссера Джорджа Кьюкэра — экранизация одноименной оперетты (1956) либреттиста Алана Джея Лёрнера и композитора Фредерика Лоу по мотивам пьесы «Пигмалион» (1913) ирландского драматурга Джорджа Бернарда Шоу. В главной роли снялась британская актриса, модель и танцовщица Одри Хепбёрн (Одри Кэтлин Растон, 1929–1993).

«Video Hits One» — американская сеть кабельного телевидения, запущена в 1985 г.

«The Kinks» (1964–1996) — британская поп-рок-группа.

Джули Фрэнсиз Кристи (р. 1940) — британская актриса, икона эпохи «свингующего Лондона» 1960-х гг.

Майкл Кейн (сэр Морис Джозеф Миклуайт-мл., р. 1933) — британский актер, писатель и продюсер. «Alfie» (1966) — британская романтическая трагикомедия режиссера Льюиса Гилберта. «The Italian Job» (1969) — британский криминально-авантюрный фильм режиссера Питера Коллинсона.

«Spice Girls» (1994–2012 с перерывами) — британская женская поп-группа.

«The Low End Theory» (1991) — второй альбом американской хип-хоп-группы «Племя под названием Поиск» («A Tribe Called Quest», с 1985 г.).

«Netscape» — название линейки веб-браузеров, разрабатывавшихся «Netscape Communications Corporation» в 1994–2008 гг.

«Equity» — ассоциация (профсоюз) британских актеров, работников театра и моделей, основана в 1930 г.

«Guys and Dolls» (1950) — оперетта американского композитора и либреттиста Фрэнка Лёссера по мотивам рассказов Деймона Раньона.

Парафраз третьей проповеди («О справедливости и совести») американского трансценденталиста, аболициониста и реформатора унитарной церкви Теодора Паркера (1810–1860) из его сборника «Десять проповедей о религии» (1853).

«Goldman Sachs Group» — один из крупнейших в мире инвестиционных банков, осн. в 1869 г.

Имеется в виду британский футболист, спортивный журналист и писатель Дейвид Вон Айк (р. 1952) — конспиролог, сторонник теории рептилоидов.

Леди Дей — прозвище американской джазовой певицы Билли Холидей (Элино́р Фейген, 1915–1959).

Джеймс Джозеф Браун (1933–2006) — американский певец, автор песен, продюсер, танцор и руководитель оркестра, «крестный отец соула».

Американские киностудии «Metro-Goldwyn-Mayer» (с 1924 г.) и «RKO Pictures» (1928–1957).

Фаярд Антонио (1914–2006) и Херолд Ллойд (1921–2000) Николсоны
— американский дуэт акробатических танцоров.

«Cotton Club» — нью-йоркский ночной клуб «только для белых» с черным актерским составом, в 1923–1935 гг. располагался в Гарлеме, в 1936–1940 гг. — в Театральном районе.

Кэбелл Кэллоуэй 3-й (1907–1994) — американский джазовый певец и руководитель оркестра.

Джеймс Мёрсер Лэнгстон Хьюз (1902–1967) — американский поэт, романист, драматург, общественный деятель, один из зачинателей «джазовой поэзии». Пол Лерой Роубсэн (в рус. традиции Поль Робсон (1898–1976) — американский певец (бас) и актер, гражданский активист.

Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP) — общественная организация США, основанная в 1909 г. для защиты прав черного населения.

«A — Z Street Atlas» — линейка городских карт и атласов, выпускаемая британской компанией «Geographers' A — Z Map Company Limited». Такой атлас Лондона стал первым их изданием в 1936 г.

Речь о портрете (1633) Питера ван дер Брёке (1585–1640), голландского торговца тканью, служившего в Голландской Ост-Индской компании и одним из первых европейцев описавшим общества Западной и Центральной Африки, кисти его друга голландского художника Франца Халса (ок. 1582–1666).

Речь о портрете (1634) принцессы Генриетты Лотарингской (1611–1660) кисти фламандского художника Антона Ван Дейка (1599–1641).

«Академия младенцев» (1782) — жанровая картина в стиле рококо кисти английского художника Джошуа Рейнолдза (1723–1792).

Речь о Дайдо Элизабет Белль (1761–1804), дочери африканской рабыни из Британской Вест-Индии Марии Белль и английского флотского офицера сэра Джона Линдзи. Его дядя судья Уильям Мёрри, 1-й граф Мэнзфилд, в 1772 г. юридически доказавший, что рабство не имеет прецедента в английском общем праве, вырастил ее в своем поместье Кенвуд-Хаус и сделал своей наследницей.

Имеется в виду убийство 133 африканских рабов на борту англо-голландского рабовладельческого судна «Зонг» в 1781 г.

«Stormy Weather» (1943) — американский музыкальный фильм режиссера Эндрю Л. Стоуна с полностью афроамериканским актерским составом.

Адель Мари Остерлиц, впоследствии леди Чарлз Кэвендиш (1896–1981) — американская танцовщица, актриса и певица, старшая сестра Астэра, с которым выступала на сцене на протяжении 27 лет. Их семья имела немецкие (по матери) и австрийско-еврейские (по отцу) корни.

«Guiding Light» (1952–2009) — американская телевизионная драма («мыльная опера»), вошедшая в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый долгий сериал в истории американского телевидения. «As the World Turns» (1956–2010) — американская телевизионная драма, занимающая второе место в том же списке.

«Silk Stockings» (1957) — американский музыкальный фильм режиссера Рубена Мамуляна, экранизация одноименной оперетты (1955) Коула Портера по мотивам драмы Эрнста Любича «Ниночка» (1939) с Гретой Гарбо в главной роли. Главную женскую роль в «Шелковых чулках» исполнила американская танцовщица и актриса Сид Шерисс (Тьюла Эллис Фиклеа, 1922–2008).

Кэтрин Хоутон Хепбёрн (1907–2003) — американская актриса.

Речь о «Берлинских историях» («The Berlin Stories», 1945), сборнике из двух повестей англо-американского писателя Кристофера Уильяма Брэдшо Ишервуда (1904–1986), легшем в основу музыкальной драмы «Кабаре» («Cabaret», 1972) американского танцора, хореографа и режиссера Роберта Луиса (Боба) Фосса (1927–1987).

«A Chorus Line» (1975) — американская оперетта композитора Марвина Хэмлиша и либреттиста Эдварда Клебана.

«Stonewall Inn» (с 1967 г.) — бар и таверна для геев в Гренич-Виллидж (Нижний Манхэттен), место т. н. «бунтов Каменной Стены» — череды спонтанных и насильственных выступлений членов ЛГБТ-сообщества против полицейского вмешательства в июне 1969 г.

«The Lion King» (1994) — американский мультипликационный фильм студии Уолта Диснея, музыка Ганса Циммера.

Район Манхэттена, известный под этим именем из-за буквенных названий четырех авеню (А, В, С и D).

«Gypsy» (1959) — американская оперетта композитора Джули Стайн и либреттиста Стивена Сондхайма по мотивам мемуаров (1957) американской артистки бурлеска Цыганки Розы Ли (Роуз Луиз Ховик, 1911–1970).

Джеффри Лайонел Дамер (1960–1994) — «милуокский людоед», серийный преступник и насильник, в 1978–1992 гг. совершивший убийства и расчленения 17 человек.

Лондонский университет королевы Марии — высшее учебное заведение в Лондоне, государственный исследовательский университет и один из учредителей федерального Лондонского университета, свою историю ведет от Медицинского колледжа Лондонской больницы, осн. в 1785 г.

«Oxfam» (Oxford Committee for Famine Relief) — «Оксфордский комитет помощи голодающим», международное объединение из 17 организаций, работающих в более чем 90 странах по всему миру. Целью деятельности объединения является решение проблем бедности и связанной с ней несправедливостью во всем мире. Оsn. в Оксфорде в 1942 г. группой квакеров, общественных активистов и ученых Оксфордского университета.

У африканского народа мандинка — ритуал мужского полового созревания, сопровождаемый обрезанием, а также наименование центрального персонажа ритуала — посвященного в маске из древесной коры и наряде из листьев.

«Lord's» — крикетный стадион в Сент-Джонз-Вуде, Лондон, осн. в 1814 г. британским профессиональным крикетером Томасом Лордом (1755–1832).

Алкало (аликалу) в традиционных гамбийских деревнях — старейшина семьи, основавшей деревню, светский староста и судья; в настоящее время, по конституции Гамбии, должность выборная.

«Ali Baba Goes to Town» (1937) — американская музыкальная комедия режиссера Дейвида Батлера, в главной роли — американский комический актер, танцор, певец и автор песен Эдди Кантор (Эдвард Израиль Ицкович, 1892–1964). «Broadway Melody of 1936» (1935) — американский фильм-концерт режиссера Роя Дел Рута. «It's Always Fair Weather» (1955) — американский сатирический музыкальный фильм режиссеров и хореографов Джина Келли и Стэнли Донена.

Британская национальная партия — крайне правая политическая партия, осн. в 1985 г.

«Tricycle Theatre» — театр в Бренте на Килбёрн-Хай-роуд, открыт в 1980 г. Первоначально служил базой для антрепризы «Wakefield Tricycle Company», чье название обыгрывало т. н. «Уэйкфилдский цикл» из 32 мистерий на библейские сюжеты, разыгрывавшихся в Уэйкфилде до 1576 г., и первоначальное количество участников труппы (трое).

Отсылка к пьесе «Повеса Западного мира» («The Playboy of the Western World», 1907) ирландского драматурга, поэта, прозаика и фольклориста Джона Миллингтона Синга (1871–1909), одной из ключевых фигур «ирландского возрождения».

«Can't Help Lovin' Dat Man» (1927) — блюзовая песня композитора Джерома Кёрна на слова Оскара Хаммерстайна 2-го из оперетты «Плавучий театр» («Show Boat») по мотивам одноименного романа (1926) американской писательницы Эдны Фербер (1885–1968).

Родители Эдди Кантора, русско-еврейские иммигранты, умерли, когда он был совсем маленьким, и его воспитывала бабушка Эстер Канторвиц.

Этот трюк Майкл Джексон и сопровождающие танцоры впервые проделывают в видеоклипе на песню «Smooth Criminal» (1988).

Международный валютный фонд.

Жени Легон (Дженни Белл, 1916–2012) — американская танцовщица, актриса, преподаватель танцев.

Энн Миллер (Джонни Люсиль Коллиер, 1923–2004) — американская танцовщица, певица и актриса. Речь идет о фильме «Пасхальный парад».

В американском «расовом» музыкальном фильме «Hi De Ho» (1947) режиссера Джона Бинни.

Бетти Хаттон (Элизабет Джун Торнбёрг, 1921–2007) — американская комическая актриса кино, театра и телевидения, певица и танцовщица. Речь идет о фильме «Кто-то меня любит» («Somebody Loves Me», 1952) режиссера Ирвинга Брехера.

«Coming Up for Air» (1939) — роман британского писателя Джорджа Оруэлла, рус. пер. В. Домитеевой.

«Средним путем» назывался переход через Атлантический океан от побережья Западной Африки к Карибским островам и берегам Северной и Южной Америк с чернокожими рабами (начальной частью треугольного маршрута была перевозка товаров из Европы в Африку, заключительной — перевозка сырья из Америк в Европу).

Кеннет Роберт Ливингстоун (р. 1945) — британский политик, глава Совета Большого Лондона (учрежденного в 1965 г.) с 1981-го по роспуск СБЛ в 1986 г., впоследствии — мэр Лондона (2000–2008). Кличку «Красный» получил за свои левые позиции по ряду вопросов, от объединенной Ирландии до прав ЛГБТ-сообщества.

«Radio Times» (с 1923) — британский журнал радио- и ТВ-программ,
«TVTimes» (с 1955) — британский журнал телевизионных программ.

Кенте (нвентом) — ткань из шелковых или хлопковых ленточек, свойственная для африканской народности акан, один из визуальных культурных символов африканской диаспоры.

«Swing Is Here to Sway» — песня из фильма «Али-Баба выходит в город», музыка Хэрри Ревела, слова Мэка Гордона.

Джуди Гарленд (Фрэнсиз Этел Гамм, 1922–1969) — американская актриса кино и эстрады, певица. «Meet Me in St. Louis» (1944) — американский музыкальный фильм режиссера Винсенте Минелли.

Президент Гамбии (1996–2017) Яйя Абдул-Азиз Джамус Джункунг Джамме (р. 1965) сделал такое заявление в мае 2008 г. Гомосексуализм в Гамбии уголовно наказуем, хотя нынешний президент Адама Бэрроу утверждает, что антигейские законы применяться не будут.

«Peace Corps» — независимое федеральное агентство правительства США, гуманитарная организация, отправляющая добровольцев в бедствующие страны для оказания помощи, осн. в 1961 г.

Кристофер Морис Браун (р. 1989) — американский певец, танцор, автор песен.

«The Green Pastures» (1936) — американский «расовый» фильм режиссеров Марка Коннелли и Уильяма Кигли, в котором сцены из Библии разыгрываются черным актерским составом.

«Camden Palace» (1982–2004, ныне «КОКО») — театр в Кэмдене, открывшийся в 1900 г. как «The Camden Theatre»; британский комический актер, режиссер и композитор сэр Чарлз Спенсер Чаплин (1889–1977) в детстве выступал на его сцене с различными комедийными труппами.

Дама Грейси Филдз (Грейс Стэнсфилд, 1898–1979) — британская комическая актриса, певица, звезда кино и водевиля.

Джордж Генри Эллиотт (1882–1962) — британский певец мюзик-холла и танцор, выступал с начерненным лицом. Упоминается популярная песня «I Used To Sigh for the Silvery Moon» Хермана Даревски и Лестера Барретта.

Смесь равных частей лагера и сидра.

Вместо родителей (*лат.*).

Беседа американской телеведущей и актрисы Опры Гейл Уинфри (р. 1954) с Майклом Джексонсом вышла в эфир в 1993 г. и с тех пор остается самым популярным в истории телевизионным интервью.

Ирландская республиканская армия.

Кунта Кинтей (ок. 1750 — ок. 1822) — преимущественно вымышленный персонаж романа «Корни» (Roots: The Saga of an American Family, 1976) американского писателя Александра Мёрри Палмера (Алекса) Хейли (1921–1992), ставший одной из икон культуры африканской диаспоры. В первоначальной телеверсии романа (1977) его сыграли американские актеры Левар Бёртон (Кунта в молодости) и Джон Эймс, во второй экранизации (2016) — британский актер Мэлэкай Кёрби.

Гриот (грио, мандинка — джали или джели) — у народов Западной Африки представитель отдельной социальной касты профессиональных певцов, музыкантов и сказителей, нередко бродячих. Кора — струнный щипковый музыкальный инструмент с 21 струной, распространенный в Западной Африке. По строению и звуку кора близка к лютне и арфе.

Атая (аттая, атаая, волоф) — сенегальская чайная церемония, состоящая, как правило, из трех подач чая с мятой.

Машала (от араб. «что/так захотел Бог», «на то была воля Аллаха», ритуального молитвенного восклицания, междометного выражения, часто используемого в мусульманских странах как знак изумления, радости, хвалы и благодарности Богу и смиренного признания того, что все происходит по воле Аллаха) — в Гамбии участник движения за возрождение суннитского ислама «Джамаат Таблиг», организованного в 1926 г. в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом.

Этим понятием обозначается «черная магия», происки дьявола.

В традиции «Джамаат Таблиг» — выездные религиозно-образовательные сессии участников движения за возрождение ислама.

Да'уах (да'ва́т, от араб. призыв, приглашение) — проповедь ислама, прозелитизм.

Нафс (араб.) в исламе — сущность человека, его «я». Нафсом также называют страсти, все отрицательные черты души, которые присущи людям и джиннам.

В традиции «Джамаат Таблиг» — освященная временем законность местных исламских обычаев, которую как раз и следует отменить или реформировать.

Марабут (мурабит, марбут) — в Западной Африке (а ранее и в странах Магриба) мусульманский святой, живущий в рибате (центре суфийской мистической культуры) или посвящающий себя тому делу, которое составляет назначение рибата.

Хадит (хадис) — предание о словах и действиях пророка Мухаммада, затрагивающее разнообразные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины.

Джихад (от *араб.* усилие) — понятие в исламе, означающее усердие на пути Аллаха, борьба за веру.

«Pineapple Dance Studios» — лондонский комплекс танцевальных студий, школа танца и марка одежды и аксессуаров для танца, осн. в 1979 г.

«Have Yourself a Merry Little Christmas» (1944) — популярная песня Хью Мартина и Ралфа Блейна из фильма «Встретимся в Сент-Луисе».

«The Supremes» (1959–1977) — американская женская вокальная группа.

132

Ок. 37 °C.

Дашики — свободное короткое разноцветное мужское одеяние в Западной Африке.

Эллен Джонсон Сёрлиф (р. 1938) — либерийский политик, 24-й президент Либерии (с 2006 г.), развелась с мужем в самом начале 1960-х гг.

Джейкоб Гедлейихлекиса Зума (р. 1942) — южноафриканский политический деятель, президент ЮАР с 2009 г., официальный многоженец по зулусским традициям, женат 6 раз, по разным источникам у него от 5 до 8 жен (как официальных, так и неофициальных).

Бубу — свободное длинное мужское одеяние в Западной Африке.

«Saran» — торговая марка самоклеящейся пищевой пластиковой пленки.

Jay-Z (Шон Кори Картер, р. 1969) — американский рэп-исполнитель и предприниматель. Робин Ризнна Фенти (р. 1988) — барбадосская певица, актриса и танцовщица. Бейонсе (Биёнсей Жизелл Ноулз-Картер, р. 1981) — американская певица, актриса и автор песен.

В черной поп-культуре распространена вера в конспирологическую теорию о влиянии последователей тайного общества баварских иллюминатов (осн. в 1776) на политическую и экономическую жизнь современного общества.

«Дах» — американская торговая марка продуктов для ухода за волосами, с конца 1960-х гг.

«Gang Starr» (1986–2003) — американский хип-хоповый дуэт. Наз (Насир Бин Олу Дара Джоунз, р. 1973) — американский исполнитель хип-хопа, актер, музыкальный продюсер, предприниматель.

«Негры с подходом» («Niggaz Wit Attitudes», «N.W.A.», 1989–2016 с перерывами) — американская хип-хоп-группа.

В контексте расовой дискриминации в США «дядей Томом» (по имени персонажа романа американской писательницы Хэрриет Элизабет Бичер Стоу [1811–1896] «Хижина дяди Тома», 1852) именуются «расовые предатели» — черные, отказывающиеся от своей этнической, гендерной и/или культурной принадлежности, чтобы оказаться принятыми мейнстримом.

Рахим (Уильям Майкл Гриффит, р. 1968) — американский рэп-исполнитель.

Д-р Хьюи Пёрси Ньютон (1942–1989) — афроамериканский политический активист, сооснователь «Партии черных пантер» (1966) — черной националистической и социалистической организации, чей пик активности пришелся на 1966–1982 гг.

«Пятипроцентники» (Народ бога и земли) — радикальная афроамериканская религиозная организация и культурное движение, осн. в 1964 г. в Гарлеме Клэрэнсом Эдвардом Смитом (также Клэрэнс 13-Икс, Аллах, 1928–1969), бывшим членом «Нации ислама». Сторонники организации придерживаются религиозно-мистического учения, согласно которому первородный мужчина происходит от бога, а первородная женщина является персонификацией Земли. Они верят, что с помощью внутренней божественной силы люди способны обрести свой истинный потенциал. Изучают «верховную математику» и «верховный алфавит» — системы понимания и толкования, предназначенные для постижения высшего и более глубокого смысла. «Нация ислама» — афроамериканское политическое и религиозное националистическое движение, призванное улучшать духовное, ментальное, социальное и экономическое положение черного населения США и всего человечества, осн. в 1930 г.

Сара Форбз Бонетта (1843–1880) — потомка правителей западноафриканского племени йоруба, спасенная капитаном Королевского флота Фредериком Э. Форбзом, крестная дочь королевы Великобритании Виктории. В 1862 г. вышла замуж за черного торгового моряка, флотского офицера и предпринимателя Джеймса Пинсона Лэбьюло Дейвиса (1828–1906) в церкви Св. Николаса в Брайтоне.

Свою Сонату № 9 для скрипки и фортепиано («Крейцерову», 1803) Бетховен первоначально посвятил афропольскому скрипачу Джорджу Огастэсу Полгрину Бриджтауэру (1778–1860), ее первому исполнителю. По одной из версий, «смуглая леди», персонаж 127–154-го сонетов Шекспира, могла быть проституткой африканского происхождения Люси Негро, хозяйкой дома терпимости в Чипсайте.

Речь о лирико-документальном фильме французского кинематографиста Криса Маркера (1921–2012) «Без солнца» («Sans Soleil», 1983) — медитации на темы человеческой памяти и истории.

Речь о фильме-нуар Альфреда Хичкока «Головокружение» («Vertigo», 1958), снятом по мотивам романа «Среди мертвых» («D'entre les morts», 1954) французских писателей Пьера Буало и Тома Нарсежака. В главных ролях снимались американские актеры Джеймс Мейтленд Стюарт (1908–1997) и Мэрилин Полин (Ким) Новак (р. 1933).

Привет! Как дела? У меня прекрасно (волоф).

Иман (араб. вера) — вера в истинность Ислама; вера в Аллаха, Ангелов, Священные Писания, Пророков, Судный день, в воздаяние за добро и зло.

«Нолливудом» по аналогии с Голливудом с начала 2000-х гг. называют нигерийскую кинопромышленность.

Строка из стихотворения Хьюза «Вариация сна», опубликованного в его первом сборнике «Усталый блюз» («The Weary Blues», 1926).

Национальный союз студентов Соединенного Королевства — конфедерация британских студенческих союзов (в настоящее время — около 600), осн. в 1922 г. «New Left Review» (с 1960 г.) — британский политический академический журнал.

Малкольм Икс (Мэлком Литтл, 1925–1965) — афроамериканский мусульманский священник, правозащитник и политический активист.

«J. Wray and Nephew Ltd.» — ямайская фирма, производящая ром, осн.
в 1825 г.

«The Flying Doctors» (1986–1993) и «The Sullivans» (1976–1983) — австралийские телевизионные драмы производства «Крофорд Продакшнз».

Пурда (парда, от перс. штора или занавес) — морально-этический кодекс, широко распространенный среди женского населения некоторых мусульманских и индуистских сообществ. Суть пурды заключается в практике полного затворничества женщины, чтобы она могла сохранять свою духовную чистоту и целомудрие.

«Dallas» (1978–1991) — американская телевизионная драма, одна из знаковых «мыльных опер» XX в.

На о. Кунта-Кинтей (бывш. о. Джеймс, переименован в 2011 г.) на р. Гамбия на месте бывшего форта первых поселенцев (1651) и в деревне Джуффуре располагается музей истории рабства (с 1996 г.). Место — ныне объект мирового наследия ЮНЕСКО (с 2003 г.) — стало популярным для туристов после телевизионной экранизации романа Алекса Хейли «Корни» (1977).

«Юбилейная линия» лондонской подземки, открытая в 1979 г., названа в честь серебряного (25-летнего) юбилея правления королевы Елизаветы II, отмечавшегося в 1977 г.

Брайан Шелтон (р. 1965) — афроамериканский профессиональный теннисист и тренер.

Карим Алами (р. 1973) — марокканский профессиональный теннисист.

«Take Back Your Mink» — песня из оперетты «Парни и куколки».

«Rainbow Room» — ресторан и бальный зал на 65-м этаже здания «Комкаст» на Рокфеллер-пласе в Нью-Йорке, открыт в 1934 г.

Сэвил-Роу — улица в Мейфере, Лондон, традиционно ассоциируется с дорогой мужской одеждой: с конца XVIII в. в этом районе размещаются ателье портных.

Королевская академия театрального искусства — ведущий лондонский театральный институт, основан в 1904 г.

Лоренс Кёрр Оливье (1907–1989) — британский актер и режиссер.

«Coach and Horses» — паб для творческой интеллигенции в Сохо на Грик-стрит, существует с XVIII в.

«Live Aid» — международный благотворительный музыкальный фестиваль, состоявшийся 13 июля 1985 г. с целью сбора средств для помощи пострадавшим от голода в Эфиопии 1984–1985 г.

Фрэнсис Бейкон (1909–1992) — британский художник ирландского происхождения, был одним из основателей частного питейного клуба «The Colony Room» (преимущественно для художников) в Сохо на Дин-стрит (1948–2008).

«A Taste of Honey» (1958) — первая пьеса британского драматурга Шилы Делейни (1938–2011).

У. Шекспир. Укрощение строптивой. Акт II, сц. 1, реплика Петруччо.
Пер. А. Курошевой.

Голливог — тряпичная кукла, карикатурно изображающая негритенка, персонаж детских книжек американско-английской художницы и писательницы Флоренс Кейт Аптон (1873–1922).

«Stuyvesant High School» — одна из самых привилегированных специализированных средних школ Нью-Йорка, осн. в 1904 г.

«Curzon» — лондонская сеть артхаусных кинотеатров, осн. в 1934 г.

«Дядя Бен» — расово заряженный рекламный образ продуктов компании «Марс», введенный в 1946 г.: черный слуга в галстук-бабочке, по легенде компании-производителя — фермер, гордящийся своим рисом. Прототипом его послужил чикагский метрдотель Фрэнк Браун.

«Grease» (1971) — американская оперетта Джима Джейкобза и Уоррена Кейси. «Fame» (1988) — американская оперетта композитора Стива Маргошеса и либреттиста Жака Леви по мотивам одноименного американского фильма (1980) британского режиссера Алана Паркера. «West Side Story» (1957) — американская оперетта композитора Леонарда Бёрнстайна и либреттиста Стивена Сондхайма по мотивам трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта».

Первоначальная постановка оперетты длилась четыре с половиной часа, но впоследствии ее сократили до трех и ставили в разных версиях с заменами текста и номеров всю последующую историю.

«Royal Wedding» (1951) — американская музыкальная комедия режиссера Стэнли Донена.

Законодательство, запрещающее смешанные браки, действовавшее в отдельных штатах, было признано Верховным судом США неконституционным в 1967 г.

Эмма Лазарэс (1849–1887) — американская поэтесса. Приводится парафраз строк из ее сонета «Новый Колосс» (1883), написанного в рамках кампании по сбору денег на строительство пьедестала статуи Свободы.

Английский писатель Генри Грэм Грин (1904–1991) в 1935 г. пешком пересек Либерию в поисках «сердца тьмы», о чем впоследствии написал документальную книгу «Путешествие без карт» («Journey Without Maps», 1936).

Одно из названий «говорящего барабана» — кожаного африканского ударного музыкального инструмента, изначально предназначенного для обмена информацией между деревнями.

«Motown 25: Yesterday, Today, Forever» (1983) — музыкальный телефильм, выпущенный к 25-летию звукозаписывающей компании «Мотаун» с участием всех (преимущественно черных) звезд поп-музыки, записывавшихся на лейбле. Майкл Джексон выступил там со своей песней «Билли Джин» (1983).

«Associated Press» — американское агентство новостей, осн. в 1846 г.

Адинкра — набор пиктографических символов, традиционных для группы народов ашанти. Каждый символ представляет собой понятие или афоризм. Символы адинкра часто используются на местных тканях и керамических изделиях, производящихся и распространяющихся среди аканских народов; одежды с таким рисунком традиционно надевают царствующие особы и духовные лидеры на особые церемонии.

«Esmeralda» (1997) — мексиканская теленовелла, римейк одноименной венесуэльской телевизионной драмы (1970).

Yellowman (Уинстон Фостер, р. 1956) — ямайский исполнитель регги и диск-жокей.

Лунги — традиционное для мест с жарким и влажным климатом одеяние, фактически — отрез легкой ткани, стандартно 115 × 200 см.

В традиции «Джамаат Таблиг» — женская разновидность хуруджа.

Дунья в исламе — весь материальный мир, окружающий человека вплоть до его смерти.

Марказ — центр (*араб.*), обозначение мечети в традиции «Джамаат Таблиг».

Меджлис — собрание (*араб.*), этим понятием обозначаются любые собрания исламских групп с общими интересами.

«Эндрю Эдмундз» — ресторан на Лексингтон-стрит в Лондоне, позиционирующий себя как «последний оплот старого Сохо», осн. в 1986 г.

Лох-Райан — озеро в Шотландии, традиционное место добычи натуральных устриц с 1701 г.

Роберт Уэддербёрн (1762–1835/36) — британский унитарийский проповедник ямайского происхождения, радикальный общественный деятель, противник рабства. Лондонские «дрозды» — община и субкультура иммигрантских маргинализованных меньшинств на рубеже XVIII–XIX вв., преимущественно в районе Сент-Джайлз.

Мэри Джейн Сикоул (Грант, 1805–1881) — ямайская предпринимательница и целительница, устроившая госпиталь для англичан в Крымской войне (1853–1856).

Харли-стрит — улица в Мэрилебоуне, Лондон, с конца XIX в. ставшая средоточием частных врачей и клиник.

«South Pacific» (1958) — американский романтический музыкальный фильм режиссера Джошуа Логана по мотивам одноименной оперетты (1949) композитора Ричарда Роджерза и либреттиста Оскара Хэммерстайна 2-го, в свою очередь, созданной по мотивам сборника рассказов Джеймса А. Миченера «Сказки Южной Пацифики» («Tales of the South Pacific», 1947) о Тихоокеанской кампании США во 2-й мировой войне, получившего Пулитцеровскую премию.

«Happy Talk» — песня из оперетты «Южная Пачифика».

Синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Ричард Принс (р. 1949) — американский художник и фотограф.

Грегори Оливер Хайнз (1946–2003) — американский танцор, актер, певец и хореограф. Марта Грэм (1894–1991) — американская танцовщица и хореограф, одна из основательниц школы современного танца. Сэвион Гловер (р. 1973) — американский чечеточник, актер и хореограф.

Томас Пейн (1737–1809), англо-американский политический активист, философ и один из Отцов-основателей США, жил в Париже на рю-де-ль-Одеон, 10, в 1792–1802 гг. В доме 21 по той же улице почти всю жизнь прожил франко-румынский философ и эссеист Эмиль Чоран (1911–1995). Французский журналист и политик, деятель Французской революции Люси Самплис Камий Бенуа Демулен (1760–1794) жил в доме 22. С 1922 по 1941 г. в доме 12 располагался книжный магазин «Шекспир и компания» американского книготорговца и издателя Силвии Бич (Нэнси Вудбридж Бич, 1887–1962), в 1922 г. опубликовавшей роман Джеймса Джойса «Улисс».

Луэлла Парсонз (Луэлла Роуз Эттинген, 1881–1972) — американская кинообозревательница, журналистка и сценаристка.

«Housing Works» — нью-йоркская некоммерческая благотворительная организация, занимающаяся помощью больным СПИДом и бездомным, осн. в 1990 г. активистами организации «ACT UP».

Персонаж одноименного рассказа (Rip Van Winkle, 1819) американского писателя Вашингтона Ирвинга (1783–1859).

Алвин Эйли (1931–1989) — афроамериканский хореограф и общественный активист, основатель «Американского танцевального театра» в Нью-Йорке.

«Revelations» (1960) — танцевальная сюита, поставленная Алвином Эйли и повествующая о вере многих поколений афроамериканцев.

Эдит Уортон (Эдит Ньюболд Джоунз, 1862–1937) — американская писательница и дизайнер.

Подпольная железная дорога — обозначение тайной системы, применявшейся в США для организации побегов и переброски негров-рабов из рабовладельческих штатов Юга на север и в Канаду. Действовала с конца 1700-х гг. до начала Гражданской войны в США в 1861 г.

«Sonny's Blues» (1957) — рассказ американского писателя Джеймса Артура Болдуина (1924–1987), рус. пер. Р. Рыбкина.

215

Привет (*исп.*).

Речь о песне американского певца и автора песен Сэма Кука «A Change Is Gonna Come» (1964). Отис Рей Реддинг-мл. (1941–1967) — американский певец, автор песен, продюсер.